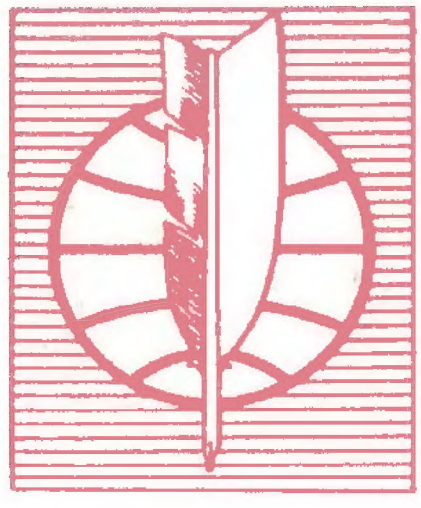
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ
НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

Scan Kreyder - 22.05.2016
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

Чапаев

•

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

Как закалялась сталь

•

Романы

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1979

Р2
Ф95

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Абсалямов А. С.
Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Данилов С. П.
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительная статья
ВИТАЛИЯ ОЗЕРОВА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Иллюстрации и оформление тома
И. М. ГОДИНА

Ф 70803—559
М101(03)79 Подп. изд.

© Вступительная статья. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА

...В грозе военных испытаний начинался 1919 год. Молодой Советской Республике со всех сторон угрожали враги — белогвардейцы и иностранные оккупанты. Самым опасным из них был в то время адмирал Колчак, двигавшийся к Волге на соединение с Деникиным. На Восточном фронте решалась судьба Советской России, и призыв Ленина «Все на Колчака!» стал девизом для тысяч и тысяч защитников социалистического Отечества.

В эти дни к вокзалу Иваново-Вознесенска, как и многих других городов и сел, одна за другой подходили колонны вооруженных рабочих. Новые и новые эшелоны уходили на пополнение доблестно сражавшейся Красной Армии. Вторую тысячу добровольцев возглавил Дмитрий Фурманов — местный политработник, упорно добивавшийся разрешения отправиться на фронт. Ему был доверен ответственный пост комиссара 25-й дивизии, которой командовал Чапаев, затем ждали еще более высокие назначения. После войны он смог заняться литературной работой, о которой мечтал с детства.

Знаменательное для первопроходцев советской литературы начало творческого пути. Именно им оказалась по плечу задача, поставленная самой эпохой,— художественно отобразить такой невиданный поворот в ходе истории, каким явилась Октябрьская социалистическая революция.

Как известно, каждый значительный этап художественного развития начинается с открытия нового человеческого типа, героя своего времени. Тем более обоснован этот принцип применительно к Великому Октябрю, возвестившему рождение нового мира, нового человека.

Литература социалистического реализма, у первоистоков которой стоит Горький, создавалась теми, кто понял и принял великую правду революции. Это автор знаменитой эпопеи «Железный поток» Александр Серафимович, кого видели чуть ли не на всех фронтах гражданской войны. Это боевые комиссары Дмитрий Фурманов и Александр Фадеев, корреспонденты армейских газет Константин Федин и Леонид Леонов, боец продотряда Михаил Шолохов, военмор Всеволод Вишневский... Одни из них еще раньше приобщились к писательскому труду, другие, готовясь к нему, усиленно заполняли свои корреспондентские блокноты, личные дневники, а иные даже и представить не могли, что их фамилии когда-нибудь будут обозначены на обложках книг. В тот самый 1920 год, когда бывший чапаевский комиссар, уже проявивший себя в публицистике, Дмитрий Фурманов возглавлял красный десант в тылу врангелевского генерала Улагая, совсем юный Николай Островский рядовым бойцом начинал свой воинский путь в Конармии Буденного, о подвигах которой ему доведется писать спустя десятилетие.

Доскональное знание жизни рабочих и крестьян, надевших красноармейские шинели, глубокое понимание характера революционной борьбы, организованной и возглавляемой партией,— вот что принесло с собой в литературу новое писательское пополнение. Ему предстояло осветить жизненный материал, никем пока не освоенный, найти для этого краски и слова, которых никто еще в искусстве не опробовал. Искали и находили! Были достигнуты замечательные художественные успехи, не всем удалось избежать и просчетов. Но самое главное, что обеспечило бессмертие лучшим произведениям,— это яркие картины неповторимой поры, впечатляющие образы отважных революционеров, беспредельно преданных идеалам коммунизма.

Художественным воображением мастеров слова воскрешены люди, которыми мы не перестаем восхищаться,— рыцари революции самоотверженные, бескорыстные, кристально чистые в своих политических, моральных устремлениях.

Литература 20-х годов писала не о каких-то неизвестно откуда появившихся «готовых» новых людях. Они, первые герои нашего искусства, познали всю горечь подневольной жизни при старом эксплуататорском строе. Этот строй обрекал их на нищету и бесправие. Как самобытные, поразительно талантливые

личности раскрылись они в борьбе за свободу, в монолитном коллективе. Весомый вклад зачинателей советской литературы в художественное развитие человечества — впечатляющее изображение и бурного размаха революции, массового героизма, и стремительного возвышения рядовых тружеников, взявших в свои руки судьбы истории.

Олицетворением этого идейного, нравственного роста человека труда стал бессмертный образ Чапаева из одноименного романа Дмитрия Андреевича Фурманова (1891—1926). «Чапаев» появился в 1923 году, в то время, когда, по свидетельству Константина Федина, многие писатели еще не знали, как подступиться к задаче создания положительного образа. Им «представлялось, что с ней можно повременить, пока жизнь не создаст кристально сложившуюся форму современного героя. Такого решения задачи, как герои Фурманова, кроме этого писателя, тогда еще никто не дал».

Заслуга Фурманова в том, что он, описывая подвиги участников гражданской войны, с большой художественной убедительностью раскрыл чудесный процесс идейного, нравственного становления личности борца, советского патриота. В «Чапаеве» и летопись ратных походов 25-й дивизии, и вдохновенные рассказы о стойкости, отваге, духовной красоте тех, кто освобождал Уфу и Уральск, мерз и голодал в окопах, отражал «психическую атаку» озверевших офицеров-каппелевцев. Красноармейцы, читаем у Фурманова, «отчаянно, вдохновенно, жутко дрались! На броневые поезда кидались с ручными бомбами, устлали трупами весь путь, бежали за чудовищем, кричали «ура», бросались, как мячиками, страшными белыми бутылками». Безногие пулеметчики, ставшие грозой для врага, ординарец Петька Исаев, до последнего мгновения своей жизни заботившийся о любимом командире, девятнадцатилетняя Маруся Рябинина... Сколько их, беззаветных бойцов революции!.. «С такой надежной силой нельзя было не побеждать,— замечает писатель,— надо было только уметь ею управлять».

Этим умением в полной мере обладает Василий Чапаев. Народная молва изображала его сказочным богатырем, одно лишь имя которого ввергает врага в смертельный ужас. Что ж, в этом немалая доля правды, однако секрет побед начдива не только в его личной удали. О днях и делах дивизии повествовал писатель, знавший их не понаслышке. Кто, как не он, военком, близкий друг и политический руководитель Чапаева, мог изнутри раскрыть и своеобразную индивидуальность прославленного командира, и методы его действий, и существо взаимоотношений, сложившихся в красноармейской среде.

В изображении Фурманова легендарный полководец отнюдь не однолинейная, примелькавшаяся в иных сочинениях тех лет фигура лихого рубаки. Чапаев умел сплотить бойцов своей стремительной волей и потому, что обладал качествами, особенно ценимыми массой,— отвагой и решимостью, и потому, что был отличным организатором, понимавшим, как лучше всего воздействовать на нее. Думаешь о романе, о кинофильме, поставленном в 1934 году братьями Васильевыми, и в памяти встают две сцены. Конечно же, та, где Чапаев с обнаженной шашкой мчится впереди конной лавы. Но столь же выразительна и другая сцена: поздняя ночь, начдив склонился над картой, в руке у него циркуль — продумывается очередная операция.

Эта вторая зарисовка уточняет и углубляет облик военачальника нового типа — сильного своей близостью к массам, личной отвагой и в то же время умелого, дальновидного. Руководя, к примеру, боем за Уфу, Чапаев заботился и об организации надежной связи, и о возведении переправы, доставке боеприпасов, интересовался политико-нравственным состоянием полков. «Он,— читаем в романе,— нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами,— все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент».

Крестьянин-бедняк, простой плотник вырос в блестящего полководца — это высший результат революции, открывшей простор для расцвета народных дарований. Не менее важный результат — возросшее самосознание героя революционной эпохи. В одном из разговоров с комиссаром Чапаев признался: раньше он не мог подумать, что нужен кому-то; теперь же «мнение о себе развивается такое, што вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему-то, как следует...».

Да, такие люди могут и должны «жить по-настоящему». И очень почетна обязанность тех, кто, подобно комиссару Федору Клычкову, осуществляет воспитательную работу партии, поднимая их к новым идейным, нравственным горизонтам. Военком всемерно укрепляет авторитет Чапаева и вводит его кипучую энергию в русло большевистской организованности. Для этого нужно расширять политический кругозор Чапаева, помочь ему до конца преодолеть настроения партизанщины. Настойчиво объяснял Клычков начдиву недопустимость самостийных поступков, роль штабов, реввоенсоветов. «Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои...»

Многозначительно сопоставление двух этих образов, проходящее через весь роман. Автор наглядно показывает идейное воздействие партии на массу, на выдвинутых ею героев. Использует эффективные изобразительные средства, чтобы передать многообразие вовлеченных в революцию людей. Овеянный романтикой «Чапай» и внутренне собранный, раздумчивый Клычков — пересечение сюжетных линий, идущих от этих образов, органично художественной структуре романа. Широкая панорама событий, колоритные характеры исторических лиц, проникновенная мысль, лирические эмоции — все слито в книге.

Опираясь на свои дневниковые записи, Фурманов создал документально достоверное произведение, в котором описаны реально существовавшие люди, точно воспроизведены факты, включены подлинные приказы, телеграммы, воззвания. И тем не менее перед нами вовсе не очерковые зарисовки, а художественная картина незабываемой поры народной жизни с колоритными образами-типами.

Создавая роман, Фурманов самым серьезным образом обрабатывал дневники, тщательно «прописывал» наиболее существенное, типичное, отсеивал второстепенное, сугубо частное. Чтобы пополнить личные наблюдения, он обращался к архивам, беседовал с другими участниками гражданской войны. Шла «борьба с материалом», тщательный отбор фактов. При этом все было подчинено целям художественным: дать Чапаева как «лицо собирательное... и для определенного периода очень характерное».

Своеобычна авторская манера: не ограничиваясь картинами увиденного, вслух размышлять о военно-политической обстановке, о быте, людях. Аналитически углублять свои впечатления и выводы. Открыто высказывать продуманное и прочувствованное в виде публицистических отступлений, взволнованных авторских монологов.

Эстетическое новаторство романа подтверждено социалистической действительностью — она воочию явила такой реальный материал, таких живых людей, которые вдохновили многих художников на произведения, получившие всенародное признание. Рядом с «Чапаевым» упомянутый выше «Железный поток» Александра Серафимовича, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Педагогическая поэма» Антона Макаренко, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодая гвардия» Александра Фадеева.

Сюжетная канва всех этих книг соответствует исторически происходившим событиям. Изображенные тут персонажи имеют реальных прототипов. Однако никто из авторов не занимается натуралистическим копированием увиденного и услышанного. Написаны названные произведения в разном стилевом ключе.

Роднит же эти книги, опирающиеся на документальную основу, умение авторов подняться до художественных обобщений и впечатляюще передать пафос нашей эпохи, ведущие качества нового человека.

Не одна лишь близость биографий авторов и их героев делает закономерной параллель между тем же «Чапаевым» и романом Николая Алексеевича Островского (1904—1936) «Как закалялась сталь». Их объединяет мироощущение борцов, глубочайшая коммунистическая убежденность. Роман «Как закалялась сталь» (первая часть 1932 г., вторая — 1934 г.), писал Фадеев, «понравился мне многими сторонами: прежде всего глубоко понятой и прочувствованной партийностью, которую я только у Фурманова (из писателей) видел так просто, искренне и правдиво выраженной...».

Очень верное и точное наблюдение — именно коммунистическая идейность, высота духовных стремлений поднимают самых обыкновенных людей на подвиги, поражающие весь мир. «*Мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным*»,— заявляет в разговоре с Чапаевым его комиссар. Откуда, размышляют однополчане Корчагина, железная несгибаемость в Оводе, герое одноименного романа Этель Лилиан Войнич? В спорах у ночного костра рождается уверенный ответ: «Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается».

«За идею пошел» — этими словами характеризуется героическая жизнедеятельность Павки Корчагина, его сверстников, «нового поколения Павлов Корчагиных», как назвал в годы Отечественной войны генерал В. И. Чуйков молодых защитников Сталинграда.

Пойти за идею коммунизма — значит избрать дорогу верного служения народу, благородный удел борца. Значит, не попусту прожить жизнь, а отдать ее самому прекрасному — освобождению человечества. Не такую ли жизнь прожил сам Николай Островский! «Кухаркин сын», отважный боец гражданской войны, комсомольский активист, он, казалось, был сражен жестокой болезнью: трагедия неподвижности, неотвратимо надвигающаяся слепота. Нет, из рядов партии ничто не могло выбить Островского! Он остался в ее строю, овладев новым оружием — писательским словом. Продолжая горьковские традиции Фурманова и Серафимовича, создал образ подлинного героя революции. Образ во многом автобиографический. И вместе с тем отнюдь не являющийся копией автора, об этом не раз заявлял Островский, возражая тем, кто отождествлял Павла Корчагина и его создателя.

Как и автор «Чапаева», он не фотографировал жизнь, а

художественно обобщал, типизировал. В судьбе Павки выделены такие моменты, которых не было в биографии Островского, но которые нужны художнику, чтобы особо акцентировать рост политической сознательности юноши.

Почему так безраздельно веришь во все описанное в книге? В значительной мере это объясняется правдивым, без прикрас изображением духовного роста Павла Корчагина. Не случайно роман назван: «Как закалялась сталь». Не случайны названия некоторых зарубежных изданий книги: «Человек нового общества», «Становление героя», «Рождение нового человека».

Роман Николая Островского очень драматичен; в бурных действиях, вооруженных схватках, идейных столкновениях раскрываются движения души героев. Построен он как цепь эпизодов, каждый выявляет примечательную черту характера Павла и его товарищей. В последующих эпизодах закрепляется это качество, а также обозначается новое, чтобы получить развитие в дальнейшем, дать представление о духовной эволюции героев.

Эта цепь эпизодов — не бесстрастное повествование о спокойно-обыденном существовании. Стремительно сменяются события; жизнь революционера, коммуниста требует перестраивать характер, идти от присущих Павлу стихийности и горячности к глубокому сознанию партийного долга, к четкой дисциплинированности, без которой немыслим вожак масс. В отличие от «Чапаева», некоторых других книг предыдущего десятилетия, содержание «Как закалялась сталь» охватывает гораздо большую полосу истории: предреволюционные годы, гражданская война, нэп, социалистическое строительство. Вырастая вместе со своим временем, Корчагин остается неизменно верным партийному долгу и вместе с тем совершенствует, оттачивает природные свойства. Автор подробно и откровенно показывает, как происходит это самосовершенствование.

Так устроена советская жизнь, что рядом с нами всегда оказываются старшие, опытные товарищи, партийные воспитатели. В этом смысле Корчагину повезло не меньше, чем Чапаеву, встретившему умного и тактичного комиссара Клычкова. Наставниками Павла оказались шепетовские коммунисты, балтийский матрос Федор Жухрай. Большевик Жухрай дал верное направление бьющей через край бурной энергии молодого человека, объяснил, что надо не просто ввязываться в драку, но знать, «кого бить и за что бить», научил действовать не в одиночку, не порывами, а в боевом коллективе, последовательно, упорно. Ведь героизм революционеров-ленинцев — не мгновенная, быстро гаснущая вспышка, а готовность всю жизнь сделать подвигом.

Друзья не зря характеризовали Павку как очень смелого и справедливого, но «озорного, мятежного парня»; он «живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону». Был чересчур вспыльчив, не все продумывал до конца, мог самовольно перейти из одной части в другую. Однако понимал: надо «брать себя в руки», учиться выдержке, дисциплине, хладнокровию.

Не сразу и не просто, но Корчагин научился всему этому. И в малом: решил, например, бросить курить — бросил. И в большом: помнил, что на него, командира, смотрит целый батальон — выполнил приказание вышестоящего начальника, необоснованное, но все равно обязательное. А самое существенное — Корчагин словно готовил себя к еще более трудным испытаниям, чем жестокие бои, промерзшие бараки на строительстве железнодорожной ветки,— к схватке с беспощадной болезнью, схватке, продолжавшейся годы и годы. Павел и в ней одержал победу, создав книгу о мужестве и героизме.

Легко сказать «одержал победу»! Роман Островского с такой силой овладевает читателями потому, что мы видим, через какие испытания прошел Корчагин. Кое-кто объявлял его образ однолинейным, сводил смысл этого характера чуть ли не к бездумному фанатизму. Между тем перед нами горячая, увлекающаяся натура. Были даже минуты, когда Павел, не желая стать обузой для окружающих, думал о самоубийстве. Этот выход из положения он отбросил как «самый трусливый», как «бумажный героизм». Жизненная позиция Корчагина: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

Павел сделал ее полезной, вернулся в боевой строй, продемонстрировал удивительную жизнестойкость и выдержку. Но приобрести такую выдержку, подтверждает роман Островского, совсем не означает стать бесстрастным и бездумным. Напротив, с годами характер Павки делается богаче, содержательнее. На смену вспыльчивости приходит большевистская страстность, непосредственность душевных движений сочетается с целеустремленностью. Вот образ, символизирующий новое душевное состояние Корчагина. После гражданской войны, комсомольских строек, жестокого тифа он вернулся в родной дом. Вновь в руках любимая гармонь. Но теперь Павел «играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной залихватистости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы, стала какой-то более глубокой».

Более глубоким, не теряя силы и энергии, стал сам Корчагин, научившись управлять своей волей (а кто из молодых не хочет

научиться этому!). Да, закалилась сталь большевистского характера, перед нами человек, которого ничто не сломит и который, несмотря на физические муки, чувствует себя счастливым: он вносит посильный вклад в общее дело, ни один день не проходит у него бесследно. Последнюю часть своего романа Островский предполагал озаглавить «Счастье Корчагина». В соображениях о задуманном кинофильме писатель так интерпретировал центральный образ: «Помните, что Павка Корчагин был жизнерадостный, страстно любящий жизнь юноша. И вот, любя эту жизнь, он всегда готов был пожертвовать ею для своей родины. Павка не должен выйти суровым, хотя он хотел казаться таким. Жизнь била в нем ключом, прорывалась наружу сквозь внешнюю суровость».

Многогранность интересов, редкостное жизнелюбие — и внешняя суровость, готовность к самопожертвованию... Буржуазные истолкователи не способны понять, как могут сочетаться такие качества. Приходится поныне встречаться со странными предубеждениями относительно образа Корчагина: иным кажется, что он окружен ореолом жертвенности, другим — что идеализирован автором. Островский же не делал ни того, ни другого. Он рисовал сына своего времени. Времени, когда по обстоятельствам борьбы приходилось многим поступаться — отсюда нотки аскетизма у Павла, максимализм его нравственных требований, доводящий до разрыва с Ритой, отказа от любви Христины. Это максимализм бескорыстия и благородства, он отнюдь не обедняет душевно Корчагина, как хотелось бы доказать его недоброжелателям.

Вопреки тем невероятным препятствиям, через которые предстояло пройти Корчагину, жизнь его ума и сердца становится щедрее и богаче. С годами он перестал считать внешнюю суровость непременным атрибутом революционера. О потерянной любви горько жалеет, к Тае проявляет нежную заботливость. И еще отчетливее понимает: обрел счастье благодаря тому, что не сдался, всегда оставался с людьми, коллективом. Привлекавшее когда-то Павла в Оводе ненужное самоотречение отброшено. «Но я,— заявляет Корчагин,— за основное в Оводе — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому».

Это умел делать Островский. Работал он буквально до смертного своего часа, торопясь завершить новый роман «Рожденные бурей». На его произведениях воспитались целые поколения; «Как закалялась сталь» называли учебником жизни солдаты Великой Отечественной войны, называют космонавты, строители БАМа, патриоты разных стран, борющиеся за соци-

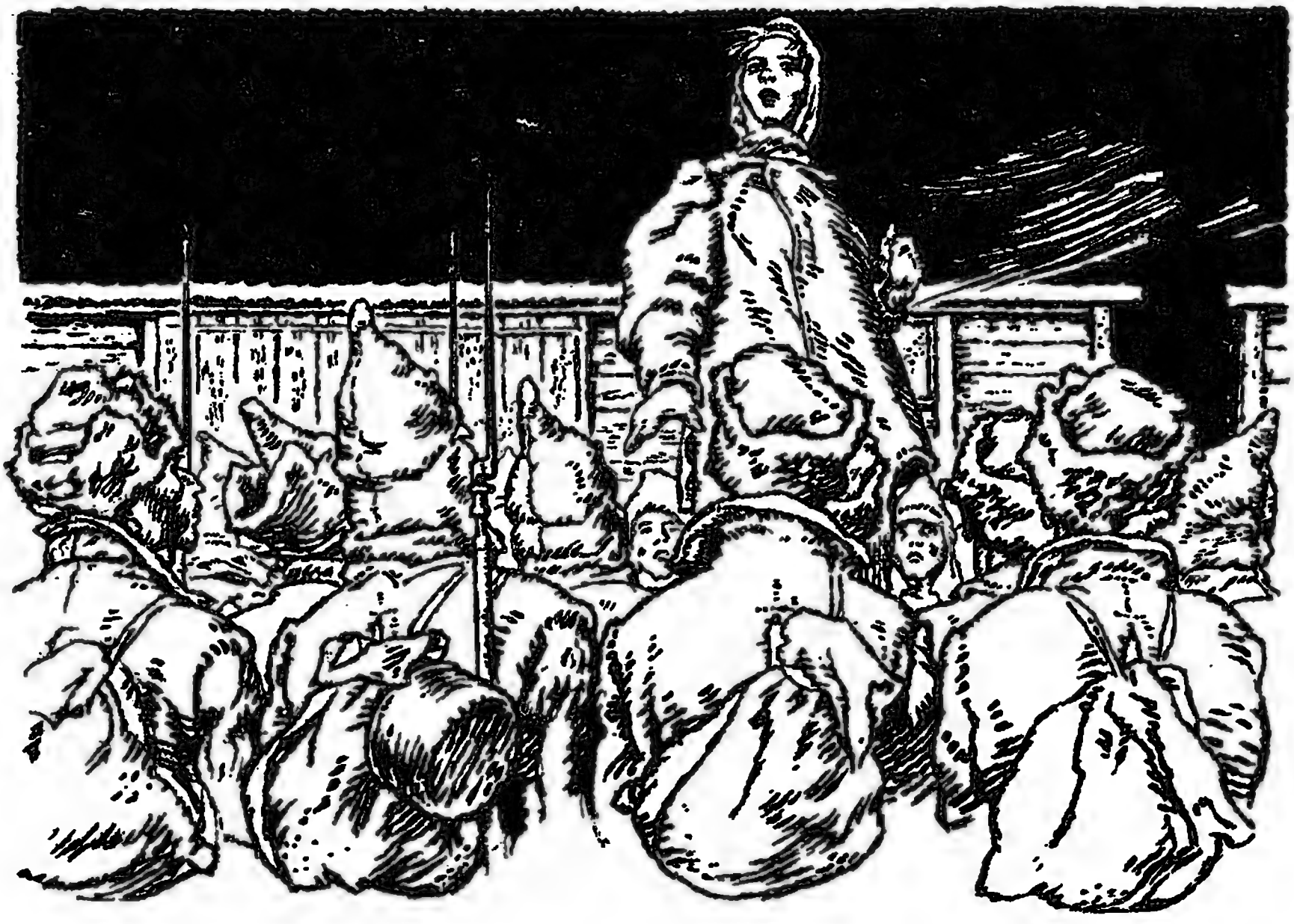
альное и национальное освобождение. Книга помогла многим людям справиться с тяжелыми недугами, вернуть бодрость духа. Корчагинские черты, как эстафету, переняли герои литературы последующих лет. В фадеевской «Молодой гвардии» рассказывается, с каким волнением читали и перечитывали роман Островского комсомольцы Краснодона, вступая в борьбу с фашистскими оккупантами. Алексей Мересьев из «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого помнил о примере Корчагина, когда решил, несмотря на потерю обеих ног, во что бы то ни стало снова летать, бить врага.

Вот показатель кровной нужности патриотических произведений народу! Выполняя сегодняшние дела, посвящая свои силы коммунистическому строительству, наши современники с гордостью оглядывают путь, пройденный советским обществом за годы и десятилетия. Снова и снова обращаются к творчеству мастеров, подобно Фурманову и Островскому отобразивших вехи революционной борьбы, созидания нового мира.

В. Озеров

ДМИТРИЙ ФУРМАНОВ

Чапаев



I. РАБОЧИЙ ОТРЯД

На вокзале давка. Народу — темная темь. Красноармейская цепочка по перрону чуть держит оживленную, гудящую толпу. Сегодня в полночь уходит на Колчака собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех иваново-вознесенских фабрик, с заводов собрались рабочие проводить товарищей, братьев, отцов, сыновей... Эти новые «солдаты» как-то смешны и неловкостью и наивностью: многие только впервые одели солдатскую шинель; сидит она нескладно, кругом топорщится, подымается, как тесто в квашне. Но что ж до того — это хлопцам не мешает оставаться бравыми ребятами! Посмотри, как этот «в рюмку» стянулся ремнем, чуть дышит, сердешный, а лихо отстукивает звонкими каблуками; или этот — с молодцеватой небрежностью, с видом старого вояки опустил руку на эфес неуклюже подвязанной шашки и важно-важно о чем-то спорит с соседом; третий подвесил с левого боку револьвер, на правом — пару бутылочных

бомб, как змеей, окрутился лентой патронов и мечется от конца до конца по площадке, желая хвальнуться друзьям, родным и знакомым в этаком грозном виде.

С гордостью, любовью, с раскрытым восторгом смотрела на них и говорила про них могутная черная рабочая толпа.

— Научатся, браток, научатся... На фронт приедут — там живо сенькину мать куснут...

— А што думал — на фронте тебе не в лукошке кататься...

И все заерзали, засмеялись, шеями потянулись вперед.

— Вон Терентия не узна́ешь — в заварке-то мазаный был, как фитиль, а тут поди тебе... Козырь-мозырь...

— Фертом ходит, што говорить... Сабля-то — словно генеральская, ишь, таскается.

— Тереш,— окликнул кто-то смешливо,— саблю-то сунь в карман — казаки отымут.

Все, что стояли ближе, грохнули хохотной россыпью.

— Мать возьмет капусту рубить...

— Запнешься, Терешка, переломишь...

— Пальчик обрежешь... Генерал всмятку!

— Ага-га... го-го-го. Ха-ха-ха-ха-ха...

Терентий Бочкин — ткач, парень лет двадцати восьми, веснушчатый, рыжеватый — оглянулся на шутки добрым, ласковым взором, чуть застыдился и торопливо ухватил съехавшую шашку...

— Я... те дам,— погрозил он смущенно в толпу, не найдясь, что ответить, как отозваться на страстный поток насмешек и острот.

— Чего дашь, Тереша, чего?..— хохотали неуемные остряки.— На-ко семечек, пожуй, солдатик божий. Тебе шинель-то, надо быть, с теленка дали... Ага-га... Ого-го...

Терентий улыбчиво зашагал к вагонам и исчез в серую суетную гущу красноармейцев.

И каждый раз, как попадал в глаза нескладный — его вздымали на смех, поливали дождем ядовитых насмешек, густо просоленных острот... А потом опять ползли деловые, серьезные разговоры. Настроение и темы менялись с быстротой,— дрожала нервная, торжественная, чуткая тревога. В толпе гнездились пересуды:

— Понадобится — черта вытащим из аду... Скулили все — обуться не во что, шинелей нету, стрелять не знаю чем... А вон она — ишь ты...— И говоривший тыкал пальцем в сторону вагонов, указуя, что речь ведет про красноармейцев.— Почитай, тыщу целую одели...

— Сколько, говоришь?

— Да, надо быть, тыща, а там и еще собирается —

и тем все нашли. Захочешь,— найдешь, брат, чесаться тут некогда — подошло время-то он какое...

— Время сурьезное — кто говорит,— скрепляла хриплая октава.

— Ну, как же не сурьезное, Колчак-то, он прет почем зря. Вишь, и на Урале-то нелады пошли...

— Эхе-хе,— вздохнул старина — маленький, щупленький старичок в кацавейке, зазябший, уморщенный, как гриб.

— Да... Как-то и дела наши ныне пойдут, больно уж плохо все стало,— пожалобился скучный, печальный голосок.

Ему отвечали серьезно и строго:

— Кто ж их знать может: дела сами не ходют, водить их надо. А и вот тебе первое дело — тыща-то молодцов!.. Это, брат, *дело* — и большое дело, бо-оль-шое!.. Слышно в газетах вон — рабочих мало по армии, а надо... Рабочий человек — он толковее будет другого-прочего... К примеру недалеко ходить — Павлушку возьмем, Лопаря,— каменный, можно сказать, человек... и голову имеет — не пропадет небось!

— Кто говорит, известно...

— Да не то что мужики,— ты, вон она, на Марфушку на «Кожаную» глянь, тоже не селедка — баба. Другому, пожалуй, и мужику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неподалеку и услышав, что речь идет про нее, быстро обернулась и подошла к говорившим. Широкая в плечах, широкая лицом, с широко открытыми голубыми глазами, чуть рябоватая, она выглядела значительно моложе своих тридцати пяти лет. Одета в новый солдатский костюм: штаны, сапоги, гимнастерка, волосы стрижены, шапка сбита на самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — подошла она.

— Чего тебя тревожить, Марфуша,— сама придешь. Говорю, мол, не баба у нас «Кожаная», а кобыла бесседельная...

— То есть я-то кобыла?

— Ну, а то кто? — И вдруг переменил шутливый тон: — Говорю, что на воина ты крепко подошла... вот что!

— Подошла — не подошла: надо...

— Ясное дело, что надо...— Он минутку смолчал и добавил: — Ну, а *там*-то — как?

— Чего — *как*?

— Дела всякие свои?

— Што ж дела...— развела руками Марфуша.— Ребят в приюты посовала, куда их деешь?

— Куда деешь...— посочувствовал и собеседник.

И, передохнув трудно, сказал соболезнующим грудным дыхом:

— Ну, похраним, похраним, Марфуша, а ты не терзайся: похраним... Поезжай спокойная, нам тут чего уж осталось и делать, как не за вас работать?.. Придет, може, время — и мы тогда... а?

— Так вот же...— кивнула Марфа,— да и вернее всего, што так оно будет... на одном отряде разве можно смириться?.. Беспременно будет.

— И ребята, кажись, тово,— мотнул собеседник на вагоны.

— Чего ж им,— ответила Марфа,— только бы ехать, што ли, скорей: ждать, говорят, надоело. Ехать и ехать — одно слыхать, чего толшиться?.. Э-гей, Андреев! — окликнула Марфа кого-то из проходивших.— Насчет отправки чего там балачут?

Петербургский слесарь, только недавно приехавший в Иваново, двадцатитрехлетний юноша с густыми темно-синими глазами, с бледным лицом, стройный и гибкий, с коммунаркой на голове, в истертой коричневой шинелишке,— это Андреев! Подходит четким шагом, точно на доклад; поравнялся, щелкнул в каблуки, взял под козырек и, без малейшей усмешки глядя в упор на Марфу чудесными серьезными глазами,— отрапортовал:

— Честь имею доложить вашему превосходительству: поезд идет через сорок минут!

Марфа дернула за рукав:

— Прощаться-то будем али нет? Ребята ждут,— слово бы надо прощальное, што ли... Где Клычков? Куда он там запропастился?

Андреев снова вскинул под козырек и тем же невозмутимым тоном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, ваше превосходительство!

Марфа ударила по руке:

— Брось ты, черт, обалдел, што ли? На вот, генерала себе какого нашел...

Он вмиг перетрепенулся и к Марфе чистым, звонким, «своим» голосом:

— Марфочка...

— А?

— Марфочка — ты сама-то... гм!

Андреев скорчил выразительную рожу, скомкав губы, вылупив глаза.

— Чего ето? — поглядела на него Марфа.

— Отчекрыжишь, поди, што-нибудь?

Но Марфа ничего не ответила, приподнялась на носки, посмотрела над толпой:

— Да вон и сами идут, надо быть...

Стоявшие около тоже поднялись, шеями вытянулись туда, куда смотрела Марфа. Там шли трое, окруженные тесным

кольцом. Отчетливый выделялся Лопарь — с черными длинными волосами, блестящими глазами, высокий, худой. Он шел и братался, словно сам себе ногой на ногу приступал,— вихлястый такой, нескладный.

С ним рядом Елена Куницына, ткачиха, девушка двадцати двух лет, которую так любили за простую, за умную речь, за ясные мысли, за голос красивый и крепкий, что слыхали так часто ткачи по митингам. Она еще не в коммунарке — повязана платком; не в солдатской шинели, а в черном легоньком пальтишке,— это в январские-то морозы! На бледном строгом лице отпечатлелась внутренняя тихая радость.

С Еленой рядом — Федор Клычков. Этот не ткач, вообще не рабочий; он не так давно воротился сюда из Москвы, застрял, освоился, бегал по урокам, жил, как птица, тем, что добудет. Был в студентах. В революции быстро нащупал в себе хорошего организатора, а на собраньях говорил восторженно, увлекательно, жарко, хоть и не всегда одинаково дельно. Клычкова рабочие знали близко, любили, считали своим.

Толпа за перроном при виде Куницыной, Клычкова и Лопаря задвигалась, зашептала громким шепотом:

— Сейчас, надо быть, говорить станут.

— Отправляться скоро...

— Да уж раскланяться бы, што ли,— спать пора.

— А вот расцалуемся — и крышка.

— Слышь, звонок.

— Первый, што ли?

— Первый.

— В двенадцать трогать зачнут...

— В самую, вишь, полночь так и норовят!

Сальные короткие пальтишки, дрянненькие шубейки с плешивыми, облезлыми воротниками, с короткими рукавами, протертыми локтями; черные коротышки-тужурки — драповые, суконные, кожаные. Стильная толпа!

Вокзал не широк, народу вбирает в себя мало. Кто посмышленее — зацепились за изгородь, влезли на подоконники, многие забрались на пристройку вокзала, свесили головы, таращили глазами по толпе, скрючившись, висли на дверных скобах, цепляясь за карнизы, заняли проходы, умостились на вагонных крышах, на лесенках, на приступках... Давка. Каждому охота продраться вперед, поближе к ящику, с которого станут говорить. Попискивают, покряхтывают, поругивают, побраниваются. Вот на ящике показался Клычков — шинелишка старая, обтрепанная: она унаследовалась от *той* войны. Без перчаток мерзнут руки — он их то и дело сует в карманы, за пазуху, дует в красные хрусткие кулаки. Нынче лицо у Федора бледней

обыкновенного: две последние ночи мало и плохо спал, днями торопился, много работал, затомел. Голос, такой всегда чистый и звучный,— глуховат, несвеж, гудит, словно из пещеры.

Клычкову дали первое слово — он будет от имени отряда прощаться с ткачами. Холодно. Позамерзла толпа. Надо торопиться. Речи должны быть кратки!

Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы,— они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми — новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться.

«Увижу ли?.. Вернусь ли?.. Да и все вернемся ли когда в родные места?.. Приду ли еще когда и стану ли говорить, как говорил столь часто в эти годы?»

Переполненный скорбным чувством разлуки, не успев обдумать свое короткое слово, не зная, о чем будет оно, Клычков крикнул как-то особо громко — так он не кричал никогда:

— Товарищи рабочие! Остались нам вместе минуты: пробьют последние звонки — и мы уедем. От имени красных солдат отряда говорю вам: прощайте! Помните нас, своих ребят, помните, куда и на что мы уехали, будьте готовы и сами за нами идти по первому зову. Не порывайте с нами связь, шлите вестников, шлите, что сможете, от грошей своих, помогайте бойцам. На фронте голодно, товарищи, трудно — труднее, чем здесь. Этого не забывайте! А еще не забывайте, что многие из нас оставили беспризорные, необеспеченные семьи, детей, обреченных на голод,— не оставляйте их. Тяжко будет сидеть нам в окопах, страдать в походах, в боях... Но стократ тяжелей будет вынести муку, если узнаем к тому, что семьи наши умирают беспомощные, покинутые, всеми забытые... И еще вам одно слово на разлуку: работайте! дружнее работайте! Вы — ткачи и знать про то должны, что чем больше соткете в Иванове, тем будет теплее в уральских, оренбургских снежных степях — везде, куда попадет отсюда ваше добро. Работайте и накрепко запомните, что победа не только в нашем штыке, но еще и в вашем труде. Увидимся ли снова когда? Станем верить, что да! Но если и не будет встречи — что тужить: революция не считает отдельных жертв. Прощайте, дорогие товарищи, от имени красных солдат отряда — прощайте...

Словно буйным бураном завыла снежная степь,— толпа зарыдала ответным гулом:

— Прощайте, ребята! Счастливо... Не забудем...

И когда смолкли — остановилась печальная тишина. Так было минуту, и вдруг по толпе зашелестело шепотком:

— Елена... Елена вышла... Куницына...

На ящике выросла Елена Куницына. Были густы и вовсе черны светло-карие чудесные глаза Елены. Быстрым движением руки скользнула она по щеке, по виску, спрятала прядки волос под платком, а платок обеими руками плотно примяла к голове.

И сказала негромко, словно сама себе:

— Товарищи!

Вся вытянулась к ней онемелая, ждущая толпа.

— Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка — вот в чем главная теперь задача. Когда мы будем знать, что за спиной все спокойно да ладно — ништо не будет нам трудно, товарищи. А ежели и у вас тут кисель пойдет — какая она будет, война? Мы не зря, рабочие-то, два эти года мучились — али зазря, али понапрасну? Нет, товарищи, по делу это все. Вот, к примеру, и мы идем, женщины; нас в отряде двадцать шесть человек. Мы тоже поняли, какой это момент переживает вся страна. Надо, значит, идти — вот вам и весь сказ! Женщины — матери, жены, дочери, сестры, невесты, подруги,— все они вам посылают через меня свой последний поклон. Прощайте, товарищи, будьте крепки духом, а мы тоже...

В ответ ей тысячеустая грудная радость, страстные клятвы, благодарность за умное, за бодрое слово:

— Эх, Еленка, тебе бы в министрах быть! Ну и баба — чисто машина работает!

Из толпы пробрался, влез на ящик одетый в желтую кацавейку, в масленую кепку, в валеные сапоги — старый ткач. Морщинилось темными глубокими полосами иссохшее лицо старика, шамкали смутным шепотом губы. По мокрым, но светлым глазам, по озаренному лицу, словно волны, подымались накаты безмерной радости.

— Да, мы ответим... ответим...— Он замялся на миг и вдруг обнажил сивую, оседелую голову.— Собирали мы вас — знали на што! Всего навидаетесь, всего испытаете, может, и вовсе не вернетесь к нам. Мы, отцы ваши,— ничего, что тяжело,— скажем как раз: ступайте! Коли надо идти — значит, идти. Неча тут смозоливать. Только бы дело свое не посрамить,— то-то оно, дело-то! А в самые што ни на есть плохие дни и про нас поминайте, оно легче будет. Мы вам тоже заруку даем: детей не оставим, жен не забудем, по́мочь какую ни есть, а дадим! Известно, дадим — на то война. Нешто можно без того...

Старик степенно развел руками и грустно, внятно чмокнул:

— Все равно-де, выходу нет иного!

Потом он минуту постоял, обождал свои мысли и, не дождавшись, махнул рукой, быстро насунул кепку на сивую жидковолосую голову и — вовсе готовый уйти — крикнул слышным, резким голосом:

— Прощайте, ребяты... может, совсем...

Старый голос вздрогнул слезами, и слезная дрожь острым током секанула толпу...

— Может, тово... Всего бывает. Мало ли што, война-то... Она тово...

И в темные морщины из мокрых глаз хлынули обильные слезы. Грязным рукавом кацавейки он слезы мазал по лицу. Многие плакали в толпе. Другие кричали спускавшемуся вниз ткачу:

— Верно, отец! Правильно!! Правильно, старина!

Старик сошел. Ящик остался пуст. Тонко и звонко над толпой пробил второй звонок. Клычков вскочил в останный раз на ящик:

— Ну, прощайте! Еще раз прощайте, товарищи! За нашу встречу, за счастливую будущую встречу: ура!

— Ура... ура... ура!!!

И чуть стихло — команда:

— Отряд, по местам!

Замелькали суетно шапки, фуражки, коммунарки, защелкали прощальные поцелуи. Поплыли торопливым заливчатым гудом напутственные речи, степенные советы, печальные просьбы, напрасные утешенья.

На плече у хмурого красноармейца вздрагивала материнская голова. Слезы замочили серое лицо. Стонала, всхлипывала, плакала рокотно какая-то одна половинка,— другая остыла, серьезная, крепкая и смолкшая в задумье.

Отряд в вагонах. Ближе примкнула толпа,— она из вагонных окон отлилась сплошной безликой массой. Масса ворочалась, гудела, волновалась, словно огромный шерстистый зверь — тысячелапый, тысячеглазый, податливый, как медведь-мохнач.

Третий звонок...

Засвистели свистки соловьями, загудели сычами гудки, зафыркала трудно паровозная глотка, зачадила, задышала, лязгнули колеса по мерзлым рельсам, хрустнули на съеме, треснули вагоны, снялись со стоянки, покатились...

Кричали красноармейцы из вагонов, кричала и вослед бежала гибкая черная толпа. Потом вагоны пропали во тьме, и только можно было слышать, как вдалеке что-то ухало, скрежетало, все глубже, глубже уходило в черную ночь...

Понурые, унылые, со слезами, с горестной речью в полуночном январском холоду расходились со станции по домам ткачи.

...До Самары от Иваново-Вознесенска ехали что-то очень долго — не меньше двух недель. Но по тем временам и этот срок — кратчайший. Дорога мало затомила,— любы-до́роги новые места, крепит необычная обстановка, треплет смена впечатлений, тонкой, высокой струной звенит настроенье: острота новизны смывала серую скуку нудной езды, тоску стоянок в тупиках глухих полустанков. Что ни остановка — у эшелона бойкая работа. Весь долгий путь перемечен митингами, собраньями, заседаньями, самодельными лекциями, говорливыми беседами по кружкам охотников-слушателей. Отряд ткачей-большевиков — толковых, строгих до себя ребят — весь путь пробороздил глубоким и нежданным впечатленьем. По станциям, по захолустным полустанкам, по мелким городишкам, селам, деревням — мчалась в те дни неисчислимая «вольница», никем не учтенная, никем не организованная: разные отряды и отрядики, всякие «местные формированья», шальные, полутемные лица, шатавшиеся без цели и без толку из конца в конец необъятной России. И вся эта обильная орава кормилась за счет населения: неоплатная, скандальная, самоуправная. Буйству воля была широкая, некому было то буйство взять под уздцы: власть советская на местах по глуши не окрепла ядреным могуществом.

Остро в те дни ощутил человек, что мало иметь ему только пару светлых глаз, только два тончайших и чутких уха, две руки, готовых в работу, и голову одну на плечах, и сердце в груди одинокое. В те нечеловеческие дни тяжко было человеку.

Лучшие люди Советской страны уходили на фронт. Другие маялись в бессменной иссушающей маете тыла. Где ж было за всем присмотреть, все прослушать и все поделать, что делать надо! По зарослям глухих провинций, в непролазной пуще сермяжных углов что творилось в те смутные дни — никогда никто не узнает. Горе людское остановилось страданьем в серых озерах глаз. Безответная, шальная, разгульная вольница сшибала на скаку ростки советской жизни и уносилась, хмельная и бесшабашная.

Старого нет — и нового нет. Где же голову приклонит беззащитный человек? И кто распалил этот огненный вихрь?

— Ах, большевики? Так это ихняя бражная вольница не дает покоя, так это от них наше лютое горе?

Того не могли понять, что новая власть на разгульную вольницу только-только вила в те дни жгутовый аркан.

И все свое грузное горе, ржавую злобу свою выхлестнули сермяжные углы — на большевиков:

— Грабители! Насильщики! Поганое племя!

И вдруг теперь в отряде, в этой тысяче большевиков-

ткачей, увидели сермяжники, жители малых городков, увидели, попросту сказать, хороших людей, которые их внимательно, спокойно выслушивали, на все вопросы мирно отвечали, что надо, объясняли умно и просто, по своей воле не шарили амбары, не вспарывали подвалам животы, ничего не брали, а что брали — за то платили. И крестьяне дивовались. Было это ново. Было это странно. Было это любо. Иной раз к полустанку, где эшелоны задерживались сутками, сползались жители из дальних сел-деревень «послушать умного народу». Работа агитационная была проделана на ять,— она словно двери распахнула к той гигантской работе, что за годы гражданской войны развернули иваново-вознесенцы. И где их, бывало, где не встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа,— где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память — как песня сложена по бескрайным равнинам советской земли.

Вот ехали теперь на фронт и в студеных теплушках, в трескучем январском холоду — учились, работали, думали, думали, думали. Потому что знали: надо готовым быть ко всему. И надо уметь войну вести не только штыком, но и умным, свежим словом, здоровенной головой, знаньем, уменьем разом все понимать и другому так сказать, как надо. По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте — легкая, звонкая, красноперая:

Мы кузнецы — и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи,
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи,
стучи!!

И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространства. Как они пели — как пели они, ткачи! Не прошли им даром и для песни подпольные годы! То-то на фронте потом, в дивизии, не знал никто другого полка, как Иваново-Вознесенский, где так бы хранили песни борьбы и так бы их пели,— с такой простотой, с беспредельной любовью, с жарким чувством. Те песни гордостью и восторгом воспламеняли полки. Ах, песня, песня, что можешь ты сделать с сердцем человека!

...Чем ближе к Самаре, тем дешевле на станциях хлеб. Хлеб и все продукты. В голодном Иваново-Вознесенске, где месяцами не выдавали ни фунта, привыкли считать, что хлебная корочка — великий клад. И тут рабочие вдруг увидели, что хлеба вволю, что дело совсем не в бесхлебье, а в чем-то другом. И горько тут погоревали над общей безурядицей, над тем, что связь слаба у промышленных рабочих центров с хлебородными местами, и словно мстили теперь в хлебном обилье за годы голода — торопились наверстать несъеденные пуды. Уж, кажется, надо бы было поверить, что, продвигаясь в самарскую хлебную гущу, всего там встретят больше и все там будет дешевле. Ан, нет: не верилось,— голод отучил от такого легковерья. На каком-то полустанке, где хлеб показался особенно дешев и бел,— закупили по целому пуду. Как же упустить такой редкостный случай? А через день приехали на место и увидели, что там он белей и дешевле: растерянно улыбались, шептались, смущенные, не знали, куда подевать свои сохнувшие запасы.

Лишь только приехали в Самару и остановились где-то на «пятнадцатых» путях, у беса на куличках, где только ржавые груды рельсов да скелеты ломаных вагонов,— высыпали на полотно, скучились, загалдели, заторопили командира узнать поскорее судьбу:

— Куда, когда, на какое дело? Теперь ли тронут враз, али день-другой задержат в городе?

Все это можно было узнать только у Фрунзе. Фрунзе уже командовал 4-й армией. Он выехал из Иваново-Вознесенска несколько раньше самого отряда и теперь находился в Уральске, а здесь, в реввоенсовете, оставил записку на имя Федора. В этой записке указывал, чтобы Лопарь, Клычков, Терентий Бочкин и Андреев гнали немедленно к нему в Уральск, а отряд направится им вослед. Он в теплых, сердечных словах приветствовал земляков, коротко познакомил с обстановкой, указал, какая всем большая и трудная предстоит работа. Клычков прочел записку отрядникам. Бодрые слова любимого командира слушали с восторгом. Кто-то предложил отправить ему приветственную телеграмму.

— Отправить... телеграмму отправить!

— И сказать спасибо! — крикнул кто-то.

— Не то «спасибо»,— перебили голоса,— сказать, что приехали, что готовы на дело — куда какая помочь нужна! Во как!

— Правильно! Так и сказать: готовы-де на дело! И сказать, что все, как один, то есть в самом лучшем смысле!

— Айда, ребята, составляй телеграмму! Да здравствует Фрунзе, ура!

— Ура!.. Ура!.. Ура!..

Шапки, кепки, варяжские шлемы взметнулись над головами, закидались неладно в стороны, как галочья вспугнутая стая.

Федора в страстный жар кинул дружеский тон записки,— он ею потрясал смешно над головою, кричал, восторженный и наивный:

— Товарищи! Товарищи,— вот она, эта маленькая записка! Ее писал *командующий армией*, а разве не чувствуете вы, что писал ее равный, совсем и во всем нам равный человек? По этой товарищеской манере, по этому простому тону разве не чувствуете вы, как у нас от рядового бойца до командарма поистине один только шаг? Даже и шага-то нет, товарищи: оба сливаются в целое. Эти оба — одно лицо: и вождь и рядовой красноармеец! Вот в чем сила нашей армии,— в этом внутреннем единстве, в сплоченности, в солидарности,— в этом сила... Так за нашу армию! За наши победы!

И снова красноармейцы в неистовом восторге кидали шапки вверх, кричали «ура», выхлестывали радость и гордость, и готовность свою, словно камушки в буйном шторме с морских глубин на морские берега.

Дальше события заскакали белыми зайцами. Отряд получил приказ быстро собраться. В штаб армии вызвали командира и наказали, чтоб был с отрядом готов к выступленью.

Назначенной четверке из ревсовета напомнили:

— В Уральск уезжать немедленно!

Засуетились. Заторопились. Не успели как следует проститься с отрядниками. Да и верилось, что скоро свидятся в Уральске.

От реввоенсовета оттолкнулись две тройки: в первой сидели Федор с Андреевым, в задней — Лопарь и Терентий Бочкин.

Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной смешью кнут степной — и в снежный метельный порох легкие тройки пропали, как птицы.

II. СТЕПЬ

Морозно поутру в степи. Возницы накругло укутаны в бараньи лохматые тулупы. Спрятали их головы кудлатые вороты от дремлющих седоков.

— Лопарь, озяб? — ссутулился к нему иззябший Бочкин.

— Гвоздит... до селезенки! — прохрипел уныло Лопарь.— Остановка-то скоро али нет?

— Кто ее знает, спросить надо приятеля-то... Эй, друг,— ткнул он в рыжую овчинную тушу,— жилье-то скоро ли будет?

— Примерзли?

— Холодно, кум. Село-то скоро ли, спрашиваю?

— Верст семь, надо быть, а то... и двенадцать! — свеселил ездовой, не оборачивая головы.

— Так делом-то — сколько же?

— А столько же! — веселым зубоскальем хахакал возница.

— Как ты село-то называл?

— Ивантеевка будет.

— А с Ивантеевки до Пугачева — далеко?

— Да што же там останется?

Мужик деловито и строго скосил глаза, прикоченелый палец глубоко впустил в ноздрю. Помолчал минутку. Сообщил:

— Ничего, можно сказать, не останется: к Таволожке осьнатцать да от Таволожки двадцать две,— как есть к обеду на месте!

— А сам ты как — из Николаевки? — выщупывал Бочкин.

— Из нее, откуда ж ищо-то быть?

И в тоне мужичка послышалась словно обида. Какого, дескать, черта пустое брехать: раз в Николаевке брал седоков — известно, и сам оттуда.

— Ну, отчего ж, дядя? Может, и ивантеевский ты,— возразил было Бочкин.

— Держи туже — ивантеевский...

И дядя как-то насмешливо чмокнул и без надобности заворошил торопливо вожжами.

У мужичков такая сложилась тут обычка: привезет, например, какой-нибудь Карп Едреныч из Ивантеевки в Николаевку седока, а Едрен Карпычу из Николаевки в Ивантеевку уж дан наряд везти другого. Так он не везет, не делает лишнего конца, а передает седока Карпу, и тот на усталых лошадках ползет-ползет с ним бог весть сколько времени. Тот ему потом, дядето Карпу,— услуга за услугу. Дядям это очень удобно, а вот седокам — могила: какой-нибудь двадцативерстный перегонишко тянут коротким шажком четыре-пять часов. И это несмотря ни на какие исключительные пункты мандата:

«Сверхсрочно... Без очередей... Экстренное назначение...»

Все эти ужасные слова трогали Карпов Едренычей очень мало,— они ухмылялись в промерзлый ус, добродушно и медлительно сдирали сосульки с шершавой бороды, успокаивали волнливого седока:

— Прыток больно. А ты потерпи — помереть успеешь... милай!

Терентий слышал про эту обычку возницкую, вспомнил теперь и понял, отчего так сладко и хитро причмокнул дядя.

— Знаю, брат, на обмен нашего брата возите...

— А то нет! — оживился возница.— Знамо, на обмен,— все оно полегше идет...

— Ну, кому как...

— Никому никак, а всем полегше...— рассеял он Терентьевы сомненья.

— Вам-то, знаю, легче. Кто про то говорит,— согласился Бочкин.— А нам вот от этих порядков — чистая беда: на заморенных не больно прокатишь, протащимся целый день...

— Это у меня-то заморенные? — вдруг обиделся возница и круто обернул тулуп спинищей, молодецки вскинул вожжами, с гиком пустил коней, только снег завихрил, запушил в лицо.— Эй вы, черти! Фью, родимые... Ага-а-а... Недалеко уж... Ннн-о... соколики!

Мужичка не узнать: словно на гонках, распалился он над снежной пустынной степью.

И когда утолил обиду, поудержал разгорячившихся лошадок, повернул голову в высоком вороту, глухо заметил:

— Вот те и мореные!

— Лихо, брат, лихо,— порадовали его седоки.

— То-то, лихо,— согласился дядя и степенно добавил: — А что устамши бывают, на то причина — езда большая: свое справляй, наряды справляй,— дьявол, и тот устанет, не то што лошадь...

— А много, знать, нарядов? — полюбопытствовал Лопарь.

— Мало ли нарядов,— живо отозвался мужичок.— Тут шатается народу взад-вперед — только давай... И чего это мечутся, сатаны, диву я даюсь: толь и шмыгают, толь и шмыгают, а все лошадей! И кому задержал — тыкву дать норовит!

— Так уж и тыкву? — усомнился Лопарь.

— А то што,— аль пожалишься кому?

— Врать-то вы больно, мужики, горазды,— сказал он серьезно вознице.

— Ну, сам соври получше,— чуть обиделся дядя, трудно повертываясь на облучке.

— Черт те знает што! — в раж входил Лопарь.— Выдумает себе вот человек какую-нибудь историю, да и верит в нее... Верит тебе и верит,— что ты станешь делать?

— Да... историю...— бурчал недовольный кучерило, разобиженный тем, что так круто и недоброжелательно вдруг повернут был разговор.

— Били тебя самого-то когда? — спросил Лопарь.

— А нешто не били? Один такой вот, как ты, шашкой зубанул, сукин сын. Ладно тулуп-то крепок, а то бы до самой кишки секанул...

— Чего он, пьян, што ли, был, дурак?

— А видно, што пьян...

— Ну, с пьяного и спрашивать нечего,— будто невзначай уронил Лопарь слова.

— Так я и не спрашиваю...

Терентию захотелось разузнать, как тут дела с Советами,— крепки ли они, успешно ли работают. Он перебил уклончивую речь возницы и стал задавать другие вопросы, но и здесь услышал ту же невязку, недоговорку, уклончивость в ответах, словно мужичок чего-то опасался.

— А пущай... всего бывает... Чего же нам теперь...— получал Терентий завитушки слов вместо серьезных и ясных ответов.

— Да не поймешь ничего, говори яснее,— не выдержал и раздражился Лопарь.

— Недогадлив больно, паренек. А ты подумай,— може, и догадаешься...

— Нет, подожди ты, подожди,— остановил Терентий Лопаря, опасаясь, что тот сорвет беседу.— Что Совет-то, спрашиваю, хорош тут али не больно: делом ли занимастся?

— А чего ему не делать-то, известно... Наряды вот Горшков только неправильно...

— Неправильно? — И Лопарь на живое слово кинулся, как кошка на мясо.

— Так я што ж: тестя небось кажин раз норовит обойти, а нашему брату, знай, подсыпает, когда и очередев-то нету никаких.

— А ты жаловался бы,— подсказал Терентий.— В Совет иди, докажи, расскажи: ему, негодяю, живо усы-то подкрутят.

— Да, подкрутят,— упадочным голосом сглушил мужичок и безнадежно прихлопнул по крупу вожжами,— того гляди, подкрутят: сам как раз и угодишь, куда не надо...

— Ну, что это чушь-то молотишь? — осердился снова Лопарь.

— Не молотишь, а так точно навсегда,— сокрушенным голоском сказал возница, и голова у него, словно у мертвой птички, свесилась на сторону.

— Случаи были? — крепко и прямо, словно следователь, спросил Терентий.

— То-то и дело, были...

— Ну, и что же?

— Ну, и ничего же,— повел мужичок заиндевелыми губами.— Было, да и не было. «Жил да помер до сроку — всего и проку».

— А молчали што? — вгрызался Лопарь.

— Да так и молчали, чтоб тише было...— невозмутимо и

тонко пояснял хитроватый мужичок.— Как помолчишь — оно само отходит...

— Шутка шуткой,— отсек Лопарь,— а того...— И, словно спохватившись, прибавил добродушно: — Да, впрочем, убыток ли еще тебе ехать-то, дядя? В Советах вон бумажки висят везде: «Едешь — плати, што берешь — опять за все плати». Читал? Видал сам-то?

— Видал... пущай висит...

Лопарь плюнул досадно, уткнулся глубоко в потный ворот, смолк,— он привык разговаривать в городе, с рабочими, в открытую, совсем по-иному, а так не умел: уклончивые, невнятные, хитрецкие ответы раздражали его не на шутку. Во весь путь до Ивантеевки он не сказал больше ни слова, а терпеливый Терентий Бочкин еще долго-долго в потоке фальшивых и туманных мужичьих слов вылавливал, будто драгоценные жемчужинки, отдельные мелкие факты, редкие мысли и соображения, которыми оговаривался словоохотливый хитрый мужичок.

В санях у Федора и Андреева шел совсем иной разговор:

— Ты сам был, Гриша, у него в отряде? — спрашивал Федор парня.

— Так и ногу с ним навредил,— ткнул Гриша пальцем в сиденье.— Все лето по степям из конца в другой гоняли: они за нами охотют, а мы норовим, как бы их обмануть... *Чеха* — этот дурак, а вот *казару* не обманешь: сам здесь вырос — чего от его ждать?

Гриша, откинув ворот, боком сидел на облучке, и Федору было отчетливо видно его загорелое, багровое лицо: мужественное, открытое, простое. Особо характерно и крепко ложилась его верхняя губа, когда после волнующей речи опускал он ее, притискивая и покрывая нижнюю. Расплюснутый, широкий нос, серые густые глаза, низкий лоб в маслянистых морщинах,— ну, лицо как лицо: ничего примечательного! А в то же время сила в нем чувствовалась ядреная, *коренная*, настоящая. Грише было всего двадцать два года, а, по лицу глядя, вы дали бы ему и тридцать пять: труды батрацкой жизни и страданья с оторванной в бою левой ногой положили неизгладимые печати.

— Ну, и что, *он* молодой? — любопытствовал Федор, продолжая начатый раньше разговор.

— Да, молодой совсем: тридцати годов, надо быть, нету...

— Из здешних, што ли,— казак?

— Какой казак... От Пугачева тут деревня будет Вязовка — в ней, надо быть, и жил. А другие говорят — в Балакове жил, только приехал сюда. Кто их разберет...

— Из себя-то как? — жадно выпытывал Федор, и видно было по взволнованному лицу, как его забрал разговор, как он боится пропустить каждое слово.

— Да ведь што же сказать? Однем словом — герой! — как бы про себя рассуждал Гриша.— Сидишь, положим, на возу, а ребята сдалька завидят: «Чапаев идет, Чапаев идет...» Так уж на дню его, кажись, десять раз видишь, а все охота посмотреть: такой, брат, человек! И поползешь это с возу-то, глядишь — словно будто на чудо какое. А он усы, идет, сюда да туда расправляет,— любил усы-то, все расчесывался...

«Сидишь?» — говорит.

«Сижу, мол, товарищ Чапаев...»

«Ну, сиди»,— и пройдет. Больше и слов от него никаких не надо, а сказал — и будто радость тебе делается новая. Вот што значит *настоящий* он человек!

— Ну, и герой... Действительно, герой? — щупал Федор.

— Так кто про это говорит,— значительно мотнул головою Гриша.— Он уж как ведь спешил, к примеру, на Иващенковский завод? Уж как же ему и охота была рабочих спасти: не удалось, не подоспел ко времю.

— Не успел? — вздрогнул Андреев.

— Не успел,— повторил со вздохом Гриша.— И не успел-то малость самую. А што уж крови за это рабочей там было — н-ну!..

Гриша только махнул рукой и опрокинул тяжелую голову...

В грусти промолчали целую минуту. Потом Гриша тише обычного сказал:

— По-разному говорят, только уж самое малое, коли две тысячи считать. Так их между корпусами рядами-то и выложили, весь двор завален был — и женщины там, и ребятишки, ну, и старухи которые — однем словом скажу: всех без разбору. От как, сволочь...

Он слышно скрежетнул зубами и дернул за вялые вожжи.

— Видел сам-то? — пытал его Федор.

— Как не видать... Да уж и говорить бы не надобно... Што же тут видеть: кровь да мясо в грязной земле... Без разбору, подлецы, так на очередь и секли...

— Ну, а он-то как, сам Чапаев?

— Чего же ему оставалось? Во гнев вошел, и глаза блестят, и сам дрожит, как конь во скаку. Шашку с размаху о камень полоснул. «Много будет,— говорит,— крови за эту кровь пролито! И вовеки не забудем, и возьмем свое!..»

— И взял? — серьезно спросил Андреев.

— Да как еще взял! — быстро ответил Гриша.— Он, словно чумной, кидался по степи, пленных брать не приказал ни

казачишка. «Всех,— говорит,— кончать подлецов: Иващенкин завод не позабуду!»

И опять помолчали. Клычков опрашивал дальше охотливого Гришу:

— А что ж, Гриша, у него за народ был, бойцы-то: откуда они?

— Так здешние, кому ж идти? Наш брат пошел, батрак, да победнее который... бурлаки опять же были, эти даже первее нас пошли...

— Што же, полк, што ли, чего у вас было?

— Да, был и полк, когда в Пугачах стоял, а потом все больше отрядом звали,— он и сам, Чапаев, полком-то не любил прозывать: отряд, говорит, да отряд, это больше к делу идет...

— Н-да... Отряд... Ну, а раненые с отряда, убитые у вас — их-то куда девали?

— Девали,— раздумчиво протянул Гриша, собираясь с мыслями.— Всяко девали: то не успеешь подобрать, этих казара докалывала,— небось не оставит. А кого заберешь,— по деревням совали: тут у нас везде народ свой. И здесь вот бывали, и в Таволожке. Да где не было — везде было...

— А лечили как?

— Тут и лечили, только лекарств, надо быть, не было никаких, а чем бабушка вздумает, тем и помогает... Коли другой в город сноровит — этому еще туда-сюда, а здесь-то, по деревням — эге, как залечивали!.. Ну, и где же ей, бабе темной, ногу закрыть, коли от ноги этой жилочки только болтаются да кости крошеные в погремушки хрустят... Какой тут баба лекарь человеку?

— А были такие? — с дрожью в голосе справился Федор.

— Отчего же не быть: на то война!

— Вот правильно! — брякнул неожиданно Андреев, все время сидевший молча, глубоко в тулуп укутав голову, словно злой на кого али чем недовольный.— Верно говоришь! — повторил он с силой и дружески хлопнул Гришу по тулупине.

— Ну, известно,— смахнул тот весело рукой.— Всего бывало!

— Гриша,— перебил Федор,— Гриша, а питались по деревням же?

— По деревням...— осанисто ответил парень, видимо очень довольный, что так им интересуются.— С собой возили мы мало,— и где его возить, куда девать было? Тут все по деревням: они придут — они берут, мы придем — опять берем. Деревне «кругом пятнадцать» выходило, куда ни поверни!

— Да, тяжеленько было,— вздохнул и Клычков.

— Всем тяжело было... А нам разве легко? — подхватил Гришуха, словно боясь, что его поймут неправильно.

К стр. 24

— Конечно, не легко,— торопливо поддакнул Федор.

— То-то и оно,— успокоился Гриша.— Всяко было! Мало ли што,— откажутся там иной раз хлеба, к примеру, дать овса ли лошадям аль и лошадей сменить, коли своих невмоготу уморим: надо было... Раз надо, значит, давай — разговор короткий. И, думаю я, одинаково тут выходило,— што у нас, што у *них*... Чего выхваляться, будто очень все-де красиво загибалось? И некрасиво бывало... Ты целые сутки не жрамши, скажем, да с походу, а тут хлеба куска не дают,— где же она, красота-то, уляжется? Перво-наперво словом: дай, мол, жрать хотим. А он тебе кукиш кажет. Дак в улыбку, што ли, с ним играть? Ну, тут под арест кого, а что пузо потолще — и в морду заедешь, где с ним рассусоливать...

— Били? — затаил дыхание Клычков.

— Били! — ответил просто и твердо Гриша.— Все били, на то война.

— Молодец, Гришуха! — снова и весело сорвался Андреев.

Андреев любил эту чистую, незамазанную, грубоватую правду.

— А меня не били? — обернулся Гриша.— Тоже били... да сам Чапаев единожды саданул. Что будешь делать, коли надо?

— Как Чапаев, за што? — встрепенулся Федор, услышав (в который раз!) это магическое, удивительное имя.

— А я на карауле, видишь ли, стоял,— докладывал Гриша,— что вот за Пугачами, вовсе близко, станция какая-то тут... забыл ее звать. Стою, братец, стою, а надоело... Што ты, мать твою так, думаю, за паршивое дело это — на карауле стоять. Тоска, одним словом, заела. А у самого вокзала березки стоят, и на березках галок — гляжу — видимо-невидимо: га-га-га... Ишь раскричались! Пахну вот, не больно, мол, гакать станете! Спервоначалу-то подумал смешком, а там и на самом деле: кто, дескать, тут увидит,— мало ли народу стреляет по разным надобностям. Прицелился в кучу-то: бах, бах, бах... Да весь пяток и выпалил сгоряча... Которых убил — попадали сверху, за сучки это крылышками-то, помню, все задевали да трепыхались перед смертью. А што их было — тучами так и поднялись... поднялись да и загалдели ядреным матом. Кто его знал, что *он* у коменданта сидит, Чапаев-то. Выходит — туча тучей.

«Ты стрелял?»

«Нет,— говорю,— не стрелял: не я!»

«А кто же галок-то поднял, хрен гороховый?»

«Так, видно, сами,— говорю,— полетели!»

«А ну, покажи!» — и хвать за винтовку. За винтовку хвать — а она пустая.

«Што? — говорит.— А патроны где,— говорит,— возьмешь, сукин сын? Казаков чем будешь бить, колода? Галка тебе страшнее казака? У, ч-черт!» — Да как двинет прикладом в бок!

Молчу, чего ему сказать? Спохватился, да поздно, а надо бы по-иному мне: как норовил это за винтовку, а мне бы отдернуть: не подходи, мол, застрелю: на карауле нельзя винтовку щупать! Он бы туда-сюда, а не давать, да штык ему еще в живот нацелить: любил, все бы простил разом...

— Любил? — прищурился любопытный Федор.

— И как любил: чем его крепче огорошишь, тем ласковее. Навсегда уважал твердого человека, что бы он ему ни сделал. «Молодец,— говорит,— коли дух имеешь смелый...» Ну, а где же все перескажешь? А вот она и Вантеевка,— обрадовался Гриша, пересел, как подобает вознице, ударил звучно вожжами, сладко чмокнул, присвистнул и уж так беспокоился вплоть до самого села. Только раз обернулся:

— На Совет подвозить-то?

— Да, да, к Совету, Гриша.

— А то к Парфенычу бы, он вот про Чапаева расскажет...

— Кто это, Парфеныч-то?

— А из наших, в отряде же был раньше меня. Да руку ему оборвало напрочь,— с тем и воротился...

— Здешний житель?

— Здешний, ну бесхозяйный же теперь — все начисто испортили казаки: избу разорили, амбары сожгли, как есть нагишом мужика оставили... Поправил, да плохо.

— Укажи, проезжать-то будем,— на всякий случай напомнил Федор.

— Укажу...

Въехали в Ивантеевку — большое, просторное село с широко укатанными серебряными улицами. Малую деревеньку зима оберет в берлогу — засыплет, закроет, снегами заметет. А большому селу зимой только и покрасоваться. Гриша поддал ходу и мчал для форсу на легкой рыси. В одну избушку ткнул пальцем — это была Парфенычева изба. На другую показал, обернулся быстро, щелканул молча себя по шее, ухмыльнулся: надо было, видимо, понимать, что в этой гонят самогонку. Подкатили к Совету; он, по общему правилу, на главной площади, в доме бывшего правления. Выползли из саней, ступали робко на занемелые ноги, сбросили оснеженные, заиндевелые тулупы, зацепили под мышку и в руки свои корзиночки и узелки (жалкий скарбик: у каждого весом полпуда!), по ступенькам поднялись в помещение Совета.

Совет как Совет: просторный, нескладный, неприютный, грязный и скучный. Еще рано, в городе теперь еще никого

не найдешь по учреждениям, а тут, гляди-ка, что народу наползло! И чего только они с этаких позаранок делать хотят? Притулившись к коричневой сальной стене, вертят цигарки, махорят, прованивают и без того несносный, кислый воздух; жмутся по окнам, выцарапывают разное на обледенелых стеклах, похлопывают с холодку рука об руку, отогреваются, вяло и будто невзначай перекидываются скучными фразами... Видно, что многие, большинство,— может быть, все — толпятся без дела: некуда деться, нечего делать — так и сползлись.

Увидя вошедших, повернулись в их сторону, осмотрели, высказали разные соображения насчет мороза, усталости, направления и цели поездки приехавших, трудности самой езды, молвили про недохватки ячменя и овса, про то, что будет сегодня буран непременно и ехать невозможно «ни в каких смыслах».

— Здорово, товарищи,— обратился Лопарь, задержавшийся чего-то на воле и входивший теперь последним.

— Здравствуйте,— промычало несколько голосов.

— Председателя бы повидать...

— А вот сюда,— и указали на комнатку в стороне, за отгородкой.

Лопарь всю дорогу играл роль представителя едущей четверки, вел переговоры, получал лошадей, узнавал, где можно остановиться, перекусить. И прочее, и прочее.

Андреев тулупа не снял, подвинул бесцеремонно на подоконнике сидевшего мужичка, закурил, молча дал закурить и тому. Терентий уж вклинился в толпу и вел разговоры, расспрашивал, сколько живет на селе народу, как дела разные идут, как Совет работает, довольны ли Советской властью,— словом, с места в карьер.

Федор полон был рассказами Гриши. Перед ним стояла неотвязно, волновала, мучила и радовала сказочная фигура Чапаева, степного атамана.

«Это несомненный народный герой,— рассуждал он с собою,— герой из лагеря вольницы — Емельяна Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича... Те в свое время свои дела делали, а этому другое время дано — он и дела творит не те. По рассказам Гриши можно заключить, что у него, у Чапаева, удаль и молодечество — главные в характере черты. Он больше именно *герой*, чем борец, больше страстный любитель приключений, чем сознательный революционер. В нем преобладают, по-видимому, и возбуждены до чрезмерности элементы беспокойства, жажды к смене впечатлений. Но какая это оригинальная личность на фоне крестьянского повстанчества, какая самобытная, яркая, колоритная фигура!»

Федор узнал от мужичков, где пройти к Парфенычу, и, когда Лопарь после разговоров с председателем Совета повел компанию чаевничать, Федор с ними не пошел, объяснил свою охоту и направился по указанному адресу.

Часа через полтора уезжали из Ивантеевки. Федор сидел молчалив и мрачен: Парфеныча не застал, тот уехал накануне в Пугачев. Андреев задал ему пару-другую вопросов, хотел вызвать на разговор, но, увидев, что не клеится ничего, умолк. Терентий с Лопарем сидели-сидели, надумали песни петь. Дуэт был примечательный: Лопарь не пел, а только всхрипывал, Терентий визжал дичайшей фистулой. Получалось нечто жуткое, путаное и резкое. Когда очень уж надоели, Андреев крикнул им из передней повозки, чтобы перестали выть. Ребята, видимо согласившись, смолкли. Продремали до самой Таволожки. А приехав, не стали ждать нисколько, заказали лошадей, тронули на Пугачев.

Уже при выезде из Таволожки мужики-возницы посматривали косо на черные сочные облака, дымившие по омраченному небу. Ветер дул резкий и неопределенный: он рвал без направленья, со всех сторон, словно атаковал невидного врага, кидался на него, как пес цепной, впивался, рвал остервенело, но каждый раз могучейшим пинком отшвыривался вспять. И снова кидался — и снова отскакивал, озленный, с визгом, с лаем, с гневным судорожным воем. По земле кружились, мчались и вертелись снежные вихрастые воронки: пути забило, наглухо запорошило снегом. Опускались и быстро густели буранные сумерки. Все настойчивее, крепче и резче ударял по бокам стервенеющий ветер, все чернее небо, круче и быстрей взвиваются снежные хлопья, мечутся в вихре иглами, льдинками, комьями прямо в лицо.

Как в норы кроты — глубоко в тулупы зарылись седоки. Чуть выглядывают возницы. От встречного ветра заходится дыханье, жгучим морозом опаляет лицо. Долго ехали — и чем дальше, тем пуще, вольней размахивался бешеный степной буран. Когда дорога пошла лощиной, по оврагу, на высоком берегу которого тянулся тощий кустарник,— тут как будто стало потише; но лишь выбрались вновь на равнину — тут буран бушевал, как буйный хозяин в пьяном пиру: все, мол, мое, и что искалечу, за то ответ не держу! Хмельно, весело, грозно было в буранной степи.

До Пугачева оставалось верст десяток. Навстречу колыхались караваны верблюдов, попадались отдельные ездовые,— верно, многие из них не доехали в этот раз до родных халуп:

то вовсе погибли, то пролежали ночь в снегу; этих отрыли только наутро и кое-как отходили от смерти.

«Такого бурана,— рассказывали степняки,— не было уж много лет. Не иначе,— говорили,— бог послал его в наказанье за холодные молитвы, за то, что храмы божии народ забвенью отдает».

Говорили,— но уже видно было, что слова эти — пустые слова, одна *фраза*, ходячая и обычная, говорят же ее мужички больше для христианской вежливости, а сами ни на грош не верят тому, что говорят.

От бурана и на станцию посбилось народу изрядно. Когда подъехали ездоки наши и снежными комьями вывалились из саней — тут уж не отсылали одного разведчика Лопаря, а направились кто к станционному начальству, кто к коменданту, а милого Терешу наладили по вьюжным путям искать составы, которые норовят идти на Уральск. Это «разделение труда» было вызвано тем, что за время езды до Самары ребята стократ убедились, как, сознательно и бессознательно, мастерски обманывают железнодорожные заправилы по части отправки поездов: если скажут, бывало, что состав идет «через час»,— это уж, будь покоен, до завтрашнего дня не тронешься с места, а коли скажут «только наутро» — так и жди, что проскочит перед носом.

Долго ли, коротко ли искали,— наконец обрели вагонишко, в котором как раз до Уральска снарядилась группа политических работников. Дотолковались, изъяснились, вгрузились с вещишками. Но много еще пришлось помытариться, прежде чем добрались до Уральска: под Ершовом занесло пути,— вылезали, расчищали сугробы снегов, побранивались с комендантами, правдой и неправдой добывали дрова, согревали промерзлый гробик. Ползли медленно и тошно. Только что заехали за Ершов, случилось неладное с паровозом — опять возня, опять высадка, долгое нервное ожидание. Потом с буксами не заладилось — и тут приостановка, опять заботы, хлопоты, подорожные ремонты, все новые,— новые тревоги. От Пугачева до Уральска ехали целых два дня, а тут и пути-то — рукой подать!

III. УРАЛЬСК

В Уральске со станции позвонили. От коменданта прислали двое розвальней, погрузились ребята со скарбишком, поехали в Центральную гостиницу. Холод в гостинице необычайный, в номерах и сыро, и грязно, и голо: не на что сесть, не

на чем лечь, не знаешь, куда что положить. Кое-как, однако ж, приладились, осмотрелись, закрепили за собой номерок,— так вчетвером в одну комнату и вобрались: не хотелось дружкам разбиваться. После того как с морозу оглушили пару самоваров подряд,— бродили по городу, не знали, куда девать свободное время. Еще на станции узнали они, что Фрунзе утром уехал ближе к позиции — руководить открывшимся наступленьем. В это время ближние позиции находились от Уральска всего в двадцати верстах, и надо было торопиться отогнать неприятеля возможно дальше. Впрочем, эти первые бои для нас не были особенно удачны, и отогнать казаков удалось не теперь, а только позже,— когда разработан был и более широкий и более осторожный план общего наступления разом с нескольких сторон: не только от Уральска, но еще и со стороны Александрова-Гая на станицу Сломихинскую и через нее вперерез большому пути — Уральск — Лбищенск — Гурьев, пути, по которому должны были гнать казаков красные части, наступавшие с севера.

Но об этом потом, потом; всему свое время,— к страдному пути от Уральска на Гурьев придется вернуться не раз.

У друзей наших были особые привычки, даже как бы специальности. Например, Терентий Бочкин очень любил писать письма, и почти всегда в этих письмах преобладали у него сведения хозяйственного порядка: разузнает непременно — где, что и почем, все это запомнит, опишет, сравнит...

Клычков — этот вел исправно дневник. В любой обстановке и при любых условиях изловчался и записывал самое важное. Не в книжечку, так на листках, иной раз отмечая на ходу, пристроившись к забору,— но уж все занесет непременно. Приятели над ним обычно подсмеивались, не видя в том ни толку, ни проку.

— И чего ты, Федька, бумагу-то портишь? — скажет, бывало, Андреев.— Охота ж тебе каждую ересь писать? Да мало ли кто что сделал, кто сказал — разве все захватишь? А уж писать, так надо *все*, понял? Частицу писать не имеет смыслу, один даже вред получится, потому как в обман людей введешь...

— Нет, Андреич, ошибаешься,— разъяснял ему Федор.— Частицу я усмотрю, да другой, третий, десятый... сложишь их — и дело получится, история пойдет...

— Так ты ведь там, черт, выдумываешь, поди, разную дребедень... какая история? — сомневался Андреев.

— Я же знаю, что к чему,— упорствовал Федор, испытывая острую неловкость от этого бесцеремонного напористого приставанья.

— Что ты знаешь? ничего не знаешь,— осаживал Андреев,— пустяками занимаешься.

Клычков на эту тему говорить не любил и, зная андреевскую несговорчивость, умолкал, на некоторые вопросы не отвечал вовсе и тем прекращал разговор.

Писал он в дневник свой обычно то, что никак не попадало на столбцы газет или отражалось там жалчайшим образом. Для чего писал — не знал и сам: так, по естественной какой-то, по органической потребности, не отдавая себя ясного отчета. Специальность у Андреева была иная — распознавать все дела по рабочему фронту; сюда его тянуло так же, как Терентия к письму или Федора Клычкова к своему дневнику. Андреев, может быть, даже и против воли, инстинктом, всем, с кем заново и в новом месте толковал, начинал задавать совершенно особые вопросы: есть ли фабрики, давно ли построены, хорошо ли работают, почему и давно ли остановились, сколько рабочих, каковы качеством, сознательны ли, чем, когда и как себя проявили и т. д. и т. д. Так и видно было рабочего, которого тянет в родную среду, к родным вопросам, нуждам и заботам. Он интересовался также общим положением, главным образом — богатством местности, населением, его составом и степенью надежности; впрочем, этими вопросами едва ли не в равной мере интересовались все четверо.

Лопарь был *спецом* по военным делам: моментально распознавал, что за воинские части стоят поблизости, какие полки лучше, какие — хуже, что делается по политической работе с красноармейцами, много ли коммунистов, как они себя ведут, что вообще за положение на фронте и т. д. и т. д.

Эти специальности определились отчасти уже и в пути, но главным образом — позже, когда все четверо втянулись в настоящую работу. У одних поле наблюдений сузилось, как, например, у Андреева (рабочие центры попадались не часто), у других, как у Лопаря, расширилось; но с этих же первых дней всем было видно одно: военные дела и интересы захватывали полней и полней, все решительней отодвигали на задний план всякую иную жизнь и иные интересы, пока их не поглотили целиком.

Исколесили город вдоль и поперек. Обстановка новая, удивительная, совершенно особенная. Только и видны серые солдатские шинели, винтовки, штыки, пушки, военные повозки,— настоящий вооруженный лагерь. По улицам проходят красноармейцы колоннами, проходят, суетятся: спешат во все стороны одиночками, скачут кавалеристы, катятся медленно орудия, величественно проплывают к позициям навьюченные караваны

верблюдов. Кругом пальба, неумолчная, ненужная, разгульная, чуть-чуть притихающая к ночи: одни «прочищают дуло», другие стреляют «дичь», у третьих «сорвалось случайно». Один военный специалист, высчитывая по секундам и минутам среднее количество этих шальных выстрелов, определил, что понапрасну в день растрачивается глупой этой стрельбой от двух до трех миллионов патронов. Верен ли расчет — сказать трудно, но стрельба была воистину бессовестная. Тогда еще не было в тех, в степных войсках, о которых идет речь, сознательной, железной дисциплины, не было кадров сознательных большевиков по полкам, способных сразу полки эти преобразить, дать им новый облик, новую форму, новый тон. Это пришло потом, а в начале 1919 года под Уральском бились — и лихо бились, отлично, геройски бились — почти сплошь крестьянские полки, где или не было вовсе коммунистов, или было очень мало, да и то из них половина «липовых». В этих полках имела успех агитация, будто коммунисты — жандармы и насильники, будто пришли они из города насильно вводить свою «коммунию»...

Нередко в полках и так говорили, что «большевики-де — это товарищи и братья, а вот коммунисты — лютые враги»... Через два дня по приезде Клычкову пришлось даже публично кроить доклад на эту нелепейшую тему: «Какая разница между большевиками и коммунистами».

Впрочем, уж очень-то удивляться не стоит, ибо тема о большевиках и коммунистах обскочила едва ли не всю республику, особенно же остро она «дебатировалась» по окраинам: на Кавказе, на Украине, на Урале, в Туркестане и попала даже в Грузию.

Насколько сложное было тогда положенье в полках, можно судить уже по одному тому, что благороднейший из революционеров, умный и тактичный Линдов, а с ним и целая артель большевиков — пали от руки своих же «красноармейцев».

Когда через несколько дней прибыл в Уральск иваново-вознесенский отряд в своих типичных «варяжских» шлемах с огромными красными звездами во лбу, когда он взял охрану города, по ткачам из-за углов открывалась хищная пальба: стреляли красноармейцы «вольных» крестьянских полков, у которых приехавшие ткачи отнимали и урезывали их бесшабашную «волю». Впрочем, уж очень скоро, как только эти полки увидели, на что способны ткачи в бою, как они стойко и мужественно бьются,— предубеждение разом пропало, выросли иные, дружеские отношенья.

В самом Уральске коммунистов было немного: одни погибли в боях, других увели казаки, часть была еще раньше разогнана и распугана, часть осталась в строю. Работу больше вели при-

езжие большевики. Центральной фигурой был горняк — рабочий по кличке «Фугас» — благороднейшая личность, любимый товарищ, испытанный боец[1]. В противоположность ему и всегда вместе с ним состязался и упоминался некто Пулеметкин, паршивенький интеллигентик, политический франт и позер, тоже коммунист, но из тех, которые по личной линии заслуживают искреннюю, острую неприязнь. Пулеметкин обнажался как честолюбивый бахвалишка, пустомеля и фразер, выскакивающий всюду напоказ и стремящийся у всех завоевать популярность. Приезжая четверка раскусила живо «группировки» около Пулеметкина и Фугаса, примкнула к Фугасу и через несколько дней тесно с ним подружила.

Когда, утомленные ходьбой, воротились теперь в свою нетопленную каморку и Терентий наполовину закончил традиционное письмо, сообщив, что «солянка с хлебом 5 рублей... черная икра за фунт 23...» — из штаба прислали вестового, сообщили, что Фрунзе воротился. Ребята мигом на ноги — и айда. Пришли, но и тут все странно, все по-новому, необычайно: их даже не пропустили сразу, а пошли доложить. Кому? Михаилу Васильевичу, с которым они так коротко знакомы, с которым работали так тесно, так просто, по-товарищески обвыкли. Да не сон ли это? Какой черт сон: перед носом часовой стоит со штыком! Он смотрит вовсе не дружелюбно на приехавших молодцов, что пытались так бесцеремонно и самоуверенно проломиться в двери к командующему. Потолкались минутку в коридоре, чувствовали себя неловко, старались не смотреть один другому в глаза.

— Проходите,— позвал кто-то.

Вошли. Встреча была радушнейшая, простецкая, задушевно-товарищеская. Они почувствовали, что перед ними все тот же простой, доступный, всегда такой милый товарищ. Понемногу оправились от первой неловкости, а тут опять — новости. Около Фрунзе сидят военспецы — не какие-нибудь там «окунишки», а «лещи» настоящие: полковники бывшие, генералы... И все-то они норовят сказать ему «так точно» да «никак нет», все-то изгибаются, ловят на лету слова. Ребята понимают, что «дисциплина», что по-иному, быть может, и нельзя, но сами в тон попасть никак не могут: командующего чуть не «Мишей» зовут, не в лад с ним речи ведут, будто где-то у себя в партийном комитете... Полковники слушают недоуменно, смотрят растерянно, неловко улыбаются и настораживаются еще больше, как бы за компанию с приехавшими хлопцами самим не сорваться с нарезу, не нарушить субординацию. Так тут два

[1] У живых — имена чужие, у погибших — свои. (Здесь и далее примечания автора.— *Ред.*)

лагеря и осталось до конца беседы: в одном — приехавшие хлопцы, а в другом — военные спецы. Фрунзе сообщил, какая обстановка сложилась на фронте, чего можно ждать, что целесообразней теперь предпринять на близкое время. Ребята добродушно хлопали ушами, тщетно силились упомнить все, понять и представить пояснее: ничего не получалось. Во-первых, не знали карты, и потому станицы и укрепленные пункты были для них пустым звуком; с другой стороны, понятия вроде «стратегия», «тактика», «маневренность» и прочие — усваивались только в общем, а ясно не укладывались в сознании.

Скоро спецы ушли, осталась свойская компания. Тут «музыка пошла не та»: планы расшифровывались подробно и откровенно. Федор посматривал сбоку на Фрунзе и недоумевал — откуда у него эта ясность понимания в военном деле, отчего он так верно все схватывает и ни перед какими вопросами не встает в тупик? Ему все понятно, он тут совершенно легко разбирается, все учитывает, предвидит,— что за черт! А ведь давно ли был гражданской *шляпой?* Уже в те дни, на первых порах командования Фрунзе сказались в нем четко эти особенности, его характерные черты: легкость, быстрота, полнота и ясность понимания, способность к своевременному и тщательному анализу и всестороннему учету, уверенный подход к решению задачи и вера, колоссальная вера в успех, вера не пустая — обоснованная.

Сидели — гуторили. Вспомянули родной Иваново-Вознесенск, общих товарищей, недавнюю работу. Разошлись только за полночь, а наутро Фрунзе срочно выехал в Самару, сказав, что назначенья пришлет оттуда, а до получения, дескать, придется побыть здесь, в Уральске, поработать в комитете партии. Эта случайная партийная работа заняла целых восемь дней, пока всех четверых не распределили по армии.

Меж собой толковали:

— Поизменился... Михайла-то Васильич.

— Надо бы... Работищи-то — пропасть...

— И пожелтел, осунулся, сердешный...

— Прозеленеешь, не то что... Вон они, части-то здесь — орава буйная, мало ли возни с ними будет? Приказали, говорят, уж не впервой окончить пальбу, а что вышло, ну-ка, послушай!

И ухом припали к окнам: за окнами ухала и звенела бесшабашная стрельба.

— Анархия, черт ее дери! — буркнул сердито Андреев, потом помолчал и уверенно, спокойно пробасил: — Не то ломали — все перекроим...

...Подступили торжества 23 февраля — годовщина Красной Армии. Шевеление началось, как это водится, издавна, а работа, действительная организация праздника проведена была и оформлена за три-четыре последних дня. Дотошному Лопарю уже на другой день по приезде было известно, что партийная организация из рук вон слаба, что с празднеством возиться, в сущности, некому, и оно, пожалуй, прогорит, если не вмешаться кому-то активно, не взять дело в одни, в верные руки. Ревком сообщил Лопарю, что делом ведает партийный комитет; а пришел туда — отсылают обратно в ревком, ссылаются на какую-то несуществующую комиссию. По настоянию Лопаря быстро назначили собрание, пригласили рабочих представителей, но от ревкома опять-таки не явился никто. Лопарь решил действовать на свой страх и риск, объявил собрание действительным и правомочным, сообщил коротко о предстоящем торжестве и о невозможности дальнейшего промедленья с его организацией, предложил избрать деловой исполнительный орган. В этот орган его избрали председателем, Андреева — секретарем. Дело стронулось с мертвой точки. Город разбили на районы, определили места, где будут собранья, открытые массовые митинги, лекции на тему дня, кто и где будет выступать, как использовать театр, кинематограф, оркестры... Снеслись с профессиональными союзами, вызвали оттуда рабочих, работниц,— одним поручили возиться с устройством трибун, других притянули к работе по листовкам, плакатам, очередному номеру «Яицкой правды»; женщинам-работницам вверили детей, которым предполагалось в этот день улучшенное питание, театры, кинематографы. В три дня все было готово. 23-го ранним утром на главную площадь стягивались со всех концов колонны рабочих — они собирались по профсоюзам. Они выстраивались рядами около трибун, в середину пропустили воинские части, к тому дню слегка подчищенные и пододетые. Площадь полна народу. Речи... все речи и речи. Лучше всех, ближе и искренней принимают рабочие и бойцы простую, умную, краткую речь Фугаса. А за Фугасом, как водится, выскочил Пулеметкин и стал бестолково мять и жевать всем надоевшие и всем знакомые истины про «гидру контрреволюции»... Он мог болтать сколько угодно, если не оборвать, не одернуть... Проходит десять... двадцать... тридцать... минут,— Пулеметкин все молотит. Его уже дергали дважды за полу — не помогает. Надоел смертельно. А день морозный, красноармейцы давно переминаются с ноги на ногу... Замерзли... Терпеть дальше нет возможности. Лопарь Пулеметкину сзади внушительно и явственно отчеканил:

— Если не перестанете сию же минуту,— я закричу «ура». Поняли?

Пулеметкин быстро оглянулся, блеснул водянистыми злыми глазами и, увидев решительное выражение на лице Лопаря, понял, что тот не шутит,— закончил торопливо, слез с трибуны, пропал в толпу. Речи — как речи... Такие речи в тот день говорились по всей Советской России... Вечер — как вечер... И вечера были, верно, по-одинаковому: с лекциями, спектаклями, сеансами...

От площади — по городу с красными знаменами, с революционными песнями. Пришли на могилу павших воинов,— и здесь стояла тоже трибуна: с трибуны говорили Фугас и Лопарь. Порывавшегося выступить Пулеметкина своевременно задержали и выступить ему не дали. Когда Лопарь вспомнил про товарищей, покоившихся в братской могиле, объяснил, за какое они дело погибли и как должны мы чтить их священную память, в ответ на его пламенные, полные свежести и силы слова — глубокое, сосредоточенное, долгое молчанье. И вдруг — выстрел. Этот одинокий и, может быть, совершенно случайный выстрел — словно сигнал: сколько тут было частей — радостно все открыли «огонь по богу». Стрельба поднялась оглушительная, беспорядочная,— это вовсе не был торжественный салют. При желании, в такой сумятице легко было «снять» какому-нибудь белогвардейцу стоявших на трибуне большевиков: этого в горячке никто бы не заметил и не распознал. А вниз спускаться — постыдно; так и простояли на вышке, пока не расстреляли красноармейцы свои патроны. Лопарь стоял бледный, как лунная тень,— в эти несколько минут он испытал могильный ужас. Никогда, никогда потом, даже в самой страшной боевой кутерьме не испытывал он этого смутного, скоблящего, раздражающего трепета, в котором дрогло беспомощное тело. Нет хуже состояния, когда чувствуешь себя беспомощным, во власти слепых случайностей!

По Уральску день Красной Армии прошел, пожалуй что, и сносно, а как он прошел по области — кто его знает: директив дать туда путем не успели, только напомнили в общем, что́ следует делать. На фронт еще накануне выехали Бочкин с Федором Клычковым; они прихватили что можно было из литературы, юбилейный номер «Яицкой правды», воззваньица, разные листовки. Воротились только глубокой ночью, разбудили спящих приятелей и с жаром рассказывали недоумевающим полусонным Андрееву и Лопарю, как прекрасно встретили их на «передовых позициях» (это произносилось с гордостью неимоверной!!), как бойцы благодарны были за подарки, за память о себе, как слушали речи, просили приезжать снова! Сонные друзья отзывались тупо на эту восторженную речь. Андреев чертыхнулся спросонья и объявил, что ему надоели смертельно

эти «охотничьи басни». Разговор явно не клеился. Вскоре, за недостатком слушателей, рассказчикам пришлось умолкнуть, как ни велика была охота рассказать до «мельчайших подробностей» про свою красочную поездку на самые что ни есть «передовые позиции». Этим закончился для наших приятелей день Красной Армии.

В один из ближайших вечеров, после обеда, когда все четверо были в сборе, принесли телеграмму: Лопарю и Бочкину наутро ехать в бригаду.

Кончено! Приступила пора расставаться.

У всех состояние было особенное, прощальное, полное неожиданных мыслей и чувств. И ничего не было удивительного в том, что двоим ехать наутро, а еще двоим, может быть,— вслед за ними... Они же этого только и ждали! И все-таки были настроены все четверо по-особенному. У Лопаря и Терентия вдруг проявилась небывалая воинственность, словно они только и знали до сих пор, что воевали... Андреев был мрачнее обыкновенного, Федор сосредоточенно молчал и с улыбкой слушал нервно-восторженные повествования отъезжающих товарищей.

Утром в саночки посадили Терентия с Лопарем, простились, расцеловались — уехали дружки. А тут пришла и другая телеграмма: Андрееву оставаться на месте, работать комиссаром тут же, в дивизии; Федору Клычкову ехать в Александров-Гай, наладить там политическую работу в организующейся группе, начальником которой назначается Чапаев.

Как прочитал, так и обмер Федор, не поверил даже сразу. Перечитал во второй и третий раз,— сомнений нет никаких: *Чапаев*...

Ударило вдруг в виски, задрожала толчками кровь, он сразу слова не мог сказать от волненья.

«С таким героем... с Чапаевым плечом к плечу... как это удивительно все сложилось... Что-то выходит диковинное: то я мечтал о Чапаеве как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе, совсем рядом, запросто, как теперь вот с Андреевым... Может быть, даже и близко подойдем друг к другу, товарищами станем?.. Ух, интересно, черт возьми,— вот сложилось!»

С того момента Федор полон был одною только мыслью, одним только страстным желанием — скорее увидеть Чапаева. И о чем бы ни заговаривал — сводил к Чапаеву все разговоры. По телеграмме можно было понять, что теперь Чапаева в Александровом-Гаю нет, он туда только собирается ехать, но —

все равно, все равно... В Александров-Гай надо спешить немедленно! И Федор не стал дожидаться следующего дня, собрался часа через три. С Андреевым простились по-приятельски, сердечно и просто. Федор уехал, Андреев остался в Уральске один.

IV. АЛЕКСАНДРОВ-ГАЙ

Федору наговорили, что поездом докатят его к Алгаю (так коротко звали Александров-Гай) чуть ли не на следующий день. А потом оказалось, что в Ершове, Урбахе и Красном Куту — пересадки. Три пересадки — шутка сказать! Кто езжал в 1919 году по железным дорогам, тот поверит, что выдержать в пути три пересадки — дело мучительное и вовсе не легкое. По приблизительным подсчетам, подгоняя к средней норме, Федор установил, что поездка эта отнимет недели полторы. Поэтому передумал, слез в Дергачах, взял лошадей и тронул на перекладных: тут напрямик до Александрова-Гая полтораста верст.

И снова степь, просторы, голубые горизонты, беспредельные простыни снега... Кой-где уж появились проталины — чернеют бугорки обнаженной земли. Если нет большого ветра, днем на солнце тепло: значит, скоро весна закружит хороводами. По степи села здесь редки: двадцать пять — тридцать верст одно от другого; живут они сытой, замкнутой жизнью; тут и невест по другим селам мало отдают — обходятся своими, всех и на всех хватает вволю. Каждое село — будто небольшая республика: чувствует себя независимо, ни в ком и ни в чем не нуждается, имеет большую склонность к самостийности. Эти большие села, что приходится проезжать до Алгая, сыграли огромную роль в истории гражданской войны уральских степей: Осинов-Гай, Орлов-Гай, Курилово... Эти села дали не только отдельных добровольцев — они дали готовые красные полки. Верно, что из этих же сел немало кулачья ушло и к белым; но остается несомненным, что перевес был всегда на красной стороне. Когда в Курилово ворвалась в 1918 году казара и, по указанию местных кулаков, начала выхватывать советских работников,— поднялась вся огромная трудовая сельская масса, вооружилась кто чем попало, перебила казаков, остатки выгнала вон и тогда же порешила создать свой особый полк: он был назван Куриловским. Примерно в подобной же обстановке созданы были и другие местные полки: Домашкинский, Пугачевский, Стеньки Разина, Новоузенский, Малоузенский, Краснокутский. Они создавались первоначально для того, чтобы охранять и защищать свои родные села; бойцами и командирами

(комиссаров первоначально не было) являлись все свои же односельчане. Спайка была, разумеется, несравненная: тут люди знали друг друга десятки лет, часто были давними товарищами, многих связывали и родственные отношения,— в Куриловском полку служили, например, отец с пятью сыновьями. Бывали, положим, и такие явления, что некогда близкие дружки вдруг разделялись: один убегал с белыми, другой вступал красноармейцем в родной полк; бывали случаи и еще более разительные, когда члены одной и той же семьи раскалывались на две половины: одна к белым, другая к красным.

Все эти местные полки, созданные для обороны своих сел, скоро вынуждены были ходом событий оставить родные места, уйти глубоко в уральские степи, оттуда на Колчака, от Колчака — снова в степи и из степей — на панский польский фронт.

В ряду других заслуженным, геройским полком считался мусульманский, насчитывавший четырнадцать национальностей; преобладали в этом полку киргизы, доселе безжалостно и бессовестно эксплуатировавшиеся зажиточным тунеядным казачеством, к которому питали неукротимую, жестокую ненависть. Добровольческие полки эти творили поистине героические дела: без снарядов, без патронов, скверно и недостаточно вооруженные, раздетые, необутые,— они долго держались, стойко и храбро сражались, многократно и успешно били поднявшееся против Советской власти уральское казачество. В отношении боевом они стояли неизменно высоко от начала до конца; в отношении политическом они созрели не сразу и не сразу охватили и уяснили причины и масштаб развернувшейся социальной борьбы; слабая дисциплина, своеобразное понятие о «воле», длительная борьба за выборность комсостава, неясное и неточное понимание задач и директив, поступавших из центра,— все эти признаки еще долго-долго отличали от полков центральной России эти молодецкие добровольческие, сплошь крестьянские полки.

Александров-Гай мало чем отличается от других «гаев» — Орлова-Гая, Осинова-Гая да, пожалуй, и всех степных селений, близко похожих одно на другое: село разбросанное, просторное, в центре грязное, на окраинах непролазное. В те времена Александров-Гай был из ряду вон оживленным пунктом: здесь стояли штаб бригады, политический отдел, различные команды, боевые части. На Шильную Балку, на Бай-Турган и Порт-Артур, на Уральск — во все стороны шло оживленное движение, поддерживалась связь то с воинскими частями, то с руководящими центрами; непрестанно двигались повозки, уезжали и приезжали новые люди; куда-то спешили непоседливые кавалеристы, проползали на крестьянских подводах и качались на

гордых верблюдах целые воинские караваны, увозили, привозили, разгружали, нагружали,— всюду била жизнь: так она, верно, ни до того, ни после не била в Александровом-Гаю. Местная «интеллигенция» у площади и по главной улице каждый вечер устраивала гулянья наподобие ярмарочных, и тут, разумеется, не дремали красноармейцы, очаровавшие к тому времени добрую половину алгайского женперсонала...

Политический отдел бригады время от времени организовывал митинги как для красноармейцев, так и смешанные. На этих митингах освещался главным образом стереотипный «текущий момент». Жителей втянуть в политическую жизнь, разумеется, было потруднее, чем красноармейцев,— эти шли охотно, слушали внимательно, просили созывать их чаще, рассказывать больше и подробнее. Желание отличное, но осуществлять его приходилось не всегда и не только по недостатку политических сил,— нет, сил для тех мест и времен, пожалуй, было и достаточно,— часто созывать на митинги и собрания не позволяла военная обстановка: кругом казаки, налететь могут внезапно, застигнув в сборе массу невооруженных бойцов, могут наделать немало бед.

Во главе политического отдела стоял тогда петербургский рабочий Николай Николаевич Ежиков, человек еще совсем молодой, лет двадцати двух, но зрелый, умный и серьезный. Ежиков был в то время и комиссаром бригады. В селе не только командный состав и красноармейцы, но и жители относились к Николаю Николаевичу с величайшим уважением. Его любили за простую, умную, ласковую речь, за то, что обещаний зря не давал, а раз сказавши, обещанное выполнял, за то, что в селе не было никаких беспорядков, и это по праву приписывалось его моральному воздействию на красноармейцев. А бойцы любили его — и всего больше любили за то, что в походах он был всегда с ними, в боях сам он лежал и бежал в цепи, держался как равный товарищ.

Надо сказать, что в те времена — в самом начале 1919 года — вообще в Красной Армии не была еще развернута как следует политическая работа. Формы и методы ее были неясны, и многие из политработников, особенно же из младших комиссаров, были попросту наиболее сознательными бойцами, которые личным примером показывали, как надо воину Красной Армии терпеть голодуху, стужу без обуви и одежи, как надо выносить трудности и лишенья изнурительных походов, как надо сражаться отважно, а при случае — спокойно, честно умирать. Непрерывные бои не давали возможности неделями и даже целыми месяцами повести хотя бы сколько-нибудь сосредоточенную и систематическую работу. Ограничивались случайными «политна-

летами», а *настоящую* политическую работу откладывали до более удобного времени. Под Александровом-Гаем обстановка была не хуже, не лучше, чем в других местах: резервы были крошечные, стояли они на отдыхе неподолгу, а главная масса бойцов неотлучно была на линии огня. Работники политического отдела, кроме тех, что вели «сидячую» работу, то и дело выезжали из политотдела на позицию, отвозили туда литературу, новые распоряжения, инструкции и руководства, сносились там с комиссарами, партийными ячейками, инструктировали тех и других; если удавалось, вели работу и среди красноармейцев, а если подходила нужда,— оставив свои инструкции, брали винтовку и шли в бой. Как раз в те дни, в самом начале марта, трое из сотрудников бригадного политотдела погибли в неравном бою, отступая по лощине с горстью красноармейцев под напором огромной лавины казаков.

Авторитет политических работников в крестьянских полках держался исключительно как авторитет отличных, мужественных и честных воинов Красной Армии. Николай Николаевич в этом отношении почитался чрезвычайно, и среди бойцов его все время ставили лучшим примером.

К началу марта позиции находились около Порт-Артура — крошечного и вдребезги разбитого поселка, стоявшего на дороге к станице Сломихинской (от Алгая на несколько десятков верст); через эту станицу можно было выйти к большому пути — Уральск — Лбищенск — Сахарная — Гурьев. Армия, центр которой был в Уральске, предполагала на ближайшее время открыть общее наступление и путем комбинированных действий отогнать сначала казаков от Уральска возможно дальше, а потом и вовсе уничтожить белую казацкую армию. Со стороны Александрова-Гая удар должен был направиться на станицу Сломихинскую, и в дальнейшем наступление следовало развить через Чижинские болота, выходя на большой Уральско-Гурьевский тракт. Этим маневром перерезался путь казачьим частям, отступающим под натиском красных войск со стороны Уральска. День наступления был близок. Алгайская бригада готовилась с лихорадочной поспешностью.

Как только приехал в станицу, Федор направился к политотделу. Там провели его к Николаю Николаевичу. Закутанный в черную глухую шубу, с мохнатейшей папахой на голове, в валенках, он сидел в пустом, высоком, совершенно нетопленном кабинете. Сидел один и красными, от холода дрожащими пальцами рылся в ворохе бумаг, лежавших на столе.

Убранство в кабинете убогое: стол да стул — больше ничего. А на столе — огрызок дрянного грошового карандаша, лампадка с подозрительной грязнотцой, видимо — чернила, измызганная ручка, похожая скорей на восковую свечу, самодельный пресспапье, две политических книжки, какой-то «деловой» журнал и целый ворох, беспорядочная, рыхлая куча разнокалиберных бумаг. Поздоровались, познакомились. Федор показал ему телеграмму, в которой Фрунзе говорил, что «тов. Клычков направляется для ведения политической работы в александровогайской группе». (Бригада развертывалась в группу, придавались новые части.)

Ежиков посмотрел на бумажку как-то рассеянно и возвратил ее молча Федору. А потом неожиданно:

— Пойдемте-ка,— говорит,— я вас устрою. Чаю, што ли, напьетесь, да и отдохнете с дороги-то.

Федору хотелось теперь же повести с Ежиковым деловой разговор, выяснить общее военное положение, состояние политической работы, перспективы, принятые меры, возможности,— словом, с места в карьер. Но Ежиков так его быстро и заботливо препроводил к себе на квартиру, так охотно раздобыл кипятку и хлеба, что деловой разговор пока что пришлось отложить. Комнату занимал он в огромной пустующей квартире; посередине зал, с боков комнатушки; в одну из них поместился и Федор. В зале стоял рояль, и Ежиков, лишь только усадил Федора за стол, подошел и одну за другой стал плохонько наигрывать революционные песни. В комнате было холодно и гулко.

Мало-помалу завязался разговор. Федор смотрел на моложавое бледное и суровое лицо Николая Николаевича, любовался им и чувствовал неизъяснимую радость от сознания, что такой хороший парень руководит здесь политической работой. Как это обычно случается, они в течение одного часа успели друг другу сообщить свои биографии, историю и обстановку своей минувшей партийной работы, как угодили на фронт и чего ожидают в близком будущем. Разговор как будто развивался вполне нормально, а Федору все казалось, что Ежиков не то куда-нибудь торопится, не то нервничает, не то обижен чем-то и недоволен. По лицу было видно, что это прямой, открытый и простой человек, а тут он и в глаза-то Федору ни разу не посмотрел прямо — все мигает да смотрит в землю, потирает руки, не сидит на одном месте, то и дело вскакивает, посмеивается искусственно и неискренне, слишком предупредительно и поспешно со всем соглашается...

«Что за черт, в чем тут дело?» — задавал себе Федор вопрос и не знал, как ответить, как понять Ежикова.

Пришли в политотдел, в холодный кабинет, и здесь разговор сам собою принял почти официальное направление. Ежиков сам говорил мало и ни о чем не рассказывал, а только выслушивал Федоровы вопросы и коротко на них отвечал — неохотно, сухо, как будто даже пренебрежительно. Когда входил кто-нибудь из сотрудников, Ежиков встречал его обрадованно и затевал разговор бесконечно длинный и, по всей видимости, совершенно ненужный. Если бы в Ежикове вообще можно было предположить болтуна — чему ж тут было бы и удивляться? Но Федор правильно определил, что тот — даже вовсе наоборот — скуп на разговоры и особенно в деловой обстановке: тут он или отдает распоряжения, или осведомляет и объясняет лишь настолько, насколько требует само дело. Поэтому искусственная болтливость Николая Николаевича опять-таки показалась Клычкову ненормальной, и снова удивился он, почему бы это отвлекаться Ежикову от разговоров с ним, Федором, и так радоваться первому входящему сотруднику?

Из коротких ответов можно было заключить, что партийные ячейки всюду существуют; товарищеские суды работают отлично; литература есть; лекции, собрания и митинги проводятся регулярно и успешно и т. д. и т. д.,— одним словом, дело поставлено образцово, и Федору «ставить и развивать» работу, пожалуй что, и не придется, поскольку он приехал ко всему готовому...

Признаться откровенно, Федор и сам чувствовал себя довольно затруднительно, приступая к новому виду работы. Он до сих пор на фронте не бывал, ничего здесь не знал и поэтому «учить» Ежикова не мог, да и приехал он с самым искренним желанием работать — *не командовать, а работать:* вопрос о субординации вовсе его не занимал. С первой же беседы он об этом откровенно сообщил Николаю Николаевичу и по глухому мычанию того не разобрал, хорошо или дурно принял он его откровенность. Беседуя теперь в кабинете и получая скупые, выдавленные ответы, Клычков решил действовать сугубо осторожно и тактично, ибо заподозрил, что тот обижен его назначением, которое ставило Ежикова в подчиненное положение и сводило с пьедестала, на котором он укрепился как в бригаде, так и в самом Алгае. До сих пор он был *единственным* авторитетным политическим центром: к нему сходились все нити, у него все и всегда искали ответа — только у него одного, больше ни у кого. А тут вдруг приехал этот Клычков — политический голова целой группы, в которую бригада входила лишь как часть... Баста! Пьедестал может покачнуться. Клычков Ежикова может понемногу затемнить и оттеснить с господствующей позиции,— вот сомнения, которые, по мысли Федора,

должны были волновать Николая Николаевича, вот причины, по которым он с нескрываемым недружелюбием стал относиться к Федору уже через полтора часа после их знакомства...

Насторожился Клычков, не стал дальше расспрашивать и чутьем организатора понял, что́ ему надо делать.

Во-первых, он решил ознакомиться фактически, по документам и отчетам, с работой в бригаде, если не через Ежикова, то через его помощников и сотрудников, добывая от них официальные отчеты и всякие сведения.

Во вторую очередь он решил настоять на созыве небольших совещаний-конференций партийных ячеек, культкомиссий, контрхозкомиссий, собраний военкомов и т. д. Это поможет ему сразу многое увидеть и понять.

Дальше он собрался объехать части и посмотреть там доподлинную постановку работы и, наконец, в предстоящих боях хотел участвовать лично в качестве рядового бойца и тем заслужить себе имя хорошего товарища и храброго человека. Это обстоятельство могло иметь влияние на успех или неуспех всей его дальнейшей политической работы.

Ближайшие несколько дней, вплоть до наступления, Федор осуществлял настойчиво поставленные перед собою задачи. Он уже неоднократно беседовал и в организационном, и в культурно-просветительном, и в информационном отделениях, но всюду встречал тот же предубежденный и недружелюбный прием: влияние Ежикова чувствовалось всюду. С большим трудом удалось ему все-таки получить довольно подробный отчет о состоянии работы в целом. Доклад изобиловал общими местами,— с этим недостатком десятки, сотни раз встречался Федор и впоследствии, когда принял еще более широкую политическую работу. Как водится, изложение начинается «с Адама», затем идут указания на первоначальное «хаотическое состояние», дальше разъясняется, что «работа налаживается», но в некоторых своих частях еще «не на должной высоте»; заканчивается доклад указанием на обилие принятых «плодотворных мероприятий», которые, безусловно, упразднят все существующие недочеты.

В общем, между гордых слов можно было рассмотреть, что по полка́м довольно исправно и усердно развозятся книжки и создаются библиотечки; школы грамоты вовсе прекратили свою деятельность из-за боевых операций, а когда они работали, то посещались слабо; всякие комиссии как будто существуют формально и организованы всюду, но точных сведений о работе их нет; митинги проводятся, но редко, зато вот спектакли

любительскими кружками ставятся часто и посещаются охотно. В этом же роде весь доклад. Кое-какое представление о работе, конечно, давала и эта сухонькая реляция, однако же главные надежды Федор возлагал теперь на личный объезд частей и непосредственное ознакомление с работой на местах.

Попытался он созвать некоторых комиссаров,— предубежденное отношение встретил и здесь; назначил собрание представителей ячеек,— оно и вовсе не состоялось; назначил митинг, но политотдел оповестил худо, и собралась совершенно случайная публика, человек пятьдесят — шестьдесят. Дело не клеилось. Долго продолжаться таким образом не могло. Федор ожидал только приезда Чапаева: этот приезд, верил он, разрубит гордиев узел, разъяснит всю неясность создавшегося положения.

Послезавтра — наступление. Отчего же нет до сих пор Чапаева? Федор послал запрос в армию, но ответа не получил. Завтра выступят на Казачью Таловку, к Порт-Артуру, последние части: до момента наступления они будут в исходных пунктах.

В штабе назначено последнее заседание — окончательно обсуждается разработанный детально план наступления. Поведено оно будет одновременно с трех пунктов; рассчитано не столько на внезапность, сколько на общую свою организованность и преобладание нашей техники, главным образом — пулеметов. Федор, тогда еще слабо разбиравшийся в военных вопросах, внимательно вслушивался во все, что на этом военном совете говорилось, но сам в обсуждение и споры не вступал, только посматривал в лицо одному, другому, третьему «спецу» и думал:

«А этот — неужто предатель? И неужели весь этот пафос — одна только фикция, видимость, втирание очков нашему брату? А назавтра, лишь только все будет готово, неужто обернутся они из друзей врагами?»

И особенно пристально, с притихшим дыханием, всматривался он в лицо полковника, командира бригады.

«Неужели?»

Но лицо у комбрига было из тех, что не внушают опасений,— сразу к себе располагает, заставляет верить.

«А все-таки ты, комиссар, будь начеку!»

Заседание «совета» окончено. Все уходили из штаба.

Весь этот день и целый вечер один отряд за другим, транспорт за транспортом, караван за караваном уходили на Казачью Таловку. Пустел Александров-Гай. Назавтра уйдут последние: он останется осиротелый и беззащитный.

V. ЧАПАЕВ

Рано утром, часов в пять-шесть, кто-то твердо постучал Федору в дверь. Отворил — стоит незнакомый человек.

— Здравствуйте. Я Чапаев!

Пропали остатки дремоты, словно кто ударил и мигом отрезвил от сна. Федор быстро взглянул ему в лицо, протянул руку как-то слишком торопливо, старался остаться спокойным.

— Клычков. Давно приехали?

— Только со станции... Там мои ребята, я лошадей послал...

Федор быстро-быстро обшаривал его пронизывающим взглядом: хотелось поскорее рассмотреть, увидеть в нем все и все понять. Так темной ночью на фронте шарит охочий сыщик-прожектор, торопясь вонзиться в каждую щелку, выгнать мрак из углов, обнажить стыдливую наготу земли.

«Обыкновенный человечек, сухощавый, среднего роста, видимо, небольшой силы, с тонкими, почти женскими руками; жидкие темно-русые волосы прилипли косичками ко лбу; короткий нервный, тонкий нос, тонкие брови в цепочку, тонкие губы, блестящие чистые зубы, бритый начисто подбородок, пышные фельдфебельские усы. Глаза... светло-синие, почти зеленые — быстрые, умные, немигающие. Лицо матовое, свежее, чистое, без прыщиков, без морщин. Одет в защитного цвета френч, синие брюки, на ногах оленьи сапоги. Шапку с красным околышем держит в руке, на плечах ремни, сбоку револьвер. Серебряная шашка вместе с зеленой поддевкой брошена на сундук...» — так записывал вечером Федор про Чапаева.

Известное дело — с дороги надо бы чаю напиться, а он чай пить не стал, разговаривал стоя, вестового отослал к командиру бригады, чтобы тот пришел в штаб, куда придет вослед и он, Чапаев. Скоро шумною ватагой ввалились приехавшие с ним ребята: закидали все углы вещами; на столы, на стулья, на подоконники побросали шапки, перчатки, ремни, разложили револьверы, иные сняли бутылочные белые бомбы и небрежно сунули их тут же, среди жухлых шапок и рукавиц. Загорелые, суровые, мужественные лица; грубые, густые голоса; угловатые неотесанные движения и речь, скроенная нескладно, случайно, зато сильно и убедительно. У иных манера говорить была настолько странная, что можно было думать, будто они все время бранятся: отрывисто и резко о чем-то спрашивают, так же резко и будто зло отвечают; вещи летят швырком... От разговоров и споров загудел весь дом: приехавшие живо и всюду «распространились», только к Ежикову в комнату не попали — она была заперта изнутри.

Через две минуты Федор видел, как один из гостей разва-

лился у него на неубранной постели, вздернул ноги вверх по стене, закурил и пепел стряхивал сбоку, нацеливаясь непременно попасть на чемоданчик Клычкова, стоявший возле постели. Другой привалился к «туалетному» слабенькому столу, и тот хрустнул, надломился, покачнулся набок. Кто-то рукояткой револьвера выдавил стекло, кто-то овчинным грязным и вонючим тулупом накрыл лежавший на столе хлеб, и когда его стали потом есть — воняло омерзительно. Вместе с этой ватагой, словно еще задолго до нее, ворвался в комнаты крепкий, здоровенный, шумливый разговор. Он не умолкал ни на минуту, но и не разрастался,— гудел, гудел все с той же силой, как вначале: то была нормальная, обычная речь этих свежих степных людей. Попробовали бы разобрать, кто у них тут начальник, кто подчиненный! Даже намеков нет: обращение одинаково стильное, манеры одинаково резкие, речь самобытная, колоритная, насыщенная ядреной степной простотой. Одна семья! Но нет никакой видимой привязанности одного к другому или предупредительности, никаких взаимных забот, хотя бы в самомельчайших случаях,— нет ничего. А в то же время видите и чувствуете, что это одна и крепко свитая пачка людей, только перевита она другими узами, только отчеканилась она в своеобразную форму: их свила, спаяла кочевая, боевая, полная опасностей жизнь, их сблизили мужество, личная отвага, пренебрежение лишений и опасностей, верная, неизменная солидарность, взаимная выручка,— вся многотрудная и красочная жизнь, проведенная вместе, плечом к плечу, в строю, в бою.

Чапаев выделялся. У него уже было нечто от культуры, он не выглядел столь примитивным, не держался так, как все: словно конь степной сам себя на узде крепил. Отношение к нему было тоже несколько особенное,— знаете, как иногда вот по стеклу ползает муха. Все ползает, все ползает смело, наскакивает на других таких же мух, перепрыгивает, перелезает, или столкнутся и обе разлетаются в стороны, а потом вдруг наскочит на осу и в испуге — чирк: улетела! Так и чапаевцы: пока общаются меж собою — полная непринужденность; могут и ляпнуть что на ум взбредет и двинуть друг в друга шапкой, ложкой, сапогом, плеснуть, положим, кипяточком из стакана. Но лишь встретился на пути Чапаев — этих вольностей с ним уж нет. Не из боязни, не оттого, что неравен, а из особенного уважения: хоть и наш, дескать, он, а совершенно особенный, и со всеми равнять его не рука.

Это чувствовалось ежесекундно, как бы вольно при Чапаеве ни держались, как бы ни шумели, ни ругались шестиэтажно: лишь соприкоснутся — картинка меняется вмиг. Так любили и так уважали.

— Петька, в комендантскую! — скомандовал Чапаев.

И сразу отделился и молча побежал Петька — маленький, худенький черномазик, числившийся «для особенных поручений».

— Я через два часа еду, лошади штобы враз готовы! Верховых вперед отошлешь, нам с Поповым санки — живо! Ты, Попов, со мной!

И властно кивнул головой Чапаев желтолицему сутулому парню. Парню было годов тридцать пять. У него смеялись серые добрые глаза, а голос хрипел, как вороний кряк. При могутной, коренастой фигурище были странны мягкие, словно девичьи движенья. Попов рассказывал, видимо, что-то веселое и смешное, но как услышал слово Чапаева — враз остыл, стушил, как свечи, усмешку в серых глазах, посмотрел прямо и серьезно Чапаеву в глаза ответным глядом и глазами ему сказал:

«Слышу!»

Тогда Чапаев скомандовал дальше:

— Кроме — никого! Комиссар вот еще поедет да конных дать троих. Остальные за нами на Таловку. Лошадей не гнать напрасно. Быть к вечеру!

— Слушай...— оглянулся Чапаев кругом и увидел, что нет, кого искал...— Да... услал же его... Ну, ты, Кочнев, иди посмотри в штабе. Если все собрались — скажешь.

Кочнев вышел. Он показался Федору гимнастом — такой быстрый, легкий, гибкий, жилистый. Короткая телогрейка, коротенькие рукава, крошечная шапчонка на затылке, на ногах штиблеты, до колен обмотки. Годов ему меньше тридцати, а лоб весь в морщинах. Глаза хитрые, светло-серые, нос широкий и влажный, он им шмыгает и как-то все плутовски его набок искривляет. Зубы белые, волчьи, здоровеннейшие; когда смеется — хищно оскаливает, будто собираясь изгрызть в лоскутья.

Был тут Чеков. Кидался в глаза широкими рыжими бровями, пышными, багровыми усами, крокодильей пастью, монгольскими скулами; как пиявка, налитая кровью, отвисла нижняя губа, квадратом выпер чугунный подбородок, а над ним, как гриб в чугуне, потный и рыхлый нос. Под рыжими рогожами бровей — как угли, Чековы глаза. Широка и крута у Чекова грудь, тяжелого веса лапы-лопаты. Чекову сорок лет с пустяком.

Возился с чайниками, резал хлеб, острил впропалую, сам гоготал, всех задевал и всем отвечал — Теткин Илья, заслуженный красногвардеец, маляр по профессии, добродушный, звонкий, всеми любимый, охотник до песен, до игры, до забавы. Годами чуть постарше Петьки: двадцать шесть — двадцать восемь.

Рядом стоит и ждет терпеливо, молча хлеба от Теткина Вихорь, лихой кавалерист, горячий командир конных разведчи-

ков, на левой руке без мизинца. Это обстоятельство — мишень для острот.

— Вихорь, ткни его мизинцем, беспалого хрена!

— А мизинчик покажешь — цигарку дам...

— Девятипалая брында... Кобель девятиногий!

Вихоря трудно возмутить: от природы таков, всегда таков и в бою таков. Много молча может сделать человек!

Больше всех толкался, крепче всех бранился и шумел Шмарин — в дубленой поддевке, в валенках (все зябнет, больной), с хриплым, как у Попова, голосом, черноглазый, черноволосый, смуглый, изо всех самый старший: ему под пятьдесят.

Кучер Аверька, парнишка — тут же со всеми, оперся на кнут, зорко доглядывает, как идут хлопоты насчет закуски и чаю. Лицо у Аверьки багровое, нос — что луковица, глаза с морозов осоловелые, губы обветренные, в трещинах, на шее намотан платок — с ним и спит.

Из вестовых постоянный и любимый — Лексей, давний знакомый Чапаеву, дотошный, изворотливый парень. Когда что надо достать — посылается Лексей: все добудет, все приготовит и принесет. Перекусить ли надо, чеку на повозку али ремешок к седлу, лекарства домашнего раздобыть,— никого не посылают, кроме Лексея; самый ловкий кругом человек.

И что за народец собрался! Как только лицо — так тебе и тип: садись да пиши с него степную поэму. У каждого свое. Нет двоих, чтобы одно: парень к парню, как камень к камню. А вместе все — перевитое и свитое молодецкое гнездо. Одна семья! Да какая семья!

Вошел Кочнев:

— Командир бригады в штабе, можно идти...

Зашумело легкое шевеленье — любопытство осветило не одну пару на Чапаева устремленных глаз.

— Идем!

И Чапаев мотнул головой Попову, ткнул пальцем Шмарину и Вихорю. Зазвенели шпорами, грузно застучали подбитыми в подковы каблуками, вышли. Федор вместе с ними. Федору казалось, что Чапаев уделял ему слишком мало внимания и уравнивал со своею «свитой». Где-то глубоко от этих подозрений затаилась нехорошая опаска, и он вспомнил, как рассказывали про Чапаева, будто в 1918 году, во время боя, когда он был с войсками окружен, а некий комиссар порастерялся,— отхлестал его Чапаев нагайкой на возу... Вспомнил — затревожило скверное чувство. Знал, что могли все это и выдумать, могли и преувеличить, поразукрасить, но отчего ж и не поверить: тогда и времена были не те, и сам Чапаев был иной, да и комиссар мог случиться всякий! Федор шел

сзади, и уже одно то, что шел он сзади,— было неприятно.

С командиром бригады Чапаев поздоровался наскоро, отрывисто, глядя в сторону, а тот галантно изогнулся, пришпорил, потом подвытянулся, чуть ли не рапорт выпалил. О Чапаеве был он очень наслышан, только больше все со скверной, с хулиганской стороны, в лучшем случае — знал про Чапаева-чудака, а дельных дел за ним не слыхал, степным летучкам про геройство чапаевское не верил.

Изо всех дверей выглядывали любопытные. Так в купеческом где-нибудь доме выглядывают из щелей «домашние», когда случится приехать знатному гостю. Видно было, что наслышался о Чапаеве страхов разных не только один комбриг. В помещении штаба чисто сегодня не по-обычному. Все сидят и все стоят на своих местах. Приготовились, не хотели ударить в грязь лицом, а может, и опасались: горяч Чапаев-то, кто знает, как взглянет?.. Когда пришли в кабинет командира бригады, тот разостлал по столу отлично расчерченный план завтрашнего наступленья. Чапаев взял его в руки, посмотрел молча на тонкий чертеж, положил снова на стол. Подвинул табуретку. Сел. За ним присели иные из пришедших.

— Циркуль.

Ему дали плохонький, оржавленный циркуль. Раскрыл, подергал-подергал,— не нравится.

— Вихорь, поди у Аверьки из сумки мой достань!

Через две минуты Вихорь воротился с циркулем, и Чапаев стал вымеривать по чертежу. Сначала мерил только по чертежу, а потом карту достал из кармана — по ней стал выклевывать. То и дело справлялся о расстояниях, о трудностях пути, о воде, об обозах, об утренней полутьме, о степных буранах...

Окружавшие молчали. Только изредка комбриг вставит в речь ему словечко или на вопрос ответит. Перед взором Чапаева по тонким линиям карты развертывались снежные долины, сожженные поселки, идущие в сумраке цепями и колоннами войска, ползущие обозы, в ушах гудел-свистел холодный утренник-ветер, перед глазами мелькали бугры, колодцы, замерзшие синие речонки, поломанные серые мостики, чахлые кустарники.

Чапаев шел в наступленье!

Когда окончил вымеривать — указал комбригу, где какие ошибки: то переход велик, то привал неудачен, то рано выйдут, то поздно придут. И все соображения подтверждал отметками, что делал, пока измерял. Комбриг соглашался не очень охотно, иной раз смеясь тихомолком, в себя. Но соглашался, отмечал, изменял написанное и расчерченное. По некоторым вопросам, как бы за сочувствием и поддержкой, Чапаев обращался то к Вихорю, то к Попову, то к Шмарину:

— А ты што скажешь? Ну, как думаешь? Верно аль нет говорю?

Не привыкли ребята разглагольствовать много в его присутствии, да и мало что можно было им добавить — так подробно и точно все бывало у Чапаева предусмотрено. На него и пословицу перекроили:

«Чапаеву всегда не мешай... Ему вот как: ум хорошо, а два хуже...»

Эту новую пословицу выдумали только для него. И хорошо выдумали, потому что бывали прежде случаи, когда он послушает совета, а потом и плачется, бранится, клянет себя. И не забыть еще ребятам одного «совещания», когда они в горячке наговорили бог знает что. Чапаев слушал, долго слушал и даже все поддакивал:

— Так, так... Да... Хорошо... Вот-вот-вот... Оч-чень хорошо...

Собеседники думали и впрямь, что он соглашается и одобряет. А кончили:

— Ну, ладно,— говорит,— вот што надо делать: на все, што болтали, плюнуть и забыть, никуда не годится. Теперь слушайте, што стану я приказывать!

И зачал...

Да так зачал, что вовсе по-другому дело повернул — и похожего не осталось нисколечко из того, про что так долго совещались.

На совещании том были все трое — помнили его и теперь уже лезли мало, много молчали, отлично знали, когда и где можно говорить, чего нельзя:

«Иной раз и совет, может, следует подать, это верно, а то — и словом одним беды натворишь!»

Теперь молчали. Молчал почти все время и Федор: он-то не цепко еще разбирался в военных вопросах и кой-какие пункты понимал с трудом или вовсе никак себе не представлял,— это уж потом, через месяцы освоился он с боевой и иной фронтовой премудростью, а теперь — чего же со «шляпы гражданской» было и спрашивать?

Заложив руки за спину, он стоял у самого стола и засматривал глубокомысленно по карте и на чертеж, то схмуривая брови, то покашливая в сторону, с явным опасением помешать деловой беседе. Вид у него серьезный, спокойный. Со стороны можно было подумать, что и он тут всем равноценный собеседник... Федор порешил давно, до встречи с Чапаевым, установить с ним особую, осторожную, тонкую систему отношений: избегать вначале разговоров чисто военных, чтоб не показаться окончательным профаном; повести с ним политические беседы, где Федор будет, бесспорно, сильнее; вызвать его на от-

кровенность, заставить высказаться по всем пунктам, включительно до интимных, личных особенностей и подробностей; больше говорить о науке, образовании, общем развитии,— и тут Чапаев будет больше слушать, чем говорить. Потом... потом зарекомендовать себя храбрым воином,— это уже непременно и как можно скорее, ибо без этого все в глазах Чапаева, да и всех, пожалуй, красноармейцев, прахом пролетит: никакая тут политика, наука, личные качества не помогут! Когда будет проведена эта ощупывательная, подготовительная работа и Чапаев пораскроется, будет понятен, тогда можно и на сближение идти, а пока — пока держаться осторожно! Не была бы предупредительность и внимательность понята и принята за подслуживание к «герою». (Он, конечно, знал, что имя его гремит повсюду, что на дружбу к нему многим и многим набиться было бы очень лестно.) Только потом, когда Чапаев будет «духовно полонен», когда он сам будет слушать Федора, может быть, чему-нибудь у него учиться,— лишь тогда идти ему навстречу по всем статьям. Но гонору — ни-ни: простоту, сердечность и некоторую грубоватость отношений установить теперь же, чтобы и помыслов не было о Федоре как о белоручке интеллигенте, к которым на фронте всегда относятся подозрительно и с нескрываемым пренебреженьем.

Все эти приготовления Клычкова отнюдь не были пустяками, они помогли ему самым простым, коротким и верным путем войти в среду, с которою начинал он работать, а во имя этой работы — срастись с нею органически. Он не знал еще, *где* будут границы «срастания», но отлично понимал, что Чапаев и чапаевцы, вся эта полупартизанская масса и образ ее действий — такое сложное явление, к которому зажмурившись подходить не годится. Наряду с положительными, тут имеются и такие элементы, с которыми обращаться нужно осторожно, следить за их выявлением чутко и неослабно.

Что такое Чапаев? Как себе представлял Клычков Чапаева и почему именно с ним он надумал установить в отношениях особую, тонкую систему? Надо ли вообще это делать?

Федор, еще работая в тылу, слыхал, конечно, и читал многократно о «народных героях», сверкавших то на одном, то на другом фронте гражданской войны. И когда присматривался — видел, что большинство их из крестьянства и очень мало — из рядов городских рабочих. Герои рабочие всегда были в ином стиле. Выросший в огромном рабочем центре, привыкший видеть стройную, широкую, организованную борьбу ткачей, он всегда несколько косо посматривал на полуанархические, партизанские затеи народных героев, подобных Чапаеву. Это не мешало ему с глубочайшим вниманием к ним присматриваться и относиться,

восторгаться их героическими действиями. Но всегда-всегда оставалась у него опаска. Так и теперь.

«Чапаев — герой,— рассуждал Федор с собою.— Он олицетворяет собою все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия... черт ее знает, куда она может обернуться! Бывали у нас случаи (разве мало их было?), что такой же вот славный командир, вроде Чапаева, а вдруг и укокошит своего комиссара! Да не какого-нибудь прощелыгу, болтунишку и труса, а отличного, мужественного революционера! А то, глядишь, и вовсе уйдет к белым со своим «стихийным» отрядом...

Рабочие — там другое дело: они *не уйдут никогда, ни при какой обстановке*, то есть те из них, что сознательно вышли на борьбу. Ясное дело, что и среди рабочих есть вчерашние крестьяне, есть и малосознательные, есть и «слишком» сознательные, ставшие белоручками... Но там, там сразу увидишь, с кем имеешь дело. А в этой вот чапаевской партизанской удали — ой, как много в ней опасного!»

При таком-то подозрительном отношении к стихийной партизанщине и зародилось у Федора желание самым тонким способом установить свои отношения с новой средой,— с тем расчетом построить, чтобы не самому в этой среде свариться, а, наоборот, взять ее под идейное влияние. Брать надо с головы, с вождя — с Чапаева. На него и направил, на нем и сосредоточил Федор все свое внимание...

Петька — так почти все по привычке звали Исаева — высунул в дверь свою крошечную птичью головку, мизинцем поманил Попова и сунул ему записку. Там значилось:

«Лошыди и вся готовыя дылажи Василей Иванычу».

Петька знал, что в некоторые места и при некоторой обстановке вваливаться ему нельзя — и тут действовал постоянно подобными записками. Записка подоспела вовремя. Все было сказано, отмечено, подписано: сейчас же приказ полетит по полкам. Формалистика с приемом дел отняла не много времени.

— Я командовать приехал,— заявил Чапаев,— а не с бумажонками возиться. Для них писаря есть.

— Василь Иваныч,— шепнул ему Попов,— вижу, ты кончил. Все готово, ехать можно...

— Готово? Едем!

Поднялся Чапаев быстро со стула.

Все расступились, и он вышел первый — так же, как первым вошел сюда.

На воле, у крыльца, собралась толпа красноармейцев — услыхали, что приехал Чапаев. Многие вместе с ним воевали еще в 1918 году, многие знали лично, а слыхали, конечно, все

до единого. Вытянутые шеи, горящие восторгом и изумлением глаза, заискивающие улыбки, расплывшиеся до ушей.

— Да здравствует Чапаев! — гаркнул кто-то из первых, лишь только Чапаев сошел с лестницы.

— Ура-а-а!.. Ура-а-а!..

Со всех сторон сбегались красноармейцы, подходили жители, толпа росла.

— Товарищи! — обратился Чапаев.

Вмиг все смолкло.

— Мне некогда сейчас говорить — еду на позицию. А завтра увидимся там, потому как мы приготовили казакам хорошую закуску и завтра угостим... Поговорим потом, а теперь — прощайте!..

Раскатились новые катанцы «ура». Чапаев уселся в санки, за ним примостился Попов. Трое конных ждали тут же. Федору подвели вороного шустрого жеребца.

— Айда! — крикнул Чапаев.

Кони рванулись, толпа расступилась, закричала громче. Так шпалерами и ехали до самой окраины Алгая.

Степная снежная пустыня однообразна и скучна. В прошедшие теплые дни бугорки оплешивились было до самой земли, а теперь и их занесло; всю степь позавеяло, схрустнуло морозом. Кони идут легко и весело. Чапаев с Поповым сидят почти спинами один к одному, можно подумать — переругались: обдумывают предстоящее дело, готовятся к завтрашнему дню. В трех-четырех шагах за повозкой поспевают всадники, ни ближе, ни дальше, все время на одном расстоянье, будто прикованные. Федор едет сбоку. Он иной раз отстанет на целую версту и пустит — в карьер! И любо скакать по степи, благо конь так легок, охоч на скок.

«Завтрашним днем,— думал он, едучи зыбкой рысью,— открывается полоса боевой, настоящей жизни... И завертит-покатится она — надолго ли? Кто может знать судьбу ее? Кто может указать день победы? И когда же будет она, победа наша? День за днем, день за днем в походах проскачут, в боях, в опасностях, в тревоге... Сохранимся ли мы, пушинки? И кто воротится в родные палестины, кто останется здесь, по черным логовам, по снежным пустырям степей?»

И полезли в голову житейские воспоминанья, встали милые, знакомые лица... И сам себе представлялся убитым: лежит на снегу, разбросав широко руки, с окровавленным виском. Даже жалко стало. Прежде жалость эта над собою самим перешла бы непременно в длительную грусть, а теперь —

стряхнул, отогнал, ехал дальше спокойный: смешком посыпал свою смерть.

Так прошло часа два с половиной. Чапаю[1], видимо, надоело сидеть недвижно,— остановил санки, посадил на свое место одного из всадников, сам поехал верхом. Подъехал к Федору.

— Значит, вместе теперь, товарищ комиссар?

— Вместе,— ответил Федор и сразу заметил, как крепко, плотно, будто впаянный, сидел Чапаев в седле. Потом оглядел себя и показался привязанным.

«Тряхнуть покрепче — и вон полечу,— подумалось ему.— Вот Чапаев, глянь-ка,— этот уж нипочем не выскочит».

— Вы давно воевать-то начали?

И Федору почуялось, будто тот ухмыльнулся, а в голосе послышалась ирония. «Знает, дескать, что на фронте я только-только, ну, и подшучивает».

— Теперь вот начинаю...

— А то по тылам были? — опять спросил Чапаев.

И опять вопрос язвительный.

Надо знать, что «тыловик» для бойцов, подобных Чапаеву,— это самое презренное, недостойное существо. Об этом Федор догадывался и прежде, а за последние недели убедился вполне, едучи и беседуя многократно с бойцами и командирами.

— По тылам, говорите? Мы в Иваново-Вознесенске работали...— с деланной небрежностью обронил Федор.

— Это за Москвой?

— За Москвой, верст триста будет.

— Ну, и што там, как дела-то идут?

Федор обрадовался перемене темы, ухватился жадно за последний вопрос и пояснил Чапаю, как трудно и голодно живут иваново-вознесенские ткачи. Почему ткачи? Разве нет там больше никого? Но уж так всегда получалось, что, говоря про Иваново-Вознесенск, Клычков видел перед собой одну многотысячную рабочую рать, гордился тем, что близок был с этой ратью — и в воспоминаниях своих несколько даже позировал.

— Выходит, плохо живут,— согласился серьезно Чапаев,— а все из-за голоду. Кабы голоду не было — на-ка: да тут все и дело по-другому пошло б... А жрут-то как, сукины дети, не думают небось о том...

— Кто жрет? — не понял Федор.

— Казачьё... Ништо ему нипочем...

— Ну, не все же казачество такое...

— Все! — вскрикнул Чапаев.— Вы не знаете, а я скажу: все! Неча там... д-да!

---

[1] Близкие часто его звали просто «Чапай».

Чапаев нервно забулькал в седле.

— Не может быть все,— протестовал Федор.— Хоть сколько-нибудь, а есть же таких, что с нами. Да постойте-ка,— вспомнил он с радостным волнением,— хоть бы и у нас вот тут, в бригаде, из казаков вся разведка конная?

— В бригаде? — чуть задумался Чапаев.

— Да-да, у нас, в бригаде!

— А это, надо быть, городские... здешние вряд ли,— с трудом поддавался на доводы Чапай.

— Я уж не знаю, городские ли, но факт налицо... Да и не может быть, товарищ Чапаев, чтобы все казачество, ну, *все* было против нас. По существу-то дела этого не может быть...

— Отчего же? Вот побудете с нами, тогда...

— Нет, сколько бы ни был я — все равно: не поверю!

Голос у Федора был крепок и строг.

— Про отдельных чего говорить,— стал слегка сдаваться Чапаев.— Конечно дело, попадают — да мало, нет нисколько...

— Нет, не отдельные... Вы это напрасно... Вон пишут из Туркестана — на целую там область казацкие полки установили Советскую власть... А на Украине, на Дону... да мало ли?

— Надейтесь, они вот покажут... сукин хвост!

— Ну, чего же надеяться, я не надеюсь,— пояснял Чапаю Клычков,— и в вашем мнении правды много... Это верно, что казачество — воронье черное, верно... Кто ж против того? Царская власть на то о них и заботилась... Но вы посмотрите на казацкую молодежь — это уж не старикам чета... Из молодежи-то больше вот к нам и идут. Седобородому казаку, ясное дело, труднее мириться с Советской властью... во всяком случае, теперь трудно, пока не понял он ее... Ведь думают черт знает что про нас и всему-то верят: церкви, говорят, в хлевы коровьи превращаем, жены у нас у всех общие, жить загоняем всех вместе, пить и есть вместе — за один стол непременно... Где же тут помириться казаку, если он из рода в род привык и к церкви, и к своему сытному, богатому хозяйству, к чужому труду, к степной, своевольной жизни?

— Иксплататары,— выговорил с трудом Чапаев.

— Именно,— сдержал Федор улыбку.— В эксплуатации-то вся суть дела и есть. Богатые казаки эксплуатируют не только ведь иногородних или киргизов, они и своим братом казаком не побрезгают... Тут вот разлад-то и происходит. Только старики, хоть они и обиженные, помирились с этим, считают, что сам бог так устроил, а молодежь — эта проще, посмелее на дело смотрит, потому к нам больше и льнут молодые... Стариков — этих не своротишь, этих только оружием и можно пронять...

К стр. 63

— Оружием-то оружием,— встряхнул головою Чапаев,— да воевать трудно, а то бы што...

Федор не понял, к чему Чапай это сказал, но почувствовал, что не зря сказано, что тут разуметь что-то надо особое под этими словами... Сам ничего не ответил и ждал, как тот пояснит, разовьет свою мысль.

— Центры наши — вот што...— бросил неопределенно Чапаев еще одну заманчивую, темную фразу.

— Какие центры?

— Да вот, напихали там всякую сволочь,— бормотал Чапаев будто только для себя, но так бормотал, чтобы Федор все и ясно слышал.— Он меня прежде под ружьем, сукин сын, да на морозе целыми сутками держал, а тут пожалуйте... Вот вам мягкое кресло, господин генерал, садитесь, командуйте, как вам захочется: дескать, можете дать, а можете и не давать патроны-то, пускай палками дерутся...

Это Чапаев напал на самый свой острый вопрос — о штабах, о генералах, о приказах и репрессиях за неисполнение,— вопрос, в те времена стоявший поперек глотки не одному Чапаеву, и не только Чапаевым.

— Без генералов не обойдешься,— буркнул ему успокоительно Клычков,— без генералов что же за война?

— Как есть обойдемся...

Чапаев крепко смял повода.

— Не обойдемся, товарищ Чапаев... Удалью одной большого дела не сделаешь — знания нужны, а где они у нас? Кто их, знания-то, кроме генералов, даст? Они же этому учились, они и нас должны учить... Будет время — свои у нас учителя будут, но пока же нет их... Нет или есть? То-то! А раз нет, у других учиться надо!

— Учиться? Да-да! А чему они-то научат? Чему?— горячо возразил Чапаев.— Вы думаете, скажут, что делать надо?.. Поди-ка, сказали!.. Был я и сам в академии у них, два месяца болтался, как хрен во щах, а потом плюнул да опять сюда. Делать нечего там нашему брату... Один — Печкин вот, профессор есть, гладкий, как колено,— на экзамене:

«Знаешь, говорит, Рейн-реку?»

А я всю германскую воевал, как же мне не знать-то? Только подумал: да што, мол, я ему отвечать стану?

«Нет, дескать, не знаю. А сам-то ты, говорю, знаешь Солянку-реку?»

Он вытаращил глаза — не ждал этого, да:

«Нет, говорит, не знаю. А што?»

«Значит, и спрашивать нечего... А я на этой Солянке поранен был, пять раз ее взад и вперед переходил... Што мне твой-

то Рейн, на кой он черт? А на Солянке я тут должен каждую кочку знать, потому што с казаками мы воюем тут!»

Федор рассмеялся, посмотрел на Чапаева изумленно и подумал:

«Это у народного-то героя, у Чапаева, какие же младенческие мысли! Знать, всякому свое: кому наука, а кому и не дается она. Два месяца вот побыл в академии человек и ничего-то не нашел там хорошего, ничего не понял. А и человек-то ведь умный, только сыр, знать, больно... долго обсушиваться надо...»

— Мало побыли в академии-то,— сказал Федор.— В два месяца всего не усвоишь... Трудно это...

— Хоть бы и совсем там не бывать,— махнул рукой Чапаев.— Меня учить нечему, я и сам все знаю...

— Нет, оно как же не учиться,— возразил Федор.— Учиться всегда есть чему.

— Да, есть, только не там,— подхватил возбужденный Чапай.— Я знаю, што есть... и буду учиться... Я скажу вам... Как фамилия-то ваша?

— Клычков.

— ...Скажу вам, товарищ Клычков, што почти неграмотный я вовсе. Только четыре года, как я писать-то научился, а мне ведь тридцать пять годов! Всю жизнь, можно сказать, в темноте ходил. Ну, да што уж — другой раз поговорим... Да вон, надо быть, и Таловку-то видно...

Чапаев дал шпоры. Федор последовал примеру. Нагнали Попова. Через десять минут въезжали в Казачью Таловку.

VI. СЛОМИХИНСКИЙ БОЙ

Казачья Таловка — это крошечный, дотла сожженный поселок, где уцелели три смуглых мазанки да неуклюже и долговязо торчат обгорелые всюду печи. Халупа, где теперь они остановились, была набита сидевшими и лежавшими красноармейцами,— они прибились здесь в ожиданье похода.

Их не трогали, не тревожили, никуда не выживали: как лежали, так и остались лежать. Сидевшие потеснились, уступили лавку, сами разбудили иных, храпевших особо рьяно, мешавших разговору.

Уж набухли степными туманами сумерки, в халупе было темно. Неведомо откуда бойцы достали огарок церковной свечки, приладили его на склизлое чайное блюдце, сгрудились вокруг стола, разложили карту, рассматривали и обдумывали подробности утреннего наступленья. Чапаев сидел посредине лавки.

Обе руки положены на стол: в одной — циркуль, в другой — отточенный остро карандаш. Командиры полков, батальонные, ротные и просто рядовые бойцы примкнули кольцом: то облокотились, то склонились, перегнулись над столом и все всматривались пристально, как водил Чапаев по карте, как шагал журавлиным ломаным шагом — маленьким белым циркулем. Федор и Попов уселись рядом на лавке. Тут, по сердцу сказать, никакого совещанья и не было,— Чапаев взялся лишь ознакомить, рассказать, предупредить.

Все молчали, слушали, иные записывали его отдельные указания и советы. В серьезной тишине только и слышно было чапаевский властный голос, да свисты, да хрипы спящих бойцов. Один, что в углу, рассвистелся веселой свирелью, и сосед грязной подошвой сапожища медленно и внушительно провел ему по носу. Тот вскочил, тупо и неочуханно озирался спросонья — не мог ничего сообразить.

— Тише ты, брюква,— погрозил парню сердито.

— Ково тише?

И спящие глаза его были бессмысленны и смешны.

Парня привели в себя, дав тумака в спину; он поднялся, протер глаза, узнал, что тут Чапаев,— и сам, приподнявшись кротко на носки, до самого конца вслушивался внимательно в его речь, может и не понимая даже того, что говорит командир.

Скоро подъехали из Александрова-Гая остальные чапаевцы. Они подвалились в халупу, и давка теперь получилась густейшая.

Чапаев продолжал поучение:

— ...если не сразу — не выйдет тут ничего: непременно враз! Как наскочил — тут ему некуда шагу подать... Всех отсюда спустить теперь же, часа через два. Поняли? У Порт-Артура до зари надо быть. Штобы все в темноте, когда и свету нет настоящего,— понятно?

Кивали ему согласными головами, тихо отвечали:

— Поняли... Конешно, в темноте... Она, темнота-то, как раз...

— Приказ у вас на руках,— продолжал Чапаев,— там у меня часы все указаны, где остановиться, когда подыматься в поход. Верить надо, ребята, што дело хорошо пройдет, это главней всего... А не веришь когда, што победишь, так и не ходи лучше... Я указал только часы да места, на этом одном не победишь,— самому все надо доделать... И первое дело — осторожность: никто не должен узнать, што пошли в наступленье, нини... Узнают — пропало дело... Коли попал на дороге казак или киргиз, да и мужик, все одно,— задержать, не пущать: потом разберем.

— Есть таковые,— молвил кто-то из угла.

— Есть, и держи,— подхватил Чапаев весело.— Ты на него,

на казака-то, оглядывай со всех сторон. Знаешь, какой он есть: выскочит враз с-под стола... Он тута дома, все дорожки, овраги все знает... Это опять же запомни. Да не рассусоливай с ним, с казаком... будешь сусолить — он тебя сам в жилу вытянет...

— Правильно... Это как есть... Казак повсегда за спиной...

Деловая часть беседы кончена.

Всемогущий Петька достал хлеба, вскипятил в котелочке воды, раздобыл сахару — шесть обсосанных серых кусочков. Компания весело зашумела. Гвалт в избушке вырос густой и ядреный. Бойцы, спавшие доселе походным, чугунным сном, попросыпались недоуменные: кто от крика, кто от смелых пинков, от шарканья по лицу сапогом, винтовкой, шинелью — как угодит. Заторопились всяк со своей посудой. Через пяток минут отодвинули столик на середку, а вкруг попритыкались на седлах, на досках, на поленьях, а то и спустились на корточки, уселись на полу. Церковная желтая свечушка поблескивала кротко, и были видны только оплывшие черные тени да восковые пятна вместо лиц.

Федор чувствовал себя необычайно в этой удивительной новой обстановке. Ему казалось, что никто его вовсе не замечал. Да и кому, зачем его было замечать? Ну, комиссар — так что ж из того? В военном деле он указать пока ничего не мог; политикой тут не время пока заниматься,— откуда же его и заметить? «Будет время — сойдемся,— подумал он про себя,— а теперь можно и в тени постоять».

Он даже одиноким себя почувствовал средь этой тесной семьи боевых товарищей. Ему стало даже завидно, что каждый из них — вот хотя бы и этот Петька, чумазый галчонок,— и он тут всем ближе, роднее, понятнее его, Клычкова... А как они все чтили своего Чапая! Лишь только обратится к которому — обалдеет человек, за счастье почитает говорить с ним. Коли похвалой подарит малой — хваленый ее никогда не забудет! Посидеть за одним столом с Чапаевым, пожать ему руку — это каждому величайшая гордость: потом о том и рассказывать станут, да рассказывать истово, рассказывать чинно, быль сдобряя чудесной небылицей.

Федор вышел из халупы и пошел было в поле, но услышал, что в избе поют. Он вернулся, протиснулся вновь к столу. Слушал.

Запевал сам Чапаев. Голос у Чапаева металлический, дребезжащий и сразу как будто неприятный. Но потом, как прислушаться, привлекали искренняя задушевность и увлечение, с которыми пел он любимые песни. Любимых было немного, всего четыре или пять. Их знали до последнего слова все его товарищи: видно, часто певали! Чапаев мог забирать ноты

невероятной высоты, и в такие минуты всегда становилось жутко, что оборвется. Но никогда, ни разу не сорвал Чапаев песню; только уж очень ежли перекричит,— охрипнет и дня четыре ходит мрачной тучиной: без песни всегда был мрачен Чапаев и не мог он, не тоскуя, прожить дня. Что ему страшная обстановочка, что ему измученность походная, или дрожь после боя, или сонная дрема после труда,— непременно выкроит десяток минут, а попоет. Другого такого любителя песен искать — не сыскать; ему песни были как хлеб, как вода. И ребята его, по дружной привычке, за компанию неугомонную — не отставали от Чапая.

Ты, моряк, красив собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня душою —
Что ты скажешь мне в ответ?

Песенка шла до конца такая же растрепанная, пустая, бессодержательная. И любил ее Чапаев больше за припев — он так паялся хорошо с этой партизанной, кочевою, беспокойной жизнью:

По морям, по волнам,
Нынче здесь, а завтра там!
Эх, по морям-морям-морям,
Нынче здесь, а завтра там!

Этот припев, схваченный хором, как гром по тучному небу, неистово ржал над степями. Потом про Стеньку любили, про Чуркина-атамана и о том, как:

Сидит за решеткой в темнице сырой
Вскормленный на воле орел молодой...

Тут пропели, пробалагурили до полуночи. Потом уткнулись кто где словчился,— уснули.

Наступление рассчитано было таким образом, чтобы под Сломихинской очутиться чуть станет светать. Наступали с трех сторон, полками. Стоявший здесь, в Таловке, полк шел в центре, ударял на самую станицу; два других с флангов огибали полукруг.

Полк из Таловки, на повозках, сговорено было отправить вскорости: через час-полтора. Но теперь еще все было покойно, и нет нигде мрачнеющих знаков близкого боя.

Федору не спалось. Он попытался было и сам расположиться на полу, голову положив на казацкое холодное седло,— нет, не уснуть! То ли привычки нет на седлах спать, то ли от ветру, что гудит неуемно в груди в эту первую ночь перед первым боем.

Им что! Десятки десятков раз бывали они в боях: вдрызг переконтуженные, с перебитыми костями, пробитыми головами, изрешеченные пулями сквозь,— им что! И ничего для них тут нет диковинного. Эка невидаль: ночь перед боем! Они таких ночей отхрапели немало, эти ночи не различны для них с другими, тихими ночами. Но у каждого, непременно у каждого была здесь когда-то в жизни своя «первая боевая ночь».

И тогда он, верно, как Федор, бушевал в этом хаосе нерешенных противоречий и мрачных ожиданий, беззвучно ныл от томительных мыслей и чувств.

Не спалось. И не только не спалось — тяжело было необъяснимой, небывалой тяжестью. Посмотрит кругом,— при мертвенном взблеске церковного огарка видно, как разбросались, скорчились, перевились на полу бойцы в общей куче, без разбору.

«Так же вот на поле битвы, верно, валяются трупы, в беспорядке, в агонией скрученных позах, то грудками, то в одиночку, то ровными цепочками скошенных пулеметами бойцов».

В полумраке и лица казались бледней, как в мертвецкой, и храпы — то срывались залпами, то раскатываясь протяжными свистами и вздохами — напоминали стоны...

Федор вышел из халупы, чувствовал, что не заснуть. Не лучше ли на ядреный воздух морозной ночи? А ночь тихая, черная, степная. Высоко в небе зеленые звезды. Ветер легкий и вольный, какой бывает только в степи.

Среди развалин сожженной станицы, под открытым небом расположился полк. Кой-где у догоравших костров можно было рассмотреть склоненные фигуры одиноко сидевших бойцов: то дежурные, то, как он, такие же вот горемыки, измученные бессонницей, не знающие, как перед боем скоротать ненасытное время. Они лениво подбрасывали в огонь мокрые щепки и потные прутики, собранные в степи,— дров в степи не достать,— озабоченно шевелили уголья, чтобы не стух костер, не остаться бы в черной, глухущей тьме. Там, где сомкнулись троечетверо вкруг костра, идет возня с котелками, там варят похлебку и чай, пропадает дальним громом рокочущий хохоток, пробавляются ребята прибаутками, по-своему ухлопывают предпоходные часы.

А ночь темнущая-темная. И строгая. Оползла кругом, опоясалась страхами, рассыпалась в миллионах тонких шорохов — они только жутче заострили молчание степи.

В степи, у развалин, будто привидения, ворочались плавно и величественно огромные мохнатые верблюды. Ныряли шустро во тьме какие-то странные тени. Из черного мрака на светлую дрожащую полосу огня выскакивали вдруг человеческие фигуры

и так же внезапно, быстро исчезали в черную бездну ночи. Во всем была неизъяснимая строгая сосредоточенность, явственное ожидание чего-то крупного и окончательного: ожидание боя!

Сколько потом ни приходилось Федору проводить ночей в ожидании утреннего боя,— все они, эти ночи, похожи одна на другую своею строгой серьезностью, своим углубленным и сумрачным величием. В такую ночь, проходя по цепям, шагая через головы спящих красноармейцев, густо мозги наливаются думами о нашей борьбе, о человеческих страданьях, об этих вот искупительных жертвах, что трупами червивыми остаются безвестные на полях гражданской войны.

«Вот они лежат, истомленные походами бойцы. А завтра, чуть забрезжит свет, пойдут они в бой и цепями и колоннами, колоннами и цепями, то залегая, то вскакивая вперебежку, то вновь и вновь западая ничком в зверковые ямки, нарытые вспешку крошечным заступом или просто отцарапанные мерзлыми пальцами рук... И многих не станет, навеки не станет; они, безмолвные и недвижные, останутся лежать на пустом поле... Каждый из них, оставшихся в поле на расклев воронью,— такой маленький и одинокий, так незаметно пришедший на фронт и так бесследно ушедший из боевых рядов,— каждый из них отдал все, что имел, и без остатка за то, во что верил так страстно. И молча, без барабанного боя, никем не узнанный, никем не прославленный — выпал он неприметно, словно крошечный винтик из огнедышащего стального чудовища...»

Федор увидел, как здоровенный кудрявый парень склонился над огнем, возится с картошкой, перевертывает, прокаливает ее на холодеющих угольях костра... Он нет-нет да и сунет в пепел штык, выхватит оттуда пронзенную картошку, пощупает пальцем, робко к губам ее поднесет — из огня-то! И живо отплюнет, сошвырнет с острия обратно в пепел: он весь поглощен своим невинным занятием. Верно, и у него в голове теперь целый рой неотвязчивых мыслей, быстрых и переменчивых воспоминаний?.. О чем он думает так сосредоточенно, вперившись неотрывным взором в потухающий костер? Уж непременно о селе, о работе, о жизни, которую оставил для фронта и к которой вернулся бы,— ах, вернулся бы с какой радостью и охотой! Да мало ли что передумает он в эту ночь... А вот поутру привезут его, может, сюда же — с оторванной ногой, с пробитой грудью, с расколотым черепом... И будет страшно хрипеть, медленно и напрасно, и зубовным скрежетом распрямлять перебитые хрусткие члены, будет страшен и дик, весь залитый кровью, весь облепленный кровавыми багровыми сгустками... Снимут эту вот, кем-то нежно любимую черную шапку кудрей, обреют широкую круглую голову и станут копаться

в чутком окровавленном теле стальными ножами и иглами... Брр...

А сосед, вон этот мужичок, что с рыжей бородой, уж немолод — ему под сорок годов. Тоже не без думы сидит. И ничего-то, ни словечка единого не говорят они друг с другом: оба полны своими особыми думами, у каждого теперь обостренно, учащенно пульсирует собственная, связанная со всеми и ото всех особенная жизнь... Не до разговоров — тут речь не к месту. Он сидит, рыжебородый мужичок, будто смерз и остыл в неподвижной позе: руки скрестил по животу, вобрал под себя охолоделые ноги, немигающим полуночным взором приковался к костру — и думает. Завтра он так же, быть может, без движения, останется лежать на снежной равнине, среди других, как он, отработанных в трупы, чернеющих и багровеющих на чистом рыхлом снежном ковре... Только в одном, в единственном месте — около виска снег пробуравит черною дыркой алая кровь... больше не будет кругом никаких следов.

Эти вот худенькие веснушчатые руки уже не будут сложены на животе — они будут разметаны, как в бреду, по сторонам, и будет похоже, словно мужичка распяли и невидными гвоздями приколотили к снежному лону... Оловянный взор будет так же неподвижен, как теперь: мертвый, остывший взор похолоделого трупа.

Федор живо себе представил эти мертвые картины, оставшиеся в памяти от прошлой войны, когда подбирал и лечил раненых солдат...

— Кто идет? — окликнул часовой.

— Свой, товарищ...

— Пропуск?..

— Затвор...

Часовой с руки на руку перекинул грузную винтовку, пожал от холода плечами и зашагал, пропал во тьму.

Федор вернулся в халупу — там неистовый метался храп и свист. Прицелился в первую скважину меж спящими телами, изловчился, протиснулся, изогнулся, лег... Лег — и уснул.

Было еще совсем темно, когда поседлали коней и из Таловки зарысили на Порт-Артур. (Кстати, отчего это назвали Порт-Артуром это маленькое, ныне дотла сожженное селенье?) Пробирала дрожь; у всех недоспанная нервная дикая зевота. Перед рассветом в степи холодно и строго: сквозь шинель и сквозь рубаху впиваются тонкие ледяные шилья.

Ехали — не разговаривали. Только под самым Порт-Артуром, когда сверкнули в сумрачном небе первые разрывы шрапнели, обернулся Чапаев к Федору:

— Началось...

— Да...

И снова смолкли и ни слова не говорили до самого поселка. Пришпорили коней, поскакали быстрее. Сердце сплющивалось и замирало тем необъяснимым, особенным волненьем, которое овладевает всегда при сближенье с местом боя и независимо от того, труслив ты и робок или смел и отважен: *спокойных* нет, это одна рыцарская болтовня, будто есть *совершенно спокойные в бою, под огнем,* — этаких пней в роду человеческом не имеется. Можно привыкнуть *казаться* спокойным, можно держаться с достоинством, можно *сдерживать себя и не поддаваться* быстро воздействию внешних обстоятельств,— это вопрос иной. Но *спокойных* в бою и за минуты перед боем — нет, не бывает и не может быть.

И Чапаев, закаленный боец, и Федор, новичок,— оба полны были теперь этим удивительным состоянием. Не страх это и не ужас смерти, это — высочайшее напряжение всех духовных струн, крайнее обострение мыслей и торопливость — невероятная, непонятная торопливость. Куда надо торопиться, так вот особенно спешить — этого не сознаешь и не понимаешь, но все порывистые движенья, все твои слова, обрывочные и краткие, быстрые, чуткие взгляды,— все говорит о том, что весь ты в эти мгновенья — стихийная торопливость. Федор хотел что-то спросить Чапаева, хотел узнать его мысли, его состояние, но увидел серьезное, почти сердитое выражение чапаевского лица — и промолчал. Подъехали к Порт-Артуру; здесь стояли обозы; на пепелище сожженного поселка сидели кучками обозники-крестьяне, наливали из котелков горячий чай и вкусно так, сытно, аппетитно завтракали. Чапаев соскочил с коня, забрался на уцелевшую высокую стену, сложенную из кизяка, и в бинокль смотрел в ту сторону, где рвалась шрапнель. Сумерки уже расползлись, было совсем светло. Здесь пробыли несколько минут, и снова на коней,— поскакали дальше. Навстречу крестьянская подвода, в ней что-то лежит, укрытое старенькой, истрепанной сермягой...

— Што везешь, товарищ?

— А вот солдатика поранило...

Федор взглянул в повозку и рассмотрел под сермягой контуры человеческого тела, повернул лошадь, поехал рядом. Чапаев продолжал ехать дальше.

— Тяжелый?

— Тяжелый, батюшка... И голову ему и ноги...

— Перевязан ли?

— Завязали, как же, весь укрыт.

В это время раненый застонал, медленно высунул из-

под серого покрывала обинтованную окровавленную голову, открыл глаза и посмотрел на Федора мутным, тяжелым взором, словно говорил:

«Да, браток. Полчаса назад и я был здоров, как ты... Теперь вот — смотри... Сделал свое дело и ухожу... Изувечен... уж пусть другие — очередь за ними... А я честно шел и... до конца шел. Сам видишь: везут...»

Обрывки этих мыслей проскочили у Федора в голове. И было невыносимо тяжело оттого, что это *первый*... Будут другие — ну, так что ж? На тех спокойнее будет смотреть — на то и бой. Но этот *первый* — о, как тяжела ты, первая, свежая утрата!

И так же быстро, как эти мысли, промчались другие — не мысли, а картинки, недавние, вчерашние, там, в Казачьей Таловке, у костра... Быть может, он тоже, как тот, вчера только, да и не вчера, сегодня ночью — сосредоточенно пропекал где-нибудь у костра полугнилую картошку, напарывал ее на штык и вытаскивал, проверяя горячую, раскаленную... губами?

Федор поскакал догонять Чапаева, но тот, видимо, взял стороной. Они встретились только в цепи.

И впереди, к фронту, и с позиции тянулись повозки: одни со снарядами, с патронами, пустые — за ранеными, другие, навстречу им, только с одним неизменным и страшным грузом: с окровавленными человеческими телами.

— Далеко наши? — спросил Федор.

— А недалече, вот тут, верст за пяток будет...

Справа, за рекой Узенем, стоят киргизские аулы,— казаков отсюда выбили огнем. Видно через реку, как бродят там взад и вперед дозорные — два красноармейца. Они засматривают в лощинки, проверяют за грудами камня и кизяка, не завалился ли где раненый товарищ... Все ближе, звучней гудит батарея, ближе, отчетливей рвутся снаряды... Вот уж и цепи чернеют вдали. Какие же пять тут верст? — почитай, и двух-то не было. Долга, видно, показалась мужичку дорога под артиллерийским огнем!

Подъехал Федор ко второй цепи и тут увидел Чапаева. С ним шел командир полка, они о чем-то серьезно, спокойно говорили:

— Посылал — не воротился,— отвечал на ранний вопрос комполка.

— А еще послать! — рубанул Чапаев.

— И еще посылал — одинаково...

— Опять послать! — настаивал Чапаев...

Командир полка на минутку замолчал. У Чапаева гневом

загоралось сердце. Тронулись веки, хищно блеснули в ресницах глаза, насторожились, как зверь в чаще.

— Оттуда были? — резко спросил Чапаев.

— И оттуда нет.

— Давно?

— Больше часу.

Чапаев крепко схлопнул брови, но ничего не сказал и дальше разговор вести не стал. Федор понял: речь шла о связи. С одним полком связь была отличная, с другим — нет ничего. Потом уж только выяснилось, что бойцы усомнились в своем командире — он бывший царский офицер. Они решили вдруг, что офицер ведет их под расстрел. И не пошли, надолго задержались, все галдели да выясняли, пробузили самое горячее время.

Федор шел рядом с Чапаевым, лошадей вели на поводу. Тут же, неслышный, очутился Попов, невдалеке — Теткин Илья, рядом с Теткиным — Чеков. Когда они тут появились, Федор не знал: за суматохой, когда из Таловки выехал с Чапаевым вдвоем, он не приметил, остались ли хлопцы в халупе, ускакали ли раньше они, в ночи, после песен.

До первой цепи было с полверсты. Решили ехать туда. Но вдруг сорвался резкий ветер, нежданный, внезапный, как это часто бывает в степи, полетели хлопья рыхлого, раскисшего снега, густо залепляли лицо, не давали идти вперед. Наступленье остановили. Но пурга крутила недолго,— через полчаса цепи снова были в движенье. Клычков с Чапаевым разъехались по флангам,— теперь они были уж в первой цепи. Показался хутор Овчинников.

— Здесь, полагаю, засели казаки,— сказал Чапаев, указывая за реку.— Надо быть, драка будет у хутора...

На этот раз Чапаев ошибся: гонимые казаки и не вздумали цепляться в хуторишке, они постреляли только для острастки и дали тёку, не оказав сопротивленья.

Подходили к Сломихинской. До станицы оставалось полторы-две версты. Здесь гладкая широкая равнина, сюда из станицы бить особо удобно и легко. А казаки молчат... Почему они молчат? Это зловещее молчанье страшнее всякой стрельбы. Не идет ли там хитрое приготовление, не готовится ли западня? Схватывались лишь на том берегу Узеня, а здесь — здесь тихо.

Федор ехал впереди цепи, покуривал и бравировал своим молодечеством: вот, мол, я храбрец какой, смотрите: еду верхом перед цепью и не боюсь, что снимет казацкая пуля...

Это выхлестывало в нем ребячье бахвальство, но в те минуты и оно, может, было необходимо. Во-первых, подымался авторитет комиссара, а потом и цепь этот задор ободрял бесспорно:

когда едет конный перед цепью, она чувствует себя весело и бодро,— об этом знает любой боец, ходивший в цепи. Но возможна эта лихость, конечно, только перед боем; когда открылся огонь и начались перебежки — тут долго не нагарцуешь.

Чапаев носился стремглавый — он был озабочен установкою связи между полками, хлопотал о подвозе снарядов, справлялся про обозы...

Федор проехал из конца в конец, воротился к правому флангу, слез с коня и сам пошел в цепи, держа коня на поводу. Батарея сосредоточила огонь. Станица, как раньше, молчала. И пока она молчала — шел Федор спокойный, пошучивая, немножко позируя своей простотой и мнимой привычностью к этаким делам: он разыгрывал чуть ли не старого ветерана, закоптелого в пороховом дыму. Но ведь это же было лишь его первое боевое крещение — что с «гражданской шляпы» и спрашивать? Вы лучше посмотрите, что стало с ветераном через пять минут.

Подпустив саженей на триста, казаки ударили орудийным огнем. За артиллерией с окраинных мельниц резнули пулеметы. Федор сразу растерялся, но и виду не дал, как внутри что-то вдруг перевернулось, опустилось, охолодело, будто полили жаркие внутренности мятными студеными каплями. Он некоторое время еще продолжал идти, как шел до сих пор, но вот немного отделился, чуть приотстал, пошел сзади, спрятался за лошадь.

Цепь залегала, подымалась, в мгновенную мчалась перебежку и вновь залегала, высверлив наскоро в снегу небольшие ямки, свесив туда головы, как неживые. Так, прячась за лошадь, и он перебежал раза два, а там — вскочил в седло и поскакал... Куда? Он сам того не знал, но прочь от боя скакать не хотел — только *отсюда*, из этого места уйти, уйти куда-то в другое, где, может быть, не так пронзающе свистят пули, где нет такой близкой страшной опасности... Он поскакал вдоль цепи, но теперь уже не перед нею, а сзади, помчался зачем-то на крайний левый фланг. Выражение лица у него в тот миг было самое серьезное, деловое — вы бы, встретившись, и не подумали, что парень мчится с перепугу. Вы подумали бы непременно, что он везет какое-то очень-очень важное сообщение или скачет в трудное место к срочному делу.

На пути встретился Попов — этот ехал на правый фланг. Зачем? Да, может быть, за тем же, зачем и Федор скакал на левый? Впрочем, кто его знает, в бою никак не разберешь — за делом ли вывернулся человек али страх отшиб ему разум, и вот он тычется без толку, обалделый, в поисках спасенья.

Столкнулись, приостановились, сдерживая коней, заторопились вопросами:

— Есть ли патроны? Хватит ли снарядов? Где Чапаев, как его найти?

Вопросы были для увода глаз.

Пока они кружились на месте, из станицы заметили и решили, что два эти всадника никак не рядовые, а кто-нибудь из верховного начальства. Тогда наладили скорострелку и обложили всадников вкруг снарядами — все ближе, ближе, ближе...

Один упал саженях, может, в двадцати пяти, другой — в пятнадцати, третий — и того ближе. Ясно было: станица берет на прицел! Снаряды ложились кольцом. Кольцо сжималось, смыкалось в огненных звеньях.

— Надо скакать! — шепнул торопливо и слышно Попов.

Лопнул близко новый снаряд.

Федор ничего Попову не ответил, дал вдруг шпоры коню и помчался в тыл, прочь от цепей... Попов за ним, но обернулся, отстал, пропал в сторону правого фланга. Федор доскакал до бугра,— за бугром лежало с десяток возчиков. Лег он с ними сам и следил, как рвутся снаряды в том самом месте, где за две минуты толокся с Поповым. Коня привязал к ближней повозке. Лежал и вслушивался в звенящий, в гудущий вой несшихся снарядов, и лишь только вой этот близился, Федор пластом вмиг прилипал к обмерзшему снежному скату и так ничком лежал недвижный. Потом медленно, опасливо подымал голову и, страдая, следил, не гудит ли где мимо и близко новый. Долго ли пролежал он здесь — кто же знает? Да именно здесь он, верно, и был бы убит шальным снарядом, изувечившим троих крестьян, что теперь с ним лежали на снегу. Но еще прежде того Федор поднялся, вскочил снова в седло и задумался на миг: куда же теперь? Словно на выручку, с левого фланга подскакал ретиво молодой красноармеец и задохшимся шепотом пробормотал торопливо, не обращаясь ни к кому:

— Где пулеметы? Где тут пулеметы?

— Какие пулеметы?

— Нам пулеметы надо — с левого фланга казаки лавой идут...

Федор сразу решил, что этот вояка такой же, как он, но взглянул в ту сторону, куда указывал кавалерист, и увидел вдруг, и с холодом в груди, несущуюся невдалеке черную массу... Волосы шевельнулись на голове.

— Сейчас из обоза пришлю! — крикнул он, хлестнув коня, и помчался в обоз.

Прискакал туда и не знал, что сказать. Обозники посматривали хитро и косо, пересмеивались,— чуяли, видно, зачем приехал молодец. А может, и показалось это Федору, и

не до него, может, было мужичкам,— смеялись и шутили они, чтобы прошли, ушли скорее эти долгие и страшные часы, когда стой вот тут и жди, неведомо как долго. Стой и жди, с места не трогай до приказу, а кругом сверкают и воют, ищут снаряды жертв. Шальные снаряды летают далеко, они угодят и в самый обоз.

Это только в смех говорят, будто в обозы трусов сплавляют служить. А ты сам послужи — тогда узнаешь, какое это трусиное гнездо — обоз! Хорошо солдату в цепи,— там у каждого винтовка, там грудью идут сотни и сотни разом, там у сотен этих свои впереди пулеметы, там пулеметчикам орудья брешут в подмогу. В цепи что?! Там есть о кого толкнуться, к кому пришиться, кругом — подмога в цепи. А ты огляньсь на обоз: двести возов, двести мужиков, а на двести на всех... одиннадцать винтовок! Винтовок одиннадцать, а патронов и вовсе мало. Пулемет в запасе стоит, да и тот чинить требует. К тому же на двести — полторы сотни стрелять толком не умеют. А те, что умеют,— калеки да слабомощные; другому и винтовку в плечо не взять, только и дела может делать, что вожжами на кобылке перебирать. Вот тебе и обоз! А казак обозы любит: чего ж его не взять пустыми руками? И как налетела сотня — кто ж оборонит, на кого припереться, откуда подмога? Скачут казаки меж возами, сквозь прорубают головы обозникам. Одиннадцать винтовок, и те молчат — вышибли разом казаки с рук. Вот тебе и обоз, вот тебе и трусиное гнездо: обозники под таким страхом стоят, что страху этого и в цепи не бывает! Так что зря и обидно говорят, будто в обозах трусы, а трусам везде страшно: обозный страх куда будет пострашнее того, что треплет бойца в цепи!

Горела на воре шапка, закатала-замучила Клычкова стыдобушка, не мог он с мужичками в смех, в разговор вступить, а уехать тоже — куда теперь? Так и болтался неприкаянным средь обозов часа полтора: спрашивал прикуривать, справлялся про фураж, про колесную мазь, про хлеб, про консервы, про деревню — дальние, мол, али ближние? И все это не удавалось, не получалось. Слова были пустые и глупые, никому не нужные. Казалось, что обозники гнушались разговором клычковским, уходили прочь от него небрежно и оскорбительно. Как ядовитые черви, медленно и копотливо проползали минуты; они истерзали, изъязвили, изрешетили Федору сердце — будто мстили за трусость, за позор.

Орудия ревом крыли окрестность. Шарахался по полю гул, будто метался в стороны и смертно ревел гигантский зверь, загнанный в круг. В стоне, в свисте и в реве шли веселее цепи, ободренные огнем.

В черной шапке с красным околышем, в черной бурке, будто демоновы крылья, летевший по ветру,— из конца в конец носился Чапаев. И все видели, как здесь и там появлялась вдруг и быстро исчезала его худенькая фигурка, впаянная в казацкое седло. Он на лету отдавал приказанья, сообщал необходимое, задавал вопросы. И командиры, так хорошо знавшие своего Чапая, кратко, быстро сообщали нужные сведения — ни слова лишнего, ни мгновенья задержки.

— Все пулеметы целы? — бросал на скаку Чапаев.

— Целы! — кричал ему кто-то из цепей.

— Сколько повозок снарядных?

— Шесть...

— Где командир?

— На левом...

Он мчался на левый фланг.

Цепи кидались стремительным бегом. В тот же миг срывались с цепей казачьи пулеметы. Цепи падали ниц, впивались в снежную коросту — лежали замертво, ждали новую команду.

Позади цепей носился Чапаев, кратко, быстро и властно отдавал приказанья, ловил ответы.

Вот он круто свернул коня, мчит к командиру батареи:

— Бить по мельницам!

— Все пулеметы с мельниц скосить!

— Станицу не трогать, пока не скажу!

И, быстро повернув, ускакал обратно к цепям. Чаще, крепче и злей заговорили орудия. Станица нервно торопилась остановить бегущие перебежками цепи. Мельницы взвыли и вдруг разорвались, как лаем, сухим колючим треском: были спущены все пулеметы враз. Обе стороны крепили огонь. Но с каждой минутой ближе и ближе красноармейцы, все точней падают-рвутся снаряды, дух мрет от мысли, что смерть так близка, что близок враг, что надо смять его, у него на плечах ворваться в станицу...

Возбужденный, с горящими глазами мечется Чапаев из конца в конец. Шлет гонцов то к пулеметам, то к снарядам, то к командиру полка, то снова скачет сам, и видят бойцы, как мелькает повсюду его худенькая фигурка. Вот подлетел кавалерист, что-то быстро-быстро ему сказал.

— Где? На левом фланге? — вскинулся Чапаев.

— На левом...

— Много?

— Так точно...

— Пулеметы на месте?

— Все в порядке... Послали за подмогой...

И он скачет туда, на левый фланг, где грозно сдвинулась

опасность. Казаки несутся лавой... Уж близко видно скачущих коней... Подлетел Чапай к командиру батальона.

— Ни с места! Всем в цепи... Залпом огонь!

— Так точно...

И он пронесся по рядам припавших в землю бойцов.

— Не робей, не робей, ребята! Не вставать... подпустить — и огонь по команде... Всем на месте... Огонь по команде!!!

Крепкое слово так нужно бойцам в эти последние, роковые мгновенья! Они спокойны... Они слышат, они видят, что Чапаев с ними. И верят, что не будет беды...

Как только лава домчалась на выстрел — ударил залп, за ним другой... кинулась нервная пулеметная дрожь...

Тра-та-та... Тра-та-та... Тра-та-та...— играли бессменно пулеметы.

Ах... ххх! Ах... ххх! Ах... ххх! — вторили четкие, резкие, дружные залпы.

Лава сбилась, перепуталась, замерла на мгновенье.

Аххх!.. Аххх!..— срывались сухие залпы. Еще миг — и лава не движется... Еще миг — и кони мордами повернуты вспять. Казаки мчатся обратно, а им вдогонку:

Тра-та-та... Аххх!.. Аххх! Тра-та-та... Аххх!.. Аххх!

Сбита атака. Уж бойцы от земли подымают белые головы. У иных на лицах, неостывших и тревожных, чуть играет пуганая улыбка... Цепи идут под самой станицей... Чаще, чаще, чаще перебежки... Пулеметный казацкий огонь тонким визгом шархает по цепи. И лишь она вскочит, цепь,— бьют казацкие залпы, их покрывает мелкая волнующая рябь пулеметной суеты... Уж бойцы забежали за первые мельницы, кучками спрятались где за буграми, где у забора — все глубже, глубже, глубже — в станицу...

И вдруг взорвалось нежданное:

— Товарищи! Ура... ура... ура!!!

Цепь передернулась, вздрогнула, винтовки схвачены наперевес,— это порывистой легкой скачью неслись в последнюю атаку...

Больше не слышно казацких пулеметов: изрублены на месте пулеметчики... По станице — шумные волны красноармейцев... Где-то далеко-далеко мелькают последние всадники.

Красная Армия вступала в станицу Сломихинскую...

Жалкий и смущенный выехал Федор Клычков из своего позорного приюта. Ехал опять к цепям. Не знал, что там делается, но слышно ему было, как пальба все тише, тише, а теперь и вовсе встала.

«Верно, наши вошли в станицу,— подумал он.— А впрочем, может быть и иное: наши были окружо́ны, побились-побились и сдались. Может быть, сейчас уж казаки справляют кровавое

похмелье. А через десять минут прискачут сюда, за обозами. И вместе с обозом возьмут его, комиссара. О позор! Позорище-позор! Как ему стыдно было сознать, что в первом бою не хватило духу, что так вот по-кошачьи перетрусил, не оправдал перед собою своих же собственных надежд и ожиданий. А где же мужество, смелость, героизм, о которых так много думал, пока был далеко от цепей, от боя, от снарядов и пуль».

Совершенно уничтоженный сознаньем своего преступленья, он чуть рысил в направлении к тому месту, откуда так позорно бежал два часа назад. Проехал и бугорок, на котором лежал с возницами,— там совсем близко увидел огромную яму от снаряда и кровь на снегу. Что за кровь? Чья она? Тогда еще не знал, как ударил сюда снаряд и загубил троих его недавних собеседников.

За бугорком ровная долина — здесь и шла наша цепь. Но где же она теперь? В станице? А может быть, на том берегу Узеня? Может быть, туда загнали ее казаки? Через станицу ли сквозь прогнали?

Он терялся в догадках, в предположениях.

В это время рысью подъехал всадник. Этот, видимо, тоже «искал пулеметы». Он молотил что-то вздорно и бессвязно. Федор посмотрел ему в лицо и понял, что оба они больны одной болезнью.

— Наши-то где? — спросил небрежно тот, подъезжая вплотную.

— А вот сам ищу,— брезгливо ответил Федор и застыдился. Они друг друга поняли до самого позорного днища.

— Может, в станице уж они? — деланно зевая и с притворной безмятежностью спросил незнакомец.

— Может быть,— согласился Федор.

— Ну, так што же, едем, што ли?

— Куда?

— В станицу-то.

— А как там казаки?

— Едва ли... Верно, вошли... А впрочем...

— То и дело-то: попадешь в лапы — не помилуют!

В этом роде предлагали друг другу несколько раз, столько же раз один другого отговаривали, предостерегали, указывали на необходимость как-нибудь исподволь узнать осторожно: кто занимает теперь станицу.

За разговором все плыли и плыли вперед, не заметили, что были всего в полуверсте, что с мельниц их давно и отлично видать, что деться все равно никуда нельзя и даже в случае преследованья едва ли имеется смысл удирать: пулеметы с мельниц достанут вослед!

Так ехали и дрожали от неизвестности, дрожали и ехали дальше.

Совсем неподалеку от крайних халуп увидели мальчугана годов десяти.

— Малец, эй, малец, вошла тут Красная Армия али нет?

— Вошла,— прозвенел мальчишка весело.— А вы откуда приехали?

— Беги, беги, мальчуган, гуляй, про военные дела рассказывать нельзя,— урезонил отечески Федор его баловливое и неуместное любопытство.

Спутник, лишь только услышал, что опасности нет, куда-то нечаянно и вмиг пропал. Клычков, спокойный, но все такой же приниженный и смущенный, въезжал теперь в станицу, занятую красными полками. Он все успокаивал себя мыслью, что со всеми новичками, верно, то же бывает в первом бою, что он себя оправдает потом, что во втором, в третьем бою он будет уже не тот...

И не ошибся Федор: через год за одну из славнейших операций он награжден был орденом Красного Знамени. Первый бой для него был суровым, значительным уроком. Того, что случилось под Сломихинской, никогда больше не случалось с ним за годы гражданской войны. А бывали ведь положенья во много раз посложнее и потруднее сломихинского боя... Он выработал в себе то, что хотел: смелость, внешнее спокойствие, самообладание, способность схватывать обстановку и быстро разбираться в ней. Но это пришло не сразу — надо было сначала пройти, видимо, для всех неизбежный путь: от очевидной растерянности и трусости до того состояния, которое отмечают как достойное.

Расспрашивая встречных, где остановился штаб, Клычков отметил, что все отвечали как-то наспех, словно нехотя, куда-то торопясь,— вся станица была в движении, до чрезвычайности была оживлена и возбуждена. Казаков выбили, угнали и теперь еще продолжали их где-то гнать те части, которым поручено было преследование. Значит, причины возбужденья не в этом — не в военной опасности, не в боевых приготовлениях. Но в чем же?

Он подъехал незаметно к штабу — к огромному дому купца Карпова. Здесь в сборе были все: Чапаев, его ребята, Ежиков. Особенно запомнился Федору Ежиков. Он, видимо, понял, в чем дело, и встретил гуляку чуть сдержанной улыбкой:

— Тылы подтягивали... товарищ... Клычков? — А глаза золотистые и смеются-смеются у дьявола — насмехаются.

— Да... Позадержался там...— неловко пробурчал Федор и обратился к Чапаеву: — Армию известили?

— Сейчас вот собираемся... Из Уральска вести добрые — там двинули вперед, дорогу ко Лбищенску чистят...

— То-то бы дело... А нам тут как, относительно Сахарной-то?

Спросил и смутился: слова показались излишней болтовней, как и сам себе казался он здесь почти что лишним...

«Они все тут шли, сражались, жизнью рисковали, а я, извольте-ка, через два часа пожаловал!»

Угрызения совести шерстили сердце, полымянной мукой кидались в лицо.

Одна за другой подходили к дому женщины-крестьянки. Настойчиво жестикулируя, они доказывали что-то вестовым и караульным, тщетно пытаясь проникнуть в штаб. В окно было видно, что их не пустят,— невозмутимый, усмешливый вид красноармейцев был тому порукой. Федор вышел на волю, расспросил, в чем дело, узнал, что они жаловались на новых своих гостей — красноармейцев, которые-де растаскивают имущество. Федор немедленно отправился с ними на место, расспросил, осмотрел, записал, обещал разыскать и воротить пропавшее.

Грабежи были — этого никак нельзя отрицать. Грабежи во время вступления войск в населенные пункты, видимо, явление неизбежное, и это Федор многократно впоследствии имел возможность наблюдать как на своих, на красноармейских, частях, так и на войсках врага. Это нечто стихийное, с чем трудно бороться, что в корне уничтожить немыслимо, пока существует война. Это свойственно бойцу наших дней по природе всей его взвинченной, специфически военной, разрушительной психологии. Военные грабежи пропадут только с войной. Это так. Однако же это вовсе не значит, будто с ними нельзя бороться уже теперь и бороться даже очень, очень успешно.

Федор наткнулся на целый ряд грабежей, вовсе бессмысленных, не имевших в себе нисколько корыстного начала. Идет, к примеру, красноармеец, тащит огромный узел со всяким барахлом.

— Что у тебя? Покажи.

Он совершенно спокойно раскладывается с узлом на снегу, развязывает, вытаскивает оттуда детские рубашечки, пеленки, игрушки разные, тряпки, платьица...

— На что это тебе, дружина?

Молчит. Сам видит, что ни к чему.

— Зачем брал-то, спрашиваю?

— А мы все кому што: взял и понес.

— Зачем же, все-таки?

— Почем я знаю...

— А у меня женщина была, плакала, искала. Надо быть, это самое бельишко и есть...

— Может, оно... пущай берет,— согласился парень без жалости.

— Не «берет», а отнести надо,— внушительно, дружески, беззлобно сказал ему Клычков.

— И отнести можно,— согласился тот.— Конешно, отнести,— чего ей, бабе, барахтаться? Ты укажи, я сам снесу.

Федор узнал, где тот хватил узел, и направился вместе с ним. Красноармеец принес, молча положил его на железную ощипанную кровать, помялся неловко на месте, взялся за скобу и вышел молча.

Федор встретил другого. Этот голову всунул в плетеную детскую колясочку — может, в печку тащил, а может, и просто позабавиться. Бывало и это — по-разному забавлялись.

Сгребут, бывало, здоровеннейшие лапищи какого-нибудь вихрастого Михрютку, у которого сапожнищи потяжелее, да грязи на них в аршин, у которого в ляжках три пуда да полпуда в льняных кудрях,— сгребут и волокут его к такой вот что ни на есть ангельской колясочке. Визжит-брыкается Михрютка, страстным воем пугает мимо идущую публику. В станице ли, в деревне али в городе — игра везде одинаковая. Как ни визжи, а забава состоится: в подмогу со всех сторон сбегаются ребята, помогут они вязать, держать, скрутить парня начисто в детскую колясочку. Свяжут его, прикрутят честь честью и руки веревкой заплетут, а потом выбирают, где горка покруче, да с горки его... на колесиках... кувырком!

Ха-ха-ха! То-то забава молодецкая!

И тут результат был один: колясочку парень Клычкову возвратил без малейшего сожаления, она ему была совершенно не нужна и соблазнила только своим разукрашенным видом.

Многое разыскали, многое возвратили, станица поутихла, перестала жаловаться. Чапаев приказал немедленно созвать командиров, а когда собрались, жестким тоном распорядился он произвести массовые обыски и арестовать всех, у кого хоть что найдется из украденного. Что будет отобрано — все сносить в определенные места, назначить особую раздаточную комиссию, пригласить пострадавших и удовлетворить, но... только бедноту: ни одному «буржую» чтобы не было отдано ломаного гроша. Это имущество пойдет в полковые кассы, которые создать надо теперь же, немедленно! Тех, что сами снесут вещи, не трогать, не арестовывать... Кроме этого всего — собрать через два часа на площади всех бойцов, сообщить, что будет говорить «сам Чапаев» — так и наказал передать: «Сам Чапаев говорить, мол, будет!»

Два часа спустя Петька Исаев докладывал Чапаеву, что собрались на площади и ждут его красноармейцы. Тут же пришел командир одного из полков — вместе направились к площади. Командир дорогой пояснял Чапаю настроенье бойцов.

Чапаева Федор слушал впервые. От таких ораторов-демагогов он давно уж отвык. В рабочей аудитории Чапаев был бы вовсе негоден и слаб, над его приемами там, пожалуй, немало бы посмеялись. Но здесь — здесь иное. Даже наоборот: речь его имела здесь огромный успех! Начал он без всяких вступлений и объяснений с того вопроса, ради которого созвал бойцов,— с вопроса о грабежах. Но дальше он зацепил попутно и огромную массу ненужнейших мелочей, все зацепил, что случайно пришло на память, что можно было хоть каким-нибудь концом «пришить к делу». В речи у Чапая не было даже и признаков стройности, единства, проникновения какой-либо одной общей мыслью: он говорил что придется. И все же, при всех бесконечных слабостях и недостатках — от речи его впечатление было огромное. Да не только впечатление, не только что-то легкое и мимолетное — нет: налицо была острая, бесспорная, глубоко проникшая сила действия. Его речь густо насыщена была искренностью, энергией, чистотой и какой-то наивной, почти детской правдивостью. Вы слушали и чувствовали, что эта бессвязная и случайная в деталях своих речь — не пустая болтовня, не позирование. Это — страстная, откровенная исповедь благородного человека, это — клич бойца, оскорбленного и протестующего, это — яркий и убеждающий призыв, а если хотите, и приказание: во имя правды он мог и умел не только звать, но и приказывать!

— Я,— говорит,— приказываю вам больше никогда не грабить. Грабят только подлецы. Поняли?!

И на это приказание отозвались оглушительные и приветственные и благодарственные, от глубин сердца радостные крики многотысячной толпы. Был неописуемый восторг. Красноармейцы клялись, веруя в слова, честно клялись своему вождю, что никогда не допустят грабежей, а виновных будут сами расстреливать на месте.

Увы, они не знали, что это *невозможно* сделать, что с *корнем* вырвать это на *войне* нельзя, но клялись они убежденно, и нет сомненья, что *сократили* грабежи до последней фронтовой возможности.

Помнятся обрывки чапаевской речи.

— Товарищи! — крыл он площадь металлическим звоном.— Я не потерплю того, што происходит! Я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый

этой вот расстреляю подлеца! — И он энергически в воздухе потряс правой рукой.— А я попадусь — стреляй в меня, не жалей Чапаева. Я вам командир, но командир я только в строю. На воле я вам товарищ. Приходи ко мне в полночь и за полночь. Надо — так разбуди. Я навсегда с тобой, я поговорю, скажу, што надо... Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Вот я какой командир!

Федору стало неловко от беззастенчивого ребячьего бахвальства, а Чапаев, минутку подождав, крыл невозмутимо:

— Я к этой жизни привык, товарищи. «Академиев» я не проходил, я их не закончил, а все-таки вот сформировал четырнадцать полков и во всех них был командиром. И там везде у меня был порядок, там грабежу не было, да не было и того, штобы из церкви вытаскивали рясу поповскую. Што ты — поп? Оденешь, што ли, сукин сын? На што украл?

Чапаев грозно обернулся в одну, в другую сторону, даже перегнулся назад, глянул пронзающе и быстро, словно хотел узнать среди многотысячной серой массы того злодея, о котором теперь говорил.

— Поп, известное дело, врет,— отвесил Чапаев крепкую мысль.— Он и живет обманом, а то какой же поп, коль обману нет? Не трожь, говорит, скоромного, а сам будет гуся в масле жрать, только кости потрескивают. Чужого, говорит, не тронь, а сам ворует,— этим попы и опостылели нам... Это верно, а все-таки веру чужую не трожь, она не мешает тебе. Верно ли говорю, товарищи?

Место было выигрышное. Чапаев это знал и потому именно в *этом* месте поставил свой хитрый вопрос. Красноармейцы-крестьяне, раскаленные чапаевской речью, словно давая исход задушившему долгому молчанию, прорвались буйными криками. Только этого и ждал Чапаев. Симпатии слушателей были теперь всецело на его стороне: дальше речь как ни построй — успех обеспечен.

— Ты вот тащишь из чужого дома, а оно и без того все твое... Раз окончится война — куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров — сотне крестьян отдадим по корове. Отняли одежу — и одежу разделим поровну... Верно ли говорю?!

— Верно... верно... верно...— рокотом катилось в ответ.

Вспыхивают кругом оживленные лица, рыщут пламенеющие восторгом глаза... Красноармейцы летучими обрывками слов, кивками, смешками, веселым глазом выражают друг другу острое сочувствие, согласие, довольство... Чапаев держал в руках коллективную душу огромной массы и заставлял ее мыслить и чувствовать так, как мыслил и чувствовал сам.

— Не тащи!..— выкрикнул он, резко поддав левой рукой. На минутку встал, не находил нужного слова.— Не тащи, говорю, а собери в кучу и отдай своему командиру, все отдай, што у буржуя взял... Командир продаст, а деньги положит в полковую кассу... Ранят тебя — вот получи из этой кассы сотню рублей... Убили тебя — раз тебе на всю семью по сотне! Што, каково? Верно говорю али нет?

Тут уж случилось нечто непредставимое — восторг перешел в бешенство, крики перешли в исступленный, восторженный вой...

— Все штобы было отдано,— заканчивал Чапаев, когда волненье улеглось,— до последней нитки отдать, што взято. Там разберем, кому отдать, у кого што оставить, вам же на помощь. Поняли? Чапаев шутить не любит: пока будут слушать — и я товарищ, а нет дисциплины — на меня не обижайся!

Он закончил речь свою под отчаянные рукоплесканья, под долго не смолкавшее «ура».

На ящик, с которого только сошел Чапаев, влетел красноармеец, мигом распахнул шинель, задрал гимнастерку и быстрым движеньем расстегнул стягивавший штаны массивный серебряный казацкий пояс.

— Вот он, товарищи,— кричал парень, потрясая поясом над головой,— семь месяцев ношу... в бою достался... сам убил, сам с убитого снял... А отдаю. Не надо... на што он мне? Пущай на помощь идет на общую. Да здравствует наш геройский командир товарищ Чапаев!

Толпа задрожала в приветственных восторгах.

Федор видел, какое глубокое впечатление произвела чапаевская речь, он радовался этому эффекту, но только все тревожился вот относительно «сотни коров» да одежи, которую будут делить «пополам»; потом и с комиссиями этими полковыми тоже не все было ладно.

— Товарищ Чапаев,— обратился он,— мне охота теперь же ознакомиться с красноармейцами, да и рассказать бы я им хотел вкратце насчет нашей общей обстановки в стране, только скажите-ка им сами, что будет, мол, говорить комиссар, товарищ Клычков...

Чапаев — тут же на ящик, предупредил, и Федор стал рассказывать про борьбу на других фронтах — с Колчаком, Деникиным, со всеми вожаками белых армий. Коснулся коротко международной обстановки, остановился в двух словах на экономической жизни государства... В разных местах, как бы попутно и в виде иллюстраций, он привел чапаевские примеры, остановился на них и, не отвергая прямо, дал такие к ним «объяснения», что от предложений остался только легкий душок...

Федор подходил к разрушению чапаевских положений край-

не осторожно и все время подпускал выражения вроде того, что «хорошую и верную мысль товарища Чапаева о нашем *общем* имуществе враги наши истолковывали бы, конечно, так, будто мы берем, тащим и делим кому и что и как вздумается... Но не так думаем мы с товарищем Чапаевым, да и вы, конечно, думаете не так»,— и Федор подкапывал и сваливал с ног ту «дележку», которую, пожалуй, и предлагал Чапаев. Во всяком случае, так можно было развить и понять его знаменитый пример: «...сотню отобранных коров мы разделим сотне крестьян — каждому по корове...». Без разъяснений таких положений оставить было невозможно.

Пребывание, правда очень краткое, в группе анархистов, крестьянское прошлое Чапаева и удалая его натура, невыдержанная, беспланная, недисциплинированная,— все это настраивало его на анархический лад, толкало к партизанским делам.

Да, великое дело — слово: ни грабежей, ни бесчинств, ни насилий в станице больше не было.

Как только окончился митинг, Федор разыскал Ежикова и хотел с ним посоветоваться — сегодня ли создать ревком в станице или отложить до утра? Но Ежиков промычал нечто непонятное и от прямого ответа уклонился. Федор решил действовать один: оповестил жителей, чтобы собрались теперь же к помещению станичного управления, пригласил с собой троих политических работников, наметил вопросы, решился сам попытать счастья в новом деле,— ревкомов в полосе военных действий ему создавать еще не приходилось. Станичников собралось немало — помещение не смогло вместить пришедших. Когда Ежиков узнал, что ревком все-таки будет и без него создан, он явился сам. Федор этого маневра сразу не понял, догадался он только потом: Ежикову очень, очень хотелось собрать побольше материала о бездеятельности Федора, о его непригодности, слабости и т. д., чтобы того отозвали, а его, Ежикова, оставили комиссаром группы. Он и ревком хотел создать самостоятельно, а Федора поставить перед совершившимся фактом. Да не успел.

Собравшиеся держались неуверенно, как вообще это бывает в подобных случаях. И чему тут удивляться? Вчера были казаки, вчера собирали их здесь же и выбирали свою власть... Сегодня красные пришли, ревком назначают, а завтра, может быть, опять вернутся казаки,— что тогда? Не будут ли сняты головы у станичников, посаженных править станицей?

В ревком работать никто не шел — робели. Те, что не робели и понимали события во всей их сложной и серьезной совокупности, давно уж покинули станицу, ушли по городам, включались в Красную Армию.

Назначили в ревком своих политработников. Стали говорить о работе — что делать в первую очередь, что — во вторую, с чем можно обождать... Решили на первоначальные расходы собрать с присутствующих — кто что может, а потом с шапкой пройтись и по всей станице. Затем связаться с Уральском, получить оттуда указанья-распоряженья, а может быть, и материальную подмогу.

Федор им усердно разъяснял задачи ревкомов, попутно разъяснял и задачи Советской власти. Слушали сельчане, соглашались, одобряли... В станице утверждена была Советская власть. Над крылечком казачьей управы утвержден был красный небольшой флажок.

К вечеру пустая воротилась разведка. Она тыкалась в разные стороны, вынюхивала, выщупывала, высматривала, но чижинские разливы не позволяли и думать о проезде на санях до большого Уральского тракта. Это верно, что по утрам примораживало крепко. Это верно, что степь была в рыхлом, в липком снегу. Но уж дороги приметно окисли и распустились, а теплые мартовские дни и вовсе их оплешивили. Надо было приостановить дальнейшее наступление, ждать новых распоряжений. В большом доме у Карпова — купца — собрался весь командный состав: Чапаев приказывал расставлять охрану, подтягивать обозы, наводить порядок в советской станице... Тут же приводили пленных. Долго и безрезультатно допрашивали киргиза, захваченного в степи. Стало известным, что у Шильной Балки — селения в нескольких десятках верст — пошаливают казаки и чуть ли не заняли самый поселок: туда надо было перебросить немедленно часть имеющихся сил — и это обсуждали. Да мало ли разных дел, где про все передать!

Свисли черными туманами сумерки. Истомленные походом и тревогами отгремевшего дня — спали командиры. Заснул и Федор. Чапаев скоро разбудил его — подписать приказ. Проснулся, подписал, опять уснул. И опять разбудил его Чапаев. Всю ночь, до утра, без сна просидел этот удивительный человек. Проснется Федор и видит, как сидит Чапаев один, только светит скупая лиловая лампешка. Сидит он, склонившись грузно над картой, и тот же любимый циркуль с ним, что был в Александровом-Гаю: померит-померит — запишет, опять смерит и снова запишет. Всю ночь, до петушиного рассвета, мерил он карту и слушал молодецкий храп командиров. У дверей, сжав винтовку в обе руки, дремал часовой и серым лбом долбил по черному ребру штыка.

...В Сломихинской пробыли четыре дня. Фрунзе по прямому проводу сообщил, что бригаду бросает на Оренбургский фронт. Обстановка скоро заставила изменить и это решение,— перебросили бригаду не к Оренбургу, а в Бузулукский район. Для детальных переговоров Чапаева и Клычкова Фрунзе вызывал в Самару — к себе!

Собрались в четыре минуты. Знали, что больше сюда не вернутся. Побросали в санки походные саквояжики. Не стоит на месте борзая тройка — выбрали ядреных, самолучших коней!

Аверька уж сидит, готовый в степную скачь, и вожжи подобраны, как старушечьи губы,— сухо и крепко! На крыльце Попов, Чеков, Теткин Илья, вся братва чапаевская — высыпали провожать.

— Да скорей бы нас отсюда, товарищ Чапаев...

— Как приеду — вызову враз!

Тройка тронула...

Сверкнули в снежную пыль прощальные крики. С крыльца — как в зеркальцах — плеснулась в глазах разлучная тоска. Кто-то взвизгнул, кто-то кнутом взмахнул, кто-то шапку вскинул до крыши... В серой тоске и в снежных заметах пропало крыльцо...

Степи-степи! Кумачи вечерние, колыбели белые да пуховые! А по степи ветер, как девичий вздох,— ходит пахучими и холодными валами, ходит над белыми снегами, ходит над снежными пустырями, пропадает в чистую синь раннего мартовского неба!

От Сломихинской путь держали обратно, на Александров-Гай — по тому самому пути, где шли еще так недавно с полками... Ехали и молчали. Степь ездоку как люлька — гонит в усладный сон.

Вот уж и Казачья Таловка. Ну, давно ли здесь готовились к бою, изучали и циркулем вспарывали карту, совещались, мозговали, как бы в орех расколотить казару? И ночь — с песнями, с веселым разговором, а потом — с мертвой тишью, здоровенным храпом усталых, крепко-накрепко уснувших бойцов...

Федор припомнил костры и у костров рыжебородого того мужичка и рослого кудрявого парня, что повертывал на угольях картошку и выхватывал на штыке... Где они теперь? Остались ли живы?

Так до самого Александрова-Гая — в воспоминаньях о пережитом, в отчетах перед собою за свои поступки.

В Алгае были недолго: передохнули, перекусили — и в путь.

Крыли степь перекладными тройками вплоть до самой Самары.

VII. В ПУТИ

Чапаев был из тех, с которыми сойтись можно легко и дружно. Но так же быстро и резко можно разлететься. Эх, расшумится, разбунтуется, зло рассечет оскорбленьем, распушит, распалит, ничего не пожалеет, все оборвет, дальше носа не глянет в бешенстве, в буйной слепоте. Отойдет через минуту — и томится. Начинает трудно припоминать, осмысливать, что наделал, разбираться, отсеивать важное и серьезное от случайной шелухи, от шального чертополоха... Разберется — и готов пойти на уступки. Но не всегда и не каждому: лишь тогда пойдет, когда *захочется*, и только перед тем, кого уважает, с кем считается... В такие моменты надо смело и настойчиво звать его на откровенность. На удочку шел Чапаев легко, распахивался иной раз так, что сердце видно.

Человек он был шумный, крикливый, такой строгий, что иной, не зная, подойти к нему боится: распушит-де в пух, а то — чего доброго — и двинет вгорячах!

Оно и в самом деле могло так быть — на незнакомого да на робкого. Чем в тебе больше страху, тем горше свирепеет сердце у Чапаева: не любил он робкого человека. И поглядеть со стороны — зверем зверь, а поближе приглядись — и увидишь простецкого, милейшего товарища, сердце которого открыто каждому чужому дыханью, и от этого дыханья каждый раз вздрагивает оно радостно-чутко. Присмотрись — и поймешь, что за этой пыльной бранью, за этой нахмуренной суровостью ничего не остается, ни малого камушка у пазухи,— все он выстреливает разом, подчистую. И когда отговоришь с ним,— согласен ты или не согласен,— знаешь зато и чувствуешь, что исчерпал вопрос до донышка: неконченных дел и вопросов с Чапаевым никогда не остается — у него всегда все кончено, сказал — и баста!

Голову свою носил Чапаев высоко и гордо — недаром слава о подвигах его громыхала по степи.

Та слава застлала Чапаю глаза, перед самим собою рисовала его непобедимым героем, кружила ему голову хмелем честолюбья.

Сподручные хлопцы в глаза и за глаза больше всех шумели про подвиги чапаевские. Это они первые распускали и были и небылицы, они их размалевывали яркими мазками, это они раньше всех пели Чапаю восторженные гимны, воскуряли фи-

миам, рассказывали про его же собственную чапаевскую непобедимость. Когда Чапаю превосходно врали и даже льстили — он слушал охотно, облизывался, как кот с молока, сам поддакивал и даже кой-что прибавлял в речь враля. Зато пустомелю и мелкого подхалима, не умеющего и соврать путем, выгонял в момент. И впредь наказывал — не пускать к себе.

Поражала еще в характере у него одна удивительная такая черточка: он по-детски верил слухам, всяким верил — и серьезным и пустым, чистейшему вздору.

Верил тому, что в Самаре, положим, на паек выдают по десять фунтов махорки, а вот на фронте и осьмушки нет.

Верил, что в штабе фронта или армии идет день и ночь сплошное и поголовнейшее пьянство, что там одни спецы-белогвардейцы и что они ежесекундно нас предают врагу.

Верил тому, что снаряды, обувь, хлеб, винтовки, пополненье, что бы там ни было,— все это опаздывает по злой воле отдельных лиц, а не из-за общей нехватки, расстройства транспорта, порчи мостов, положим, и т. д. и т. п.

Верил, что тиф заносят птицы: чем больше птиц, тем больше тифу; верил, что сахар растет чуть не целыми головами; что коня не бить — он испортится...

Чему-чему только не верил он по простоте, по чистоте сердечной!

Или вот товарища берет, ну, Попова, что ли. Попов — комбриг. Попов — парень сам герой и был с Чапаем во всех переделках,— ходил в атаку не раз, не раз прострелен, контужен, одним словом — не зря комбриг.

И вот какой-нибудь случай в боях: не успел Попов обозы стянуть в срок, не успел на помощь другой бригаде подойти, отступили, положим, на пяток верст, да с тем, чтобы десять разом нагнать...

И уж кто-то шепчет доверчивому начдиву:

— Трус Попов-то... Побежал... Зря не помог — растерялся вовсе... Да пьянствовал, подлец, всю неделю... Против тебя, Чапаева, слово говорил... Зависть имеет...

И слушает, внимает жадно и верит доверчивый Чапай, распаляется гневом:

— Да я ему, подлецу!.. Да я голову оторву!.. Расстреляю за пьянство!.. Это што: людей у меня губить... а сам пьянствовать! А Чапаев отвечай... Позвать немедленно...

И ждет, взбешенный, когда приедет Попов, побросав дела, услыхав про грозовье. Прискакал Попов, в коридоре справляется:

— Сердит?

— У-ух, как сердит...

— Все на меня?

— На тебя одного...
— Поди, наговорил кто?..
— Да уж не без того...
— Ну, пронесет, бог даст...

И, наспех стянув ремни, оправив штаны, кобур, подтянувшись по-военному, входит Попов:

— Здравья желаю, товарищ Чапаев!

А тот и не глядит. И не отвечает. Бешеные глаза под тяжелым свесом ресниц упали вниз. Дергает усы Чапай, молчит целую минуту. А потом — как пробка выскочит из бутылки:

— Опять пьянствовать?
— Да я и не...
— Молчать! Распустились, сукины дети...
— Товарищ Чапаев, я...
— Молчать!.. Расстрелять тебя мало, подлеца! В такой обстановке и до чего распустились, дьяволы! Это што? Это што такое? Это подо што Чапаева подвели?

Попов молчит. Он знает, что выскочит газ — и пробку вынимай спокойно. Он знает, что выкричит Чапаев гнев свой — и притихнет. А как притихнет, тут ему и докладывай, рассказывай, как было, опровергай клевету и вздорные слухи... Сначала поартачится, все еще по упрямству не станет слушать, но ты — иди-иди-иди настойчиво и прямо к цели.

Только ему краешком поколыхай ту веру в клевету — обмякнет, как ситный, посмотрит тебе ласково в глаза и скажет виновато:

— А я, понимаешь ли...
— Понимаю, понимаю...
— Да-да, так вот я, понимаешь ли... Ну, говорят, отступил... Ну, говорят, пьянство опять же...
— Ну да, ну да.
— Так я и поверил — как же не поверить? А ты бы вместо меня разве не поверил? Как же. Того гляди — тут каждый поверит!

И уж Чапаев смеется. И уж ласково треплет Чапай Попова по плечу. Чай пить с собой усаживает, не знает, как окупить вину...

Прошло два дня, прошло три дня — случись с Поповым то же и так же, так же от начала до конца будет верить Чапаев клевете и вздорному слуху, станет бушевать, кричать, грозить, а потом — потом ласкаться виновато...

Он был доверчив, как малое дитя. Оттого и сам много страдал, но перемениться не мог.

Только одному он не верил никогда: не верил тому, что у врага много сил, что врага нельзя сломить и обернуть в бегство.

— Никакой враг против меня не устоит! — заявлял он гордо и твердо.— Чапаев не умеет отступать! Чапаев никогда не отступал! Так и скажите всем: отступать не умею! Наутро же гнать неприятеля по всему фронту! Передать, что я приказал! А кто осмелится поперек идти — доставить в штаб ко мне... Я живо обучу, как ж..у назад держать надо!

В своем деле и в своем масштабе Чапаев был большой мастер и знаток: он знал превосходно всю свою дивизию — ее бойцов, ее командиров; меньше знал и почти вовсе не интересовался политическим ее составом. Он превосходно знал ту местность, где развертывались боевые операции,— знал ее то по памяти, от юности, то от жителей, по расспросам, то изучал ее по карте со знающими людьми. А память у него свежая, цепкая — так все и заклещит, не выпустит, пока не надо. Знает он жителей, особо — крестьянскую ширину; городом интересовался меньше; знает — что тут за мужик, чего можно ждать от него, на что можно надеяться, в чем опасность прогадать. Все, что надо, знал про хлеб, про обувь, про одежу, сахар, патроны, снаряды, махорку — про все знал: ни с каким его вопросом не застанешь врасплох.

Зато вот по вопросам другого порядка — по политическим, и особенно тем, что идут за пределами дивизии,— по этим вопросам не понимал, не знал ничего и знать не хотел. Больше того: многому вовсе не верил.

Международность рабочего движения, например, он считал сплошным вымыслом, не верил и не представлял, что оно может существовать в такой организованной форме. Когда же ему указывали на факты, на газетные сведения, он только лукаво ухмылялся:

— А газеты-то — сами же пишем... Чтобы веселее было воевать, вот и выдумали.

— Да нет, тут же лица, города, числа, цифры. Тут неопровержимые факты.

— А што они, цифры — цифру я и сам выдумать могу...

Первое время он упорно этому верил, обратного и слушать не хотел, только ухмылялся. Потом, после частых и длительных бесед с Клычковым, и на это он изменил свой взгляд, как изменил его на многое другое.

Дальше, он считал, например, всю возню с анархистами ненужной и глупой затеей.

— Анархисту надо волю дать, он тебе вреда не принесет никакого,— говаривал Чапаев.

Программы коммунистов не знал нисколечко, а в партии числился вот уже целый год,— не читал ее, не учил ее, не разбирался мало-мальски серьезно ни в одном вопросе.

Наконец, припоминается отношение его к «штабам» — так он называл все органы, откуда получал приказы, директивы, а равно людей, патроны, одежду — все, что полагается. Ему до конца в этом вопросе удавалось привить очень мало: Чапаев был глубочайше убежден, что в «штабах» засели почти исключительно одни царские генералы, что они «продают налево и направо», а «народ», под руководством таких вот вождей, как сам он, Чапаев, не дается на удочку и, поступая *поперек* штабных приказов, обычно не проигрывает, а *выигрывает*. Недоверие к центру было у него органическое, ненависть к офицерству была смертельная, и редко-редко где был приткнут по дивизии один-другой захудалый офицерик из «низших чинов». Впрочем, были и такие из офицеров (очень мало), которые зарекомендовали себя непосредственно в боях. Он их помнил, ценил, но... всегда остерегался.

Не чтил и интеллигенцию. Тут ему не нравилось, главным образом, *разглагольствование* о делах и отсутствие видимого, *живого* дела, до которого он сам был такой охотник и мастер. Тех же из интеллигенции, которые умели *дело делать*, считал редчайшим исключением. Из этого отношения его к офицерству и к интеллигенции вполне естественно вытекало у Чапая стремление всюду поставить *своих* людей: во-первых, потому, что они — люди не слов, а дела, и надежны; во-вторых, с ними ему легче, и, наконец, как говорил он многократно,— «учить надо крестьянина и рабочего теперь же, а учить можно только на деле... Я ему приказываю быть начальником штаба — отказывается, дурак, а сам того не знает, что для него же делаю. Прикажу, поставлю, почихает неделю, а там, смотришь, и заработает, хорошо заработает, никакому офицеру так не сработать!»

Эта линия — выдвигать повсюду своих — была у него центральная. Поэтому и весь аппарат у него был такой гибкий и послушный: везде стояли и командовали только преданные, свои, больше того — высоко чтившие его командиры.

Все эти особенности чапаевского характера Клычков рассмотрел довольно быстро и, рассмотрев, только больше убедился, что прежде надо завоевать у него авторитет и лишь потом перекрещивать, обуздывать его, направить на путь сознательной борьбы — не только слепой и инстинктивной, хотя бы и красочной, героической, такой шумной и славной.

Чем же завоевать авторитет? Надо взять его, Чапаева, в духовный плен. Разбередить в нем стремление к знаньям, к образованию, к науке, к широким горизонтам — не только к боевой жизни.

Здесь Федор знал свое превосходство и убежден был зара-

нее, что лишь только удастся *пробудить* — песня Чапаева, анархиста и партизана, будет пропета, его исподволь, осторожно, но упорно будет можно отвлечь и к другим мыслям, пробудить интерес и к другим делам. Веры в свои силы, в свою способность у Федора было много.

Чапаев из ряда вон, он не чета другим — это верно, его трудно будет обуздать, как дикого степного коня, но... и диких коней обуздывают!.. Только надо ли? — вставал вопрос. Не оставить ли на произвол судьбы эту красивую, самобытную, такую яркую фигуру, оставить совершенно нетронутой? Пусть блещет, бравирует, играет, как многоцветный камень!

Мысль эта у Клычкова была, но она показалась и смешной и ребяческой на фоне гигантской борьбы.

Чапаев теперь — как орел с завязанными глазами: сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротима воля, но... нет пути, он его ясно не знает, не представляет, не видит...

И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу... Пусть не удастся, не выйдет — ничего: попытка не пытка, хуже все равно от этого не будет...

Если же удастся — ого! Революции таких людей во как надо!

Только отъехали от Александрова-Гая, как в задний ряд отошли из памяти и Сломихинская, и недавний бой, и все события этих последних дней. Вставало новое — то неведомое, огромное дело, по которому спешили теперь в Самару. Они еще не представляли себе всей мучительной опасности, что создалась на колчаковском фронте, и не были осведомлены о серьезности наших последних поражений под Уфой. Но уж и без того ясно было, что не попусту вызывают их столь срочно на переговоры: подготовляется, видимо, большое дело, и в этом деле им придется играть не последнюю роль.

— Как думаете, зачем? — спросил Клычков.

— В Самару-то?

— Да.

— Перебрасывать... На другом месте нужны,— уверенно ответил Чапаев.

Точно оба ничего не знали, гадать попусту не хотели... разговор оборвался сам собой. Каждый думал втихую — бескрайные невысказанные думы...

Приехали в первое попутное село. Остановились у Совета... Крестьяне, лишь только заслышали, что приехал Чапаев, наби-

лись в избу, теснились, проталкивались, жаждая взглянуть на прославленного героя. Скоро о приезде узнало и все село. На улице закружилась беготня, все спешили застать, взглянуть на него. У крыльца напрудилась многолюдная толпа: ребятишки, бабы, наползли даже седобородые, сухие, белые старики. Все с ним здоровались, с Чапаевым, как с хорошим и давним знакомым, многие называли по имени-отчеству. Оказалось, что и здесь, как под Самарой, нашлись старые бойцы, воевавшие с ним вместе в 1918 году. И плывут, плывут умилительные, медовые улыбки, играют радостью серые чужие лица. Иные смотрят серьезно и пристально, словно хотят насмотреться досыта и отпечатлеть навеки в памяти своей образ геройского командира. Иные бабы стояли в смешном недоуменье, ничего не зная и не понимая, в чем тут, собственно, дело и на кого и почему так любопытно смотрят: побежали мужики к Совету, побежали с ними и они... Мальчишки не галдели, как галдят всегда, стояли смирно, терпеливо чего-то ждали. Да и все чего-то ждали,— хотелось, видно, послушать, как Чапаев станет говорить... Отдельные, случайно пойманные слова прыгали из уст в уста по толпе. Их перевирали, их перепутывали, но гнали дальше, дальше и дальше...

— Сказал бы нам што-нибудь, товарищ командир,— обратился к нему председатель Совета.— Мужичкам же, видишь, охота послушать умную речь.

— Чего скажу? — улыбнулся Чапаев.

— А как там живут, скажи, кругом-то... Чего-нибудь да надумай...

Чапаев ломаться не любил. Охоту послушать у мужичков знал и видел сам,— чего же не поговорить.

Пока запрягали лошадей, он обратился к крестьянам с речью. Трудно сказать что-нибудь про главную тему этой чапаевской речи,— он повторял самые общие места про революцию, про опасность, про голод. Но и эти слова были по душе: шутка ли, сам Чапаев говорит! С напряженнейшей внимательностью выслушали они до последнего слова замысловатую, сумбурную его речь, а когда окончил — сочувственно покачали головами, приговаривали:

— Это вот — так да!

— Ну, так ищо бы!

— Ай, и молодец!

— Много хорошего сказал, вот спасибо, братец... Вот так уж спасибо!

Сколько сел и деревень ни проезжали — Чапаева знали всюду, встречали его везде одинаково почетно, радостно, местами — просто торжественно. Деревня высыпала целиком посмотреть

на него, мужички вступали в разговоры, бабы охали и шептались, мальчишки долго-долго кричали и бежали за санями, когда уезжали. Кой-где произносил он «речи». Эффект и успех были обеспечены: дело было не в речах, а в имени Чапаева. Это имя имело магическую силу,— оно давало знать, что за *«речами»*, быть может бессодержательными и ничего не значащими, скрываются значительные, большие дела. Это очень удивительное свойство человеческое, но уж всегда так: случайному и подчас *глупому* слову известного и славного человека всегда придается больше весу, чем бесспорно *умному* замечанью какого-нибудь бледненького, незаметного «середняка».

На одном из перегонов разговорились про частные дела: кто откуда, чем занимался, в какой среде вырос,— словом, на темы бескрайные. Федор рассказал про черный рабочий город, где родился, получил первые детские впечатления, понял впервые, что жизнь — суровая борьба... Потом — кочевая жизнь, и так вплоть до самой революции... Когда он кончил свою коротенькую автобиографию, Чапаев стал рассказывать о себе. Чтобы не забыть, Федор в первой же деревушке на память записал чапаевскую повестушку.

БИОГРАФИЯ ЧАПАЕВА

...Мне Чапаев рассказывал про себя,— писал Клычков.— Верить ли — не знаю. Во всяком случае, на иных пунктах берет меня сомнение, например, на его родословной,— очень уж явственно раскрасил. Мне думается, что в этом месте у него фантазия, однако ж передам все так, как слышал, отчего не передать? Вреда не вижу, а кому захочется точно все установить — пусть-ка пошатается по тем местам, про которые говорю,— там сохранились у Чапая и друзья и родственники. Они порасскажут, верно, немало про жизнь и борьбу степного командира.

— Знаете, кто я? — спросил меня сегодня Чапаев, как сидели в санях, и глаза у него заблестели наивно и таинственно.— Я родился от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана...

Я было предположил, что он «шутить изволит», но, выждав минутку и не услышав от меня крика изумленья, продолжал Чапаев:

— Знаю, что поверить трудно, а было... все было, как есть... Он, цыган-то, увлек ее, мать, да беременную и бросил — как знаешь сама. Ну, куда же бедняжке деваться? Туда-сюда, а матери не миновала. Мать-то вдовой уж была. «Де-

душки» моего, губернатора, в живых тогда не стало... Приехала это к матери да тут же при родах и умерла. Я остался щенок щенком. Куда, думают, укрыть этакое сокровище? Да и придумали. Зовут это дворника, а у дворника-то брат в деревне жил,— этому брату и подарили, словно игрушку какую. Живу, расту, как все ребятишки росли. У него же своя семья в целую кучу! Раздеремся, бывало, верещим — святых выноси... Про малое детство почти што и не помню ничего, да, надо быть, и помнить-то нечего — оно в деревне у всех одинакое. А подрос к девятому году — в люди отдали, и шатался я по этим людям всю мою жизнь... Перво-наперво дали свиней пасти — и я практику на них выдержал: большую скотину сразу не дают. Когда на свиньях наловчился, пастухом сделался настоящим, а из пастухов-то артель меня плотничья взяла, своему делу зачала учить... С ними и работал, по подрядам ходил, а потом из плотников в лавчонку угодил, к купцу... Торговать учился, воровать норовился, да не вышло ничего — очень уж не по душе был этот мне обман... Купец — он чистым живет обманом, а ежели обмана не будет в купце,— жить ему сразу станет нечем. Вот я тогда это все и понял, а как понял — ничем тут меня не вразумишь: не хочу да не хочу, так и ушел... Што теперь я злой против купца, так все оттого, што знаю я его насквозь, сатану: тут я лучше Ленина социалистом буду, потому што на практике всех купцов разглядел и твердо-натвердо знаю, што отнять у них следственно все, у подлецов, подчистую разделать, кобелей. Плюнул я на торговлю в тот раз и подумал промеж себя: чего же, мол, делать-то я стану, сирота? А в годах был — по семнадцатому. Мерекал-мерекал, да и выдумал по Волге ходить, по городам, народ всякий рассмотреть, да как кто живет разузнать самолично... Купил шарманку опять же себе... И была еще тогда со мной *девушка* Настя!.. «Пойдем, говорю, Настя, по Волге ходить: я петь да шарманку вертеть, а ты плясать почнешь. Зато уж и в Волгу-то мы насмотримся и все города-то мы обойдем с тобой!» И пошли... В разных местах, как зима зажмет, и подолгу живали с ней, работать даже принимались на голодное живье... Да што тут за работа — услуженье одно... по зимнему делу... А как оно на апрельских зеленях покатится солнышко, как двинет матушка льды на Каспийское море,— подобрали мы голод в охапку да берегом, все берегом, бережком... И музыка шарманная и жаворонки поверху свистят, да Настя тут, да песня тут... Эх ты, не забыть тебя — не забуду! Ну ж и красавица ты по весне плывешь!

И вдруг опустилась Чапаева голова, стих печально веселый голос:

— Много в апрелях солнца, а кроме солнца — преет апрелем

земля... И от прелости той не уберег я ее, касатку... Свернулась, как листик зеленый. И осталась пустая моя шарманка... А плясунку в Вольском на берегу схоронил... А сам цыгану шарманку загнал — и остался я будто вовсе один... Да, жисть-то, она всегда такого подбирает — подобрала и меня: царская служба к годам подошла... Коли служба подошла — служить пошел, а служить пошел — война пришла... Да с самых тех пор и выходу нет из-под ружья... Вот она какая...

— Вы же были женаты? — спрашиваю я Чапая.— Помнится, вы что-то и насчет ребятишек...

— А, да... Я это перед войной... Это верно, что женат-то был, только недолго оно. Как германская стукнула — враз забрили... Приехал я как-то на побывку — неладное говорят о жене. Я и так и не так: скажи, говорю, как это все произошло, обнаковенно?

«Ни при чем, говорит, я, Вася, все это злой наговор людской».

Так-то оно так, што злой наговор, а все же я промеж прочего и на самом деле узнал, как она в полном бесчестье происходит. Ну, што же, говорю, змея зеленая, хоть и любил я тебя, а иди же ты, сука, на четыре стороны, не хочу я больше знать тебя в жизни. Детей же беру с собой... И больно уж обида меня взяла! Два ведь года не видел ее, а других штобы баб — пальцем не шевелил. Я никогда этого... Все ждал, што к ней ворочусь, только для нее и берег себя... Ну, и как же тут сердцем не встревожиться! Прибыл муженек, а она — вон што!

Поехал я назад, на позицию, да с горя так и лезу, так и лезу под огонь. Один, думаю, конец, раз в жизни ничего не выходит... Всех Георгиев четырех заслужил, унтером сделался, в фельдфебели вышел, а пуля не берет... Уж и ранетый был не единожды, а все вот цел да цел... Только одна и жила беда: воевать умел, а грамоты не знаю никакой. И так-то мне тошно, стыдобушка берет, да и зависть погрызла: читают ребята, пишут кругом, а я и знать не знаю ничего... Как-то, помню, «серым чертом» прапорщик меня обозвал, а я его как шугану по-русски в три этажа,— эло уж больно взяло... Так все лычки у меня и ободрали, остался я опять на солдатском низу. Зато грамоте тут обучился: читать и писать, все как есть заучил. Дело делом, война врастяжку пошла, а вот и революция подоспела — гонют меня в Саратов, в гарнизонный полк.

Што ты, думаю, шут те дери? Кругом и разговоры умные и знают люди, што говорят, отчего-почему движенье народа произошло, а я один того не знаю. Дай в партию поступлю... Одного толкового человека упросил — он меня к кадетам все приноравливал, только оттуда я скоро... есером стал: ребята, гляжу, как раз на дело идут... Побыл с есерами и на собрания

ихние хаживал — и тут услышал анархистов. Вот оно, думаю, дело-то где! Люди зараз всего достигают, и стеснения притом же нет никакого — каждому своя воля... А Керенский организовывал в то время добровольцев отряд, из сербов. Меня командиром ставили. Да я же его и развалил, отряд-то весь, против Керенского сам обернул. Тогда меня, голубчика, разжаловали, в Пугачев отправили, командиром роты назначили. А времена ж ведь какие тогда? В Пугачеве совнарком был свой, и председатель этого совнаркома такой был парень — ну, одним словом, настоящий... Я ему что-то полюбился, видать, да и мне он по сердцу! Как послушаю, аж самому охота умным жить. Он-то меня, совнаркомщик, и стал выучивать да просвещать. С тех пор уж все я по-другому разумею. Да и всю анархизму кинул — сам в большевики ступил... И книжки пошли у меня другие — читать же я больно охотник. Ту войну, как грамоте обучился, лежу в окопах и читаю, все читаю... Ребята смеяться начнут: псаломщиком будешь, мол, зачитаешься, а мне и смеху нет. Про Чуркина атамана читал, Разина, Пугачева Емельку, Ермака Тимофеича, доставал про Ганнибала — тоже читал, Гарибальду итальянского, самого Наполеона... Я, знаете, все больше люблю, штобы воевать человек умел да сам бы себя не жалел, коли надо бывает... Всех я этих знаю. И к тому ж других читал... Тургенева, говорили, хорошие сочинения, да не достал, а у Гоголя все помню, и Чичкина помню... Эх, кабы мне да побольше образоваться — тут по-другому голова б работать стала. А то чего же, как есть темный человек! Был темный, темный и остался...

Да некогда было и учиться мне: на Пугачи, так и гляди, казаки наскочут... Как где надо притом же хлеб доставать али бунт какой усмирить,— завсегда меня посылали:

— Здесь Чапаев?

— Здесь,— говорю...

— Поезжай.

И больше ничего: учить меня не надо, сам знаю...

Довел Чапаев свою автобиографию до самого Октябрьского переворота.

Все ли у него так рассказано, как было,— откуда мне знать? Прихвастнуть любил — этот грех за ним водился,— может, и тут что приплел для красного словца... Только и приплел ежели, так пустяк какой[1].

Биография как будто самая рядовая, нет в ней ничего замечательного, а в то же время — присмотритесь: всеми обсто-

---

[1] Относительно «губернаторского» происхождения, по-видимому, сплошная выдумка; в этом все потом сомневались.

ятельствами, всей нуждой и событиями личной жизни он толкаем был на недовольство и протест.

У Федора и еще было кой-что приписано, да мы уж остановимся на этом и рассуждения его о Чапаеве приводить не будем. Что у Чапаева за жизнь была после Октября — об этом сведений одинаковых нет: слишком красочна была эта полоса. Он, как вихрь, метался по степи. Его сегодня видели в одном селе, а назавтра — за сотню верст в стороне... Казаки трепетали от одного имени Чапаева, избегали вступать с ним в бой,— так были околдованы его постоянными успехами, победами, молодецкими налетами.

До Самары ехали четыре дня. Сел и деревень по пути перевидали множество. И где бы ни произносилось имя Чапаева, оно всюду производило одинаковый эффект. Сам Чапаев держал себя с неподражаемым апломбом. Был такой случай: к какому-то селу подъехали поздним вечером, народу нет по улицам, про Совет спросить не у кого. Хотели толкнуться в избу к кому-нибудь, да вылезать неохота на морозе; поехали прямо на церковь, в расчете, что найдут Совет «там, где-нибудь, на площади».

Наконец попадается встречный.

— Товарищ, где здесь Совет?

— Там вон, за оврагом...— показал он в другую сторону.

Повернули, приехали. Огромнейшее здание, похожее на сарай, старое, глухое, дикое, да и в месте совершенно диком — за оврагом, на отлете села, так и видно, что в забросе... Стучали-стучали, насилу отперли. Выходит дряхлейший глухой старикашка.

— Чего,— говорит,— надо, соколики?

— Где дежурный? — сердито спрашивает Чапаев.

— А нету никого... по домам все, тут днем только ходют... Нету никого...

— Позвать немедленно председателя!

Федор в таких случаях никогда не протестовал против настойчивости и даже резкости обращения: по тем временам особой вежливостью мало чего можно было добиться. Иной раз видят, что мямля человек, так его и метят затереть, забыть, не дать ему ничего... Суровое было время, по-суровому тогда и поступать приходилось, коли хотел какое-нибудь дело делать, а не слова долбить.

За председателем послали — тот еще по дороге от вестового узнал, что вызывает его «сам Чапаев». Подходит оробелый, снимает шапку, кланяется.

— Это што же, братец, Совет-то тебе — свинюшник, што

ли? — грозно встретил его Чапаев.— Куда ты его к черту на кулички выбросил — места тебе нет посреди-то села, а?

— Да народ не дает,— робко заметил председатель.

— Какой народ? Не народ, это кулаки не хотят, а народ тут ни при чем... Ишь ты, уступчивый какой...

— Да я хотел...

— Чего хотел! — оборвал Чапаев.— Тут делать надо, не хотеть... А властью называешься... Завтра же перевести Совет на площадь, занять там дом хороший и сказать, што Чапаев приказал. Понял?

— Понял,— промямлил тот.

— Я поеду обратно из Самары, смотри, если застану в этой дыре...

Бессловесный и, видимо, никчемный председатель из числа «подставных» засуетился, забегал насчет лошадей... Даже и ночевать не стали «в таком селе», ночью же укатили.

Приехали в Самару. Явились к Фрунзе. По-товарищески позвал он Чапаева и Федора зайти к нему вечером на квартиру — дотолковаться как следует по поводу предстоящих операций. Пришли. Фрунзе объяснил положение на фронте, говорил о том, как решительно надо теперь действовать, какие нужны командиры по моменту... Когда Чапаев по каким-то делам отлучился минут на пяток, Фрунзе спрашивает Федора:

— Дело серьезное, товарищ Клычков... Думаю назначить Чапаева начальником дивизии. Что скажете? Я знаю его мало, но слухов о нем — сами знаете... Как он на деле-то? Вы с ним хоть сколько-нибудь да поработали...

Федор высказал ему все, что думал,— хорошее высказал мнение, оттенил только незрелость политическую.

— Я и сам того же мнения,— заключил Фрунзе.— Человек он, бесспорно, незаурядный... Пользу может дать огромную, только вот партизанщиной все еще дышит жарко... Вы постарайтесь... Ничего, что горяч: они, и горячие-то, ручными бывают...

Федор коротко объяснил Фрунзе, что в этом направлении как раз и ведет свою работу, что симпатию и доверие Чапаева уже безусловно заслужил и думает, что в дальнейшем сойдется с ним еще ближе.

Вошел Чапаев. После короткой беседы Фрунзе сообщил ему о назначении и сказал, что ехать надо теперь же на Уральск и там ждать распоряжений, так как общий план предстоящей операции все еще довольно неясен. Простились. Ушли. Через два часа уезжали из Самары. Перед отъездом Чапаев попросил

разрешения заехать в Вязовку — свое родное село; Фрунзе согласился. Поехали на Вязовку.

— У вас кто в Вязовке-то? — спросил Федор.

— Все в Вязовке... Старики там, отец с матерью — названые... Двое парнишек, девчонка — эти живут со вдовой одной... У той, видите ли, двое своих, вот вместе все и живут...

— Знакомая хорошая?

— Да, хорошая знакомая... Очень знакомая,— Чапаев хитро улыбнулся.— Друг у меня помер, а она осталась, друг-то и завещал, штобы оставалась со мной.

В Вязовке встретили с большим триумфом. Председатель Совета сейчас же созвал заседание в честь приезда дорогого гостя. Там Чапаев говорил свои «речи»... Вечером в народном доме его имени «местными силами» поставили спектакль. Играли безумно скверно, зато усердие было проявлено колоссальное: артистам хотелось заслужить чапаевскую похвалу... Переночевали, а наутро — марш в Уральск!

Федору показалось, что с ребятишками Чапаев обходится без нежности; он его об этом спросил.

— Верно,— говорит,— с тех пор, как у меня эта щель семейная объявилась, ништо мне не мило, и детей-то своих почти што за чужих стал считать...

— А воспитывать как же станете?

— Да што же воспитывать: мне вот все некогда, а тут — кто их знает как, я даже и не спрашиваю об этом... Посылаю из жалованья, и кончено...

— Да жалованья мало...

— Мало, знаю... притом еще за ноябрь с декабрем у меня не получено... Вон где ноябрь... А теперь март за половину. Не платят...

— Плохо дело...

— Каждый теперь што-нибудь теряет, товарищ Клычков, каждый,— проговорил серьезно Чапаев.— Без этого, знать, и революция быть не может: один имущество свое теряет, другой — семью, иной, глядишь, вот ученье погубит, а мы — мы и жизнь-то, может, вовсе утеряем.

— Да,— задумался Федор,— может, и жизнь... А интересно, в самом деле: конца войне нет... Все новые и новые враги со всех сторон... И кругом в опасности... Мы вот с вами долго ли наездимся вместе? А близки ведь уж и новые походы...

— И думать не думаю про это,— отмахнулся рукой Чапаев.— Кто его знает, конец-то... Иной раз в такую кашу засыпался — и выходу, кажется, нет никуда, ан жив. Лучше не

думать наперед. Я единожды к чехам в деревню по ошибке прикатил, в девятьсот восемнадцатом еще году было... Своя, думаю, да своя деревня-то, а шоферу што! — он увезет куда хочешь... Только въехали — батюшки: чехи! Ну, говорю, Бабаев (шоферу-то), закручивай, как знаешь,— а у самого пулемет на руках... Крути, говорю, на улице, а я стрелять стану... Успеешь закрутить — спасемся, а то — поминай как звали... Он крутит, а я палю, он крутит, а я палю... Как завернул, да как даст ходу, а кавалеристов тут человек пятнадцать на нас выехало, вот и началось вдогонку-то... Обернулся я лицом назад — пыль дугой, не видно ничего, только стреляют, слышу, на скаку-то: они на нас, а я все туда да туда... Обе ленты расстрелял... Ну-ка, лопни тут шина, што от меня осталось бы?.. Чех за мою голову и тогда награду обещал: принеси, говорит, голову Чапаева, золота дадим... У меня хлопцы прочитают эти бумажки, смеются над чехом-то, а один раз написали: «Приходите, мол, к Стеньке Разину в полк, мы вам и без золота отдадим...» Написали, запечатали в письмо да мальчишке деревенскому дали отнести... У меня много бывало всяких происшествиев.

— И сохранен вот...— сказал Федор.— Чем сохранен — случайностью ли обстоятельств, своею ли находчивостью, кто знает? А поди, десятки раз на волоске от смерти был.

— Так вот,— отозвался охотно Чапаев,— именно десятки и есть, и даже многие десятки. Я себе все сам задаю этот вопрос: што это я какой живучий, словно нарошно кто меня оберегает?.. А другому, как только первая пуля полетела,— хлоп, и нет человека.

— Ну, так что же,— спросил Федор,— сами-то вы все-таки как думаете: случайность тут или другое что?

— Да нет, случайность где же — везде голова нужна... ой, как нужна голова! Ведь бывает, што всего одну минуту переждал, и нет тебя, да не одного тебя — сто человек можно загубить... Нас, сонных, чех захватил в деревне... А я на другом конце ночевал, вскочил в одних штанах, да «ура-ура»... А и нет у нас ничего — оружия-то никакого, да как обрадовалась ребятня, да как кинулась — разом отняли у кого што. И не токмо пленных своих отняли, а ихних в плен набрали... *Находка* нужна, товарищ Клычков, без находки разом пропадешь на войне.

— А пропадать-то неохота? — пошутил Федор.

— И тут неодинаково,— серьезно ответил Чапаев.— Вы думаете, каждому человеку жизнь свою жаль? Да не только што, а и один-то не всегда ее любит, как следует. Я, к примеру, был рядовым-то, да што мне: убьют аль не убьют, не все мне одно?

Кому я, такая вошь, больно нужен оказался? Таких, как я, народят сколько хочешь. И жизнь свою ни в грош я не ставил... Триста шагов окопы, а я выскочу, да и горлопаню: на-ка, выкуси... А то и плясать начну, на бугре-то. Даже и думушки не было о смерти. Потом, гляжу, отмечать меня стали — на человека похож, выходит... И вот вы заметьте, товарищ Клычков, што чем я выше подымаюсь, тем жизнь мне дороже... Не буду с вами лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, што, вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить по-настоящему-то, как следует... Не то што трусливее стал, а разуму больше. Я уже плясать на окопе теперь не буду: шалишь, брат, зря умирать не хочу...

— А в дело? — спросил Федор.

— В дело? Вот вам клянусь,— горячо сказал Чапаев,— клянусь, чем хотите, што в *дело* трусом не буду никогда... Ежели в дело — тут всякие другие мысли пропадают... А вы думали — што?

— Да нет, я ничего не думал, так спросил...

— Так ли? Может, в штабе про меня?

Федор не понимал, о чем он говорит.

— С полковничками? — продолжал Чапаев, и в голосе чувствовалось едва сдерживаемое раздражение.— Там, конечно...

— Да нет, серьезно же говорю вам,— успокоил его Клычков,— ни с какими «полковничками» ничего я не говорил, да и чего мне?

— А то они понаскажут...

— Не любят? — спросил Федор.

— Ненависть имеют ко мне,— медленно и внушительно сказал Чапаев.— Я телеграммы да писульки им такие отсылал, что в трибунал хотели... Только вот война помешала, а то, чего доброго, и на суд попадешь... Ему там у стола сидеть — малина: полезай, говорит, на рожон... А я на рожон никогда тебе не полезу, хоть ты кто хочешь будь... На-ка, разыскались командиры... Патронов тебе надо — так нет их, а на приказы — ишь, гораздые какие... Ну, и шил я их почем зря... Хулиган, говорят, партизан, чего с него взять...

— Так, товарищ Чапаев,— изумился Федор,— что же вы думаете — полковниками у нас, што ли, Красная-то Армия управляется?

— А то што?

— Да как што: а реввоенсоветы, комиссары наши, командиры красные...

— «Ревасовет», выходит, што ничего и не понимает в другой раз, а наговорят ему — и верит...

— Нет, это не то, совсем не то,— возражал Федор.— У вас неправильное представление о ревсоветах... Там народ свой сидит, и понимающий народ, вы это напрасно...

— А вот увидите, как в поход пойдем,— тихо отвечал Чапаев, но в голосе уж ни уверенности, ни настойчивости не было.

Федор рассказал ему, как организовывались реввоенсоветы, какой в них смысл, какие у них функции, какая структура... И видел, что Чапаев ничего этого не знал, все эти сведения были для него настоящим откровением... Слушал он чрезвычайно внимательно, ничего не пропускал, все запоминал — и запоминал почти буквально: память у него была знаменитая... Федор всегда удивлялся чапаевской памяти: он помнил даже самомалейшие мелочи и нет-нет да ввернет их где-нибудь к разговору.

Федор любил эти долгие, бесконечные беседы. Говорил и знал, что семя падает на добрую землю. Он замечал в последнее время, что мысли его иногда Чапаев выдавал за свои — так, в разговоре с кем-нибудь посторонним, как бы невзначай... Федор видел, как тот почувствовал в нем «знающего» человска и, видимо, решил, в свою очередь, использовать такое общенье. От вопросов об управлении армией, о технике, о науке — они перешли к самому больному для Чапаева вопросу: о его необразованности. И договорились, что Федор будет с ним заниматься, насколько позволят время и обстоятельства... Наивные люди: они хотели заниматься алгеброй в пороховом дыму! Не пришлось заняться, конечно, ни одного дня, а мысль, разговоры об этом много раз приходили и после; бывало, едут на позицию вдвоем, заговорят-заговорят и наткнутся на эту тему.

— А мы заниматься хотели,— скажет Федор.

— Мало ли што мы хотели, да не все наши хотенья выполнять-то можно...— скажет Чапаев с горечью, с сожалением.

Видел Федор, как жадно ухватывался Чапаев за всякое новое слово,— а для него многое-многое было новым! Он целый год состоял в партии, кажется, дело было ясное по части религии, а тут как-то Клычков вдруг увидел, что Чапаев... крестится.

— Что это ты, Василий Иваныч? — обратился он к Чапаеву.— Коммунист господень, да в уме ли ты?

(Они уже через две недели знакомства перешли на «ты».) Чапаев смутился, но задорно отвечал:

— Я считаю — и коммунисту, как он хочет. Ты не веришь — и не верь, а ежели я верю, так што тут тебе вреда какого?

— Не мне вред, я не про себя,— напирал Федор.— Я тебе-то самому изумляюсь — как ты, коммунист, и в бога верить можешь?

— Да, может, я и не верю.

— А не веришь, что крестишься?

— Да так... хочу вот... и крещусь...

— Ну, как же можно... Разве этим шутят? — увещевал его серьезно Клычков.

Тогда Чапаев рассказал ему «историю» из времен далекого детства и уверял, что эта именно история и дала всему начало.

— Я мальчишкой был маленьким, — рассказывал он, — да и украл один раз «семишник» от иконы,— у нас там икона стояла одна чудотворная... Украл и украл... купил арбуза да наелся, а как наелся, тут же и захворал: целых шесть недель оттяпал... Жар пошел, озноб, поносом разнесло, совсем в могилу хотел... А мать-то узнала, што я этот семишник украл,— уж она кидала-кидала туда... одних гривенников, говорила, рубля на три пошло, да все молится-молится за меня, чтобы простила, значит, богородица... Вымолила,— на седьмой неделе встал... Я с тех пор все и думаю, што имеется, мол, сила какая-то, от которой уберегаться надо... Я и таскать с тех пор перестал, яблока в чужом саду не возьму — все у меня испуг имеется... Под пулями ничего, а тут вот робость одолевает... Не могу...

Федор на этот раз говорил немного, а потом неоднократно подводил разговор к теме о религии, рассказал о ее происхождении, о так называемом боге. Больше Чапаев никогда не крестился... Но не только креститься он перестал, а сознался как-то Федору, что «круглым дураком был до тех пор, пока не понимал, в чем дело, а как понял — шутишь, брат: после сладкого не захочешь горького...».

В результате этих нескольких бесед Чапаев совершенно по-иному стал рассуждать о вере, о боге, о церкви, о попах; впрочем, попов он ненавидел и прежде, только крошечку все-таки и насчет них робел думать: все казалось, что «к богу они поближе нас, хоть и подлецы порядочные».

Чем дальше, тем больше убеждался Федор, что Чапаев, этот кремневый, суровый человек, этот герой-партизан может быть, как ребенок, прибран к рукам; из него, как из воскового, можно создавать новые и новые формы — только осторожно, умело надо подходить к этому, знать надо, что «примет» он, чего сразу не захочет принять... Основная плоскость, на которой можно было его особенно легко вести за собою,— это плоскость науки: здесь он сам охотно, любовно шел навстречу живым мыслям. Но и только. В другом — неподатлив, крепок, порою упрям. Условия жизни держали его до сих пор в «черном теле», а теперь он увидел, понял, что существуют новые пути, новое всему объяснение, и стал задумываться над этим новым. Медленно, робко и тихо подступал он к заветным, закрытым вратам, и так же медленно отворялись они перед ним, раскрывая путь к новой жизни.

VIII. НА КОЛЧАКА

Ожидая распоряжений, в Уральске пробыли десять дней. Тоска была мертвая, дела никакого. Толкались в штабе Уральской дивизии, стоявшей здесь, поддерживали связь с бригадой своей дивизии — эта бригада в те дни еще не переброшена была в Бузулукский район. Скучали — мóчи нет. Только один раз, и на самое короткое время, увиделся Федор с Андреевым,— тот почти непрерывно разъезжал по фронту и в Уральск заглядывал только налетами. Он осунулся, пожелтел, глубоко ввалились и казались почти черными его чудные синие глаза,— видно, что недосыпал часто, много волновался, а может, и с питанием не все было ладно. Клычков его встретил в коридоре штадива, совершенно одетого, готового к отъезду, несмотря на то, что приехал он сюда всего полчаса назад. Друг на друга посмотрели долгим, испытующим взглядом, как будто спрашивали:

«Ну что нового дала тебе эта новая жизнь: что приобрел и что потерял?»

И, кажется, оба заметили это *новое*, что ложится неизгладимой печатью на взгляд, на лицо, на движенья у того, кого уже коснулась боевая жизнь.

Поговорили на ходу всего несколько минут и распрощались до новой встречи...

Чапаев нервничал выше меры — он без дела всегда был таков: как только на день, на два, бывало, придется остановиться и ждать чего-нибудь — Чапаева не узнать. Он в таком состоянии привязывается ко всем безжалостно, бранится по пустякам, грозит наказаниями...

Внутренняя сила, его богатая энергия постоянно ищет выхода, и когда нет ей применения в делах, она разряжается попустому, но разряжается непременно.

Уральская дивизия в это время фронт свой имела где-то около Лбищенска. Операции шли ни хорошо, ни худо: без больших поражений, но и без значительных побед. Вдруг — несчастие: в неудачном бою погибло что-то очень много народу. Фронт за Лбищенском колыхнулся. Новоузенский и Мусульманский полки были растрепаны; им на помощь срочно послали куриловцев. Целая катастрофа. И все так неожиданно. Как гром среди ясного неба. Не ждали, не предполагали, не было никаких признаков. Начальник Уральской дивизии — хладнокровный, испытанный командир — и тот растерялся, не сразу освоился с происшедшим, не знал вначале, что надо предпринять. Советовался с Чапаевым, вместе порешили — как быть.

Но восстановить фронта уже не удалось,— Уральск вскоре был окружен кольцом и в этом кольце продержался целые месяцы.

Как только получена была весть о катастрофе и передана в центр, Фрунзе приказал немедленно особой комиссии расследовать причины поражения; в комиссию входил и Чапаев, председателем назначили Федора. Чапаеву, видимо, было обидно, что председательство поручено не ему, а комиссару, но это сказалось лишь потом. Чапаев и не предполагал, что тут, кроме обстоятельств чисто военных, может быть не меньшую, если не большую роль могли играть обстоятельства политические: так, видимо, взглянул на дело центр, потому и поручено всем делом руководить Клычкову.

Приступили немедленно к собиранию всяких материалов, документов, копий различных приказов и распоряжений, сводок, телеграмм... Чапаев взял у Федора бригадный приказ, который говорил о столь неудачном наступлении на поселок Мергеневский,— в этом приказе была канва для объяснения происшедшего, поэтому значение приказу Клычков придавал исключительное. Чапаев внимательно его рассмотрел, составил «критическое свое мнение», сидит, диктует машинисту. Входит Федор.

— Рассмотрел приказ-то, Василий Иваныч?

— Ну, рассмотрел, так што же?

— Я над ним тоже подумал довольно... обсудим,— предложил Федор.

— Можно прочитать, вот напечатано...

В голосе и в манере Чапаева чувствовались плохо скрываемая небрежность и какое-то недовольство, пока совершенно непонятное Федору.

— Прочитай-ка,— заметил он,— потолкуем, может, изменения какие внесем...

— Да уж без изменений,— отрезал Чапаев.— Ты у себя изменяй, а я как написал, так и отошлю.

— Это почему? — изумился Федор и почувствовал, как его больно кольнул этот недружелюбный ответ.

— Да потому... Раз «председатель», так свое мнение и докладывай... А я «спец»... Я только «спец»...

Он дважды с обидой выговорил это слово.

— Ну, чего ты молотишь? — обиделся Федор.— Чего молотишь зря? Разбиваться-то зачем: обсудим вместе, вместе и отошлем.

— Да нет уж,— упирался Чапаев.

Клычкову не хотелось дальше толочься на этом вопросе.

— Ну, читай,— опустился он на стул.

Чапаев прочитал свою критику на бригадный приказ

Уральской дивизии,— разбор был довольно толковый, тщательный, серьезный. От обсуждения Федор уклонился — мнение свое решил послать отдельно.

— Как скажешь? — спросил Чапаев.

— Да хорошо, по-моему,— сквозь зубы процедил Федор.

— А то плохо? — повысил вдруг тон Чапаев.— Плохо-то, плохо, да не у меня... да! Мы знаем, што делаем, а вот там финтифлюшки разные... шкура поганая...

Федор не понял, по чьему адресу отливает Чапаев такие эпитеты.

— Стервецы...— продолжал он со злобой.— Затереть человека хотят... Ходу не дают... Ну, мы управу найдем, мы о себе скажем...

Это Чапаев измывался по поводу «проклятых штабов», которые считал скопищем дармоедов, трусов, карьеристов и всяких вообще отбросных элементов...

— Постой, Чапаев, чего ты срамишься? — полушутя обратился к нему Федор.— Ни с того ни с сего — какого черта? Белены объелся, что ли?

— Давно объелся, давиться начал,— и в голосе Чапаева послышалась укоризна.— Давиться... Да... А взять-то нечего.... У меня, брат, никуда не подкопаешься, Чапаев своему делу хозяин...

— Про что ты?

— Про то, все про то, што в академьях мы не учены... Да мы без академьев... У нас по-мужицки и то выходит... Мы погонов не носили генеральских, да и без них, слава богу, не каждый такой *стратех* будет...

— Не хвались, не хвались, Василий Иванович, это тебе не к лицу... Пусть тебя другие... А сам-то...

И Федор приложил палец к губам. Давешнее неприятное чувство так и подмывало его чем-нибудь язвнуть Чапаева, так сказать, отомстить ему. Чем же? А самым уязвимым местом — знал это Федор — является у Чапаева разговор о признании и непризнании его доблестей, способностей, военного таланта, особенно если к этому подпустить что-нибудь о «штабах». Момент был таков, что даже и бередить не приходилось,— Чапаев был уж неспокоен без того.

— Молчи лучше насчет стратегии-то,— выпалил Федор.

— Што же это молчать? Молчи сам,— негодующе передернулся Чапаев.

Переломив себя, стараясь казаться совершенно спокойным, Клычков сказал ему тихо:

— Вот что, Чапай... Ты хороший вояка, смелый боец, партизан отличный, но ведь и только! Будем откровенны. Имей

мужество сознаться сам: по части военной-то мудрости слаб... Ну, какой ты стратег? Посуди сам, откуда тебе быть-то им?

Чапаев нервно дергался, и злыми огоньками блестели его волчьи серо-синие глаза.

— Стратег плохой?! — почти крикнул он на Федора.— Я плохой стратег? Да пошел ты к черту после этого!

— А ты спокойнее,— злорадствовал Федор, довольный, что хоть немножко пронял его за живое,— чего тут нервничать. Чтобы быть хорошим военным работником, чтобы знать научную основу стратегии,— да пойми ты, что всему этому учиться надо... А тебе некогда было, ну, не ясно ли, что...

— Ничего мне не ясно... Ничего не ясно...— оборвал его Чапаев.— Я армию возьму и с армией справлюсь.

— А с фронтом? — подшутил Федор.

— И с фронтом... а што ты думал?

— Да, может быть, и главкомом бы не прочь?

— А то нет, не справлюсь, думаешь? Осмотрюсь, обвыкну — и справлюсь. Я все сделаю, што захочу, понял?

— Чего тут не понять.

У Федора уже не было того нехорошего чувства, с которым начал он разговор, не было даже и той насмешливости, с которою ставил он вопросы; эта уверенность Чапаева в безграничных своих способностях изумила его совершенно серьезно...

— Что ты веришь в силы свои, это хорошо,— сказал он Чапаеву.— Без веры этой ничего не выйдет. Только не задираешься ли ты, Василий Иваныч? Не пустое ли тут у тебя бахвальство? Меры ведь ты не знаешь словам своим, вот беда!

Еще больше возбудились, заблестели недобрым блеском глаза: Чапаев бурлил негодованием, но ждал, когда Федор кончит.

— Я-то!..— крикнул он.— Я-то бахвал?! А в степях кто был с казаками, без патронов, голыми-то руками, кто был? — наступал он на Федора.— Им што? Сволочь!.. Какой им стратег...

— А я за стратега тоже не признаю. Значит, выходит, что и я сволочь? — изловил его Федор.

Чапаев сразу примолк, растерялся, краска ударила ему в лицо; он сделался вдруг беспомощным, как будто пойман был в смешном и глупом, в ребяческом деле.

Федор умышленно обернул вопрос таким образом исключительно в тех целях, чтобы отучить как-нибудь Чапаева от этой беспардонной, слепой брани в пространство... И не только потому, что это «нехорошо», а все это было для Чапаева крайне опасно: услышат недруги, запомнят, а потом со свидетелями да с документами припрут его к стене — деться будет некуда, скверпейшее создастся положение. А у Чапаева сплошь и рядом можно было слышать, как он костит сплеча и штабы, и ревво-

енсоветы, и ЧК, и особые отделы, и комиссаров — всех, всех, кто по отношению к нему может проявить хоть малейшую власть. Шумит, бранится, проклинает, грозит, а все впустую: объясни ему — и все поймет, согласится, даже отступится иной раз от своего мнения — хоть медленно, туго и неохотно. Отступать не любил даже в том, что сказал. Говоря к слову, он и приказов своих никогда не менял; в этом заключалась их особенная, убеждающая сила.

Теперь, когда Чапаев был пойман на слове, Федор решил процесс *обучения* довести до конца, уйти и оставить Чапаева в раздумье: «Пусть помучится сомнениями, зато дольше помнить будет...» И когда Чапаев, оправившись немного от неожиданности, стал уверять, что «не имел в виду... говорил только о них» и так далее, Федор простился и ушел.

Когда в полночь Клычков возвращался, он в комнате у себя застал Чапаева. Тот сидел и смущенно мял в руках какую-то бумажонку.

— Вот почитайте,— передал он Федору отпечатанную на машинке крошечную писульку. Когда Чапаев был взволнован, обижен или ожидал обиды, он часто переходил на «вы». Федор это заметил теперь в его обращении, то же увидел и в записке.

«Товарищ Клычков,— значилось там,— прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое обращение на свой счет, о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла, а если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняясь вашим присутствием, и говорю все, что на мысли против некоторых личностей, на что вы обиделись. Но чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас как друга.

Чапаев».

Вот записка. От слова до слова приведена она, без малейших изменений. Последствия она могла иметь самые значительные: рапорт был уже готов, через минуту Чапаев показал и его. Если бы Федор отнесся отрицательно, если бы даже промолчал — дело передалось бы «вверх», и кто знает, какие бы имело последствия? Странно здесь то, что Чапаев совершенно как бы не дорожил дивизией, а в ней ведь значились пугачевцы, разинцы, домашкинцы — все те геройские полки, к которым он был так близок. Здесь сказалась основная черта характера:

без оглядки, сплеча, в один миг приносить в жертву даже самое дорогое, даже из-за совершенной мелочи, из-за пустяка.

А подогреть в такой момент — и «делов» еще, пожалуй, наделает несуразных.

Прочитал Федор записку, повернулся к Чапаеву с радостным, сияющим лицом и сказал:

— Полно, дорогой Чапаев. Да я и не обиделся вовсе, а если расстроен был несколько, так совсем-совсем по другой причине.

Федор промолчал и лишь на другой день сказал ему про настоящую причину.

— Вот телеграмма,— показал Чапаеву.

— Откуда?

— Из штаба. По приказу, выезжать надо завтра же на Бузулук... В Оренбург не едем... Кончить все дела и ехать...

Подумали и порешили до утра не откладывать, а прикончить все теперь же и ночью выехать,— окончательный разбор неудачной операции Уральской дивизии все равно в один день не закончишь: надо выезжать на место, достать еще некоторые документы и т. д. Решено. Сейчас же в штадив. Вызвали кого было надо. Переговорили. Через полтора часа уезжали из Уральска на Бузулук.

В те дни на пути к Самаре творилось нечто невообразимое. К Кинелю то и дело мчались и ползли составы от всех сторон: от Уфы и Оренбурга, ближние и дальние, одни с войсками, со снарядами, с провиантом, бронепоезда... Другие — встречные — то пустые поезда, то санитарные, и опять составы с войсками, войсками, войсками... Тянулись обозы с Уральска, и оттуда шли войска.

Совершалась спешная перегруппировка: перебрасывались огромные массы, вводились новые и свежие, отводились в тыл потрепанные, деморализованные, временно непригодные к делу. Колчак уже взял Уфу и приближался к Волге. Обстановка создавалась грозная. Самара была под ударом; вместе с нею под ударом были и другие крупные поволжские центры. Обстановка допускала возможность отхода на Волгу. Это был бы тяжкий удар для России. Красное командование не хотело этого отхода, горячо взялось за оборону, во что бы то ни стало решилось устоять, переломить создавшееся положение, вырвать у врага инициативу и погнать его вспять от центра Советского государства. В Бузулукском районе готовился мощный кулак: отсюда следовало нанести первые удары. 25-й Чапаевской дивизии поручалась большая задача — ударить Колчака в лоб и, в кругу других дивизий, гнать его от Волги, имея ближайшей целью захват Уфы.

Кроме тех частей, что двигались от Сломихинской, кроме действовавшей под Уральском и спешно переброшенной к Бузулуку, в район Сорочинской, бригады Еланя — талантливого молодого командира,— в 25-ю дивизию включалась бригада под командой какого-то офицера, через две недели перебежавшего к белым. В этой бригаде, сгруппированной неподалеку от Самары, в районе Кротовки, находился и Иваново-Вознесенский полк.

Колчак двигался широчайшим фронтом: на Пермь, на Казань, на Самару,— по этим трем направлениям шло до полутораста тысяч белой армии. Силы были почти равные — мы выставили армию, чуть меньшую колчаковской. Через Пермь на Вятку метил Колчак соединиться с англичанами, через Самару — с Деникиным; в этом замкнутом, роковом кольце он и торопился похоронить Советскую Россию.

Первые ощутительные удары он получил на путях к Самаре: здесь вырвана была у него инициатива, здесь были частью расколочены его дивизии и корпуса, здесь положено было начало деморализации среди его войск. Ни офицерские батальоны, ни дрессировка солдат, ни техника — ничто после первых полученных ударов не могло приостановить стихийного отката его войск до Уфы, за Уфу, в Сибирь, до окончательной гибели. В боях под Белебеем участвовали полки Каппелевского корпуса — цвет и надежда белой армии; они были биты красными войсками, как и другие белые полки. Красная волна катилась неудержимо, встречаемая торжественно измученным и разоренным населением.

Железнодорожные станции и полустанки похожи были на бутылки с муравьями: все ползут, спешат, сталкивают один другого, срываются, подымаются и снова спешат, спешат, спешат... Приходили поезда — с них соскакивали, как сумасшедшие, целые толпы красноармейцев, мчались в разные стороны, гурьбой сбивались у маленьких кирпичных сараюшек, выстраивали очереди, звенели чайниками, торопились, бранились, негодовали, топтались на месте, ожидая кипятку; другая половина ударялась врассыпную по станции и окрестному поселку, закупала спички, папиросы, воблу — что попадало под руку, выпивала у торговок молоко, закупала хлебища, хлебы, хлебцы и хлебишки... Никогда не убывающей и отчаянно протестующей толпой хороводились у коменданта, проклинали порядки и непорядки на чем свет стоит, костили трижды несчастного коменданта, просили невыполнимого, клялись несуществующим, ожидали несбыточного: то требовали немедленно «бригаду», машиниста ли, паровоз ли новый, теплушки другие или обменять теплушки на

классные... Когда в комендантской сообщали что «нет, нельзя, не будет» — к буре протестов и оскорблений присоединяли угрозы, клялись отомстить самолично или наслать какого-нибудь своего грозу-командира.

Вдруг звонок.

— Который?

— Третий.

И целая ватага протестантов, как оголтелая, срывается от комендантской решетки и мчится куда-то по путям, сбивая встречных, вызывая то изумление, то проклятия и угрозы.

Три звонка... Свисток... Эшелон трогается,— и вот еще долго ему вдогонку мчатся партиями и в одиночку отставшие красноармейцы, повисая на подножках, ухватываясь за лесенки и приступки, взбираясь на крыши... Или, измучившись, махнув рукой, присядут на рельсах, усталые, и будут болтаться до нового попутного состава — может, день, а может быть, и два, кто знает, сколько? — одного состава не заметил, другой не взял, третий ушел перед носом...

В теплушках тьма: ни свечки, ни лампы, ни фонарика. На голых досках, замызганных лаптями, грязными сапогами, сальными котелками, политых щами и чаем, заплеванных, забросанных махорочными цигарками,— лежат красноармейцы. Долги ночи — долго лежать во тьме, в холоде, чуть укрывшись дрянной, дырявой шинелишкой, ткнув в изголовье брезентовую сумку. На станциях долго таскают взад и вперед, переставляют, передают, с кем-то соединяют, от кого-то отцепляют, немилосердно бьют буферами, до содрогания мозгов... Кричат и бранятся в темноте какие-то люди с крошечными ручными фонариками... Где-нибудь на далеких задних путях поставят «отстояться». А там сгрудились такие же составы, и в них также битком набиты красноармейцы,— выглядывают из верхних крошечных оконцев, соскакивают, выбегают, залезают, карабкаются вверх. Движение около «замороженного» эшелона всегда идет круглые сутки: одни торопятся «по делам», другие просто побегать — согреться, третьи высматривают, где плохо спрятаны шпалы, дрова, ящики — все, чем можно топить, иные «так себе» болтаются совершенно безмятежно целую ночь около станции и ищут, не будет ли каких приключений.

После многих дней пути, после долгих мытарств, изнурительных стоянок, скандалов, может быть, драк и даже перестрелки — приехали! В широко распахнутые двери теплушек живо выбрасываются вещи; накидают их высокую груду, двоих со штыками оставят сторожить, остальные — в подмогу. Там сводят по подмосткам коней, спутывают, увязывают, сгоняют табуном, окружат, сторожат — не разбежались бы. Медленно

скатывают орудия, повозки с разным имуществом, автомобили — все, что имеется...

Готово! Опорожненный состав, как сирота, смотрит пустыми, теперь еще более холодными теплушками. Гвалт, перебранка, путаница, неразбериха, случайная разрозненная команда, которую никто еще не слушает. А вот настоящая:

В поход!

И начинается беганье — заботливое, торопливое, разыскиваются роты, взводы, отделения... Наконец все построено... Тронулись. И заколыхались рядами — широкими, стройными; застучали, загремели повозки, заржали, зафыркали отстоявшиеся кони, залязгало оружие, то здесь, то там срывается случайный выстрел... Первые версты — ровными рядами, первые версты — бодро и четко, со звонкими, сильными песнями, а дальше... дальше отсталых, перемученных, больных посадят на повозки, перепутаются ряды, и не слышно больше песен: теперь только бы на отдых поскорее... Вот он и отдых, привал: одни через минуты будут молодецки храпеть в мертвом сне, другие, неугомонные, и теперь останутся песни петь, гармонику слушать, плясать плясовую — вприсядку, с гиканьем, «под орех»... С привала до привала, с привала до привала и — в окопы.

Начинается боевая жизнь.

Бригаду, что пришла к Бузулуку, получил Попов; Сорочинской командовал Елань, а Шмарину, несколько позже, вручили ту, из которой к белым убежал ее бесславный командир. Дивизия сосредоточилась. Сосредоточились другие дивизии, сосредоточились, нацелились армии, замер весь фронт в ожидании первых ударов.

«Быть или не быть» — вот какую цену этим первым ударам придавали многие в ту пору.

«Если не вырвем инициативу, если будем отброшены за Волгу и Колчак замкнет на юге и севере роковое кольцо (а это так возможно) — быть или не быть тогда Советской России?»

Да! все опасности эти были тогда серьезнее и ближе, чем многие думали. Вятка, Казань, Самара, Саратов уже захлестывались первыми брызгами огромной белогвардейской волны. Путь на Самару у Колчака был самый желанный, самый важный, самый серьезный: отсюда ближе всего к сердцу России. Недаром на вагонах у него значилось:

«Уфа — Москва».

Передовые разъезды уж близко показывались под Бузулуком — в последние дни потерян был и Бугуруслан. Все напряженней обстановка, все ближе враг, все опасней положение.

Кое-что у нас еще не готово, не все подвезли, не все в сборе, не хватает снарядов, не удобна весенняя распутица,— да некогда ждать, каждый день сгущает тучи, близит страшную черную грозу.

Стоит готовая к бою, налитая энергией, переполненная решимостью Красная Армия. Ощетинилась штыками полков, бригад, дивизий... Ждет сигнала... По этому сигналу — грудь на грудь — кинется на Колчака весь фронт и в роковом единоборстве будет пытать свою мощь...

28 апреля... незабываемый день, когда решалось начало серьезного дела: Красная Армия пошла в поход на Колчака!

IX. ПЕРЕД БОЯМИ

Бузулук и не думал эвакуироваться. Все поставлено было на ноги,— готовились к схватке. Партийный комитет, исполком, профессиональные союзы сомкнулись вокруг стоявшей здесь дивизии, отдавали все силы Красной Армии. Суровый лозунг «все для фронта» осуществлялся здесь настойчиво,— вероятно, таким же образом, как сотни раз осуществлялся он в других осаждавшихся центрах.

Бузулук был под ударом; неприятельские разъезды показывались всего в нескольких десятках верст от города. Сюда бежали со всех концов, а главным образом — со стороны Бугуруслана, одиночные советские и партийные работники, которых не успели захватить колчаковские разъезды, не успела выдать своя сельская белая шкура. Многие тут же вступали в армию рядовыми бойцами, потом доходили с победоносными полками до своих сел и снова брались за работу, а иные уже не оставляли полков и уходили с ними в безвестную даль — бойцами, рядовыми красноармейцами.

В атмосфере, насыщенной нервными настроениями, кровью и порохом, чувствовалось приближение целой эпохи, новой полосы, большого дня, от которого начнется новое, большое расчисление. Отдавались последние подготовительные распоряжения, все напрягалось, собиралось, устремлялось к единой цели. В городке, обычно таком скромном и сонном, засвистели трепетные мотоциклеты, проносились автомобили, по всем направлениям скакали конные, проходили четким и сильным ходом колонны бойцов.

Штаб дивизии помещался на углу двух главных улиц; в этом центре оживление не уменьшалось ни ночью, ни днем,—

здесь, как в фокусе, собиралась и отражалась вся напряженная, шумная и торопливая жизнь последних дней.

Чапаев с Федором, тесные друзья и неразлучные работники, у себя на квартире бывали редко: жизнь проходила в штабе. Из центра то и дело поступали приказы и распоряжения; с мест, от своих частей, тоже приходили разные сведения и запросы, шли бесконечные «собеседования» по телефону, по прямому проводу... Самыми долгими и самыми скандальными переговорами были, конечно, те, что кружились около всяких нехваток. Но в ту пору нехваток было столько, сколько и самих вопросов, поэтому сношения с частями, да и с центром, обычно проходили в повышенных тонах и полны были то уверениями, то просьбами, то угрозами «дать делу совсем иной ход». Чапаеву думалось, что стоит только нажать на «разные там совнархозы» — и мигом появится в изобилии все необходимое. Увидит он или узнает про какие-нибудь два-три десятка телег, про четыре бочонка колесной мази, узнает, что где-нибудь на складе хранится аршин полтораста сукна, сколько-нибудь шапок, валенок, полушубков,— и мечет громы-молнии, домогается, чтобы все это было отдано в армию. Лозунг «все для фронта» он понимал слишком уж буквально. И думалось Чапаеву, что этими крохами и лоскутьями можно будет накормить и приукрыть всю нашу многомиллионную армию. Об экономической разрухе и неизбежных недостатках он говорил многократно, а вот представить себе дело в его конкретной сущности, видимо, еще не мог, не умел и выводов из слов своих не сделал никаких. От претензий и легкомысленных попыток его обычно отговаривал Клычков и, надо сказать, отговаривал без большого труда: Чапаеву всегда было достаточно привести пару серьезных доводов для того, чтобы он с ними молча согласился.

Молча, только молча! А чтобы отказаться от слов своих, взять их обратно, признать неправильным что-нибудь и открыто *заявить* о том,— ну, уж этого не ждите, этого Чапаев не сделает никогда! Больше того — ему и самые доводы должны быть представлены категорически и убедительно,— он терпеть не мог стонущих и мямлящих людей и обычно слов их в расчет не принимал, что бы эти слова собою ни означали.

Любил человек сильное, решительное, твердое слово.

А еще больше любил решительное, твердое, умное дело!

Через два дня бригада Еланя выступила в поход. Надо было ее навестить — стояла от Бузулука всего в сорока верстах.

Измученный непрерывными боями, дважды раненный, потерявший всякую способность спокойно мыслить и говорить, в

двадцать два года казавшийся стариком,— таков был командир бригады Павел Елань.

Он еще в 1917 году бросил в деревне свое незамысловатое хозяйство и поступил в Красную гвардию. Скоро судьба столкнула его с Чапаевым, которому пришелся Елань по душе умной речью, быстрым делом и поразительной смелостью, доходившей до безрассудства. Чапаев назначил его командиром пешей разведки. И были случаи, когда втроем-четвером подбирался Елань к спящим казакам, а чаще того — к чехословакам. Откроет пальбу, нагремит, обезоружит и пригонит, глядишь, разом десятка полтора. Этих дел за ним числилось множество — таких же лихих, фантастических операций, которые выделывал и так любил сам Чапаев. На Иргизе, в Гусихе, в бою с чехами Еланю пробило ногу; похворал-похворал, отлежался. Чуть рана поджила — он опять в строй. Побыл недолго — в новом бою пробило руку. И не страшна была рана, не пугали операция, боль, мучительное лечение,— это все бы пустое, а вот жалко оставлять боевых товарищей. И тут не долежал — воротился раньше времени.

Непрерывные жаркие бои на Уральском фронте отняли последние силы, растрепали и без того слабые нервы. Его мускулистое загорелое лицо то здесь, то там подергивается нервной рябью; широкие ноздри дрожат, как у дикого зверя; растрепались мочальные русые волосы, испачкан чернилами красный — увы, уже морщинистый — высокий лоб; сухим, металлическим блеском горят воспаленные серые глаза; на широких, рабочих ладонях — заскорузлые мозоли; ворот рубахи все время отстегнут, как будто жарко, душно ему; голос неровный, дрожит в разговоре, срывается на высокий, пронзительный фальцет. Когда говорит Елань — с ним говорит весь его худенький, мускулистый, упругий организм: в такт сюда и туда подергивается голова, топают ноги, стучат кулаки. Елань себе цену знает и в обиду себя никогда никому не даст, даже своему командиру.

Его коснулась и разбередила стихийная и какая-то сказочная слава, которая выпала в степях на долю Чапаева. Закружилась от зависти голова, захватило от жарких надежд и желаний дыханье.

«А отчего бы и мне не быть Чапаевым?»

И он все время был полон этим чувством, которое отымало теперь в их встречах и искренность и теплоту, омрачало так еще недавнюю чистую дружбу. Чапаев чувствовал в Елане эту перемену, но никогда не согласился бы отпустить его от себя: он знал, что на таких Еланях родилась, держится и ширится его личная слава. А Елань не оставил бы Чапаева за славу, лучи которой падали и на него, за широкий путь, который тот открыл

перед ним и на который увлекал за собою в неудержимом красочном порыве.

Встретились приятельски. Не пропустив ни одной минуты — сейчас же за стол, к карте, к приказам, к прямому проводу, телефону... Гонцов за командирами полков, за начхозами, врачами, комиссарами... Картина установлена точно. Как будто все-все теперь предусмотрено, ничто не должно сорваться, только бы разыграть все, как по написанным нотам... Надо быть большим мастером, чтобы уметь разыгрывать по нотам! Елань был мастер на этот счет выдающийся, и уже через три дня слышно было, как он искалечил целую вражью дивизию. Сидели и вымеривали, вымеривали и обсуждали, обсуждали и спорили, не соглашались, предостерегали друг друга, потом договаривались, мирились на том, что всем казалось разумным.

— Теперь собраться надо с полками,— сказал Чапаев.— Кой-што, может, и им объясним...

— А... мигом!

Поднялся Елань и всем командирам наказал привести немедленно бойцов в самый просторный кинематограф...

— Да сказать, что товарищ Чапаев доклад станет делать! — крикнул он вдогонку.— Пусть приготовятся слушать...

Не понять, зачем сказал: вправду ли, в шутку ли, в насмешку ли над охотником «докладывать» Чапаевым? По тону ничего нельзя было понять — у него на шутки и на команду одинаковая речь.

Через полчаса в огромном, сыром, неприютном зале кинематографа среди серых шинелей — яблоку негде было упасть; еще больше осталось за дверями, не уместилось. На эстраде стол, на столе, как водится, графин с водой, стакан, блестящий звонок с деревянной ручкой... Как только появился Чапаев — зашушукали, откашливались наспех, поправляли шапки, сами хотели казаться молодцами. А как сказал он первое слово, такое могучее и любимое: «Товарищи!» — сомкнулась тесно безликая толпа, онемела, напряглась в ожидании желанных слов.

— Товарищи! — обратился Чапаев.— Идем воевать на Колчака. Много побили мы с вами казаков в степи — не привыкать к победам. Не уйдет от нас и адмирал Колчак...

Бурей неудержимых восторгов, криков и оглушительных аплодисментов прорвалась молчавшая толпа. Атмосфера сразу накалилась. Через две минуты все воспринималось острей и горячее: грошовому слову алтын была цена, алтынное слово ценилось на рубль. У Чапаева было в запасе несколько выигрышных фраз — он не упускал никогда случая вставить их в свою речь. Это по существу были совершенно безобидные и даже

вовсе не красочные места, но в примитивной, подогретой и сочувственной аудитории они производили невыразимый эффект.

— Я, товарищи, не старый генерал...— грозил протестующе Чапаев.— Этот генерал, бывало, за триста верст дает приказ взять во что бы то ни стало такую-то вот сопку. Ему говорят, што без артиллерии не дойдешь, што тут в тридцать рядов завита колючая проволока... А он, седой черт, приказ высылает: гимнастику вас учили делать? прыгать умеете? Вот и прыгайте!..

В этом месте аудитория всегда разражалась дружным хохотом и шумно выявляла оратору свое сочувствие: безобидная элементарная картинка приходилась по сердцу, попадала в точку.

— А я не генерал,— продолжал Чапаев, облизнувшись и щипнув себя за ус,— я с вами сам и навсегда впереди, а если грозит опасность, так первому она попадает мне самому... Первая-то пуля мне летит... А душа ведь жизни просит, умирать-то кому же охота?.. Я поэтому и выберу место, штобы все вы были целы да самому не погибнуть напрасно... Вот мы как воюем, товарищи...

В этих словах и в этих тонах выдерживал он всю свою речь. Впрочем, надо к чести его сказать, долго болтать не любил: не то что не мог, а понимал превосходство коротких речей.

Когда окончил — трудно уж было выступать Еланю, да и Федор произвел не ахти какое впечатление. За речами — концерт. Он был такой чудесной импровизацией, какую можно было встретить лишь в те дни и, верно, только на фронте.

Едва умолкли последние слова последнего оратора,— еще, казалось, стояли они в воздухе и все ждали следующих, других слов,— как грянула гармошка. Откуда он, гармонист, когда взгромоздился на эстраду — никто не заметил, но действовал он, бесспорно, по чьей-то невидимой-неслышимой команде. И что же грянул? «Камаринского»... Да такого разудалого, что ноги затряслись от плясового зуда... Чапаев выскочил молодчиком на самую середину эстрады и пошел и пошел... Сначала лебедем, с изгибом, вкруговую... Потом вприпитопку на каблуках, чечеткой... А когда в неистовом порыве загикала, закричала и захлопала сочувственно тысячеголовая толпа, левой рукой подхватил свою чудесную серебряную шашку и отхзатывал вприсядку — только шпоры зазвенели да шапка сорвалась набекрень. Уж как счастлив был гармонист — вятский детина с горбатым лоснящимся носом и крошечными, как у слона, глазами на широком лице: подумайте, сам Чапаев отплясывает под его охрипшую, заигранную до смерти гармонь!

Последний прыжок, последняя молодецкая ухватка — и Чапаев отскакивает в сторону, вытаскивает изрядно засаленный дымчатый платок, отирает довольное, веселое мокрое лицо...

Целый час не пустовать эстраде: плясуны теперь выскакивают даже не в одиночку, а целыми партиями. Охотников нашлось так много, что сущая конкуренция. Заплясавшихся подолгу бесцеремонно гонят: отплясал, дескать, свое — давай место другому!

За плясунами пошли рассказчики-декламаторы: такую несли дребедень, что только ахнуть можно. Не было еще тогда на фронте ни книжек, ни сборников хороших, ни песенников революционных,— на фронт все это попадало редко, красноармейцы мало что знали, кроме собственных частушек да массовых военных песен...

За рассказчиками надрывались певцы: тоже не задумывались долго над песнями, распевали, что раньше взбредет на ум. Канитель!.. Но веселая, сочная, многоцветная, искренняя канитель. От походов, от боевой страды, от окопной напряженной скуки, от полуголодной жизни — с какой охотой и радостью отдыхали бойцы! Потом весь день по избам или кучками на грязных, оттаявших улицах, за столом, в конюшне, за семечками — везде только и разговору было, что про веселый митинг-концерт... И в центре всех разговоров-воспоминаний стоит Чапаев: такой-то вот командир и люб бойцам... Сегодня на заре по холодному туманному полю пусть ведет он цепи и колонны на приступ, в атаку, в бой, а вечером, под гармошку, пусть отчеканивает с ними вместе «камаринского»... Знать, по тем временам и вправду нужен, необходим был именно *такой* командир, рожденный крестьянской этой массой, органически воплотивший все ее особенности. Вырастет масса — отпадет и в этом нужда. Уж и тогда не нужен был бы такой вот Чапаев, положим, полку иваново-вознесенских ткачей: там его примитивные речи не имели бы никакого успеха, там выше удали молодецкой ставилась спокойная сознательность, там на беседу и собрание шли охотнее, чем на «камаринского», там разговаривали с Чапаевым, как с равным, без восхищенного взора, без расплывшегося от счастья лица. Поэтому меньше всех любил Чапаев бывать в полку ивановских ткачей, таких скупых на триумфы и восторги.

Когда Федор впервые явился в политический отдел дивизии, он почувствовал недоброжелательное, холодное, видимо предубежденное отношение. «В чем может быть дело?» — недоумевал он — и не думал, что неблагосклонное отношение политработников к «партизану и мордобойцу» Чапаеву переносилось механически и на него, «чапаевского комиссара».

Больше того. Здесь, в политическом отделе, уже было известно о приятельских отношениях между Клычковым и Чапае-

вым, а объяснили это очень просто. Или «наш комиссар» подпал под чапаевское влияние, ходит перед героем на задних лапках и является механической фигуркой, выполняющей бессознательно не свою — чужую волю. Или же «нашему комиссару» и под влияние-то подпадать нечего: сам такой же партизан и «удалец»...

Одни предполагали так, другие — по-другому, но все сходились, что «комиссара надо одернуть с первого же шага». Поэтому, когда Федор пришел в подив, там ему начальник со злорадством, ни слова не говоря о работе, о нуждах, о планах, сунул в руки какую-то бумажку и стал насмешливо, глядя прямо в глаза, следить, какое произведет она впечатление. Бумажка оказалась повесткой — трибунал вызывал Клычкова «в качестве обвиняемого». Он сразу не понял, в чем дело, а потом вспомнил и рассмеялся... Рыжиков (начальник политотдела) недоумевающе смотрел на Федора и, видимо, ожидал совершенно иного эффекта.

— К суду за что-то? — процедил он сквозь зубы Клычкову.

— Знаю... Пустяк... Не поеду... Это, видите ли, так случилось. В прошлый наш приезд в Самару идем с Чапаевым по дороге,— кругом высокие сугробы нанесло, узко, тесно, некуда с дороги ткнуться, кроме как в снег... И вдруг на саночках мчится какой-то фертик — комиссаром связи, что ли, оказался, не помню... Только холеный такой... видно, что в партию протерся случайно... Мчится, подлец, и хоть бы ха! Прижал нас, заставил в снег заскочить, чтобы не угодить под лошадь... Ну, я ему вгорячах-то, кажется, затрещину посулил за такую подлость... Остановил лошадь, слез, расспросил, записал и Чапаева. Ну вот и все! В трибунал подал...

По мере того как Федор непринужденно рассказывал эту пустейшую историю, лицо Рыжикова все более и более утеривало свое торжествующее и злорадное выражение. Выходило, что «история» действительно глупейшая и радоваться совсем не приходится тому, будто «комиссар наш так и есть... что-то уже там натворил... В трибунал вызывают...». Все оказывалось чепухой. А с другой стороны, и самый вид Федора, такой простецкий и дружеский, и манера держаться, и весь разговор свидетельствовали о том, что это совсем не «какой-то партизан и мордобоец». У Рыжикова мнение о Федоре поколебалось уже после первой с ним встречи, а дальше и окончательно переменилось: насколько подозрительным и нехорошим было оно вначале, настолько искренним и доверчивым стало впоследствии.

В трибунал Федор ответил, что дело мелко, ехать некогда, а тут бои открываются, и здесь он считает себя нужнее...

«А впрочем, любому заочному постановлению,— писал он,— конечно, считаю себя обязанным подчиниться, но извещаю, что дело все обстояло следующим образом...»

И он сообщил дело подробно, от начала до конца. В трибунале поняли, поверили, согласились — больше Федора не тревожили. Было слышно, что фертика этого при последующих «чистках» из партии выгнали, как «случайный элемент».

У Клычкова с Рыжиковым, а через Рыжикова и со всеми политработниками очень быстро установились отличные отношения. Клычков скоро убедил их в том, что про Чапаева наговорено им много всякого вздора, а на самом деле он, Чапаев, совсем-совсем не таков.

Лишь один раз, да и то в самом начале, произошел неприятный и резкий разговор — о полномочиях. Вопрос о полномочиях и распределении функций между комиссаром и начальником политотдела дивизии на всем протяжении гражданской войны был вообще одним из скандальнейших и туманнейших вопросов. Чему же удивляться, если он рассорил теперь, хоть и ненадолго, Рыжикова с Федором?

Рыжиков упирал на полную автономию политического отдела, на непосредственную связь его с армией, на полную безотчетность перед комиссаром, соглашаясь только на легонькое информирование... А Федор, наоборот, все вопросы повертывал в другую сторону и ссылался на разные инструкции и постановления, которыми обильно запасся в Самаре, внимательно рассмотрел, усвоил и теперь безжалостно опровергал Рыжикова «на законном основании». Вопрос разрешился очень легко, но разрешила его не полемика, не аргументы того или другого, не формальные основания, ссылки и разные «пункты» — разрешила сама боевая жизнь. Федору первые же дни и недели показали, что руководить агитацией и пропагандой, заниматься организационными вопросами политработы, направлять систематически и детально работу среди населения, следить за повседневной отчетностью, работою статистического и информационного отделений, связываться с ячейками, объять необъятную область культурно-просветительного дела — где же ему, когда же ему?

Все это — прямая работа политотдела, а следовательно, и его начальника. Комиссару, иной раз на пять-шесть дней отлучающемуся по бригадам и совершенно не бывающему в эти дни в дивизионных центрах,— ему только впору подметить на местах, что и как *делается*, что и как *надо делать*, что является делом первой очереди, что — второй, третьей, куда нужны силы, где их, на какой работе сосредоточивать в данный момент.

Взвесив обстановку в дивизионном масштабе и шире, Федор ограничивался только намечиванием основных вопросов, перечислением неотложных дел и в этом духе давал политотделу директивы; там их получали и воплощали в жизнь своими

силами, своими методами, своим аппаратом. На этом Федор не только помирился, но и сблизился с политическим отделом, и уже ни разу, до самого последнего дня, не было у него ни единого конфликта, даже ни одного разногласия. Он понял, что *не командовать* политотделом надо, а единственно *помогать* ему и следить, как воплощаются в жизнь основные директивы.

Политический отдел, как огромная губка, то и дело насыщался многочисленными сведениями, фактами, богатым опытом, притекавшим от частей и окрестного населения, и потом, переварив этот опыт внутри — во всяких совещаниях, заседаниях и просто одиночных обдумываниях, он испарял его в виде рассыпчатого кадра организаторов и агитаторов, в виде массы всяких листков, воззваний, инструкций и руководств.

И худо ли, хорошо ли, но всегда обслужено было политически даже население прифронтовой полосы — не только свои боевые части... По селам и деревням разъезжались верхами, расходились пешие, расползались в «красных кибитках» агитаторы-коммунисты и рассказывали населению, куда и зачем идет Красная Армия, для чего она создана, что творится в Советской России, что происходит за ее пределами. Часто и сами знали мало — неоткуда было узнать, часто и передать складно не умели, зато *главное* всегда доносили, были светочами, были рупорами, были учителями... А то спектакли ставить начнут, живой фонарь раздобудут, возятся с ним, картины показывают,— это ли не дивом было в какой-нибудь захудалой, глухой деревушке, где к тому же ютится половина татар, никогда не расходившихся по радиусу дальше как на тридцать — сорок верст...

С красноармейцами работать легче: эти всегда в сборе, готовы, организованы, да и сравнить ли их по развитию с деревенским населением? С красноармейцами и без политического отдела всегда ведет работу своя партийная ячейка; ей от политотдела потребна только материальная подмога да свежий материал,— с работой чаще умели справляться и сами.

А что за работа в полку? Разная: зависит от того, где полк находится и что делает. В тылу, на отдыхе — одно дело, тут можно и по системе заняться и безграмотность изо дня в день изничтожать, лекции ставить, хоть и не в очень крупном масштабе, чтения организовать по часам — да мало ли что можно сделать? И делали. А в походе, в боях — тут газета в руки неделями не попадала, тут не до лекций, не до митингов. В боях так уж в боях! А на отдыхе — брякнуться, заснуть бы, что ли, поскорее, отоспаться, отдохнуть или залатать вот дырявые сапоги, прикрутить отлетевшую подметку, оправиться, подготовиться к утреннему новому походу.

При объездах полков обычно случалось само собою — молчаливо, без предварительного уговора — так, что Федор не успевал перетолковать со всеми командирами, а Чапаев не успевал ознакомиться с ячейкой и политической работой. Но что не успевал сделать один — непременно успевал другой. А когда ехали дальше и беседовали в пути — вся жизнь полка была как на ладони. Дружно, ладно жили. Ладно, дружно работали.

Когда открылось общее наступление на Колчака, была уже полная ростепель, начали трескаться и вскрываться реки; на пригорках, а потом быстро и в долинах, обнажилась земля; ручьи и ручейки размыли дороги; по грязи, смешанной со снегом, по тонкому льду не только артиллерии — невозможно было ехать конному, а местами и пешему не пройти. Весна входила в полные права.

Движение было затруднено до последней степени — этим и можно отчасти объяснить первоначальное медленное продвижение красных войск. Но только отчасти,— причины были и в чем-то другом. От первых же столкновений передовые колчаковские войска остановились, как бы в раздумье. А тут удар за ударом посыпались с разных сторон. Перешедший к нам «полк Тараса Шевченко» спутал у них в этом месте карты и сразу ободрил бившиеся здесь красноармейские части. Не давая врагу опомниться, все дружней, все настойчивей стали напирать красные войска. Неприятельский фронт был поколеблен. Инициатива была уже выхвачена. Поворотный момент чувствовался и был заметен уже не одному только прозорливому взору. Росли надежды. Прибавлялась сила. Развивавшееся наступление сулило победу.

X. В БУГУРУСЛАН

В памятный день открылся уже общий фронтовой поход, а отдельные схватки, разумеется, были и все время до того. На фронте антрактов не бывает.

В двадцатых числах апреля, в пасхальные дни, произошли первые встречи с противником; он продолжал свое победоносное шествие от Бугуруслана на Бузулук. Бригада Еланя удерживала этот напор, разбившись полками по левому берегу Боровки. Сюда полкам добраться стоило больших трудов: не позволяли распустившиеся дороги, бурные, глубокие весенние ручьи. Не только орудия везти было невозможно, даже пуле-

меты переправлялись в разобранном виде, ссыпанные в мешки. И как только добрались до Боровки, завязались бои, уже не прекращавшиеся все время вплоть до самой Уфы.

В одной операции под Бугурусланом Елань едва не попал самолично в лапы белым — спасла счастливая случайность. Он с Вихорем да человек семьдесят конных пробрались в неприятельский тыл и заметили двигавшуюся по лощине батарею. Поскакали, но лишь только приблизились; как артиллеристы-офицеры, поняв, что это за всадники, стали на картечь расстреливать красноармейцев. Видно уж было, как «номера» (стоявшие у орудий солдаты) отказывались стрелять, как офицеры колотили иных шашками и рукоятками револьверов, но невозможно было ничего поделать. И вот, отослав бо́льшую часть отряда в обход, отвлекши внимание, сам Елань, Вихорь да кучка кавалеристов, пробравшись по другой лощине, во весь карьер вынеслись к самым орудиям. Опешившие офицеры вскинули было на руки маузеры, но уже было поздно,— одному Вихорь с налета раскроил голову, другого сбили лошадью, а остальных свои же «номера», поваливши, мяли на земле или держали с закрученными за спину руками. Все совершилось с поразительной быстротой; «номера» будто только и ждали того, чтобы всадники подскочили к орудиям. Те, что держали офицеров, умоляющими взглядами просили о пощаде, остальные застыли с поднятыми руками. Офицеров не осталось, солдат не тронули ни одного. Батарею направили на полк, к которому она торопилась на подмогу; а полк этот, увидев безнадежность положения, сдался тем красным частям, что на него наступали. Этой операцией остался руководить Вихорь, а сам Елань с десятком ординарцев поскакал дальше, в обоз, и когда мчались мимо повозок, груженных обувью и солдатскими гимнастерками, занимало дух от радостной мысли, что все это достанется красноармейцам. Обозники не сопротивлялись: одни обалдели от неожиданности, другие не понимали ничего, посчитав скакавших за «своих», подумав, что их повертывают куда-нибудь «по назначению»,— так весь обоз в несколько сот возов и достался на поживу обнищавшим красным полкам.

Неподалеку от обозов стоял штаб дивизии, там поднялся переполох: в подобных случаях о размерах налета всегда создается преувеличенное представление — этим объясняется и паника, которая дает в руки «налетчикам» дешевую победу, а часто и обильную добычу. Точь-в-точь, как и всегда, получилось и теперь: никто ничего и никого не думал организовать, никто ничего не хотел, не стремился рассмотреть и разузнать — каждому впору было думать о спасении лишь собственной шкуры. Одним из первых выскочил на волю начальник ди-

визии, полковник Золотозубов; он вместе с дивизионным попом впрыгнул на дежурившую таратайку и бросился наутек. Всюду беготня, крики, путаница, торопливые ругательства, угрозы...

А десяток конных красноармейцев носился среди перепуганной штабной публики, гиканьем, стрельбой и криками о сдаче усиливая и без того неудержимую панику. За начдивом поскакал Елань и уже настигал с занесенной шашкой, когда «батюшка» обернулся из пролетки и выстрелил; пуля попала коню в переднюю ногу, он захромал, начал отставать. Тогда остановилась и пролетка, полковник соскочил на землю и с руки начал бить из маузера. Вторая же пуля угодила коню в голову, он покачнулся и упал, только Елань успел при падении высвободить ногу и как соскочил — ударился бежать в соседний перелесок. На самой опушке крестьянин в телеге правит парой здоровых рабочих лошадей. Елань к нему. Тут растабарывать некогда, показал ему дуло револьвера, вскочил на ближнюю упряжную, отрубил постромки и помчался прочь, назад, туда, где остались товарищи. Но уже паника улеглась, там поняли, что гроза наскочила нестрашная,— товарищей, видимо, угнали, а может, и переколотили,— не было никого; только проносясь мимо избушки, где был штаб, увидел Елань одного из ординарцев без коня, с окровавленной щекой. Кинулся к нему и крикнул, чтобы вскакивал сзади на широкий круп здоровенной лошади. Недолго думая, тот с размаху влетел и уцепился за Еланя, чуть не сдернул на землю.

Так скакали вдвоем сзади обозов, сзади избушек, оборвав красноармейские значки, скакали на дальний пригорок, к которому должен был подходить, по расчетам Еланя, свой полк. Впереди группа конных — стоят на самом пути, объехать некуда. Что за люди? Когда подскакали ближе, увидели, что свои; сбившиеся здесь из обоза не знают теперь, как через поляну, под обстрелом, пронестись к своему полку, колыхавшемуся на равнине. У Еланя конь хоть и здоровый, а для такого дела не годится. Понял это Яшка Галах — один из лучших, храбрейших ординарцев.

— Товарищ командир,— говорит,— бери мою лошадь, а я слезу, пешком пойду. Ежели заберут — скажу, что мобилизованный, авось не тронут — бывает, что и не трогают...

Раздумывать нечего. Соскочил Елань с широкой доброй кобылы, оставил на ней спутника, а сам пересел на шустрого Яшкина меринка. Вытянулись цепочкой и помчались. Остался Яшка Галах один, поплелся назад, убрел в обоз. (Он воротился только через три недели; рассказывал, что скрывался у них же в обозе — солдаты-мужички не трогали и не доносили; убежать

не удалось сразу, потому что угнали его на тех подводах, что успели скрыться от красного полка.)

По полю мчались карьером. Как пчелы, звенели, шумели, свистели быстрые пули; двух всадников положили они на широком лугу, остальные доскакали. Доскакал и Елань. Быстро перекинули с другого фланга конную разведку, и она впереди полка помчалась отрезать уходивший обоз. Часть успела отступить, но больше того досталось полку: этим добром тогда немало подкрепили босую, ободранную еланьевскую бригаду.

. . . . . .

Не лишнее будет заметить, что добычу свою полки, бригады и дивизии очень не любили передавать выше «для общего распределения»,— оставляли обычно у себя, накапливали даже иной раз, удовлетворялись до насыщения (что было редко) и уж только безусловно ненужные, обременительные излишки передавали «вверх». Это относится не только к одежде, обуви, продовольствию — то же было можно наблюдать и по части винтовок, патронов, пулеметов и даже... орудий. Так складывалось иногда, что в одном полку еле-еле пулеметов с десяток наберется, а в другом, смотришь, под целую сотню подкатило — и молчат, никогда не скажут, что сотня у них, даже при ревизиях сумеют скрыть, а уж во всяких «отчетах и донесениях» и думать не думают о настоящих цифрах! Секретность тут была настолько большая, что даже ни один командир бригады «самому Чапаеву» правды не говорил. Да Чапаев, впрочем, никогда правды этой и не добивался, а, отдавая приказы — хоть про то официально и не заявлял,— постоянно имел в виду десятка два-три лишних пулеметов, а иной раз и «неучтенное» орудие, которое где-нибудь случайно заметил или про которое услышал от проболтавшихся полковых простофиль. Цифра наличного оружия подолгу оставалась в донесениях одна и та же. Но не следует думать, что не было никогда потерь — они были, только доносить о них было не выгодно, а пожалуй что и зазорно, поэтому про потери молчали и возмещали их из таинственных неисчерпаемых своих «резервов». Если ничего не говорили про потери, то не все говорили и про добычу — тут проявляли своеобразную «дальнозоркость»: не гнались за мимолетной славой, ради расширения «резерва» — цифру добытого уменьшали вдвое, втрое, а то и больше, смотря по нужде.

Куда же девалось это накопление? Как отчитывались в нем?

А тут обычно появлялся всякий «брак, лом и хлам»: в дивизию сдавали только воистину негодное, а что получше — оставляли неизменно у себя. Когда этот прием стал известен и Федору, он уже меньше расстраивался при горьких воплях на всякие недостатки, зная, что вопли обычно идут «авансом»,

голосить начинают далеко перед тем, как подступает настоящая нужда. Понимать приходилось так:

«Дивизия, помогай! Нужда крадется к моим тайным резервам!..»

И действительно, вслед за воплями росла, усиливалась, близилась настоящая нужда.

Теперь вот свою добычу бригада Еланя тоже распотрошила почти сплошь у себя,— мало что досталось в дивизию, а про армию и говорить нечего.

Федор Клычков все это узнал и сделал свои выводы впервые лишь на этом примере еланьевской победы.

«Во-первых,— подумал он,— это буду иметь в виду каждый раз при учете сил, а во-вторых, постараюсь сократить командирское вранье».

Забегая вперед, скажем, что примерно через полгода он и в самом деле кой-чего добился, но в общем, мало, очень мало. Тогда же он отметил и другое обстоятельство: командир бригады Елань с группой ординарцев работал в неприятельском тылу. Работал, правда, успешно: отбил батарею, ускорил гибель неприятельского полка, спутал все в обозе, едва не зацепил начальника белой дивизии.

Это все отлично, но... Уже тогда родилось у него это «но». И тогда же сделал он логический, неопровержимый, такой убедительный и ясный вывод: командиру никогда не нужно увлекаться частным делом, он всегда должен иметь перед собою *целое*,— и операцию *целую* и войска свои в *целом*, а отдельные задачи кому-то поручать. Личное мужество Еланя могло привести к печальному концу, может быть, целую бригаду, если бы только его подстрелил Золотозубов, а заместитель, скажем к примеру, не сумел бы справиться с управлением полками.

Эту мысль Федор крепко усвоил тогда же, но усвоил ее как-то отвлеченно, а на деле и сам от нее отступал неоднократно и никогда не порицал того, кому удавалась лихая затея,— пусть она была почти безрассудная, только бы окончилась хорошо: так велико обаяние исключительного подвига!

Как только слышно стало, что у Еланя заварилось дело, поехали навестить его Чапаев с Федором, Кочнев, Петька Исаев, конных человек пятнадцать; в одиночку показываться тут было невозможно,— шальные неприятельские разъезды могли объявиться в любом месте, да и кулачки деревенские не очень-то жаловали красноармейцев, тем паче «начальство».

День светлый, чистый, праздничный. По селам в ярких сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет зеленая моло-

дежь,— даже удивительно все это видеть. На завалинках сидят, покряхтывают сгорбленные старухи; ради теплого праздника вырядились в тяжелые шубы, как жабы, выползли из нор, маячат здесь и там, словно мраморные черные статуи. У Совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. Чапаев указал им верный путь, как избавиться от праздничной скуки. По деревням ручьи глубокими вымоинами изрезали во всех направлениях дорогу; на этих вымоинах приходилось застревать не одному десятку бригадных телег, порывая гужи, ломая колеса... В каждом поселке вызывали председателя Совета, давали ему распоряжение провести спешную мобилизацию и выправить дорогу... Подымался гвалт, протестовали, не брались, но уже на обратном пути было можно видеть, что дорога на самом деле устроена и починена. Так — от деревни к деревне, от села к селу — выправили весь путь до последних, дальних полков.

Еланя застали в штабе. По общему правилу, по привычке он сейчас же раскинул по столу разукрашенную, исчерченную карту и начал указывать разные пункты, где, по последним сведениям, расположился неприятель. Скоро к штабу подъехало человек десять конных, забрызганных грязью, мокрых,— видно, что крепко усталые... Оказалось, группа эта, во главе с комиссаром бригады Буровым, ходила в разведку, побывала на этом берегу в четырех деревнях, переправлялась даже и на тот берег вплавь через реку, привезла немало ценных сведений... Вытащив записную книжонку, припрятанную где-то под самым горлом, чтобы не замочило, Буров шаг за шагом развертывал присутствовавшим обстановку за рекой... Неприятель готовился предупредить наступление красной стороны, сосредоточивая свои силы, подвозил артиллерию, перегруппировывал части, гнал торопливо в разные стороны длинные тучные обозы... Маленькая книжонка раскрыла большие дела. Что узнали — передали дальше, через штаб дивизии, в армию...

Федор с гордостью, с радостью смотрел на комиссара — этого рослого сильного чумазого детину, оказавшегося питерским слесарем, добровольно ушедшим на фронт еще в прошлом, 1918 году.

Отошли в сторону, разговорились.

— Как политическая-то работа? — спросил Федор.

— Да што,— махнул комиссар,— скажу вам откровенно, товарищ Клычков, ничего не делаю, ей-богу, ничего. Ругайте — не ругайте, а некогда. Што бы делать? Или вот за реку ехать, или программу учить?.. За реку нужней.

— Верно,— сказал Федор.— Да я и не о том... Что обстановка нам диктует — кто скажет против того? Ну, а бывают же моменты, когда можно?

— Никогда! — отрубил уверенно Буров, скручивая на пальце цигарку.

— Это вы уж слишком...— недоверчиво возразил Федор,— слишком. Моменты бывают — неправда, их только ловить надо уметь...

— А попробуйте с ребятами-то нашими,— усмехнулся Буров.

— Это иной вопрос...

— Да што иной... попробуйте,— как бы донимал тот Клычкова.— Оно тово, скажу вам, очень тово...

И он знаменательно поднял палец вверх, как будто заганул загадку и ждал разрешения.

— Трудно? — спросил Федор участливо.

Тот молча наклонил голову, а потом брякнул:

— Не только трудно — нельзя! Совсем нельзя! Мы, говорят, воевать пришли, а книжки читать потом будем... Когда войну кончим, тогда и книжки, вот што...

— Так вот тут-то ваша задача и начинается,— не дал ему докончить Клычков.— Комиссар как раз должен убедить в другом: должен убедить, что без политики воевать нельзя... Что же за армия будет, коли не знает, куда и за что воевать идет? И время на это можно найти... не верю, что нельзя... Попробуйте... В будущий раз сами сознаетесь, что можно... Только расшевелите всех тут — полковых комиссаров, ячейки... Да и сам... От вас — ой, как много зависит!

— Я-то — видите,— он показал на мокрую, забрызганную грязью тужурку.

— Не только,— отмахнулся серьезно Федор.— Этого мало. Тут-то как раз ваша разница с командиром и начинается. Ведь получается впечатление, что вы лишь вояка хороший, а больше и ничего...

— Им главное это,— убеждал комиссар.— Как с ними не будешь — фью. На черта ты им нужен? Говорить — говоришь, а сам, говорят, не делаешь. Сам, говорит...

— Да погодите, погодите,— остановил его Федор.— Снова повторяю: надо!.. *Но не одно это* надо, не одно!.. Кто же, кроме нас, армию-то просвещать будет? Поймите, что *мало быть смелым воином, надо быть еще и сознательным*...

И он стал доказывать Бурову необходимость и возможность ведения политической работы даже в самой сложной обстановке. Тот не протестовал больше, но видно было, что результатов больших на этой задаче от него не будет... Командир? Да, командиром он будет отличным...

Через короткое время этому товарищу дали командную должность, а комиссаром на его место назначили другого.

Закончили разговор, подошли к столу. Елань рассказывал вчерашний случай.

— ...Человек пятнадцать... Одеты как полагается, а отличий нет никаких: солдаты и солдаты. Только у командира звезда была красная — так в карман убрал. Приехали в деревню — к Совету: где председатель? А мужиков тут с полсотни набралось, шепчутся чего-то, в сторону норовят, боятся...

«Вы колчаки, што ли, солдатики?» — спрашивают.

«Колчаки»,— говорят ребята,— прикинуться задумали, посмотреть, что из этого выйдет.

«А сюда пошто — воюете?»

«Воюем, братцы... Да красных вот ищем: где они тут, кому известно?»

И стали мужиков расспрашивать, какие, дескать, тут воинские части у красных да где они находятся, куда идут, как обращаются с крестьянами...

А те носы повесили да и слова путного не говорят:

«Вон Иван Парфеныч пускай расскажет, он у нас знает все — в председателях сидит...»

Иван Парфеныч показался в дверях, этак пудов на одиннадцать мужичина...— обвел рассказчик руками вокруг живота, показывая, какая была солидность у Ивана Парфеныча.

Все рассмеялись.

— Да, да,— подтвердил Елань.— Тут по Советам сколько угодно таких встретишь... Не рассмотрели еще мужики, в чем дело, да и робеют... так, сволочь разную иной и выберут...

Так вот, спускается с крылечка... Даже и глазом не моргнул, не оробел Иван-то Парфеныч, шествует к «колчакам» за мое почтение, кланяется от самой двери, руку под козырек берет, улыбается. «Здравия,— говорит,— желаю».

«Ты председатель?» — спрашивают ребята.

«Так точно,— говорит и опять смеется, сукин сын...— Посадили вон, подлецы, говорит, и сижу... Ждали вас, родимых, на той неделе... Вот... слава богу, пришли — всю-то душу размотали...»

А ребята как будто не верят, значит.

«Да что ты, дескать, нам дуру-то навертываешь — рассказывай дело: где «ваши»?»

«Какие это наши?» — вытаращил глаза председатель.

«Ну, што — какие: красные где? Рассказывай, красный черт».

Тут председатель в ноги, оправдываться, свидетелей троих из толпы-то (пудов по восемь); те за него.

«Да где же, мол... Иван Парфеныч — человек положитель-

ный, он никогда с этими не связывался, мужики его заставили в Совет залезать».

Ребята с коней, зашли в Совет, написали все его показанья, дали подписать: хотим, говорят, господам офицерам материалы привезти...

Все подписал, подлец... Тут его с тремя-то защитниками на повозку да и сюда. Как понял, так и завыл: «Я, Христом богом, говорит, сам в большевиках состою...» А мужики перепугались — говорить не знают што... Совсем оробел народ,— махнул рукой Елань в заключение рассказа.

— А где теперь? — спросил Федор.

— Всех четверых в трибунал послали... Што народ у фронта с толку сбился, это верно: на неделе по четыре раза встречали и белых и красных, спутались, кто первым приходил, кто последним, кто обижал крепко, а кто и не трогал... Лошадей што поугнали — и не счесть, а телег поломано, сараев сожжено, посуды разбито, растащено — лучше и не поминать. Со скотиной, положим, крестьяне узнали, как спасаться: загонят в чащу лесную целые табуны, да так и не выводят оттуда, корм по ночам таскают. А солдаты придут: лошади где, коровы?

«Всех угнали... подчистую».

«Кто угнал?»

Тут ежели белым — так на красных говорят, а красным — на белых. Сходило. Но не всегда и тут сходило, дознаваться потом стали, разведку по лесам пускали... Отыщут табун — пригонят, а деревня — реветь... Только что же слезы поделают, когда и кровь нипочем?!

По пути к полкам заехали в какое-то село.

— Совет есть?

— Совет? — ежились мужики.— Да был Совет...

— Где был?

— А, надо быть, в этом доме,— показывают на большой заколоченный дом.

— Теперь-то где?

— Теперь-то? А кто его знает... На селе... Там вон где-то... в конце...

— Так што же вы, ребята, неужто не знаете?

— Да чего нам... нет, не знаем ничего. Поезжайте вон на тот конец, там, может, скажут...

— Вы же сами — здешние?

— Как же — тут все живем.

— И не знаете, есть ли Совет?

— Надо быть, есть...

— А староста есть?

— И староста есть.
— А молоко есть?
— И молоко есть.
— Ну-ка, кринку, поскорее, да холодного!
— Это можно... Ванюшка, эй!

Отрядили мальчишку, послали за молоком; не знали, как держаться, о чем говорить. Нашлись двое — признали Чапаева. Но еще долго, упорно не верили, что приехавшие «не из офицеров будут». Наконец, по разным признакам, по фактам, по общим воспоминаниям — поверили. Стали говорить охотно и легко. В разговоре сквозило сочувствие, но усталость, усталость... И перепуг... глубокий, хронический, заматерелый...

Мужички толковали про то, чтобы «оставили в покое — ото всех, мол, тошно, выходит... война-то кругом тяжела мужичку...»

Отдыхая, проговорили больше часу, и, когда собрались уезжать, крестьяне провожали дружно, напутствовали по-товарищески...

На самом берегу Боровки, в деревне, остановился Михайлов со своим полком,— сюда проехать было можно только берегом, а с той стороны из-за сырта[1], где лежали неприятельские цепи, шла непрерывная пальба: как завидят — и пошла и пошла... До деревни оставалось уже совсем недалеко: видны были овины, когда неприятель усилил огонь... Зазвенели торопливые пули, одному из спутников пробило ногу. Ударили по коням — в карьер!.. Разбились гуськом, один от другого шагах в двадцати. Федору вспомнилось, как он спасался в сломихинском бою, и сразу почувствовал перемену: теперь уже не было того панического страха, как тогда... Пусть там разрывы, здесь — пули; и пули бывают страшнее снарядов. Все страшно по-своему: «пуля — для тела, шрапнель — для души». Он скакал и никак не верил, не допускал, что пуля может задеть и его. «Соседа — конечно... может... а меня — едва ли...» Отчего были такие мысли — и сам не знал.

На скаку поранило двух лошадей, одному из ординарцев пробило шапку... Спрятались за высокие стога сена, спешились, один за другим от стога к стогу, от овина к овину начали перебегать в деревню. Чапаев перебегал последним. Федор, чтобы наблюдать, спрятался и следил, как тот сначала рванулся и побежал, но вдруг повернулся обратно и юркнул снова за стог. Потом переждал и уже не пытался перебегать прямо к деревне, а взял в обратную сторону, окружным путем, и к штабу явился последним...

---

[1] Сырт — холм, небольшая гора.

Федор любопытствовал:

— Что это ты, Василий Иванович, сдрейфил как будто? За овином-то, словно трус, мотался?

— Пулю шальную не люблю,— серьезно ответил Чапаев.— Ненавижу... Глупой смерти не хочу!.. В бою — давай, там можно... а тут...— И он плюнул энергично и зло.

К штабу было пройти нелегко: деревня обстреливалась с высокого заречного сырта. Как только заметят кого в прогоне меж домами, так и жарят по этому месту чуть не целыми пачками. Красноармейцы тоже в обиду не даются: залезли на овины, попрятались на крышах, за плетнями, понаделали дырок в стенах у сараев — наблюдают зорко, что делается на том берегу. И лишь зачернеет, запрыгает фигурка или голова где-нибудь высунется за бугром,— открывают огонь. Тут идет не сражение, а настоящая взаимная охота, огонь по «случайной цели». И — удивительное дело — по деревне гуляют девушки в праздничных цветных костюмах, местами песни поют, забавляются... Ребята тоже не зевают — вьются возле них, подпевают, а один так и с гармоникой подсыпается...

Надо сказать, что река тут неширока, и из-за сырта видно — боец идет или крестьянин, девушка ли подпрыгивает... Пальба в переулках шла только по красноармейцам. Крестьяне ходили как ни в чем не бывало — спокойные, неторопливые... И если бы не перестрелка, трудно было подумать, глядя на них, что кругом тут ежесекундно витает смерть: деревня будто где-то в глубочайшем тылу и в совершенном покое справляла свою традиционную пасху...

Михайлову хотели посоветовать, чтобы разведку сделал через реку, а он ее, оказалось, услал еще поутру, ждет теперь с минуты на минуту. Разведка действительно вернулась скоро, двоих похоронила на том берегу — убили их в последние минуты, когда уже спускались к броду. На фронте редко что дается даром! Сообщение выслушали, держали совет и порешили ночью же сделать налет. Знали, что брод этот будет охраняться,— надо было засветло искать другой. Операцией Михайлов брался руководить самолично. Надежд на успех было много, и главная надежда заключалась в том, что белые части уже наполовину были подготовлены, сагитированы заранее. Своеобразная агитация эта производилась простым и оригинальным способом: человек десять коммунистов выползают на животах почти со средины деревни и пробираются через те самые пролеты, в которые обстреливаются в деревне красноармейцы. Ползут и ползут, не подымая головы, не колыхаясь, не извиваясь в стороны, медленно и все в одном направлении. Доберутся

до тына — здесь дыры еще ночью проделаны, устремляются в эти дыры и сползают к берегу. Перед самым тыном происходит небольшая маскировка, а иные проделывают ее и раньше, чем выползут, в деревне. Маскировка тоже незамысловатая: одному сучочков, палочек, елочек попритыкивают, навешают со всех сторон, тряпок ли набросают, чтобы на человека не был похож. Такое-то безобразное существо и движется к воде. Бывает, сена набросают, соломой осыплют, рогожей накроют: всяк молодец — на свой образец... Десяток или полтора этаких чудовищ выползают на берег с разных концов и, прижимаясь то к бугоркам, то к кустарникам, к прибрежным всяким укрытиям, выравниваются вдруг и начинают кричать:

— Солдаты!.. Белые солдаты!.. Товарищи!.. Бейте офицеров... Переходите на нашу сторону... Вас обманули... Крестьян на крестьян гонят. Офицеры — господа... Они вам враги, а мы ваши братья. Переходите, товарищи!.. Бейте офицеров!.. Переходите!..

Река тут неширока, с берега на берег слышно отлично, а особенно звучно слышно по росе: выползают агитаторы, конечно, в сумерках — в вечерних или утренних, когда их продвижение не особенно заметно... Офицеры с той стороны посылали площадную брань,— уж так измывались, так измывались, что слов поганых не находили для проповедников-большевиков. Открывали и стрельбу, но куда же, в кого тут будешь стрелять,— не видно нигде никого.

Ругаться — ругались, а части на берегу все-таки подолгу оставлять боялись, меняли то и знай, все время были в перепуге, ждали каких-то страхов у себя изнутри... Белые солдаты близко к сердцу принимали убедительные простые слова, что доносились к ним из-за реки, и — говорили потом — не один десяток был расстрелян офицерами за подслушанные солдатские речи про «братьев-большевиков». Шпионская работа у белых чем дальше, тем больше развивалась и среди солдат; крестьяне начинали там понимать драматическое свое положение, когда их понуждали, гнали бороться против своего же дела, против своего же брата трудящегося. Все это в очень значительной степени облегчало борьбу красноармейских полков. А работа агитаторов и вконец разлагала белые части.

Попалят-попалят офицеры — бросят, а агитаторы так же медленно, тихо, без колыханий отползают обратно в деревню.

Вечером накануне предполагавшегося ночного налета агитация была проведена особенно успешно: в отдельных местах белые солдаты, рискуя жизнью, даже перекликались с агитаторами, задавали разные вопросы, указывали на трудности перехода, на строгость надзора, на жестокость расправ.

Ночью Михайлов с отборным отрядом направился осуществлять задуманное дело.

На следующий день в бригадный штаб пришла его телеграмма:

«Отобрав 200 человек, ночью, вброд, а частью по бревенчатому мосту, сделанному наспех, пробрался на другой берег Боровки и внезапно атаковал спящего неприятеля. Захвачено в плен свыше полутораста человек, четыре пулемета, винтовки, кухни, обозы...»

— Забрал полтораста,— вслух сказал Чапаев,— так это забрал, а на месте што осталось?.. Пиши! — обратился он к штабнику, который составлял донесение об успехе: — «Забрал в плен полтораста и зарубил на месте двести».

— Слушай-ка, что же это? — изумленно вскинул Федор на него глаза.— Какие двести?

— Не меньше,— отвечал Чапаев, нисколько не смутясь.

— Да какие двести, что ты, брат, выдумываешь?

— Ничего я не выдумываю,— обиделся Чапаев.— Если ему, дураку, невдомек, што же я — так и должен пропустить?

— Да писать-то подожди... Ну, запросим, что ли, добавочно пошлем, а теперь... это же выдумка, Василий Иваныч!

— Так што? — ухмыльнулся тот легкомысленно.— Повеселить надо.

— Кого повеселить? — противился Федор.— Что тут за веселье! Да узнают про эти номера, тебе и верить-то никогда не станут...

— Не узнают,— опять отшутился было Чапаев, но Федор настоял, чтобы эти двести «мертвых душ» все-таки не включали, и Чапаев с горечью должен был согласиться...

Когда вернулись к себе в штаб, там поджидало распоряжение: немедленно выезжать, захватив с собою одно, другое, третье. Указывались место и цель: переброска в другую армию. За время похода перебросок этих было несколько: сюда, туда сунут, глядишь — бригаду оторвут, опять соединят,— словом, как полагается, как диктовала обстановка. Чапаев обычно негодовал и крепко бранился при всех этих перетасовках, считая их не то случайностью, не то проявлением злой воли каких-то своих «недоброжелателей». Удивительно просты были у него мысли в таких случаях, даже иной раз можно было принять их за шутку, если б не были они сказаны и обставлены так серьезно.

В новой обстановке, по существу, ничто не было ново, да и ехать-то было уж не так далеко. Армии тогда стояли тесно, шли непрерывным фронтом. Успех и неудачи в одной чутко

сказывались в другой. Сведения разносились быстро; эти сведения то наводили уныние, то окрыляли надеждами. Особую радость выказал Чапаев, когда прослышал об успехе бригады Еланя.

— Молодец, подлец, не зря учен,— торжествующе заявил он в штабе по адресу Еланя и тут же послал телеграмму, где между деловыми фразами выражал свою радость: голые приветственные телеграммы посылать не полагалось.

Наступление развивалось успешно. Заняли целый ряд пунктов, больших и малых. По фронту метались как угорелые,— всюду надо было поспеть, указать, помочь, предупредить, а временами и участвовать лично в бою. Один из таких боевых эпизодов Федор занес в свою книжку под названием «Пилюгинский бой». Приводим полностью этот очерк.

ПИЛЮГИНСКИЙ БОЙ

1. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Мы выступили из Архангельского рано, на заре, когда еще солнце не согрело землю, на лугу пахло ночной сыростью, а в воздухе стояла напряженная предутренняя тишина. Один за другим выходили в просторное поле наши полки, выстраивались и молча, без криков, без песен, без шума, двигались к высокому сырту, заслонявшему ближние деревни. По всем направлениям разбросаны были передовые группы; конная разведка умчалась вперед и скоро пропала из вида. Мы ехали перед полками — Чапаев, командир бригады и я, то и дело рассылая вестовых — или с полученными новыми сведениями, или за свежим материалом. Слева, из-за другого сырта, раздавалась глухая артиллерийская пальба — это за Кинелем; там должна продвигаться наша бригада, получившая задачу выйти неприятелю в тыл и отрезать отступление, когда мы его погоним из Пилюгина. Кто палит — не разобрать, где-то далеко, верст за двадцать — двадцать пять; это лишь по заре четко доносятся глухие орудийные удары — днем они не были бы так явственно слышны.

Внезапным ударом в тыл предполагалось создать панику в неприятельских рядах и, пользуясь замешательством, отнять артиллерию, про которую донесла разведка. Пальба за рекой давала понять, что неприятель и заметил и верно понял наш маневр,— шансы на успех понижались.

Выехали на косогор. Внизу — крошечная деревушка Скобе-

лево; отсюда поведем наступление на Пилюгино. Прискакала разведка, сообщила, что Скобелево оставлено неприятелем еще накануне вечером. Подошли к деревне. Крестьяне жались около хат и робко посматривали на входившие войска.

— Сегодня белые, завтра красные,— причитали они,— потом опять белые, потом красные — не видим краю... И хлеб-то у нас поели и скотину забрали, обездолили кругом...— Потом почесывали затылки и с философской примиренностью добавляли: — Оно, што же говорить, война... понимаем — жаловаться не на кого. Да трудно стало, силы нет... И когда она только окончится, проклятая? чай бы, отдохнуть надо!

— Когда победим,— отвечали им.— Раньше никак не окончить.

— Это когда же? — смотрели они усталыми стеклянными глазами.

— А сами не знаем. Вот помогайте — скорее пойдет... Коли дружно возьмемся, где же ему устоять, Колчаку-то?

— Где устоять! — соглашались мужики.

— Значит, помогать надо...

— И помогать надо,— соглашались они дальше.— Подика, помогай: ты ему помог, ан вы деревнюшку и заняли... Только за вас тронулся, а он ее назад отберет, тут и гляди, как тебя с двух сторон подбривать начнут. Наше-то Скобелево насмотрелось всякого: и ваших бывало много, и гоняли тут нас не единожды... Так по подвалам-то оно складнее,— ни туда, ни сюда...

Мы объясняли мужикам на ходу, торопясь, нагоняя ушедших, в чем они ошибаются, что для них означает офицерская, барская власть Колчака, что — власть Советов... Понимали, соглашались, но видно было, что толковали с ними на эти темы редко и мало, знать они путем ничего не знали и крутили разговор только около «покоя».

Так не везде случалось,— лишь по глухому захолустью, по таким дырам, как Скобелево. В больших селах — там обычно кололись резко на две половины непримиримых врагов: с приходом белых задирала голову одна половина, мстила, издевалась, преследовала, выдавала; с приходом красных торжество было на стороне других, и они тоже, разумеется, не щадили своих исконных врагов...

Части проходили деревней, одна за другой переправлялись через небольшой мост, рассыпались по лугу, выстраивались цепями. Из Пилюгина открыли по лугу артиллерийский обстрел...

Но уже далеко на правый край отбежали первые цепи, за ними тонкой, жидкой ленточкой выстраивались другие, кучки

пропали, растаяли, верный прицел взять было крайне трудно,— результаты обстрела были самые ничтожные.

Вошли с Чапаевым в избу, спрашиваем молока. Перепуганная стрельбой хилая, больная хозяюшка притащила кринку, положила краюху хлеба, ласково, любовно, заботливо помогала толпившимся тут же красноармейцам и их кормила, рассказывала, как страшно ей было, когда тут стреляли по деревне... Когда стали отдавать за молоко деньги — отказывается, не берет.

— Я,— говорит,— и так проживу, а вам кто е знает, сколько воевать придется.

Так и не взяла. Деньги мы сунули ребятишкам; они жались около матери, цеплялись ей за подол, как звереныши, поглядывали блестящими глазенками на незнакомых людей с винтовками, револьверами, шашками и бомбами...

— Вы-то платите,— заметила хозяйка.— Хоть и не надо мне, а ладно... Сена ли, овса ли, за все отдают... А те — обглодали начисто, хоть бы тебе соломинку заплатили... И Ванюшку, сына, с лошадью погнали... Вернется ли — один бог знает...

В ее голосе, в манерах не было подобострастия — говорила правду. Хоть не всегда, не везде расплачивались наши — не знала она того, а про «колчаков» в каждом селе, в каждой деревнюшке одно и то же: обдирают, не платят, растаскивают начисто...

Мы сидим в халупе, и видно из окна, как рвутся по лугу снаряды — в двух-трехстах саженях. Здесь и там, одно за другим непрестанно появляются над землей маленькие облака густого черного дыма, и за каждым появлением такого облачка содрогается воздух, трясется земля, как бубенчики заливаются стекла в окнах халуп. Неприятель бьет по цепям, но неудачно, наугад, без всяких результатов,— перелеты на многие десятки саженей... Мы задерживаемся, ждем свою артиллерию, чтобы с места в карьер пустить ее в дело. Выхожу из халупы, забрался на пригорок, лежу. Вдруг прибегает женщина. Оглянулась по сторонам, вытащила что-то из-под фартука, сует:

— На-ка, на, скорее...

Посмотрел — яйцо, и, не понимая в чем дело, полный недоуменья, смотрю на нее широкими глазами:

— Сколько заплатить?

— И, што ты, родимый,— обиделась она.— Поди заморился... Какие тут деньги, ешь-ка знай...

Она торопилась, видно было и по речи и по движеньям,— скажет и оглянется: заметят, дескать, деревенские, а белые придут — доложат, так беды не оберешься...

— Да што ты так-то? — спрашиваю.

— А братец с вами у меня... родной... заодно воюет... Тоже

в Красной Армии состоит... Говорили белые-то, что заколотили вас, Самару будто взяли,— верно ли?

— Нет, милая, неверно,— отвечаю.— Совсем неверно. Сама видишь, кто кого колотит.

— То-то вижу... Ну, будь живой, касатик...

И она поспешно юркнула с косогора, прячась и оглядываясь, пропала среди изб... А я сидел со странным, радостным, особенным чувством. Смотрел на яйцо, чему-то улыбался и представлял себе образ этой милой простой женщины. Есть у нас везде,— думалось мне,— даже и в такой дыре, Скобелеве, свои люди... Хоть и не понимают, может, многого, а инстинктом чувствуют, кто куда идет... Вот она, женщина-то, посмотри: ждала... дождалась... рада... и теперь не знает, чем доказать свою радость... яйцо сунула...

2. В ЦЕПИ

Пришла артиллерия, указали ей путь, и по лощине, натуживаясь и ныряя, потянули лошади тяжелые орудия. Мы видели, как остановились батареи сзади цепей, как мелькнул первый огонек: бббах... ббб... ах... Дальше — без перерыва. Цепи услышали свою артиллерию, пошли веселее. Мы сели на коней и, в сопровождении ординарцев, поскакали вперед. Выехали на гору — оттуда Пилюгино как на ладони: прямой дорогой тут не больше трех верст. По флангам, к цепям, разъехались в разные стороны: Чапаев — направо, я — налево.

— Товарищ,— обратился ко мне вестовой,— это чего там, наши, гляди-ка, отступают, што ли, бегут... Сюда, надо быть?

Я посмотрел. Действительно, какая-то суматоха — красноармейцы перебегают с места на место, цепь то сожмется, то растянется снова... Мы — туда. Разъяснилось дело очень просто: цепь перестраивалась и брала иное направление.

Поле здесь засеяно подсолнухами; с трудом продирались мы между здоровенными колючими стволами... Добрались до первой линии, слезли с коней, вестовой шел с ними шагах в тридцати, я сам прилег в цепь. По сторонам у меня лежали молодые ребята с загорелыми лицами, оба короткие, широкоплечие крепыши — Сизов и Климов. В цепи, когда наступает она, тихо, не услышишь голоса человеческой речи,— только команда рявкнет или кашлянет, отплюнет кто-нибудь. Да редко-редко кто обронит случайное слово. Моменты эти глубоко содержательны: под огнем, в свисте и звоне пуль, каждый миг ожидая, что она пробьет тебе череп, ноги, грудь,— не до слов, не до разговоров. Ты преисполнен сложных, быстро изменчи-

вых, обычно неясных дум. Становишься сосредоточенным, молчаливым, почти злым. Мысли путаются, хочется вспомнить разом как можно больше, как можно скорее — в один миг, чтобы ничего-ничего не забыть, не опустить... И кажется, что главного-то как раз и не вспомнил, а надо торопиться, спешить надо...

Перебежки одна за другой, все чаще, все чаще... Ближе враг... Совсем близко... Еще минута — и перебежек не будет, за последней перебежкой — атака... Ради этого страшного момента, именно ради атаки и торопишься теперь все разом, как можно скорее, вспомнить... Там — предел, черная бездна...

Я тихо опустился между бойцами. Они посторонились, посмотрели неопределенно мне в лицо, ни о чем не спросили,— как лежали в молчании, так и остались... Полежал, помолчал и я, но стало тягостно от мертвящей тишины,— вынул кисет, свернул цигарку, закурил.

— Хочешь, товарищ? — обратился к соседу.

Он поднял голову, как бы не поняв сразу и изумившись моему вопросу; еще больше удивился он тому, что вдруг, так вот неожиданно услышал *здесь, теперь* — человеческую речь. Подумал одно мгновение, и я увидел, как глаза его осветились, повеселели.

— И то дело, давай,— потянулся он за кисетом.— Эй, Сизяк,— обратился тут же к Сизову,— что землю жуешь? На-ка, лучше закури с нами...

Сизов так же медленно, как и Климов, приподнял голову и посмотрел на нас угрюмым, строгим взглядом, а потом завернул, закурил, стал и сам веселее... Разговора нет никакого, только бросаем отдельные слова: «Сыро... Колется... Потухла... И летит...»

— Перебежка! — раздалась команда.

Мигом вскочили. Разом, как резиновая, подпрыгнула вся цепь. Она не выпрямилась во весь рост, а так и застыла горбатая.

— Бегом! — раздалось в тот же момент.

Все кинулись бежать, далеко вперед себя выбрасывая винтовки... Бежал и я, согнувшись в дугу, неровным, ковыляющим бегом. Неприятель затарахтел пулеметами, заторопился ружейными залпами.

— Ложись! — раздалась тотчас же новая команда.

Все ткнулись в землю... как ткнулись, так несколько мгновений и лежали недвижно. Потом медленно зашевелились, стали приподымать головы, оглядываться. Кто ткнулся впереди — пятился теперь назад, чтобы сравняться; ткнувшиеся сзади подползали тихо, с низко приклоненными к земле головами,— никто не хотел остаться в одиночку ни сзади, ни впереди.

Климов, бежавший быстрее и ткнувшийся впереди нас, пя-

тился теперь, как рак, и если бы я не посторонился — прямо в лицо угодил бы мне огромной подошвой американской штиблетины...

Лежим — молчим. Ожидаем новую команду. Уже больше не пытаемся курить, нет даже и отдельных обрывчатых слов. Климов с Сизовым рядом. Видно, вспомнилось Климову, как несколько минут назад сделалось ему легче в разговоре,— слышу, начинает заговаривать с Сизовым.

— Сизов...

— Чего тебе?

— Букарашка, видишь,— и тычет пальцем в траву.

Сизов ему ни слова: угрюм, насупился, молчит.

— Сизов,— пристает он снова.

— Да ну што? — бросает тот с неохотой.

Климов и сам ничего не ответил, вздохнул и потом, как бы собравшись с мыслями, тихо сказал:

— Любаньку-то отдали в Пронино...

Видно, вспомнил односельчанку, а может, и зазноба какая, кто его знает. И на этот раз ни слова не ответил ему Сизов. Понимая безнадежность, умолк Климов, а со мной, видно, охоты не было говорить; растянулся еще плотнее по земле и начал водить пальцем по ранней жидкой траве — то букарашку раздавит и смотрит, как она в конвульсиях кончается на его грязном широком пальце, то земли бугорок сковырнет, возьмет ее между пальцами и сыплет, все сыплет по песчинке, пока не высыплется вся...

— Перебежка!.. бегом!

Ретиво вскакиваем, бежим вперед с безумным взглядом, с перекошенными лицами, с широко раздутыми горячими ноздрями. И ждем. Бежим и ждем, бежим и ждем... желанную команду: «Ложись!»

Падали мертвыми, окостенелыми телами, замирали, подбирались, втягивались в себя, как черепахи, а потом медленно-медленно отходили, начинали двигаться, нетвердым, опасливым взором глядеть по сторонам.

Тут же Маруся Рябинина — девятнадцатилетняя девушка — тоже с винтовкой, шагает гордо, не хочет отстать. Она не знала, дорогой наш друг, что через несколько дней, у Загладина, так же как теперь, пойдет она в наступление вброд через реку, одна из первых кинется в атаку, и прямо в лоб насмерть поразит ее вражеская пуля, и упадет Маруся и поплывет теплым трупом по окровавленным холодным волнам Кинеля... Теперь она тоже улыбалась, что-то мне кричала дружеское, но не разобрал издалека...

Земляков своих я не видел уже два месяца и не успел даже того узнать, что Никита Лопарь и Бочкин — здесь же, в полку,

перебрались из уральских частей, соскучились воевать по другим полкам. Терентия так и не увидел я на этот раз. Лопарь с другого конца болотины махал коммунаркой и тряс огромными рыжими кудрями...

Все знакомые, дорогие лица! Но некогда было ждать — до овинов оставалось всего сотня сажен. Каждую секунду можно ждать, что оттуда встретят внезапным огнем. Это — любимый на фронте прием: замереть, притаиться, нацелить дула и пустить неприятеля близко-близко, а потом вдруг пулеметы, и залп за залпом, бить жестоко и непрерывно, рядами, грудами наложить перед собою человеческие тела, видеть, как дрогнул враг, попятился, помчался вспять, и бить, бить, бить его вдогонку, а пожалуй, и бросить на него спрятанную где-нибудь тут же кавалерию — добивать, рубить бегущего, растерявшегося, обезумевшего в смертельном испуге врага.

Мы готовы были ко всему. Вдруг справа два коротких залпа, за ними тотчас же быстро-быстро заработал пулемет. Вестовой поскакал узнать, в чем дело; через две минуты сообщил, что это наши на правом фланге вызывают неприятеля на ответ. Но ответа не было. Можно было предположить, что селение очищено, но, наученные горьким опытом, тихо, осторожно, ощупью двигались на овины наши цепи. Несколько человек пулеметчиков, а с ними бойцы подхватили пулемет, подбежали к одному из ближних овинов, приладили его быстро к бою — приготовились стрелять. Но тихо... На правом фланге издалека, глухо прокатилось «ура»,— это наши пошли в атаку, захватив почти без боя всю группу неприятеля, что оставлена была там на охрану села. Из-за горы, с левой стороны, прогремели один за другим три орудийных выстрела... Грохот и вой ослабевали, постепенно замирали, были слышны только удары, от разрывов доносилось лишь чуть слышное эхо,— значит, не по Пилюгину это, а сам неприятель бьет куда-то в сторону. Он бил по тем частям, которые двигались с крайнего левого фланга ему в охват; он переносил туда артиллерийский огонь, быстро отступал и против нас оставил лишь небольшие части,— так узнали потом, а теперь многое было все еще неясно, и можно было ждать всякого оборота и результата делу. Когда пулеметчики пристроились у овина, мы с командиром батальона приблизились, чтобы узнать, не увидели ли, не заметили ли чего-нибудь на гумнах; но там по-прежнему тихо, никто не показывается — ни из белых, ни из жителей, словно мертвое стало пустое село. Осторожно, оглядываясь кругом, засматривая к стогам, за овины и сараи, медленно пробираемся вперед. Ни звука, ни шороха, ни слова, ни выстрела — в такой тишине куда страшней, чем под выстрелами. Тишина на фронте — ужасная, мучительная вещь!

Сзади нас, неподалеку, шли иваново-вознесенцы,— их красные звезды уже здесь и там мелькали среди овинов и стогов сена. Это движение, торопливое, нервное, неуверенное, происходило в могильной тишине, в ежесекундном ожидании внезапного огня...

Вдали мелькнула женская фигура: знать, крестьянка... Надо скорей разузнать...

Рысью — туда...

3. ВСТУПЛЕНИЕ

Женщина-крестьянка стояла у погреба и в упор смотрела на меня остановившимся, мутным, растерянным взглядом. В этом взгляде отразился ужас только что пережитого страдания, в нем отразились недоумение и напряженный, мучительный вопрос, ожидание новой, неминуемой, неотвратимой беды, словно она ожидала удара, хотела бы отвести его, но не могла. «Скоро ли? — спрашивал этот усталый взгляд, и, верно, не в первый раз и не только на меня смотрела она, такая измученная, и спрашивала: «Скоро ли?» Возле нее, около избы, приподняв крышку, выглядывало из погреба другое, столь же измученное, серое, полумертвое лицо женщины: под глазами повисли иссиня-багровые мешки, губы высохли, выбились волосы из-под тряпья, наверченного на голову. Вопросом и мольбой был полон скорбный взор.

— Белые здесь аль ушли? — спрашиваю их.

— Ушли, убежали, родной,— ответила та, что выглядывала из погреба.— Можно ли нам отсюда вылезать-то, родной? Стрелять будете еще?

— Нет, нет, не будем, вылезайте...

И одна за другой стали показываться из погреба женщины, только они,— мужиков не было. Выползали еще малые ребятишки; этих закутали одеялами, рогожами, мешками,— знать, думали, что мучной мешочек спасет их от шрапнели... Вытащили за сухие длинные руки старика с серыми, мокрыми глазами, с широкой белой бородой. У него на поясе болталась длинная веревка,— надо быть, на ней спускали его в погреб.

Когда все выползли вереницей, один за другим, держась за плетень, оглядываясь робко по сторонам, заковыляли они к своим халупам. Большая, значительная картина, как двигались они тенями по плетню в гробовом, драматическом молчании, все еще полные испуга, замученные своим страхом, закоченевшие в сыром, холодном сарае!

На углу толпится кучка крестьян,— они тоже еще не пони-

мают, не знают, окончен ли бой, оставаться ли им здесь или попрятаться снова по избам, под сараи, по баням...

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул им.

— Здорово... Здравствуй, товарищ! — дружно ответили они.— Дождались, слава богу...

Не знаю я, верить ли этим приветственным словам. Может быть, и белых они встречали так же, чтобы не трогали — из робости, от испуга. Но посмотрел на лица — и вижу настоящую, неподдельную радость, такую подлинную радость, которую выдумать нельзя, особенно нельзя отразить ее на немудрящем крестьянском лице. И самому стало радостно.

Мы тронули на середину деревни. Там новая толпа, но видно, что уж это не крестьяне.

— Вы што, ребята, пленные, што ли?

— Так точно, пленные.

— Мобилизованы, што ли?

— Так точно, мобилизованы.

— Откуда?

— Акмолинской области.

— Сколько вас тут?

— Да вот человек тридцать, а то попрятались по сараям... Да вон из огородов бегут.

— Так вы сами, значит, остались?

— Так точно, сами.

— А оружие где?

— Сложили вон там, у забора.

Подъехал, посмотрел: куча винтовок. Сейчас же к оружию, к пленным поставили своих ребят, приказали охранять, пока не переправим в штаб дивизии.

Пленные выглядели жалко, одеты были сквернейше — кто в шубенку какую-то старую, кто в армяк, кто в дырявые пальтишки; обуты тоже скверно — иные в валенках, в лаптях, и все это изодрано до последней степени... Они нисколько не были похожи на войско — просто толпа оборванцев. Являлось недоумение: отчего бы это они так плохо одеты, когда колчаковские войска, наоборот, заграничным добром снабжаются изрядно?

— Что это,— спрашиваю,— ребята, больно плохо одел вас Колчак-то? Неужто всех так?

— Нет, это нас только.

— За што так?

— А все не шли... Убегло наших много — кто обратно к себе, а кто в Красную Армию...

— Значит, не добром к Колчаку шли?

— А на што он нам... Своих-то одел с позументами, а нас, смотрите вот...— и они показывали свои дыры и лохмотья.—

Да все вперед гнал, под самые выстрелы: такую, говорит, сволочь и жалеть нечего...

— А вот вы бежали бы давно...

— Так нельзя бежать-то, сзади нас он своих поставил — эти не воевали, а только смотрели, чтобы нам не убегнуть...

— Ну, а теперь как же удалось?

— Да вон все в огородах... Между грядами... Полегли и ждали. А потом вышли.

— Куда же теперь: служить в Красной Армии у нас станете?

— Так точно, за тем и остались, чтобы в Красной Армии, куда же нам? Того и хотим.

Разговор на этом окончили.

Вдоль по селу мы поскакали к горе, в ту сторону, куда убежал неприятель. Части наши, видно было, уже карабкались по откосу, сгрудились на мосточке, переходили по песчаному крутому скату.

— Много ли тут белых-то было? — спрашиваю по дороге.

— Тыщу было...— отвечают крестьяне.

Но верить этим «тыщам» никогда сразу не следует: иной раз «тыща» превращается в пять-шесть тысяч, а то и просто в двести человек. Только потом, сравнив десятки сведений и показания пленных, можно приблизительно точно установить цифру. Во всяком случае, судя по обозам, войска здесь было достаточно. Недолго и не так упорно, как обычно, держался в Пилюгине неприятель, верно потому, что заметил и опасался обходного движения на левом фланге...

— Давно ли белые убежали?

— Да недавно,— отвечали крестьяне.— Вот только-только перед вами. Надо быть, и по горе-то недалеко ушли...

Но усталые наши части не могли преследовать, разве только кавалерию можно было пустить для испытания, но кавалерии было мало,— надежды не было и на нее.

Те, что ушли вперед и забрались на гору, все еще не теряли надежды захватить неприятельские обозы. Но захватить удалось лишь небольшую оставшуюся часть — главный обоз давно и далеко ушел вперед.

Пилюгино расположено под горой. Гора крутая и обрывистая. Перебравшись через мост, лишь с большим трудом можно было подняться на вершину. Тут в горячке произошла драматическая случайность: передовые части, поднимавшиеся прямо по откосу, как только выскочили на вершину, заметили на другом конце ползущие цепи. Открыли огонь. Им ответили. Завязалась перестрелка: это свои не узнали своих. Двое убито, пять человек поранено. Оно бы окончилось еще тяжелей, если бы вовремя не понял обстановку командир того полка, что

выходил из-за горы, с левой стороны; он самоотверженно, рискуя жизнью, махая в воздухе платком и шапкой, бросился по полю навстречу стрелявшим, добежал и разъяснил, в чем дело. Когда мы на горе увидели человек шестьдесят кавалеристов, спешившихся возле потных, взмыленных коней, приказали им разбиться на две группы: одной налево — разузнать, нет ли каких признаков, что там идут наши обходные части, другую половину услали на правую сторону, куда ушли неприятельские обозы. Связи с обходными частями так и не установили — там оказалось что-то вроде предательства, и несколько человек пришлось арестовать, передать дело трибуналу. Но теперь мы ничего не предполагали и продолжали надеяться, что даже небольшими ударами можно добиться результатов, как только в тылу у неприятеля появятся наши полки. Но полки эти не появились, и неприятель отступил спокойно, безнаказанно, с обозами. Разведчики, что усланы были направо, как только отъехали сажен триста, были жарко обстреляны отступавшими цепями, вынуждены были спуститься в овраг и дальше двигаться кустарником.

На тачанке забрался в гору первый пулеметчик. Я его взял с собой и поехал вперед,— туда, где видны были колыхавшиеся неприятельские цепи. Они отступали по ровной поляне, шли к лесу, заметно торопились, видно ожидая преследования нашей кавалерии, не зная того, что кавалерии у нас почти нет. Сами мы, конечно, поделать ничего не могли, но все еще была какая-то смутная надежда, что вот-вот в неприятельском тылу раздадутся первые выстрелы,— тогда отсюда даже и одним пулеметом можно крепко усилить панику, деморализовать врага окончательно и отнять обоз... Все ожидания были напрасны. По пятам отступающих двигались мы версты полторы: разведка справа, а мы на горе — непрерывно обстреливали отступавших. Они отвечали и все пятились к лесу, пока не исчезли. Мы ни с чем воротились назад.

По горе залег Иваново-Вознесенский полк. Когда мы с пулеметчиком стали приближаться, заметили, как несколько человек, положив винтовки на колено, прицеливались по нам и ждали, когда подъедем ближе. Я громко закричал, что едут свои, замахал платком — предотвратил новую беду. Несколько человек поднялись нам навстречу и, когда меня узнали, покачивали головами, ахали, бранили себя за оплошность. Мы спустились с горы и въехали в село.

Здесь я встретился с Чапаевым — он объезжал части. В той атаке, что была перед овинами, он участвовал лично и оттуда же вошел в село. Повернув коня, я поехал вместе с ним обратно в гору.

...Ожило село. Все халупы позаняли красноармейцы. Бабы толпились у колодцев, бежали с водой, торопились ставить самовары, угощали пришедших товарищей. Уж теперь не дичились они, не робели, а молодежь так даже и совсем раззадорилась. Девушки деревенские осваиваются с красноармейцами так быстро, что только диву даешься.

Посмотри-ка и теперь.

На горе залегла наша цепь; где-то тут в лесу, совсем неподалеку, отступают неприятельские войска; не рассеялся еще в воздухе пороховой дым, а в раскрытые окна халупы уж манит гармошка, и на зов ее собираются охотно, идут и бойцы, идут и девушки... Тут скоро пойдет плясовая — без этого не обойтись...

Потому еще здесь встречают так радостно красные полки, что не только грабежей или насилий — не было ни единого случая даже самых мелких оскорблений и перебранки; именно *как товарищи пришли* и к товарищам, полные уважения, взаимной духовной близости.

Огромному большинству не досталось места в избушке — пришлось раскинуться бивуаком на площади у обозов.

Отыскали получше, попросторней халупу; сюда поместили бригадный штаб и оперативный отдел дивизии,— он ездит с нами неразлучно все эти последние дни. Протянули кабель, заработал аппарат, заголосили телефоны. Скоро тут появился самоварчик. За столом были командиры и политические работники. Один другому торопился рассказать, что сделал, что видел и перечувствовал в бою. Перебивали, недоговаривали, хватались то за одно, то за другое, шумели, спешили один другого перекричать, заставить себя слушать, но каждый не слушать — рассказывать хотел: так он сам был полон не остывшими еще переживаниями. Усталости как не бывало... Так за разговорами, за шумом прошло с полчаса.

Вдруг — громовой удар, за ним другой, третий... Мы переглянулись, повыскакивали в недоумении из-за стола и прямо к двери. Может быть, бомбу кто-нибудь обронил?

Но тут разом три разрыва!.. Если артиллерия?.. Но откуда же ей быть?

В это время мелькнул ружейный выстрел, за ним еще, еще, еще — поднялась беспорядочная пальба. Красноармейцы, сидевшие кучками возле фургонов, уже повскакивали и кидались в разные стороны. Площадь живо опустела. У себя над головой мы увидели неприятельский аэроплан, ровно и тихо, словно серебряная лебедь, уплывавший в голубую даль. Разрывы случились в огромнейшем соседнем саду, где не было ни одного красноармейца...

Скоро все успокоилось и приняло свой недавний вид... Уж

дрожали сумерки, а за ними легко спустилась покойная, звездная весенняя ночь. Тихо на селе. Ничто не напоминает о том, что только недавно закончился здесь бой, что всюду рыскала и вырывала жертвы беспощадная, жадная смерть. А завтра, чуть подымется солнце — мы снова в поход. И снова, как мотыльки у огня, будем кружиться между жизнью и смертью...

«Ну, а сегодня как? — задаешь себе каждый день поутру тяжелый, мучительный вопрос.— Кто останется жив? Кто уйдет? С кем выступать будем в завтрашнюю зорю, с кем никогда-никогда не увижусь... после сегодняшнего боя? А впереди еще бесконечные походы, ежедневные ожесточенные бои... Весна... Начало... Колчак дрогнул лишь в первых рядах, а сокрушать надо всю огромную стотысячную массу. Как это дорого обойдется! Как много будет к осени жертв, как многих недосчитаемся вот из этих, из товарищей, что идут теперь со мною!»

После этого столь подробно описанного боя открыт был путь к Бугуруслану. Как и большинство городов — не только в этих боях, но и вообще за всю гражданскую войну,— Бугуруслан был взят обходным движением. На улицах больших городов бои случались редко. Главный бой, последний и решающий, обычно разгорался непосредственно на городских подступах, и когда он, бой этот, был неудачен для обороняющегося, неудачник обычно уходил, оставляя самый город без боя в руки победителю. Так было и с Бугурусланом.

XI. ДО БЕЛЕБЕЯ

Чапаевская дивизия шла быстро вперед, так быстро, что другие части, отставая по важным и неважным причинам, своею медлительностью разрушали общий единый план комбинированного наступления. Выйдя далеко вперед и ударяя в лоб, она больше гнала, чем уничтожала неприятеля или захватывала в плен. Испытанные в походах бойцы изумляли своей выносливостью, своей нетребовательностью, готовностью в любой час, любой обстановке и любом состоянии принять удар. Были случаи, когда после многоверстного похода они валились с ног от усталости — и вдруг завязывался бой. Усталости как не бывало: выдерживают натиск, сами развивают наступление, идут в атаку, преследуют... Но бывало и так, что ежедневные бои и переходы замаривали до окончательного изнеможения. Тогда

на первом же привале бросались пластом и спали, как мертвые, часто без должной охраны, разом засыпали все — и командиры, и бойцы, и караулы...

По горам, по узким тропкам, бродом переходя встречные реки,— мосты неприятель взрывал, отступая,— и в дождь, и в грязь, по утренней росе и в вечерних туманах, день сытые, два голодные, раздетые и обутые скверно, с натертыми ногами, с болезнями, часто раненые, не оставляя строя, шли победоносно они от селения к селению — неудержимые, непобедимые, терпеливые ко всему, гордые и твердые в сопротивлении, отважно смелые и страшные в натиске, настойчивые в преследовании. Сражались героями, умирали как красные рыцари, попадали в плен и мучениками гибли под пыткой и истязаниями! С такой надежной силой нельзя было не побеждать — надо было только уметь ею управлять. Чапаев этим даром управления обладал в высокой степени,— именно управления *такою* массой, в *такой* момент, в *таком* ее состоянии, как тогда. Масса была героическая, но сырая; момент был драматический, и в пылу битв многое сходило с рук, прощалось, оправдывалось исключительностью обстановки. Та масса была как наэкзальтированная, ее состояние не передать в словах: то состояние, думается, неповторяемо, ибо явилось оно в результате целого ряда событий — всяких событий, больших и малых, бывших ранее и сопутствовавших гражданской войне. Волга вспять не потечет, причины эти назад не возвратятся, и состояние, *то* состояние родиться не может вновь. Будут *новые* моменты — и прекрасные и глубокие содержанием, но это будут *уже другие*.

И Чапаевы были только в те дни — в другие дни Чапаевых не бывает и не может быть: его родила *та* масса, в *тот* момент и в *том* своем состоянии. Потому он и мог так хорошо управлять «своею» дивизией. Как он глубоко прав был, и сам того не понимал, когда называл славную 25-ю *своею*, Чапаевской дивизией!

В нем собрались и отразились, как в зеркале, основные свойства полупартизанских войск той поры — с беспредельной удалью, решительностью и выносливостью, с небрежной жестокостью и суровыми нравами. Бойцы считали его олицетворением героизма, хотя, как видите, ничего пока исключительно героического в действиях его не было: то, что делал лично он, делали и многие, но что делали эти многие — *не знал никто*, а что делал Чапаев — *знали все*, знали детально, с прикрасами, с легендарными подробностями, со сказочным вымыслом. Он, Чапаев, в 1918 году был отличным бойцом; в 1919-м он уже не славен был как боец, он был *героем-организатором*. Но и организатором лишь в определенном, в условном смысле: он терпеть не мог «штабов», отчисляя к штабам этим все учреждения, которые

воевали не штыком,— будь то отдел снабжения, комендатура ли, связь — что угодно. В его глазах воевал и побеждал только воин с винтовкой в руках. Штабы не любил он еще и потому, что мало в них понимал и *организовать* их по-настоящему никогда не умел; появляясь в штабе, он больше *распекал*, чем указывал, помогал и разъяснял.

Организатором он был лишь в том смысле, что самим собою — любимой и высокоавторитетной личностью он связывал, сливал воедино *свою* дивизию, вдохновлял ее героическим духом и страстным рвением вперед, вдохновлял ее на победы, развивал и укреплял среди бойцов героические традиции, и эти традиции — например, «не отступать!» — были священными для бойцов. Какие-нибудь разинцы, пугачевцы, домашкинцы, храня эти боевые традиции, выносили невероятные трудности, принимали, выдерживали и в победу превращали невозможные бои, но назад не шли: отступать полку Стеньки Разина — это значило опозорить невозвратно свое боевое, геройское имя!

Как это красиво, но как и неверно, вредно, опасно!

Боевая страда — чапаевская стихия. Чуть затишье — и он томится, нервничает, скучает, полон тяжелых мыслей. А из конца в конец по фронту метаться — это его любимое дело... Бывало так, что и нужды острой нет,— тогда сам себе выискивал повод и мчался на пятьдесят, семьдесят, сто верст... Приедет в одну бригаду, а в соседней узнают, что он тут,— звонят: «Немедленно приезжай, имеется неотложное дело...» И скачет Чапаев туда. «Неотложного» дела, конечно, нет никакого,— друзьям-командирам просто охота посидеть, потолковать со своим вождем. Это именно они, чапаевские спутники, выносили и широко разнесли чапаевские подвиги и чапаевскую славу. Без них он — да и всякий другой в этом же роде — никогда не будет так славен. Для громкой славы всегда бывает мало громких и славных дел — всегда необходимы глашатаи, слепо преданные люди, которые верили бы в твое величие, были бы им ослеплены, вдохновлены и в самом славословии тебе находили бы свою собственную радость...

Мы всегда склонны дать «герою» больше того, что он имеет в действительности, и, наоборот, недодаем кой-что заслуженному и порой исключительному «рядовому».

Они, чапаевцы, считали себя счастливыми уже потому, что были соучастниками героя Чапаева (не испугаемся слова «героизм» — оно имеет все права на существование, только надо знать, что это за права): озарявшие его лучи славы отблесками падали и на них. В полку Стеньки Разина были два героя, в боях потерявшие ноги; они ползали на култышках, один кое-как пробирался на костылях,— и ни один не хотел оставить свой

многославный полк, каждый за счастье почитал, когда приезжавший Чапаев скажет с ним хоть бы несколько слов. Они не были пустой обузой полку — оба в боях работали на пулеметах.

Пройдут наши героические дни, и не поверят этому, сочтут за сказку, а действительно ведь было так, что два совершенно безногих бойца-красноармейца работали в боях на пулеметах! Был слепой — совсем, накругло, ничего решительно не видевший боец. Он написал один раз через своих друзей письмо в дивизионную газету,— это письмо хранится у нас до сих пор. Приводим его здесь, хотя и не полностью:

ПИСЬМО СЛЕПОГО КРАСНОАРМЕЙЦА[1]

«Товарищ редактор.

Прошу поместить в газете известия роковое событие, мое приключение — бегство от Уральского казачества к товарищам большевикам. Сообщаю в кратких объяснениях, что мы жили между казачеством и Красной Армией на Уральской железнодорожной станции. Старшие два брата мои служили на поездах во время войны казачества с Красной Армией. Когда было первое наступление на Уральск товарища Ермощенко 20 апреля (по новому стилю 3 мая), на станцию Семиглавый Мар,— 23 апреля, т. е. 6 мая, от войскового правительства был издан приказ мобилизации крестьян как проживающих в городе Уральской области. Братья мои отказались идти против Красной Армии с оружием в руках; подлежащие мобилизации от казачества, братья мои решительно заявили, что мы не пойдем против своих товарищей большевиков, за что были расстреляны казаками 23 июня в 12 ч. ночи. Я остался один, сирота, совершенно без всякого приюта. Родители мои померли пять лет тому назад, больше нет у меня никаких сродственников нигде. Вдобавок того совершенно слепой, лишенный зрения, после расстрела моих братьев пошел я к войсковому правительству просить приюта; войсковое правительство мне объявило, что братья твои не пошли воевать против Красной Армии — так и ты иди к своим товарищам большевикам, пускай они дадут тебе приют. Тогда я им сказал в ответ: наверно, вы не напьетесь невинной крови, кровожадные звери — за что и был заключен я в тюрьму и ожидал расстрела; просидел 15 дней в тюремном заключении, и меня освободили. Пробывши я несколько дней под стенами города без куска хлеба и решился идти под покров к своим

[1] Отдельные выражения и грамматические промахи оставляем в неприкосновенности, только кое-где расставили для удобочитаемости знаки препинания.

товарищам большевикам. И несмотря на то, что совершенно слепой, решился добраться я до своих товарищей или заблудиться и погибнуть где-нибудь в степи, нежели жить в казачьих руках. Один товарищ проводил меня тайно от Уральска на дорогу, сказал мне: иди по направлению так, чтобы солнце светило тебе в затылок, таким способом ты можешь выйти в Россию. Простились мы с товарищем, и я пошел в путь. Проходя несколько верст, я сбился с указанного мне направления, пошел сам не знаю куда. В это время мне пришла на мысль смерть моих братьев, бедствие, скорбь и горе-испытание, тяжелые муки... Шел шесть дней степью, голодный и холодный, на шестой день моего путешествия стал изнемогать силой, уста мои залитые кровью, потому что нет хлеба, капли воды, нечем утолить страшный голод. Обливая путь свою горькими, горькими слезами, нет надежды на спасение жизни. Тогда я воскликнул громко: «Любезные мои братья. Вы лежите в земле покойно, а меня оставили на горе. Возьмите меня к себе, прекратите мое страдание, я умираю от голода среди степи, кто придет здесь ко мне на помощь горьких слез, нигде нет никово...» Вдруг слышу впереди собачий лай и детские голоса, и я на слух пришел, спросил детей, какой это хутор — казачий или мужичий. Мне сказали, что это хутор мужичий, Красны Талы, находится в семи верстах от казачьей грани. Один мужик взял меня к себе в дом, напоил, накормил, утолил мой голод, утром проводил меня в село Малаховку, и тут я уже с трудом добрался до Петровской волости...»

Дальше он рассказывает, как хорошо его приняли в Советской России, как приласкали, окружили заботами.

«Председатель Совета Иван Иваныч Девицын горячо приветствовал меня, был в великой радости и восторге. Теперь у своих товарищей большевиков забыл я страдания и считаю себя в безопасности... Поместили меня в доме, в просторную комнату, дали мне мягкую постель, сняли с меня оборванное, грязное белье, обули, одели меня в новый, чистый костюм экономический и продовольственный отделы... Живу я настоящим «буржуем», выражаю великую благодарность, глубокое чувство...»

Идет перечисление лиц, которым выражается благодарность, а заканчивается письмо таким образом:

«Да здравствует Всероссийская Советская Республика, товарищ Ленин, да здравствует непобедимый герой товарищ Чапаев, да здравствует волостной Совет, экономический и продовольственный отдел!»

...Не письмо, а целая поэма. И такой мученик за Советскую власть, слепой красноармеец, чтивший подвиги Чапаева как святыню, был лучшим повествователем, бандуристом-чапаевцем, рассказывающим были и небылицы, еще больше веривший своим небылицам, ибо создавал их сам, разукрашивал сам. А кто же так силен, чтобы не поверить своему собственному вымыслу?..

Слава Чапаева гремела далеко за пределами Красной Армии. У нас сохранилось другое письмо, какого-то советского работника из Новоузенска,— прочтите и увидите, как беспредельно велика была вера во всемогущество Чапаева: его считали не только вождем-бойцом, но и полноправным хозяином в тех местах, где проходили и воевали полки Чапаевской дивизии. Отпечатано письмо на вощеной бумаге, запаковано было тщательно, прислано Чапаеву с нарочным-посыльным. Какой-то советский работник, Тимофей Пантелеевич Спичкин, жалуется ему на несправедливости новоузенские, просит помощи, только у Чапаева надеется обрести быстрое и справедливое решение вопросу. Он пишет:

«Срочная
дивизионному командиру
Василию Ивановичу товарищу Чапаеву
Председателя
Новоузенского совета народных судей
Тимофея Пантелеевича Спичкина

ВОПИЮЩАЯ ЖАЛОБА

Прошу Вас, товарищ Чапаев, обратить на эту жалобу свое особое, *геройское* внимание. Меня знают второй год Уральского фронта за честного советского работника, но злые люди, новоузенские воры — преступники, стараются меня очернить и сделать сумасшедшим, чтобы моим заявлениям на воров не придавать значения. Дело обстоит так: 16 воров украли... (идет перечень фамилий с указанием, кто сколько украл). Когда я, Спичкин, заявил об этом расхищении в Самару, то оставшиеся неарестованными 14 воров (двое арестованы) заявили, что Спичкин сумасшедший, и потребовали врачей освидетельствовать Спичкина. Врачи признали меня умственно здоровым. Тогда 14 новоузенских воров-грабителей сказали: «мы вам не верим», и отправляют меня в Самару, в губисполком, для освидетельствования через врачей-психиатров. Но, принимая во внимание, что теперь вся правда и справедливость на фронте у красноармейцев и героев, подобных как Вы, товарищ Чапаев, я, Спичкин, Вас срочно прошу сделать нужное распоряжение: помочь в Новоузенске арестовать всех перечисленных 14 воров,

направить их в Самару для предания суду Ревтрибунала, и за это Вам население скажет большое спасибо, так как во мнении народном имя Ваше славно, как самоотверженного героя и стойкого защитника республики и свобод. Я на Вас вполне надеюсь, товарищ Чапаев. Защитите и меня от 16-ти новоузенских воров-грабителей.

25 апреля 1919 года.

Тимофей Спичкин».

В «приложении» к этому делу Спичкин указывает Чапаеву, где и как «раскопать» весь материал, заключая следующими словами:

«Я прошу немедленно арестовать без всякого стеснения всех оставшихся... воров и повторяю... Ваше славное имя будет еще славнее за такую защиту населения от мародеров-воров и избавление населения от этих грязных пауков-микробов...»

Не менее блестящим является спичкинское «заявление», явившееся, по всей видимости, результатом гонений на него четырнадцати «пауков-микробов».

«Вы, товарищ Чапаев, признанный герой всенародно, и славное Ваше имя гремит повсюду — Вас поминают даже дети. Я, Спичкин, также признанный герой, но не в военном искусстве, а в искусстве гражданском. У меня также есть великие порывы к славе и доблестям. Прошу Вас этому верить! Вы убедитесь во мне на деле. Я, Спичкин, есть воплощенная огненная энергия и воплощенный труд. Считал бы за счастье видеть Вас лично, а Вам познакомиться со мною, Спичкиным. Будучи от природы человеком кристальной честности, любя народ, за который отдавал душу (что могу передать Вам лично, о своих больших подвигах), я желал бы немедленно стать Вашею правою рукою и свою огненную энергию отдать для Вашего военного дела по отражению всеми ненавидимого бандита — Колчака. Прошу Вас немедленно принять меня в ряды Красной Армии добровольцем, в славный Ваш полк имени Стеньки Разина.

Председатель
Новоузенского совета народных судей
Тимофей Спичкин».

И «вопиющая жалоба» и «заявление» Спичкина полны противоречий, неточностей и действительно производят впечатление горячечного бреда, но все, что выражено здесь сгущенно,—

в другой форме, другими словами на каждом шагу повторялось в чапаевской практике. И характерно то, что он, Чапаев, никогда не отказывался от вмешательства в подобные дела; наоборот, любил разобрать все сам, докопаться до дна, вывести разных негодяев и шалопаев на чистую воду. Эти письма пришли в разгар наступления, и потому хода им он не мог дать ни малейшего но тревожился, помнил долго, все время имел охоту побывать там, на месте, и разобрать. Ограничился только грозным письмом, где метал «на виновных» громы и молнии. Увы, эти «четырнадцать пауков-микробов» без всякого разбирательства, заочно, уже были для Чапаева совершенно бесспорными *подлецами*. Верил он всему с чрезвычайной легкостью, впрочем, с такой же легкостью во всем и разуверялся — во всем, но только не в делах и вопросах военных: здесь как раз наоборот — ничему не верил, а работал исключительно «своим умом».

Когда подумаешь, обладал ли он, Чапаев, какими-либо особенными, «сверхчеловеческими» качествами, которые дали ему неувядаемую славу «героя»,— видишь, что качества у него были самые обыкновенные, самые «человеческие»; многих ценных качеств даже и вовсе не было, а те, что были, отличались только удивительной какой-то свежестью, четкостью и остротой. Он качествами своими умел владеть отлично: порожденный сырой полупартизанской крестьянскою массой, он ее наэлектризовывал до отказа, насыщал ее тем содержимым, которого хотела и требовала она сама,— и в центре ставил себя!

Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружавшие его люди. Этим нисколько не умаляется колоссальная роль, которую сыграл и сам Чапаев как личность в гражданской войне, однако ж следует знать и помнить, что вокруг имени каждого из героев всегда больше легендарного, чем исторически реального. Но спросят: почему именно о *нем*, о Чапаеве, создавались эти легенды, почему именно его имя пользовалось такой популярностью?

Да потому, что он *полнее многих* в себе воплотил сырую и геройскую массу «своих» бойцов. В тон им пришелся своими поступками. Обладал качествами этой массы, особенно ею ценимыми и чтимыми,— личным мужеством, удалью, отвагой и решимостью. Часто этих качеств было у него не больше, а даже меньше, чем у других, но так уж умел обставить он свои поступки, и так ему помогали это делать свои близкие люди, что в результате от поступков его неизменно получался аромат богатырства и чудесности. Многие были и храбрей его, и умней, и талантливей в деле руководства отрядами, сознательней политически, но имена этих «многих» забыты, а Чапаев живет

и будет долго-долго жить в народной молве, ибо он — коренной сын этой среды и к тому же удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по другим индивидуальностям его соратников, по другим характерам.

Нет нужды описывать операцию за операцией, нет нужды распространяться об оперативных приказах, их достоинствах и ошибках, об успехах наших и о поражениях: этого будут касаться те, что дадут специально военные очерки. Мы же в очерке своем нисколько не претендуем на полноту изложения событий, на их точную последовательность, строгость дат, мест, имен... Мы исключительно даем зарисовки быта, родившегося той порой и для той поры характерного. Вот хотя бы и теперь, в пути до Белебея, не станем следить, как развертывались чисто военные операции, а приведем всего две-три бытовых картинки, которые тогда имели место.

За Бугурусланом, от селения Дмитриевского на Татарский Кондыз, шла еланьевская бригада. Здесь были ожесточенные бои. Отдавши Бугуруслан, неприятель все еще не хотел поверить, что вместе с этим городом он потерял и свою инициативу, что конец пришел его победоносному шествию, что теперь его будут гнать, а он будет обороняться, отступать... Напрягся он силами, встретил крепкими ударами натиск красных полков. Но уже поздно,— могучий дух уверенности в победе отлетел от белых армий, примчался к красноармейцам, дал им бодрость, заразил их той неутомимостью и отвагой, которые живы только при уверенности в победе.

Момент перехода инициативы с одной стороны на другую всегда очень знаменателен и ярок — не заметит его только слепой. Одна сторона вдруг потускнеет, опустится и обмякнет, в то время как другая словно нальется живительной таинственной влагой, подымется на дыбы, ощетинится, засверкает, станет грозна и прекрасна в своем неожиданном величии. Приходит такой момент, когда в тускнеющей армии что-то настолько расслабнет, настолько выхворается, станет бескровным и вялым, что ему остается один конец — умереть. Внутренний долгий, изнурительный процесс выходит наружу и заканчивается смертью. Такого обреченного на неминуемую смерть, но все еще живого покойника представляла собою в бугурусланские дни еще так недавно могучая, непобедимая армия белого адмирала. История уже тогда приложила суровой рукой позорную печать бесславной смерти на ее низкий преступный лоб.

А Красная Армия, такая упругая и свежая, так заметно обновленная ключевыми струями фабрик и заводов, профессиональных союзов, партийных ячеек,— она была в те дни подобна проснувшемуся светлому богатырю, который все возьмет, всех победит, перед которым сгинет черная сила.

Этим настроением полна была и Чапаевская дивизия, с этим настроением еланьевская бригада била неприятеля под Русским и Татарским Кондызами.

В штаб бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях Еланя и тут же, в избушке, набросал благодарственный приказ. Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Елань, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами.

— Ну, коли так,— сказал ему Чапаев,— клятву зря не давай. Видишь эти горы? — И он из окна показал Еланю куда-то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений.— Бери их, и вот тебе честное мое слово: подарю свою серебряную шашку!

— Идет! — засмеялся радостный Елань.

А дня через три после этих торжественных обещаний они едва не постреляли́сь. Федор Клычков, жестоко простуженный, лежал тогда в постели и вместо себя с Чапаевым отпускал в странствия по фронту помощника своего Крайнюкова. И вот на третьей же поездке приключилась эта самая «история», но больному Клычкову про нее ничего не рассказывали — к нему долетали лишь одни глухие слухи. Чапаев тоже молчал и сумрачно отнекивался, когда разговор подходил к этой теме. Зато Елань рассказал все охотно и подробно, лишь только по выздоровлении Федор приехал к нему в штаб.

— Одна ошибка, товарищ Клычков, одна сущая ошибка,— рассказывал он Федору.— Оба мы немного недосмотрели за собой... глупость... словом, пустяки, и рассказывать бы не стоило, да ладно, сам люблю эти глупости вспоминать... Он ведь какой — огонь! Чего с него взять? Запалит, да того гляди и сам сгорит... Досматривать надо, а тебя не было в то время... Этот миляга, заместитель, смеется, а в спор с ним не вступает, ну, и не каждого он слушает, Чапаев... Всему так быть, значит, и надо было, чтобы мы покуражились, только беды в этом ровно нет никакой... Как сейчас помню — устал я, аж ноги зудят!.. Сил нет никаких... Дай, думаю, засну, авось отойдет... Как ляпнулся — так и был, да нет! Васька, мальчишка,— ну, вестовой у меня, помнишь, жуликоватый такой,— избушку у татарина раздобыл: мала, грязна, да и нет ничего, одна лавка по стене. Ткнулся я на лавку — сплю непробудным. А перед сном я Ваське наказал: «Ты, говорю, шельмец,— чтобы курица наутро

была готова. Понял?» «Понял», говорит. И черт те што мне тогда и снилось. Будто самого Колчака вместо курицы вилкой ковыряю. Я его ковырну, а он наклонится... я его ковырну, а он припадет, да еще, собака, обернет голову и смеется... Такое меня зло взяло — как его тресну вилкой по башке, ан шашка пополам, словно, выходит, и ударил я шашкой, а не вилкой. Схватил осколок, тычу-тычу ему в голову, а вместо головы получается телеграфный столб, и одна за другой, как галчата, на Юзе буковки скачут. Я понимаю, что это мне приказ дает Чапаев, а с приказом я не согласен был. «Разбей, говорит, а преследовать будет другая бригада!» Поди-ка, думаю, сам знаешь куда: должен я буду за кровь-то отомстить или нет? Кто мне сто человек заплотит, которых я на горе положил? «Кургин,— кричу,— приказ пиши...» У Кургина всегда бумага в руке, а карандаш за ухом. Несется почем зря. Я и оглянуться не успел, как он заголовок отчекрыжил. «Скажи, говорю, приказом: как только собьют неприятеля — бить его надо и гнать пятнадцать верст! Понял?» Тоже, говорит, понял. Они с Васькой все понимали у меня по голосу, да уж и стоили один другого. Знаю, что баня от Чапаева будет, а как ты делать станешь, когда он такую дыру проделал? Я вызвал его к проводу, объяснить все хотел, разговорить, а этот негодяй Плешков — он ведь начальником штаба в дивизии-то был — даже и не подозвал Чапаева: приказ, говорит, отдан, и разговоров быть ни о чем не может... Што ж, тебе, думаю: не может так не может, а у меня своя голова на плечах. Приказ Курга смастерил, я его подписал — заиграла музыка... Только знаю, что добром не пройдет,— не любит Чапаев, когда у него приказы переделываются. Спал я, спал, смотрел разные сны, да как вдруг вскочу на лавке... Видишь ли, почти и солнце не взошло, сумерки... А Чапаев уж тут как тут — не вытерпел, всю ночь скакал.

«Ты што, говорит, сволочь?»

«Я не сволочь, товарищ Чапаев, говорю, вы это осторожнее...»

Он за револьвер. «Застрелю!» — верезжит. Да только к кобуре, а я свой уже вынул и докладываю: у меня пуля дослана — давай пульнемся...

«Вон из комбригов! — кричит.— Я тебя сейчас же с должности сменю... Пиши рапорт — Михайлов будет замещать! Михайлова вместо себя, а сам вон, вон! Это што за командир?! Я говорю — *стой*, а они бежать пятнадцать верст? Это што, што это такое, а? Это командир бригады, а?»

Уж вот крестил, вот крестил, сукин сын, а револьвер, одначе, так и не вынул, да и я свой убрал... Говорить тут нечего: «Курга,— кричу,— приказ пиши...» Да и написал все как следует...

«Четырех гонцов немедленно!..»

Подскакали.

«Вот пакеты Михайлову, неситесь, да живо у меня!»

Только и видели, улетели... Сидим — молчим... Буря прошла, слова-то все были сказаны. Я на лавке сижу, а Чапаю сесть негде — стоит у стенки... Глаза синие, злые сделались, так и подсвечивают. Ничего, мол, отойдешь, соколик, притихнешь... А на этот момент, видишь ли, Васька голову в дверь высунул и пищит:

«Так что курица совсем готова...»

Ругаться — ругаться, а позвать надо.

«Товарищ Чапаев, пожалуйте, говорю, курицу кушать в сад».

Там садишко был такой небольшой.

«Хорошо», говорит.

Хоть, слышу, голос и неприветливый, а уж злобы и нет. Засмеялся бы, может, да стыдно...

Вышли в садишко, сели, молчим.

«Елань, говорит, останови гонцов!»

«Нельзя их, товарищ Чапаев, остановить,— отвечаю.— Где же их остановишь, когда улетели?»

«А отрядить лучших!» — кричит, и опять обагровел.

«Нет лучших — они самые лучшие...»

«А ты еще лучше самых лучших пошли! Не понимаешь, што ли, о чем я говорю?»

Как же не понимать — все понимаю. Да про себя молчу: дай, мол, щипну его, потому што отчего «сволочью» бранит?

«Зачем, говорю, сволочью ругаешься? Я свое самолюбие имею. Виноват, так и суди, в трибунал отдай, расстреляют пусть, а ругать сволочью не смей...»

«Я по горячке, говорит, а ты не все тово...»

Ну, еще поседлали — теперь шестерых. Как рванули — птицами! Через час все воротились — тех выстрелами остановили...

Тут же все приказы эти драть, рвать — бросили...

«Не тронь, говорит, своего приказа, пускай гонют, приказы отменять не надо... А я сам переменю што надо...»

Тому и конец — больше нет ничего. Как съели курицу — ни одного слова худого друг дружке не сказали... У нас, товарищ Клычков, и все так,— закончил Елань.— Шумим-шумим, а потом чай усядемся пить да беседы разводить...

— Ну, и все? — спросил, усмехнувшись, Федор.

— А то чего,— осклабился Елань.— Только на обратном пути, когда я дело все сделал,— и горы отнял, и в плен нагнал вот тех, что в дивизию на днях переправил,— едет опять.

«Здорово, говорит, Елань!» — А сам веселый, смеется.

«Здравствуй, говорю, Чапаев. Как твое здоровье?»

Ничего он не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза.

«На вот, бери, говорит, завоевал ты ее у меня!»

Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его, голого, даже жалко стало,— черную достал свою: на, мол, и меня помни!

Ведь когда уж наобещает — слово сдержит, ты сам его знаешь...

На этом разговор прекратился,— Еланя позвали на телефон, чего-то просили из полка. Да Федор и сам не возобновлял разговора,— видимо, все было сказано, что случилось тогда. Ничего серьезного. Ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная: как только она отвернулась — уж так и знай, переломают ноги себе и другим.

С боем вошел в Трифоновку и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспрашивать хозяина — тот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность, сами же красноармейцы взялись и просить «в случае чего» своего командира и комиссара, только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальних рассуждений повел их под навес и там на куче навоза, чуть разбросав с макушки, указал на что-то окровавленное, бесформенное, грязно-багровое: «Вот!» Бойцы переглянулись недоуменно, подошли ближе и в этой бесформенной, залитой кровью массе узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два теплых трупа: красноармейцы.

Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука,— державшие вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз... и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь... Задергалось веко, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный, оловянный блеск говорил, что мысли уже не было... Весть о страшной находке облетела весь полк. Бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чем дело, все терялись в догадках и предположениях. Крестьянину учинили допрос. Он не упирался, рассказал все, как было.

Два красноармейца, кашевары Интернационального полка, по ошибке попали сюда несколько часов назад, приняв Трифо-

новку, занятую белыми, за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыскакивали сидевшие там казаки, с криками набросились на опешивших кашеваров, стащили на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали: куда и откуда они, справлялись, где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли, но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять.

— Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков.

— Ничего,— ответили пленные.

— А это што у вас вот тут, на шапке-то, звезда? Советская власть сидит? Сукины дети! На-ка, нацепили...

Красноармейцы стояли молча, видимо чуяли недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали — не глумились, а теперь насчет «звезды» и брань поднялась и угрозы, одного ткнули в бок.

— Кашу делал?

— Делал,— тихо ответил кашевар.

— Большевиков кормил, сволочь?

— Всех кормил,— еще тише ответил тот.

— Всех?! — вскочил казак.— Знаем мы, как всех вы кормили, подлецы! Все разорили, везде напакостили...

Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь... Только этого и ждали, как сигнала: удар по лицу развязал всем руки, вид крови привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с мест казаки начали колотить красноармейцев чем попало, сбили с ног, топтали, пинали...

Наконец один из подлецов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали веревками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тела... Вырежут — и посыплют солью, вырежут — и посыплют. От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут: резали и солили... Потом кто-то ткнул в грудь штыком, за ним другой... Но их остановили: можешь заколоть насмерть, мало помучится!.. Одного все-таки прикололи. Другой чуть дышал — это он вот теперь и умирал перед полком... Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кашеваров оттащили и спрятали в навоз...

И вся история...

Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести.

В эти минуты приехали Федор с Чапаевым. Они, лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести...

Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпа, разошлись... В утреннем бою ни одного из пленных не довели до штаба полка... Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести: за кровь там платят только кровью!..

Даже и на себе Федор испытал отдаленное, но несомненное влияние этой истории: он на следующий день подписал смертный приговор белому офицеру.

Про случай этот, пожалуй, стоит рассказать.

Вышло все таким образом.

Приехали в Русский Кондыз к Еланю. Он в утренней атаке захватил сегодня человек восемьсот пленных. Охраны у них почти никакой.

— Будьте спокойны, не убегут, палкой их не угонишь теперь к Колчаку-то! Рады-радешеньки, что в плен попали!

— Что, Елань, опять? — спросил его Федор, мотнув головой в сторону пленных.

— Так точно,— ухмыльнулся тот.— Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они — вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не тронь ради Христа,— ну, и загнали.

— А офицеры?

— И офицеры были... Да не пожелали в плен-то идти, говорят — невесело у нас...

Елань многозначительно глянул на Федора, и тот больше не стал расспрашивать...

— А может быть, и еще остались?

— Может быть, да молчат што-то.

— А солдаты разве не выдают?

— Видите ли,— пояснил Елань,— солдаты тут у них перепутались из разных частей, не знают друг дружку, пополнения какие-то подоспели...

— А ну-ка,— обратился Федор,— давай попытаем вместе... Только прежде я хочу с пленными поговорить — так, о разном, обо всем понемногу.

Когда Федор начал говорить, многие слушали не только со вниманием и интересом — мало того: они слушали просто

с недоверием, с изумлением, которое написано было в выражении лиц, в растерянно остановившихся взорах. Было ясно, что многое слышат они лишь впервые, совсем того и не знали, не предполагали, не допускали того, о чем теперь рассказывал им Клычков.

— Вот я вам теперь все пояснил,— заканчивал Федор.— Без преувеличений, без обмана, чистоганом выложил всю нашу правду, а дальше разбирайтесь сами как знаете... что вам дорого и близко: то ли, что видели и чего не видели вы у Колчака, или вот то, про что я вам теперь говорил. Но знайте, что нам необходимы лишь смелые, настоящие и сознательные защитники Советской власти, только такие, на которых можно было бы всегда положиться... Подумайте! И если кто надумает бороться вместе с нами — заяви: мы никогда не отталкиваем таких, как вы, обманом попавших к Колчаку!..

Он окончил. Посыпались вопросы — и политические, и военные, и по части вступления в Красную Армию... Кстати сказать, из них бойцами вступило больше половины, и потом Еланю никогда не приходилось каяться, что влил их в свои славные полки.

Выстроили в две шеренги. Клычков обходил, осматривал, как одеты и обуты, задавал отдельные вопросы. Некоторые лица останавливали на себе внимание,— видно было, что это не рабочие, не простые деревенские ребята; их отводили в сторону и потом в штабе дополнительно и подробно устанавливали личность. Один особенно наводил на сомнения. Смотрит нагло, вызывающе, стоит и злорадно ухмыляется всей процедуре осмотра и опроса, как будто хочет сказать:

«Эх вы, серые черти, не вам нас опрашивать!»

Одет-то он был наполовину как простой солдат, но и тут являлось подозрение: штаны и сапоги отличные, а рубаха дрянная, дырявая и по всей видимости — с чужого плеча; на его выхоленное, дородное тело напяливалась она лишь с трудом, а ворот так и совсем не сходился на здоровеннейшей пунцовой шее, напоминавшей свиную ляжку. На голове обыкновенная солдатская фуражка — опять видно, что чужая: не пристала к лицу, да совсем ее и носить-то не может. Не чувствуется в нем простой солдат.

Федор сначала прошел мимо, не сказав ни слова, а на обратном пути остановился против и в упор, неожиданно спросил:

— Ведь вы — офицер, да?

— Я не... нет, я рядовой,— заторопился и смутился тот.— А почему вы думаете?

— Да так, я знаю вас,— схитрил Клычков.

— Меня знаете, откуда? — уставился тот.

— Знаю,— пустил себе под нос Федор.— Но вот что: нам здесь воспоминаниями не заниматься. Я вас еще раз спрашиваю: офицер вы или нет?

— Еще раз отвечаю,— выпрямился тот и занес высоко голову: — Я не офицер...

— Ну, хорошо, на себя пеняйте...

Федор вывел его вперед, вместе с ним вывел еще несколько человек и со всею группою пошел перед рядами, но прежде обратился к колчаковским солдатам с коротким и горячим словом, рассказав, какую роль играет белое офицерство в борьбе трудящихся против своих врагов и как это белое офицерство надо изничтожать, раз оно открыто идет против Советской власти.

Пошел по рядам, показывал группу, спрашивал — не узнает ли кто в этих лицах офицеров? Откормленного господина признало разом несколько человек, когда с него сняли фуражку.

— Как же, знаем, офицер непременно...

И они назвали часть, которой он командовал.

— Только его и видели два дня, а как же не узнать... Он воротник давеча поднял, а картуз, значит, опустил,— и не усмотришь. А теперь как же его не узнаешь. Он и есть...

Солдаты «опознавали» с видимым удовольствием. Всего в тот раз опознали несколько человек, но из офицеров был только этот один, а то все чиновники, служащие разные, администрация...

— Ну, что же? — обернулся теперь к нему Федор.

Тот смотрел в землю и упорно молчал.

— Правду солдаты-то говорят? — еще раз спросил Федор.

— Да, правду. Ну, так что же? — И он, видимо поняв серьезность положения, решил держаться с той же высокомерной наглостью, как и при первом допросе, когда обманывал.

— Так я же вас спрашивал... и предупреждал...

— А я не хотел,— отрезал офицер.

Федор решил было сейчас же отправить его вместе с группой чиновников в штаб, но вспомнил, что еще не делали обыска.

— А ну-ка, распорядитесь обыскать,— обратился он к стоявшему тут же молчавшему Еланю.

— Да чего же распоряжаться,— сорвался тот,— я сам...

И он принялся шарить по карманам. Вытащил разную мелочь.

— Больше ничего нет?

— Ничего.

— А может, еще что? — спросил Елань.

— Сказал — значит, нет,— грубо оторвал офицер.

Этот его заносчивый, презрительный и вызывающий тон всех взволновал невероятно. Елань вытащил какое-то письмо, развернул, передал Федору, и тот узнал из него, что офицер —

бывший семинарист, сын попа и больше года борется против Советской власти. Письмо, видимо, от невесты. Пишет она из ближнего города, откуда только что выгнали белых. «Отступят белые ненадолго,— говорилось там,— терпи... от красных нам житья нет никакого... Пусть тебя хранит господь, да и сам храни себя, чтобы отомстить большевикам...»

Кровь ударила Федору в голову.

— Довольно! Ведите! — крикнул он.

— Расстрелять? — в упор и с какой-то ужасающей простотой спросил его Елань.

— Да, да, ведите...

Офицера увели. Через две минуты был слышен залп — его расстреляли.

В другое время Федор поступил бы, верно, иначе, а тут не выходили из памяти два трупа замученных красноармейцев с вырезанными полосами мяса, с просоленными глубокими ранами...

Потом — это упорство, нагло вызывающий офицерский тон и, наконец, письмо невесты, рисовавшее с несомненной точностью и физиономию офицера-жениха...

Клычков был неспокоен, весь день был настроен тревожно и мрачно, не улыбался, не шутил, говорил мало и неохотно, старался все время остаться один... Но только первый день, а наутро — как ни в чем не бывало. Да и странно было бы на фронте долго мучиться этими переживаниями, когда день за днем, час за часом видишь потрясающие, ужасные картины, где не один, а десятки, сотни, тысячи являются жертвами...

Кровавые следы войны — растерзанные трупы, искалеченные тела, сожженные селения, жители, выброшенные и умирающие с голоду,— эти кровавые следы, по которым и к которым вновь и вновь идет армия, не дадут они долго мучиться только одною из тысячи мрачных картин войны! Они заслонят ее другими. Так было и с Федором: он уже наутро вспоминал спокойно, что вчера только первый раз приказал расстрелять человека...

— Тебе в диковинку! — смеялся Чапаев.— А побыл бы ты с нами в тысяча девятьсот восемнадцатом году... Как же ты там без расстрелов-то будешь? Захватил офицеров в плен, а охранять их некому, каждый боец на счету — в атаку нужен, а не на конвой. Всю пачку так и приканчиваешь... Да все едино: они нас миловали, што ли? Эге, батенька!

— А первый свой приговор, Чапаев, помнишь?

— Ну, может, и не самый первый, а знаю, што трудно было... Тут всегда трудно начинать-то, а потом привыкаешь...

— К чему? Убивать?

— Да,— просто ответил Чапаев,— убивать. Вон, к примеру

возьмем, приедет кавалерист из школы там какой-нибудь. Он тебе и этак и так рубит, по воздуху-то, ловко рубит, подлец, очень ловко, а как только человека секануть надо — куда вся ученость пропала: разок, другой — одна смятка... А обойдется — и ничего. Всегда по первому-то разу не тово...

Говорил Федор и с другими закаленными, старинными бойцами. В один голос ему утверждали, что в каком бы то ни было виде заколоть, зарубить ли, приказ ли отдать о расстреле, или расстрелять самому — с любыми нервами, с любым сердцем *по первому разу* робко чувствует себя человек, смущенно и покаянно, зато потом, особенно на войне, где все время пахнет кровью, чувствительность в этом направлении притупляется, и уничтожение врага в какой бы то ни было форме имеет характер почти механический.

— Степкин-то, вестовой у меня,— обратился Елань к Федору,— он тоже ведь расстрелянный, я сам и приказ-то отдал насчет его.

— То есть как расстрелянный? — удивился Федор.

— А так вот...

И Елань рассказал, как на Уральском фронте чуть того и в самом деле не расстреляли.

— Он на пулемете сидел,— рассказывал Елань.— Да и парень-то как-будто все с доверием был, а в станице какой-то ведут, гляжу: бабешку, дескать, изнасиловал. Стойте, мол, ребята, верно ли, давайте-ка бабу сюда, на допрос, а ты, Степкин, оставайся, вместе допрашивать стану. Сидит Степкин, молчит. Спрошу — только головой мотает да мычит несуразное. А один раз — уж как прийти самой бабе — «верно, говорит, было»... Тут и баба на порог. Губа у него не дура — выбрал казачку ядреную, годов на двадцать пять. Комиссар тут и все собрались. Ничего, мол, поделать нельзя, расстрелять придется Степкина, чтобы другим повадно не было... Тут Армия Красная идет, освобождать идет, а баб насилуют, за это хочешь не хочешь, а конец один... Да и были случаи, своих кончали, чем же Степкин счастливее? Помиловать, так и што же, рассуждаем мы, получиться должно: дескать, вали, ребята, а наказывать не будем? Как подумаю — ясное дело, а как посмотрю на Степкина — жалко мне его, да и парень-то он золотой на походах... Комиссар уже наказал там в команде. Приходят:

«Кого тут брать?»

«А погодите, допрос чиним, говорю. Насиловал, Степкин, сознавайся?..»

«Так нешто, говорит, я не сознаюсь?»

«Зачем ты это сделал?» — кричу ему.

«А я, говорит, почем знаю, не помню...»

«Да знаешь ли ты, Степкин, што тебя ожидает за самое это дело?!»

«Не знаю, товарищ командир...»

«Тебя же расстрелять придется, дурова голова,— рас-стрелять!..»

А он этак тихо:

«Воля ваша, говорит, товарищ командир, ежели так — оно, значит, уж так и есть...»

«Нельзя не расстрелять тебя, Степкин,— внушаю я ему.— Ты должен сам понять, што вся станица хулиганами звать нас будет... И за дело... Потому што — какая же мы Красная Армия, коли на баб кидаемся?»

Стоит — молчит, только голову еще ниже опустил.

«Уж тебя простить, так и всякого надо простить. Так ли?» — спрашиваю.

«Выходит, што так».

«Понял все?» — говорю.

«Так точно, понял...»

«Эх ты, Степкин, чертова кукла! — осердился я.— И на што тебе баба эта далась? Сидел бы на тачанке, и беды бы никакой не было... А то — на-ка!»

Зачесывает по затылку — молчит. А я бабешку-то: как он, мол, тебя?

Шустрая бабенка, говорить любит.

«Чего — как? Сгреб, да и все... Я верезжу, я ему в рожу-то поганую плюю, а он — вон черт какой... сладишь с ним».

«Значит?..»

«Так вот так и значит...», говорит.

«Мы его наказать хотим», говорю.

«Так его и надо, подлеца,— закудахтала казачка.— Вон рожу-то уставил негодящую... распеканку ему дать, чтобы знал...»

«Да нет, не распеканку, говорю, мы его рас-стре-лять хотим...»

Баба так и присела, открыв рот, выпучила глаза, развела руками...

«Да, да, расстрелять хотим!» — повторяю ей.

«Ну, как же это? — всплеснула руками казачка.— Боже ты мой, господи, а и разве можно человека губить?.. Ну, что это, господи!» — всполошилась, кружится у стола-то, ревет...

«Сама жаловалась, поздно теперь», говорю.

А она:

«Чего ж жаловалась, говорит, рази я жаловалась... Я только говорю, что побег он за мной... Догонять стал, да не догнал...»

«Так, значит?..»

«Вот то и значит, что не догнал. А чего он, поганый, сделать

хотел,— да почем, говорит, я знаю, что он хотел... в голову-то я ему не лазила...»

Я ей смотрю в лицо-то, што врет, а не останавливаю,— пущай соврет: может, и верно, Степкин-то жив останется... А штобы только она не звонила, сраму-то не гнала на нас. А што у них там случилось — да плевать мне больно. Она и сама, может, охотница была... Думаю, коли ревет да просит — на всю станицу говорить будет, что соврала, обидеть хотела Степкина-то... Я и подсластил:

«Будет, говорю, будет, молодка... Тут все дело ясно, и надо вести...»

«Куда его вести? — заверезжала бабенка.— Я вам не дам его никуда — вот што...»

Да как кинется к нему — обхватила, уцепилась, плачет, а сама браньми бранится, с места нейдет, трясется, как лист от ветру.

«Могла бы ты его спасти, да не захочешь сама... Вон мужа-то нет у тебя два года, а смотри — яблоко яблоком... Если бы ты вот замуж за него — ну, туда-сюда, а то... нет...»

«Чего его замуж? Не хочу я замуж!»

«А не хочешь, говорю, тогда мы должны будем делать свое дело».— И встаю со стула, как будто уходить собрался...

«Да он и венчаться не будет! — крикнула мне сквозь слезы казачка.— Он, поди, и бога не знает».— А сама не пускает Степкина, обхватила кругом.

И он, как теленок стоит, молчит, не движется, как будто и не о нем вся речь идет...

«Там как хотите мне,— отвечаю,— только штобы разом все сказать: миритесь али не миритесь?..»

Она разжала руки, опустила своего нареченного, да так вся рожа вдруг расползлась до ушей, улыбается...

«Чего же, говорит, нам браниться?»

И он, черт, смеется: понял, в чем дело, куда мы его обернули.

Штобы никаких там не было, мы их обоих вон из избы — молодым, дескать, делать тут нечего. Все стоят у стола-то, смеются вдогонку, разные советы посылают. Вышло, что Степкин-то и нажил в этот вечер... А я его наутро зову, говорю:

«Вот что, Степкин: дурачком мы тебя женили, а завтра в поход. Бабенку за собой не таскай, если чего там у вас и вправду пошло... А тебе, штобы грех заправить, я задачу даю: заслужи награду... Как только бой случится — награду заслужи, а то не прощу никогда и на первом случае подлецом тебя считать буду...»

«Слушаю, говорит, заслужу...»

— Ну и заслужил? — спросил Федор.

— А то как же: портсигар серебряный... Махорку в нем таскает... Такое дело сделал, что сразу нам человек двести в плен попало — от его-то пулемета... И самому ногу перебило, его тогда и сдали в нестроевую... Ко мне угодил, вестовым околачивается...

— А с казачкой он как?

— Да чего с казачкой,— улыбнулся Елань.— Вечер у нее тогда просидел, лепешек ему она в поход наделала, чаем поила...

— Свадьбу-то...— посмеялся Федор.

— Так нет,— махнул рукой Елань.— У них и помину не было, какая свадьба! Она себя благодетельницей считает, все ему сидит рассказывает, как от смерти спасла, а он ест да пьет за четверых, помалкивает, али так себе, чепуху несет божественную... Утром выступать было, как раз и подскочил к тому часу...

Разговор перешел на тему о половом голоде, о неизбежности на фронте насилий. Приводили примеры, делились воспоминаниями. Чапаева тема эта чрезвычайно заинтересовала, он все ставил вопрос о том, может ли боец без женщины пробыть на фронте два-три года?.. И сам заключил, что «непременно должно так... а то какой же он есть солдат?»

От Еланя — в бригаду Шмарина. Если уж Елань, завидуя славе Чапаева, сам хотел сравняться с ним, так он имел на это много прав — сам был подлинным и большим героем. А вот Шмарин — этот тужился впустую. Суеты у него было нескончаемо много, отдыху он не знал, в движении был непрестанно, озабочен был ежеминутно, даже у сонного у него озабоченность эта отражалась на лице. Шмарин беда как любил рассказывать небылицы о собственных подвигах! И рассказывал их едва ли не при каждом свидании. Правда, вариации обычно менялись,— там где-нибудь пропустит или накинет лишнее ранение, контузию, атаку,— но, в общем, у него было шесть-семь крепко заученных подвигов, и рассказывать их было для Шмарина высоким наслаждением. Рассказывая, он буквально захлебывался от упоения буйно развертывавшимися событиями, любовался оборотами дела, восторгался только что придуманными неожиданностями. Он во время рассказа как-то странно дергал себя за густые черные вихры волос, пригибался к столу так низко, что носом касался досок, а двумя пальцами — средним и указательным — зачем-то громко, крепко и в такт своей речи колотил по кончику стола, и получалось впечатление, будто он не присутствующим, а этому вот столу читает какую-то назидательную проповедь, за что-то выговаривает, чему-то учит.

Сначала Шмарина слушали, даже верили, а потом увидели,

узнали, что в повествованиях его вымысла вчетверо больше, чем правды, перестали слушать, перестали верить. Не подумайте только, что он одними фантазиями промышлял,— нет, рассказывал факты самые доподлиннейшие, безусловно происходившие, и беда не в этом была, в другом: как только в которой-нибудь операции проявит кто мужество или талантливость очевидную, так, значит, это вот Шмарин сам и совершил все дело. А потом оказывается, что весь случай на левом фланге был, пока он, Шмарин, на правом крутился. Талантливость-то, выходит, командир батальона проявил, а Шмарин полком командовал, ну, что-нибудь в этом все роде... Любил человек приписывать себе чужие заслуги! Да и кого Федор ни наблюдал из них — не Шмарина одного: украсть чужое геройское дело, присвоить его и выдать за свое считалось у них делом наилегчайшим и совершенно естественным. К Шмарину только приехать — и начнет! Поплетет и поедет — развешивай уши, до утра проговорит, коли с вечера сядет. Его непременно «окружали», он непременно откуда-то и куда-то «прорвался», хотя всем известно, что боев у него на участке за минувший, положим, день не происходило. У него фланги постоянно под «страшной угрозой», соседние бригады ему никогда не помогают, даже вредят и уж непременно «выезжают» на его плечах, присваивают себе победы его бригады, получают похвалы, одобрения, даже награды, а он вот, Шмарин, подлинный-то герой, всеми позабыт, его не замечают, не отмечают, считают, видно, крошечным человечком, не зная, что он-то, Шмарин, и является виновником больших дел, похищенных и присвоенных другими.

Когда друзья наши приехали теперь к нему от Еланя и сообщили, что тот пленных груду набрал, Шмарин внимательно выслушал и вдруг быстрым движением приложил себе на неумытое желтое лицо большую пятерню и как бы в задумчивости рассеянно проговорил:

— Так, так, так... Ну, куда же? Я так и знал, что им деться было некуда...

— Кому некуда? — спросил Чапаев.

— А вот тем, что Елань-то взял. Вы знаете, товарищ Чапаев, что это за пленные? Я им еще наколотил раньше — на правом-то у меня бой был — помните? Ай нет? В таком виде куда же им — только в плен и оставалось...

У Шмарина была нехорошая черта: умалять заслуги других, умалять даже и там, где ему нет от этого ровно никакой выгоды.

Увидев, что Шмарин и теперь склонен к повествованию о «вчерашних успехах», Чапаев ему задал самый нужный и самый важный вопрос, от которого отвертеться и отмахнуться уж никак нельзя:

— Што на фронте бригады?

Вошли в штаб — комнатушку, прокуренную до черноты, прокисшую, вонючую, словно тут и было только постоянно, что курили да чадили. У Шмарина в штабе все работали ребята толковые, помогали ему не за страх, а за совесть. Суетливый пустомеля, опасный фантазер — Шмарин, однако, задачи дивизионные всегда разрешал неплохо. Исполнитель он был, пожалуй, вовсе недурной, только вот в творцы совсем не годился, инициативы не имел никакой, сам создать ничего не умел, готового указа ждал, не настолько зряч был, чтобы видеть в любой обстановке все главное и важное.

В штабе публика точеная, повадки чапаевские знает — рассказала все до мелочи, мало что понадобилось добавить самому Шмарину. Когда выяснили обстановку, Чапаев сейчас же решил проехать по полкам бригады — они вели наступление. Шмарин оставил заместителя — собрался и сам.

Услышанные в штабе цифры наших и неприятельских войск, просмотренные по картам линии речек и дорог, зеленые пятна лесов, каштановые пригорки,— все это жило в памяти Чапаева с изумительной отчетливостью. Он ехал и показывал Шмарину, что должно быть за этим вон бугром, какие силы должны быть скрыты за ближним лесом, где примерно должен быть брод... Он знал все и представлял все отчетливо. Когда попадали на стрелку и две-три дороги сходились в одном пункте, Чапаев без долгого раздумья выбирал из них одну и ехал по ней так же уверенно, как бы ехал по знакомой улице какого-нибудь маленького городишки. Ошибался редко, почти никогда, разве уж только на окружную какую попадет или в тупик упрется, зато и выбраться ему отсюда пара пустяков: осмотрится, потопает, что-то взвесит, вспомнит разные повороты, приметы, что были по пути,— и айда! Ночью разбирался труднее, а днем почти всегда безошибочно. По части уменья разбираться в обстановке у него был талант бесспорный, и тут с ним обычно никто и не состязался: как Чапаев сказал, так тому и быть.

Подъехали к первому полку. Он разбросался в маленьких, только что вырытых недавно окопах. Да и не окопы это, а какие-то совсем слабенькие сооружения, словно игрушечные, картонные домики: насыпана земля чуточными бугорками, и в каждом из них воткнуто по сосновой ветке, так что голову прятали и не разберешь куда — не то под ветку, не то за этот крошечный бугорок наподобие тех, что бывают в лесу у кротовых нор. То ли неприятель и впрямь эти веточки за кустарник местами принимал, или же просто тревожить, вызывать на драку не хотел, молчал, не стрелял, хоть и таился совсем недалеко, за сыртом.

В окопы ползком протаскивали пищу. Ляжет на брюхо, вытянет руки с котелком или суповой чашкой и ползет-ползет, как червяк, извивается — на локтях да на коленках от самой кухни строчит. Бойцы обедали, передыхали, после обеда — снова в наступление. У иных можно было заметить то книжку, то газету; верно, уж какая-нибудь безбожно старая,— так она затаскана и засалена. Раскинется навзничь, голова под веткой укрыта, лицо серьезное, совершенно спокойное, держит книжку или газету перед носом и почитывает,— да так все по-обычному и просто получается, будто в саду где-нибудь он у себя в деревне от июльской жары укрылся праздничным днем.

Чапаев, Федор и Шмарин проходили сзади цепи — по ним не стреляли. Это заставило Чапаева тут же задуматься.

— А верно ли, что за бугром неприятель, и кому это известно? Может быть, был, да нет? — обратился он к Шмарину.— Ну-ка, проверить!

По разным направлениям поползла разведка. Двое уже добрались к бугру, всползли на хребет, чуть приподнялись, выше... выше... выше... и встали во весь рост. Воротились, доложили, что по склону нет ни единой души,— верно, неприятель уполз перелеском, который тотчас же и начинался у сырта.

Пошли вперед, забрались на самую высокую точку, в бинокль стали смотреть по сторонам.

— Вон видите,— показал Чапаев,— куда уходит лес? Оттуда, по-моему, они и хотят обойти.

— Не обойдут,— заметил Шмарин.— Три дня гоню, куда им обратно. Дай бог только пятки смазать.

— Вот они тебе на четвертый-то и смажут,— серьезно ответил ему Чапаев, не отрываясь от бинокля, поводя его по сторонам.

— Не воротятся,— продолжал уверять легкомысленно Шмарин.

— А воротятся? — резко и недовольным тоном сказал Чапаев.— А если там командир не дурак, так поймет, что и бежать-то ему даже легче будет, коли по тылу тебя шуганет? Пока соберешься — где он будет? Шляпа! А ты вникай, шевели мозгами. Думаешь, так он тебе горошиной под носом и будет катиться?

Шмарин молчал, отвечать было нечего. Чапаев указал ему, что надо сделать, дабы предупредить возможный обход, сказал Шмарину, чтобы до выяснения положения оставался тут, а сам вместе с Федором отправился к двум другим полкам.

И к чему он ни подходил, к чему ни прикасался — повсюду находил, как и что надо исправить, где и в чем надо

помочь. Когда уже были на крайнем правом фланге бригады, в третьем полку, Шмарин прислал гонца, сообщил, что обходное движение неприятеля действительно обнаружено, но сам неприятель понял, что обнаружен прежде времени, и отступил в ранее взятом направлении. Свою писульку Шмарин заключал торжественно:

«Всю злостную попытку я прикончил немедленно, не потеряв ни одного солдата...»

Надо думать, что тут и «приканчивать-то» было нечего: тучи рассеялись сами собой.

Заночевали здесь же, в третьем полку. Штаб его расположился в деревне, кругом были выдвинуты заставы. За околицей, в сторону неприятеля, полукругом на ночь окопалась красноармейская цепь. В халупе, где остановились,— дрянная коптилка, так что лица человеческие можно было рассмотреть лишь с трудом. Утомились, говорить не располагало, стали притыкаться по углам, растягиваться по лавкам, искать, где поудобней заснуть: в полумраке ползали, как черные привидения.

В это время привели на допрос мальчугана годов четырнадцати. Допрашивали полковые, подозревали, что шпион. Сначала задавали вопросы: кто ты, откуда, куда пробирался, зачем? Рассказал мальчуган, что отца у него с матерью нет, за ту войну где-то сгибли. Сам он — беженец-поляк, а числится теперь в «третьем добровольческом красном батальоне». Такого никто не знал, и подозрения усилились еще больше.

— Как тебя зовут?

— Женя.

— А ты говорил, что Алеша? — захотел его кто-то спутать.

— Не выдумывайте, пожалуйста,— твердо и с каким-то естественным достоинством заявил мальчик.— Я вам никогда не говорил, что меня Алешей звать. Это вы придумали сами.

— Разговорчив больно, эй, мальчуган!..

— А что мне не говорить?

— Не болтай, дело рассказывай. От белых шел? Ну, говори, чего притворяться-то. Скажешь — ничего не будет.

— Да ничего не скажу, потому что нет ничего,— с дрожью в голосе отбивался он от наседавших допросчиков.

— Ну, ну, не ври. Тут никакого твоего батальона нет... Выдумал... Говори лучше, зачем шел, куда?

И вот все в этом роде принялись его прощупывать. Хотелось вызнать, кто его, куда и зачем послал.

Грозили всяко, запугивали, расстрел упомянули.

— Ну что ж, расстреливайте! — сквозь слезы проговорил Женя.— Только зря это... Свой я... Ошибаетесь...

Федор решил вмешаться. Он до сих пор лежал и слушал,

ожидая, чем кончится допрос. Теперь ему все равно — свой мальчик или не свой,— захотелось спасти его, оставить у себя, перевоспитать, если понадобится. Он сказал, чтобы закончили допрос, и уложил обрадовавшегося Женю рядом с собою на полу. (Федор потом действительно выработал из Жени отличного и сознательного парнюка: он работал по связи в бригаде и полку.)

Опять все притихло в избе. Чадила коптилка, из углов всхрапывали, посвистывали спящие, чавкали за окном всегда готовые, оседланные кони. Перед тем как все стали укладываться, Шмарин, к тому времени уже прискакавший из полка, решил «осмотреть», все ли в порядке, и вышел из избы. Сколько прошло времени — никто не запомнил потом, но уже близко было к заре, когда Шмарин подбежал, запыхавшись, и в распахнутую дверь крикнул громко, скороговоркой:

— Скорей, скорей, неприятель наступает!!!

Все вскочили разом, через минуту были на конях.

— Цепи уже на горе, сажен двести,— задыхался Шмарин, никак не попадая в стремя ногой. Горячий конь вертелся волчком, не давался. Шмарин его с размаху, со всею силой ударил по морде...

Выскочили за ворота. В чуть брезжущем полумраке ныряли во все стороны человеческие фигуры. Куда они бежали — понять было трудно: одного направления не было, метались во все стороны. За воротами тотчас же разделились, не говоря ни слова, разговаривать было некогда. Одни кинулись по дороге — наутек, спасаться... Чапаев быстро сообразил и помчал к резервному батальону, стоявшему неподалеку. Шмарин, а с ним и Клычков поскакали навстречу наступавшим цепям, перед которыми, как надо было думать, отступали цепи красноармейцев. Клычков с тою целью поскакал теперь со Шмариным, чтобы остановить отступающих и личным примером поднять их дух. Молнией сверкнуло в памяти, как он в Уральске спорил с Андреевым о цепи, обороне, участии в бою во время паники,— и мигом охватила гордая, торжественная радость.

— Ложная тревога... Ошибка... На горе свои цепи!

— Отставить! — вдруг прогорланил Шмарин.

К кому относилась эта команда — понять было невозможно, да и не было никого кругом, кроме отдельных, во все стороны сновавших бойцов. Сейчас же послали воротить Чапаева и всех ускакавших по дороге. Криками и выстрелами их остановили,— через десять минут все снова были в сборе.

Эта суматоха, крики и стрельба были слышны в полку и вызвали там большое недоумение, даже предполагали, что обойдены, что надо принимать срочные меры. Бойцы настороже

жились, зашигутились, приготовились, собрались посылать во все стороны новую разведку, пока им не донесли, что вся тревога была впустую. Когда снова собрались в избу, хоть было еще и очень рано, спать не стали, присели к столу, завязался разговор. Кого-то бранили, но кого именно — понять было невозможно. Шмарина? Нет, он обязан был поднять всех на ноги, раз заметил опасность, а проверить ее не оставалось нисколько времени.

Сами себя? Нет, сами себя тоже признавали неповинными, потому что какой же чудак будет сидеть в избе, когда тут рядом наступает неприятельская цепь? Сполох признали неизбежным, на том и смирились. Хоть повинного и не нашли, а в то же время все как будто стыдились, смущались чем-то: разговоры были неуверенные, в глаза один другому не глядели, перебрасывались короткими фразами, глядя через голову, мимо, в окно, в черную пустоту...

— Вот-те и до паники рядом,— сказал Шмарин, нагибаясь над столом, прикуривая от коптилки.— Разбери ты, поди, кто обманул...

— А тебе кто сказал? — спросил его Чапаев.

— Из штаба полка... Навстречу...

— Да кто же?

— Вот и не помню, не узнал... Проскочил дальше — цепь идет, видно кое-что... Значит, думаю...

— Не думаю — знать надо! — внушительно заметил Чапаев.— Знаешь, што у нас было один раз? Не теперь — в германскую, там, на Карпатах. Горы — не эти бугры: коли заберешься — и не слезешь скоро... Лезли вот так-то, лезли, а австрияк засел в каждую нору, за камнями напрятался, где за кусток, в песку лежит,— одним словом, у себя человек дома живет, его нечего учить, куда прятаться надо... Растянемся, как на базаре, а он по тылу стукнет, да и угонит весь обоз... Артиллерия есть — и ее берет. Мы, значит, на этот раз загнали все в середку, окружили по сторонам, да так и идем. Лошадей-то не хватало — мы быков, а ночью заревет, черт, продаст ни за што... Ты прикладом и не думай — хуже того завоет... Пока хлеб был, так кусок ему воткнешь — молчит... А потом плохо... Ночью один раз переход надо было до утра... И разведка как следует: «Ничего, говорит, нет, можно». Собрались, пошли, а обоз, да с быками-то, посередке весь... Ночи эти по горам — кто был, так знает. Чего же говорить, хуже и быть не может. Што тебе вот сажа черная, што ночь — ничего... Идем, не шумим, только камушки катятся с горы-то, аж донизу... Вот как ночью идешь — и чего только тебе не привидится! Под кустом будто лежат кругом да ждут. А на дереве тоже сидит... Камень

большой, а тебе как человек в сумерках-то. Ну, черт его знает, какой ты храбрый ни есть, а то и знай вздрагиваешь. Страшно ночью, откуда што берется: стрелять не видишь, бежать не знаешь куда, будто в кольцо попал... Командовать? Да как же тут командовать-то, раз не видишь ничего! Так уж садись и сиди, пока тебя по затылку саданут. Другой манер, коли ты сам наскочил. Тут шуму дал — да и тягу... А вот по горам, да не знаешь ничего, ну-ка? Идем мы, идем, и, видишь ли, кому-то напереди неприятель будто стренулся... Он его — хлоп, а оттуда нет ничего. Он еще пальнул, а тут — как поднялась, как поднялась, сама себя и давай... Место наше было узкое — гусем шли... Спереди палят, да и сзади тоже. А потом как хватят с горы-то, да и бежать, да и бежать, потому што стали падать убитые, а откуда огонь — не видать... На низ бежать, а тут обозы, скотина эта, быки, да перепугали всех — они тоже вскачь пошли. И все помчалось с гор... Как обоз рванул в обратную, так и замял все назади... А тут наворотили — ни проехать, ни пройти. Другого хода нет. Деться некуда, через верх бросились. А те, што пониже, с горы, думали, лезет кто, да по ним, по ним... Бегут и стреляют. Как оглянутся кверху-то, да по ним... Што народу легло — ай-ай! А все из-за чего? Паника вот эта самая и есть... Кто тебе, што тебе сказал, чего где увидал — ты посмотри, а не ротозей, не ори: караул, мол, цепи идут!..

— Зачем кричать, никак нельзя,— поддержал Шмарин, как будто не понимая, что речь идет о нем самом.— От крику-то все и образуется.

— То-то, «от крику»...— куда-то в сторону обронил Чапаев, озадаченный таким маневром Шмарина.

— Я думаю,— вмешался Федор,— есть такие положения, что уж никак не остановишь панику, никак... Кто хочешь будь, что хочешь делай,— ну, никак... Вот в этом хотя бы случае...

— Да, тут была одна погибель,— согласился Чапаев.

— Погибель... И сами себе эту погибель создали,— продолжал Клычков свою мысль.— Бороться надо не с паникой, а *против* паники, предупреждать ее надо. А что для этого требуется? Да черт его знает — что: на каждый случай свое особенное... В этом случае, что на Карпатах, по-моему, надо было пускать вперед совсем особенных солдат, совсем особенных... И разведку особенную, меньше всего поддающуюся страхам ночи... Да сладить выстрелы там, знаки разные, сигналы... И только по сигналам, а не как кому вздумается...

— Совсем не в сигналах дело,— остановил его Чапаев.— Сигналы... Ну, што тебе сигнал поможет, когда лошади бегут с перепугу, быки. Их не надо было пускать в середку... Ночью этого нельзя... Да и самого-то походу было нельзя.

— Нет, отчего же нельзя? Очень бы можно, если бы обставить...

— Ай и обставили,— засмеялся Шмарин.— Чего же лучше, на-ка, что обставили...

Этот странный смех, эти не к делу сказанные слова оборвали разговор. Ни спать, ни сидеть охоты не было, да и не было нужды оставаться здесь... Чуть светало. Еще совсем было холодно, по-ночному. Тихо. Успокоилась, заснула деревня, встревоженная в неурочный час... Чапаев дожидался у крыльца, когда ему подведут оседланного коня. Федор подседлывал сам. Через несколько минут они ехали по знакомой вчерашней дороге.

XII. ДАЛЬШЕ

Чапаевская дивизия Белебей обходила с севера, брать самый город поручено было не ей. Но уж такова слабость всех командиров — ткнуться в пункты, что покрупнее, и доказать непременно свое активное участие в овладении этими пунктами. В гражданскую войну не всегда преследовали цель уничтожения врага как живой силы — чаще гнались за территорией, а особенно за видными, известными городами. Стремление это имело, впрочем, под собой не одно лишь военное значение. Оно имело значение и политическое: каждый крупный центр, большой город являлся в то же время и политическим центром на более или менее широкую округу, и пребывание его в белых или красных руках совсем не безразлично отзывалось на политической бодрости или вялости этой самой округи. А поскольку политика в гражданскую войну являлась основной пружиной действия — каждый и стремился овладевать как можно быстрее центральными пунктами.

Белебей был уж не ахти каким значительным центром, однако ж и он имел свое объединяющее значение. Правофланговая бригада Чапаевской дивизии подошла к городу как раз в момент решительной схватки, приняла в этой схватке участие и вместе с соседней дивизией вошла в город. Был шум, были протесты, было много споров о том, кто город взял *фактически*, кто вошел первым, кто проявил находчивость, героизм, талантливость и т. д. и т. д.,— спорам этим нет конца, раз две воинские части одновременно заняли один и тот же пункт. Сам Чапаев в спорах участия не принимал — эту заботу поручил он бригадному командиру Попову, и тот усердно изощрялся в дипломатических искусствах.

Полки расположились на север, по берегу Усеня. Выжидали.

Здесь — красные, за рекой — белые. Так несколько дней. Отдыхали, собирались с силами, готовились к схватке. Чапаев бранился, все время бранился и выражал недовольство, преступной считал эту стоянку на Усене.

— Што за отдых? — кричал он.— Какой дурак на фронте отдыхает?! Да и кому это отдых понадобился? Может быть, самим штабам он нужен? — язвил Чапаев, намекая на возможную там измену, на сознательное замедление быстрого и победоносного движения красных войск...

А двигались действительно не ахти как быстро. С остановками, с передышками, подготовками да перегруппировками выходило в среднем что-то верст по восемь — десять за сутки; были охотники, что занимались и этими вычислениями, давая Чапаеву цифры, приводившие его в ярость.

— Я не устал, не устал! — гремел он, стуча кулаком по столу.— Когда попрошу, тогда и давай, а теперь вперед надо... Враг бежит, «следовано» на плечах у него сидеть, а не отдыхать над речкой...

— Ну, Василий Иваныч,— говорили ему,— ты про одну свою дивизию толкуешь... Чудак ты человек... а другие-то? Надо их выравнять, сменить, подновить — да мало ли что по фронту требуется. Нельзя же одну свою дивизию «на мушку брать» и полагать, что одна она все дело сделает...

— А не сделает? — сверкнул глазами Чапаев.— Какая это подмога мне со сторон-то? Видано ли, штобы хоть вот столечко помог кто-нибудь... На, выкуси — помогут!.. Одной дивизией возьму Уфу, только не мешай, не лезь...

— Кто это — *не лезь*?..

— Да никто не лезь. Я сам сделаю,— отвечал он уже несколько пониженным тоном, как будто спохватившись и поняв, что заговорил неладно...

Подобных скандалов и скандальчиков было много. До самой Уфы Чапаев был недоволен ходом операции, несмотря на то, что дивизия одерживала победу за победой. Ему все казалось, что мало дают простору, что инициативу его обкарнывают, к голосу его не прислушиваются, с мнением его не считаются.

— Чего они там видят — карту? — пошумливал он в своем кругу.— Так ведь мы воюем не на карте, а на земле... На земле мы воюем, черт возьми! — все больше приходил в азарт Чапаев.— Мы тут все знаем и все видим сами... Нам указывать нечего, только подмогу давай!

— Опять не так, Василий Иваныч, — образумливал его Клычков. — Координировать, объединять надо все действия.

— И объединяй,— прерывал Чапаев,— кто тебе мешает объ-

единять? Не мешай, говорю... Когда раз бегом надо бежать, а мы — смотри-ка, праздники какие справляем на Усене...

— Какие праздники... брось, пожалуйста,— возражал ему Федор.— Будет, нарывались уже довольно со своей торопливостью... Опыт научил, вот что...

— Это сидеть-то? — вскидывался Чапаев.— По рекам-то? Когда у Колчака только пятки сверкают? Ну, уж воюйте, брат, этак сами, а мы не привыкли... Затеяли дивизии переменить, да разве время? — ворчал он.— Да разве солдат тебя просит, жалуется?.. У, черт!.. Брошу все, опять отрядом стану командовать... Там уже как задумал, так и все твое, а тут...— И он энергически плюнул...

— Ты сменой недоволен,— все хотел его урезонить Клычков,— странный человек! Соображения, значит, есть, не с пустой же головы в такие дни задумали перетасовку... Может, и в самом деле истрепались, устали до последнего?..

— А-а-а...— махнул он рукой.— Никто не устал... Вчера мне навстречу красноармеец... Один ковыляет в лесу, хромает, гляжу — забинтованный весь, маленький, тощий, как селедка. «Чего ты, куда?» — спрашиваю. «А я, говорит, обратно в часть к себе».— «Ну, так хромаешь-то чего?» — «Раненый».— «Што не лечишься?» — «Некогда, говорит, товарищ, не время нам теперь отдыхать-то, воевать надо... Убьют, говорит, лягу в могилу, делать там нечего — вот и полечусь...» А сам смеется. Как посмотрел я на него... Ах ты, черт, думаю, знать, молодец и есть... Снял часы с руки, даю ему. «На, говорю, носи, помни Чапаева». А он сразу не узнал, видно... Веселый сделался, не берет часы, а знай, махает рукой... Потом взял... Я — в свою сторону, а он стоит, смотрит да смотрит, пока его видеть перестал... Вот они, усталые-то!.. С такими усталыми всем Колчакам морду набью!..

— Да, таких много,— соглашался Федор.— Может быть, большинство даже, а все-таки и они могут уставать...

Но Чапаева тут разубедить было чрезвычайно трудно. Даже не помогла ссылка на Фрунзе, которого он уважал чрезвычайно.

— Ведь распоряжение-то без Фрунзе не проходит? Ведь не одни же генералы и подписывают?

— А может, и одни? — как-то загадочно и тихо протестовал Чапаев.

— Да как же это?

— А так... Наши приказы Колчаку раньше известны, чем нам... Вот как...

— Откуда это ты плетешь? — удивлялся Федор.— Ну, один-другой приказ, может, и в самом деле угодил к Колчаку, но нельзя же делать таких заключений, Василий Иваныч...

Но сопротивление бесполезно. Чапаев оставался при своем: относительно «штабов» переубедить его было невозможно — не верил им до последней минуты жизни...

Ранним утром цветущим лесом пробирались на Довлеканово... Ехали в горы, ехали с гор, пересекали чистые ключевые речки, рысили по пахучим черемуховым аллеям. Дорога тихая, светлая, полная звуков, пропитанная запахами весеннего утра... Из этих лесов — по бригадам, по полкам к красноармейцам, грязным, вшивым, измученным, полуголодным, полураздетым... Чем ближе к Уфе, тем отчаяннее сопротивляются вражеские войска. Задерживаются на всех удобных местах, особенно по горам, сосредоточивают ударные горсточки, ходят в контратаки... Обозы не дают — угоняют их заранее, вперед себя, охраняют большими отрядами: видно, снабжать Красную Армию не хотят!

День ото дня двигаться было трудней и трудней. Обнаружился массовый шпионаж: на Колчака работали свои разведчики, работали кулачки-крестьяне, работали нередко татары, которые обмануты были во множестве рассказами, будто идут большевики исключительно с тем, чтобы отнять у них аллаха и разбить мечети... Были случаи, когда в татарском поселке открывали из окон огонь по вступавшему красному полку. Стреляли жители-татары, и не какие-нибудь богатеи, а настоящая голь перекатная. Ловили... Что делали? По-разному поступали. Иных расстреливали на месте — война церемоний не любит. А иного отдавали на «разговоры» своим же красным бойцам-татарам. Те в короткий срок объясняли сопленнику, за что борются, и нередко были случаи, когда он сам, после короткой беседы, вступал добровольцем в Красную Армию... Шпионов ловили часто...

В Довлеканове красноармейцы сообщили Федору, что в полковом обозе везут какую-то девушку, захваченную по дороге: просит, чтобы подвезли поближе к Уфе, хочет войти туда с красными войсками,— в Уфе мать, сестры, родственники.

— Приведите ее ко мне,— распорядился Клычков.

Девушку привели. Годов девятнадцать... Хромает. Окончила недавно гимназию... Одета плохо... Говорит много про Уфу... Рвется скорее туда... Совершенно ничего подозрительного. Но ему инстинктивно почувствовалось недоброе — без всяких поводов, без оснований, без малейших фактов. Решил испытать, думал:

«Ошибусь, чем рискую? Отпущу — и конец!»

Говорил-говорил с ней о разных пустяках, да в упор внезапно и поставил:

— А вы давно ранены?

— Давно... То есть, чего же... Нет... Откуда вы думаете, что я ранена?

— А хромаете,— твердо сказал Федор и пристально-пристально посмотрел в глаза.

Рядом сидел товарищ Траллин, начальник политотдела армии, сидел и молча наблюдал картину оригинального допроса.

— Ну... да...— замялась она.— Нога-то... была... но уж давно... Совсем давно...

Федор понимал, что вопросы надо ставить быстро и непрерывно, оглушить ее, не давать придумывать ответы и вывертываться.

— Где ранены, когда?

— Бумагу в штаб несла...

— Бой был близко?

— Близко...

— В разведке у них работали?

— Нет, не работала, машинисткой была.

— Врете, врете! — вдруг крикнул он.— Вот что — мне все известно. Поняли? Все! Я вас знаю, наши разведчики мне все про вас сказали. Дайте мне свое удостоверение, сейчас же... На этой, на бумажке — знаете?..

— На какой? — робко спросила она.

— А вот на тоненькой-тоненькой... Знаете, вроде папиросной бывает. Ну... ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши знают, как вам ее писали. Да ну же...

Федор впился глазами и удивился сам неожиданным результатам. Девушка окончательно стушевалась, когда услышала про бумажку... А известно, что всем разведчикам даются удостоверения на крошечных клочках тончайшей бумаги, и они прячут эти удостоверения в складки платья, в скважину каблука, затыкают в ухо — ну, куда только вздумается.

Девушка достала мундштук, трижды его развинтила и вытащила бумажку, скатанную и прилепившуюся по сторонам мундштукового ствола. Там значились фамилия, имя, отчество...

Успех был замечательный...

Ей учинили официальный допрос: сначала у себя, а позже — в армии. Допрашивал ее и случившийся в ту пору товарищ Фрунзе. Девушка сообщила много ценного, заявила, между прочим, и то, что некоторые наши разведчики работают одновременно и в разведке белых. Двурушников скоро ликвидировали. Много дала материала — очень к делу подошлась...

Таких случаев, только менее серьезных и удачных, было несколько... Между прочим, к одной полковнице, заподозренной

в шпионаже и запертой в бане, втолкнули под видом белого офицера одного толкового коммуниста, и «дура баба» разболтала ему немало ценных новостей.

Полки шли на Чишму. Ясно было, что такой важный пункт дешево не отдадут: здесь сходятся под углом две железнодорожные ветки — Самаро-Златоустинская и Волго-Бугульминская. Уж за десяток верст от станции начинались глубокие, ровные, отделанные окопы с прекрасными блиндажами, с тайными ходами в долину, с обходами под гору. Были вырублены целые рощи, и в порубях расчищены места для кавалерийских засад, а поля, словно лианами, были повиты колючей проволокой... Ничего подобного не попадалось ни под Бугурусланом, ни у Белебея; особенно окопов, так тщательно и основательно сработанных, не встречали уж давно. Было видно, что враг готовился основательно.

На Чишму наступала бригада Еланя — разинцы, домашкинцы, пугачевцы. Все последние версты продвигались с непрерывным, усиливавшимся боем. Чем ближе к Чишме, тем горячее схватки. Атаки отбивались, неприятель сам неоднократно ходил в контратаку. Но чувствовалась уже какая-то предопределенность, даже в самых яростных его атаках не было того, что дает победу,— уверенности в собственных силах, стремления развить достигнутый успех. Враг как бы только огрызался, а сам и думать не думал стать победителем.

Видали вы, как по улице мчится сломя голову собачонка, а тут, цепляясь за хвост, наседает, теребит, грызет ее другая, более сильная, более уверенная в себе... Та, что убегает, и думать забыла про решительную схватку — она может только огрызнуться, порой укусить, и больно даже укусить, но это не схватка: она бежит, будет позорно побеждена. Такое именно впечатление огрызающейся собачонки производили колчаковские войска уже здесь, под Чишмой. Ходили в контратаки, но все это делалось как будто лишь для того, чтобы дать уйти главным силам, убраться обозам... Как будто сражались одни арьергарды, заслоны, охранявшие тех, что отступали где-то впереди. На деле было не так — сражались большие, основные, главные силы... Но инициативу они потеряли еще там, перед Бугурусланом, и вот никак-никак не могут вернуть ее обратно. В колчаковской армии ширилось и убыстрялось гибельное для нее «разложение». Никакие меры борьбы — поблажки, репрессии, расправы,— ничто уже не могло приостановить этого исторически неизбежного процесса. Кроме общих причин разложения, которые более или менее быстро сказывались на всех белых армиях, здесь, у Колчака, имелись еще

и причины особенные, сильно подтолкнувшие самый процесс. Во-первых, Колчак мобилизацию населения проводил «без оглядки», гнался больше за количеством, чем за качеством; и, во-вторых, пытаясь сцементировать и объединить это огромное намобилизованное войско кучкой преданных ему кадров, он неизбежно был должен развязать этой кучке руки в деле репрессий со своим же «войском». Все виды старой «солдатчины» у Колчака возродились едва ли не полнее, чем в какой другой армии белых. Разношерстность войска и жестокость кадров были теми двумя причинами, которые особенно быстро повели вперед процесс разложения колчаковской армии.

К Клычкову как-то после боя попала целая пачка неприятельских документов, среди них — телеграммы, приказы, распоряжения, запросы колчаковского командования:

«В самый короткий срок собрать всех слабо обученных в одно место и подготовить к погрузке на железную дорогу; для сопровождения назначить *непременно офицера*...» Эти два последние словечка великолепны: они свидетельствуют о смертельном испуге перед своим же собственным «христолюбивым воинством».

Но положение обнаруживается еще более серьезное, еще более трагичное: на офицеров, оказывается, без оглядки полагаться тоже нельзя,— продадут, того и жди, красному командованию. Был пример. Человек десяток красных кавалеристов напоролись вплотную на неприятельскую цепь. Тут было сто двадцать солдат, два офицера, пулемет. Чего бы, кажется, легче — замести этих кавалеристов к себе или посшибать их моментально с коней? А получилось вот что. Офицеры крикнули своим солдатам: «Стрелять не смей!», выбежали навстречу кавалеристам и заявили, что хотят перейти со всеми солдатами на красную сторону... И заметьте — это при всех-то рассказах о «большевистской жестокости» и беспощадности к белым офицерам: не сробели, решились, пошли...

Ну, уж зато и крепко же за них просили кавалеристы перед своими командирами, как будто добровольно сдавшимся что-то и в самом деле грозило страшное.

Офицеры оказались: один из конторщиков, другой — бывший народный учитель. Порассказали про «дисциплину» колчаковскую. Расстреливают офицеров за малейшую упрощенность разговора с солдатами; выполнение этикета и кастовых отличий требуется и взыскивается со всей жестокой суровостью. Страх перед «войском» отшиб разум высшему командованию, и оно в самом простом, бесхитростном разговоре офицера с солдатом видит злую сознательную «агитацию». Среди низшего офицерства идет брожение,— его рознь с высшим очевидная,

глубокая, усиливающаяся с каждым днем. Эти рассказы офицеров были безусловно верны. Федор имел возможность проверить их и по документам, о которых упомянуто выше:

«Приказываю установить наблюдение за поручиком Власовым»,— значилось в одном приказании начальника дивизии. «Установить самое тщательное наблюдение за офицерами Марковым, Жуком и Лизенцовым, пытавшимися вести разговоры с рядовыми»,— значится в другом его распоряжении. Имеются запросы, справки об офицерах — и все шпионского порядка.

У Колчака явно неблагополучно. Дисциплина упала даже и среди офицерства,— ряд телеграмм говорит об ослушании, о невыполнении приказов. Для поддержания «духа» армии высшее офицерство прибегает к мерам весьма сомнительного достоинства: начинает присваивать себе победы красных войск, в приказах и листовках перечисляет «своими» такие пункты и селения, в которых по крайней мере неделю развевается красный флаг. Войска про это, конечно, узнают и окончательно перестают верить даже бесспорно правильным сведениям.

Словом, рассыпалась армия колчаковская с очевидностью совершенно несомненной. Этому процессу красные войска помогали усиленно. В тыл белым возами развозили агитационную литературу и через жителей, и с аэропланов, и со своими ходоками рассыпали миллионы воззваний, обращений, всяческих призывов. Красные агитаторы проникали в самую гущу белого солдатства и там безбоязненно, совершенно недвусмысленно проводили свою героическую работу.

И все же, несмотря ни на что, бои порою бывали настолько серьезны и ожесточенны, что разбивали всякие предположения и всякую уверенность в начавшемся разложении белой армии. В этих серьезных схватках участвовали наиболее стойкие белые полки; их было, по сравнению с общей массой, немного, но дрались они великолепно, и техника у них была тоже великолепная. Перед самой Чишмой бой настолько был серьезен, что в иных ротах осталось по красным полкам всего тридцать — сорок человек. Отчаянно, вдохновенно, жутко дрались! На броневые поезда кидались с ручными бомбами, устлали трупами весь путь, бежали за чудовищем, кричали «ура», бросались, как мячиками, страшными белыми бутылками. А когда появлялись броневики, цепи ложились ничком, бойцы не подымали головы от земли: броневик «лежачего не бьет»,— тем и спасались... Просекал он цепи, гулял в тылу, палил, но безрезультатно, а когда удирал — и за ним тоже, как за поездом броневым, бежали и в него бросали белыми бутылками.

Героизм соприкасался с безумием: от пулеметного огня бро-

невиков и броневых поездов немало полегло под Чишмой красных бойцов.

И здесь через двадцать минут, как закончили бой, когда еще в поле стоял пороховой дым и повисли в воздухе беспрерывные стоны перевозимых врагов и товарищей,— Чишма зажила обычной в этих случаях жизнью. Из подвалов и погребов, из овинов и чуланов, из печей и из-под шестков, из подполья и с чердаков — выползали отовсюду перепуганные пальбой крестьяне и засуетились около затомленных красноармейцев. Застучали бабы ведрами, зашумели самоварами, зазвенели чашки и ложки, горшки и плошки. По избам шум пошел, рассказы-разговоры. Вспоминали, кому как жилось, кому что видеть, слышать, вынести довелось за это время, чего ожидали, чего дождались... Когда перекусили и чаю напились, местами наладили в чехарду, и можно было подумать, что собрались тут ребята не после боя, а на гулянку из дальних и из ближних деревень в какой-нибудь торжественный престольный праздник.

Вечером в полку Стеньки Разина собрался хор. Певцов было человек двадцать пять, у многих и голоса были отличные, да вот беда — все бои, походы, спеваться-то некогда! А охота попеть была настолько сильной, что на каждой остановке, где хоть чуточку можно дохнуть, певцы собирались в груду, сами по себе, без зова, вокруг любимого и почтенного своего дирижера... И начиналось пение. Подступали, окружали любители и охотники, а потом набиралась едва ли не половина полка... Тут уж кучкой было петь невозможно — затягивали такую, что знали все, и полк сливался в дружной песне... Пели песни разные, но любимыми были про Стеньку Разина и Ермака Тимофеевича. Были и веселые, плясовые. Какой-нибудь замысловатый фальцетик, подмигивая хитро и сощурившись лукаво, заводил на высочайшей ноте:

Уж ты, Дунюшка-Дуня!..
Уж ты, Дунюшка-Дуня.

Хор подхватывал волнами зычных голосов:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...
Дуня, Дунюшка, Дуняша!..

В такт хлопали ладошами, отбивали каблуками, но это еще «бег на месте». Второй куплет не выдерживали, и как только подхватят:

Ах ты, Дуня-Дуня-Дуня...—

откуда ни возьмись, на середину выскакивают разом два-

три плясуна, и пошла рвать... Пляшут до семи потов, до одурения, почти до обморока... Одни за другими, одни за другими...

Песен мало — явится гармошка... Пляс и гармошка зачастую вытесняют хор, но больше потому, что уж напелись, перехрипели петухами...

Особо хлестко плясала полковая «интеллигенция» — фуражиры, каптеры, канцеляристы... Но не уступали им и батальонные и ротные командиры — тоже плясали лихо!

Часто перемежались. Поют-поют, не станет мочи — плясать начнут. Перепляшутся до чертиков, вздохнут да опять за песни,— и так насколько хватит глотки и ног.

За последние месяцы привились две новые песни, где больше всего нравились припевы,— и пели с величайшим подъемом и одушевлением. Мотивы старые, а слова заново. Первый припев таким образом был сработан из старого:

Так громче, музыка, играй победу.
Мы победили, и враг бежит-бежит-бежит...
Так за Совет народных комиссаров
Мы грянем громкое ура-ура-ура!

Второй припев обошел всю Красную Армию:

Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем в борьбе за это...

Слова тут пелись ничего не значащие,— хорошая песня еще не появилась, но припев... припев пели удивительно.

— А ну, «вечную память»,— предлагает кто-то из толпы.

Певцы многозначительно переглянулись.

— Разве и в самом деле спеть?

— А то што...

— Запевалу давай сюда, запевалу!

Протискался высоченный сутулый рябоватый детина. Встал посередке и без дальнейших разговоров захрипел густейшим басом:

— Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, на врага победу и одоление подаждь, господи!

Он остановился, глянул кругом, как будто говорил: «Ну, теперь вам очередь»,— и стоявшие заныли протяжно:

— Го-о-о-споди, по-оми-луй...

— Всероссийской социалистической Красной Армии с вождем и товарищем Лениным,— гремел он дальше,— геройскому командному составу двадцать пятой стрелковой и всему двести восемнадцатому Стеньки Разина полку мно-о-огая ле-та!

Хор грянул «многая лета»...

— ...Артиллеристам, кавалеристам, телефонистам, мотоциклистам, пулеметчикам, бомбометчикам, минометчикам, аэропланным летчикам, разведчикам, пехотинцам, ординарцам, кашеварам, мясникам и всему обозу мно-о-о-огая ле-е-та!..

И снова подхватили «многая лета» — дружно, весело, зычно. Лица у всех веселые, расплылись от улыбок, глаза торжественно и гордо говорят: «Не откуда-нибудь взяли — у себя в полку сложили эту песню!»

Запевала пониженным и еще более мрачным тоном выводил:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи: сибирскому верховному правителю, всех трудящихся мучителю, его высокопревосходительству белому адмиралу Колчаку со всей его богохранимой паствою — митрополитами-иезуитами, архиепископами и епископами, бандитами, шпионами и агентами, чиновниками, золотопогонниками и всеми его поклонниками, белыми колченятами, обманутыми ребятами и прихвостнями-прихлебаками — господами чехословаками... ве-е-еч-ная... па-а-а-мять!

Потянулось гнусавое, фальшивое похоронное пение. Сделалось тошно, словно и впрямь запахло дохлятиной.

— Всем контрреволюционерам,— оборвал поющих заканчивающий запевала,— империалистам, капиталистам, разным белым социалистам, карьеристам, монархистам и другим авантюристам, изменщикам и перегонщикам, спекулянтам и саботажникам, мародерам и дезертирам, толстопузым банкирам, от утра до ночи — всей подобной сволочи — ве-е-чная па-амять!

Хор, а с ним и все стоявшие тут красноармейцы затянули «вечную память».

Окончив, стояли несколько мгновений молча и неподвижно, как будто ожидали чьей-то похвалы... Этим акафистом гордились в полку чрезвычайно, слушать его очень любили и подряд иной раз выслушивали по три-четыре раза.

С песнями и пляской канителились до глубокой ночи, а наутро, чуть свет — выступать! И это ничего, что позади — бессонная ночь: быстр и легок привычный шаг!

Чишму считали ключом Уфы. Дорога теперь очищена. Все говорит за то, что враг уйдет за реку и главное сопротивление окажет на том берегу Белой.

Еще быстрей, еще настойчивей устремились войска преследовать отступающую колчаковскую армию.

— Теперь Уфа не уйдет,— говорил Чапаев,— как бы только правая сторона не подкузьмила!

Он имел в виду дивизии, работавшие с правого фланга.

— Почему ты так уверенно? — спрашивали его.

— А потому, что зацепиться ему, Колчаче, не за што — так и покатится в Сибирь.

— Да мы же вот зацепились под Самарой,— возражали Чапаеву.— А уж как бежали!

— Зацепились... ну, так што?..— соглашался он и не знал, как это понять. Мялся, подыскивал, но объяснить так и не смог. Ответил: — Ничего, што мы зацепились... а он все-таки не зацепится... Уфу возьмем...

Эта уверенность в победе была свойственна большинству, ею особенно были полны рядовые бойцы. Когда в полках каким-нибудь образом ставился и обсуждался вопрос о близких возможностях и боевых перспективах, там был лишь один счет — на дни и часы. Никогда не говорили про живые силы, про технику врага, степень его подготовки, силу сопротивляемости. Говорили и считали только так:

«Во вторник утром будем в этом поселке, а к вечеру дойдем до реки. Если мостишко не взорван, вечером же и на тот берег уйдем, а ежели взорван — раньше утра не быть... В среду вечером должны будем миновать вот такую-то станцию, а в четверг...» и т. д. и т. п.

Будто шли походным маршем, не имея перед собой врага, так точно рассчитав по дням и по часам, где, когда можно и следует быть. В расчетах ошибались редко — обычно приходили раньше предположенного срока. Да и сама Уфа взята была раньше назначенного и предположенного дня.

Быстрота движения временами изумляла. Выносливость красноармейцев была поразительна. Бойцы не знали преград и не допускали возможности, что их может что-то остановить. Чишминский бой, когда бросались с бомбами на броневые поезда, и впрямь показал, что преграды красным бойцам поставить трудно. Теперь за Чишму прислали награды,— их надо было распределить по полкам. Но тут получился казус. Один из геройских, особенно отличившихся полков наград не принял. Красноармейцы и командиры, которым награды были присуждены, заявили, что все они, всем полком одинаково мужественно и честно защищали Советскую республику, что нет среди них ни дурных, ни хороших, а трусов и подавно нет, потому что с ними разделались бы свои же ребята. «Мы желаем остаться без всяких наград,— заявили они.— Мы в полку своем будем все одинаковые...» В те времена подобные случаи были очень, очень частым явлением. Такие бывали порывы, такие бывали высокие подъемы, что диву даешься! На дело смотрели как-то особенно просто, непосредственно, совершенно бескорыстно:

К стр. 118

«Зачем я буду первым? Пусть буду равным! Чем сосед мой хуже, чем он лучше меня? Если хуже — давай его выправлять, если лучше — выправляй меня, но и только».

В Пугачевском полку еще в 1918 году человек триста бойцов организовали своеобразную «коммуну». У них ничего не было своего: все имущество — одежда, обувь — считалось общим, надевал каждый то, что ему в данный момент более необходимо... Жалованье и все, что получали из дому, опять-таки отдавали в общий котел... В бою эта группа была особенно солидарна и тесно спаяна... Теперь, конечно, вся перебита или изуродована, потому что героизма была полна необыкновенного.

Отказ полка от наград был только наиболее ярким выражением той пренебрежительности к отличиям, которая характерна была для всей дивизии, в том числе и для коммунистов, для политических работников, больших и малых. По крайней мере в тот же день, собравшись в политотделе, товарищи просили Клычкова, вполне с ними солидарного, отослать в ЦК партии протест относительно системы награждений и выявить на этот вопрос свой принципиальный взгляд. Потолковали и послали следующую бумажку:

«Дорогие товарищи!

Когда одному из геройских полков мы стали выдавать награды, красноармейцы запротестовали, от наград отказались, заявили, что они все одинаково геройски дрались, дерутся и будут драться за Советскую власть, а потому не хотят никаких отличий, желают остаться равными среди всех бойцов своего полка. Эта высшая сознательность заставляет нас, коммунистов, задуматься вообще над системой отличий, которая установилась в Красной Армии. Выбрать лучшего никогда невозможно, так как невозможно установить какой-либо единый критерий ценности. Один проявит богатую инициативу; другой — предусмотрительность, спасшую сотни человеческих жизней; третий — мужество, выдержку, хладнокровие; четвертый — безумную храбрость; пятый — систематической, кропотливой работой способствовал росту боеспособности частей и т. д. и т. д.— да разве все можно пересчитать?

Говоря откровенно, награды часто выдаются сплеча. Есть случаи, когда их получали по жребию. Были случаи драк и кровавых столкновений; на наш взгляд, награды производят действие самое отвратительное и разлагающее. Они родят зависть, даже ненависть между лучшими бойцами, дают пищу всяким подозрениям, сплетням низкого пошиба, разговорам на тему о возврате к прошлому и прочее.

Они же слабых склоняют на унижение, заискивание, лесть,

подобострастие. Мы еще не слышали ни от одного награжденного, чтобы он восторгался наградою, чтобы ценил эту награду, глубоко, высоко чтил. Ничего подобного нет. С кем ни приходилось говорить из командиров и рядовых бойцов — все одинаково возмущаются и протестуют против наград. Разумеется, если награды будут присылаться и впредь — они будут распределяться, но если отменят их начисто — поверьте, что никто об этом не пожалеет, а только порадуются и вздохнут облегченно...»

Такое письмо послали в ЦК партии. Ответа никогда никакого не получили. В письме этом много и неверного и наивного: тут нет государственного подхода к вопросу, немножко слащавит от нежности и приторной доброты, но все это искренне, все это чистосердечно, все это очень, очень в духе, в характере того времени!

Тут же, всего через несколько дней, послали в ЦК другое письмо, за ним было послано и третье, но про него — потом.

Второе письмо — в тех же самых тонах, что и первое: писано оно по поводу новых окладов жалованья. Дело в том, что за время движения на Уфу, несмотря на временные голодовки, в общем положение с питанием было довольно сносное, так как в критических случаях продовольствие можно было достать и у населения. Голодали только тогда, когда подвоз отчего-либо прекращался совершенно, а двигались полки и быстро и по таким местам, где все было разорено, сожжено, уничтожено. Да, тут приходилось туго!

На фронте очень часто случается так, что деньги девать решительно некуда, и они являются сущим бременем тому, у кого нет до них специальной охоты. В те месяцы и годы высочайшего духовного подъема и величайшей моральной чуткости особенно развита была щепетильность — даже у самых больших работников и даже по очень маленьким делам и поводам.

Какой-нибудь комиссар и одевался просто, как рядовой красноармеец, и питался вместе с ними из одного котла, и в походах маялся рука об руку, а умирать в бою всегда торопился первым! Так держали себя лучшие. А случайные прощелыги, своекорыстные, трусливые и непригодные вообще для такой исключительной обстановки — они как-то сами собою вытряхивались из армии: изгонялись, переводились, попросту дезертировали — легально и нелегально. Высочайший авторитет, заслуженный в армии коммунистами, заслужен ими был недаром и нелегко. На все труднейшие дела, во все сложнейшие операции первыми шли и посылались чаще всего коммунисты. Мы знаем случаи,

когда из пятнадцати — двадцати человек убитых и раненых в какой-нибудь небольшой, но серьезной схватке половина или три четверти было коммунистов!

Так вот, повторяем, курс на «уравнение» был тогда серьезнейшим и даже законнейшим. Очень нередки были случаи, когда командиры и комиссары отказывались от специальных окладов, сдавали излишки в полковую кассу, а сами довольствовались тем же, что получали и рядовые бойцы. «Уравнительное» стремление было настолько сильно, что Федор с Чапаевым однажды довольно серьезно совещались о том, каким путем всю дивизию обязать разговаривать на «ты».

Поводом к таким размышлениям было следующее.

Наиболее ответственная публика почти всегда говорит красноармейцу «ты», и это не потому, что пренебрежение какое-нибудь имеет, а естественно считая совершенно излишней эту светскую «выкающую» галантность в боевой, жестокой и суровой обстановке. Там даже как-то нелепо звучали бы эти «вежливые» разговоры — по крайней мере в ту пору они были очень не к делу. Командиры и комиссары и сами были то рабочие, то крестьяне; они с бойцами обращались так же просто, как всю жизнь привыкли просто обращаться со своими товарищами где-нибудь на заводе или в деревне. Какая там еще салонная вежливость! Они просто — и с ними просто. В полку вообще все были между собой обычно на «ты». А вот повыше полка картина получалась другая: тут красноармейцу так же все говорили «ты», а сам он отвечать в том же духе как будто и «не осмеливался». Так вот на тему об «уравнении» Чапаев с Федором и совещались,— толковали, измышляли, предполагали, но ни до чего окончательного так и не дошли.

Представьте же теперь, что получилось, когда дивизия узнала, что оклады всем повышены... всем, но... не красноармейцам?! Первыми запротестовали сами же политические работники. И потому они запротестовали, что действительно не хотели себя отделять от бойцов, и потому, что всякие укоры и подозрения обычно сыпались на них и раньше и обильнее, чем на кого-либо другого. Это им в таких случаях говорили: «Вот смотрите,— на словах-то равенство и братство, а на деле што?»

Эти примитивные и столь обычные вопросы как будто и не должны были бы их смущать, привыкнуть бы к ним пора, но на самом деле обстояло по-иному,— политические работники, сами такие же красноармейцы, как и все остальные, подымались на дыбы и чаще не только успокаивали полки в подобных случаях, а брали на себя обязанность «снестись», заявить «протест» и прочее.

Когда узнали про новые оклады, заволновались все полки.

В политический отдел посыпались один за другим протесты. Федору при его поездках по дивизии уши прожужжали насчет этих «бешеных окладов». Только не подумайте, что увеличение и в самом деле было значительное — нет, оно было крохотное, но тогда ведь и всякие крохи казались караваями.

В те дни собралось как раз дивизионное партийное совещание, надо было обсудить коротко и спешно ряд вопросов в связи с приближением к Уфе...

На этом совещании просили Клычкова снова послать протест в ЦК, и Федор, узнав, что и комсостав в большинстве думает так же, послал туда новую грамоту:

«Дорогие товарищи!

Пишу вам от имени политических работников нашей дивизии и лучшей части командного состава. Мы совершенно недовольны и возмущены теми новыми окладами жалованья, которые нам положены теперь. Оклады бешеные, неимоверно высокие. Куда, на что нам деньги? Кроме разврата, они в нашу среду ничего не внесут. Не говорю уже про удешевление рубля, про быстрый рост цен на продукты и пр., но и сами-то мы приучаемся шиковать, барствовать и бросаться деньгами, или, наоборот, затаивать, копить большие суммы, скопидомничать... А при всем этом красноармейцу не прибавлено ни гроша. Знает ли об этом партия? Не чужие ли люди стравливают нас с красноармейцами? А глухой ропот в Красной Армии становится ведь все более и более явственным. Может быть, высокие оклады нужны на Петербургском и других голодных фронтах, но зачем же они нам, когда хлеб и масло здесь почти даром. Делили бы на полосы, что ли! Мы стремились даже к тому, чтобы всем политработникам сравняться жалованьем с красноармейцами, а тут награждают нас новыми прибавками. Волков вы никогда и ничем не накормите, а нас прикармливать не требуется,— нас и голодных не угонишь от борьбы!»

Письмо опять-таки отдает больше сердечной теплотой, чем серьезностью, а в некоторых пунктах и сгущено определенно, хотя бы насчет этого самого «шикованья и барствования». Ну, какой там шик, на фронте-то, какое барство в походах да боях!

Только намеки чуточные могли быть на некоторое улучшение, и «словечки» эти надо понимать, конечно, только как «красивые словечки». Потом насчет ЦК. Почему, в самом деле, запрос наладили прямо туда, а не в армию, не во фронтовые учреждения, не в центральные органы Красной Армии? Да потому, что вопрос этот считали, разумеется, всеобщим, а не только дивизионным или армейским. Зато в ЦК вера была

глубочайшая, какая-то благоговейная, а успеху своего обращения верили настолько, что даже ответа ждали немедленного...

О нашей наивности говорила, между прочим, и приписка к письму в ЦК, производившая впечатление приклеенной ни к селу ни к городу.

В этой приписке шла речь о бедности ресурсов по части постановки в армии спектаклей и концертов. Заканчивалась она словами:

«Необходимо надавить куда следует, *родить* сборники свежих пьес, благородных песен и истинно художественных произведений прозой и стихами. Если сборники уже изданы (мы их не видим) — гоните их, товарищи, срочно на позицию!»

Здесь уже не только вера во всемогущество ЦК, но и полная безнадежность по части своих военных «главков». Наивные! Они тогда у себя на позиции и не знали, что нельзя приказать «родить» сборники,— их надо выносить, им надо дать созреть и родиться нормальным порядком, в свои сроки. А между тем ждать нормального «рождения» сборников не было времени, не было терпения. И потому, не видя исхода, тыкались по всякому делу куда придется. В работе часто шел разнобой, пререкания, ненужное вмешательство, ненужные обиды, угрозы, репрессии.

Взять хотя бы, например, «женский вопрос» в Красной Армии. Чего-чего по этому вопросу только не говорилось, не писалось, не приказывалось, а на деле что выходило? На деле всегда получалось одно только «по усмотрению». Были распоряжения — не всегда гласные и официальные — убрать из армии всех жен и женщин вообще. И этот «очистительный» порыв имел под собою массу серьезных оснований: жены были не только у командиров и комиссаров — они целыми стаями носились за красноармейскими полками, часто с домашним скарбом, иные с ребятами... И все это огромное «тыловое войско» грузилось на казенные повозки! Подумайте только, какая уйма крестьянских подвод занята была постоянно самой непроизводительнейшею работой! Затем и такие были соображения: как водится, из-за женщин по разным поводам случались скандальчики и самые настоящие скандалы,— это в армии дело совершенно неизбежное. Да как же иначе, раз она, армия, целые месяцы и годы вынуждена жить особенной, замкнутой жизнью, оторванной от многого абсолютно необходимого.

Затем женщина, и, в частности, жена, бывала частенько причиною тому, что муж вместо вопросов военных немало времени уделял другим, для боевой, походной жизни частным и

сторонним вопросам. Именно среди женщин очень часто попадались шпионки и разведчицы. Словом, много было причин к тому, чтобы издавать о женщинах особые приказы и распоряжения. Но какое же тут получалось скандальное положение, когда начинали приказания проводить в жизнь. Первым делом на дыбы поднимались полки, особенно после того, как узнают, что в дивизии все женщины сохранились налицо. Кое-как с ними улаживали. Брались за чистку органов, но тут убрать женщин — совсем не то же, что от полка отделить несколько сотен красноармейских жен. Как вы уберете нужных работниц, да притом же действительно никем не заменимых? Как вы и почему уберете из полков тех женщин-санитарок, тех героинь-красноармеек, которые рядовыми бойцами сражались и гибли в атаках? Зачем вы уберете политических работниц, коммунисток, сестер милосердия, фельдшериц, которых так мало, которые так нужны? А ведь приказы отдавались частенько безоговорочно, понимались доподлинно и проводились куда как прямолинейно!

К Федору прибежали как-то запыхавшиеся ткачихи-красноармейки и просили вступиться, так как их убирают из полка. Они ему наскоро рассказали, что в их среде было четыре «позорных», но они их сами исключили из своей среды и спровадили из полка. Пришлось Клычкову самолично ехать в полк и разъяснять там кому следует, чтобы их не трогали, не исключали.

Можно себе представить, насколько вопрос этот являлся запутанным и неясным, когда сами руководители дивизии не могли в нем разобраться как следует!

Бригада Еланя Чишму взяла стремительным, коротким ударом, выхватив ее у бригады Попова, которой операцию эту поручалось провести. Попов с полками шел мимо озера Лели-Куль, все время вверх по Дёме-реке, и, когда пала Чишма, он был совсем неподалеку.

На фронте часто бывает, когда небольшой успех, отнятый у другого, является началом и причиной серьезной, большой катастрофы. Зарвется какой-нибудь командир, погонится за эффектом неожиданного сильного удара, отхватит часть задачи, порученной соседу,— и перепутает своею победой все карты. Лучше бы ее и не было, этой победы! Победа не всегда является успехом, она может дать и худые результаты.

Когда затевается, положим, глубокий обход противника флангами, окружение и захват его целиком, в это время какая-нибудь лихая голова вдруг ударяет неприятеля в лоб, спугивает, перепутывает весь план действий и своей частичной «победой»

наносит безусловный вред общему, более крупному и серьезному замыслу. Так могло получиться и теперь, когда Елань влетел в Чишму, а в тылу у него, на берегу Дёмы, остались неприятельские полки. Они его могли потрепать ощутительно, если бы вовремя со своей бригадой не подоспел Попов. Взаимопомощь в Чапаевской дивизии была развита до высокой степени, и каждая часть настойчиво и быстро помогала другой части, попавшей в трудное положение. Не всегда и не везде так бывало, наблюдалось и обратное. Результаты неизменно от этого были тяжкие.

Попов, как только уяснил обстановку, немедленно вступил с неприятелем в бой, отвлек на себя все его внимание и, пользуясь замешательством в его рядах, жал и жал к реке. Артиллерийская канонада была настолько жарка, что целых три орудия выбыли из строя. Неприятеля угнали за Дёму. Уходя, он взорвал все мосты, на возврат, видимо, не рассчитывал, и сломя голову мчался к Белой[1]. Тут остановок не было серьезных,— Чишма была последним пунктом, где колчаковские полки на что-то рассчитывали до Уфы, а дальше настроение у них, видимо, переменилось глубоко и невозвратно,— дальше был только организованный отход, без серьезных попыток на этом берегу дать начало «перелому», про который там еще не переставали говорить и на который надеялись так же, как надеялось когда-то под Бузулуком и Бугурусланом красное командование.

XIII. УФА

Неприятель ушел за реку, взорвал все переправы и ощетинился на высоком уфимском берегу жерлами орудий, пулеметными глотками, штыками дивизий и корпусов. Силы там сосредоточились большие: с Уфимским районом Колчак расставаться не хотел, и с выигрышных высот правого берега Белой он безраздельно командовал над подступавшими с разных сторон красными дивизиями.

Уфу предполагалось брать в обхват. Дивизиям правого фланга была дана задача выйти в неприятельский тыл, к заводу Архангельскому, но затруднительность движения им не позволила переправить за Белую еще ни одного бойца к тому моменту, когда другие части уже вплотную подступили к берегу.

Против Уфы выросла Чапаевская дивизия. Она своим правым флангом, бригадой Попова, застыла над огромным мостом,

---

[1] Река, на которой стоит Уфа.

идущим высоко над рекой прямо в город, левый же фланг отскочил до Красного Яра, небольшого селеньица верст за двадцать пять вниз по Белой,— сюда подошли бригады Шмарина и Еланя.

Когда у Красного Яра переправятся части и пойдут на город, поповская бригада должна была поддержать их, переправившись у моста. Он был еще цел — огромный чугунный мост, но никто не верил, что неприятель оставит его нетронутым; предполагали, что мост непременно должен быть минирован, и поэтому переправляться по нему не следует. Идущий с высокой насыпи по мосту железнодорожный путь был местами разобран, а посередине втиснулись несколько вагонов, груженных щебнем и разным мусором. Переправляться было здесь пока совершенно не на чем,— это уже впоследствии раздобыли откуда-то бойцы несколько лодок, приволокли бревна и доски и увязали их в жиденькие подвижные плоты.

Главный удар намечался все-таки со стороны Красного Яра. Вынеслась на берег кавалерия Вихоря. Недалеко от Красного Яра по Белой преспокойно тянулся буксир и два небольших пароходика. Публика была на них самая разнообразная, а больше всего, конечно, военных,— из них десятка три офицеров. Непонятна, удивительна была эта беспечность — словно и не думали люди о возможности налета с берега или же и вовсе не знали того, что так близко красные полки. Кавалеристы рты разинули, когда увидели на палубе «господ» в погонах. Офицеры сразу тоже не разобрались — за своих, верно, приняли...

— Стой! — прокомандовали с берега.

— Зачем вставать? — крикнули и оттуда.

— Останови пароходы, огонь откроем!.. Причаливай к берегу! — кричали кавалеристы.

Но там поняли, в чем дело, попытались ускорить ход, думали прокатить к болотам, куда по берегу кавалерии не дойти... Лишь это заметили кавалеристы — грозно заревели:

— Останови, останови!!!

Пароходы продолжали идти. С палубы раздались первые выстрелы. Кавалерия отвечала. Завязался неравный бой. Подскочили с пулеметом, зататакали. На пароходах взвыли, стремглав слетели вниз, прятались где могли. Пароходы причаливали. Офицеры не хотели сдаться живыми — почти все перестрелялись, бросались в волны... Эти пароходики были сущим кладом,— они сыграли колоссальную роль в деле переправы через Белую красных полков и сразу облегчили то затруднительное положение, с которым столкнулось красное командование. Пароходики припрятали, не давали неприятелю узнать, что в руки попала такая драгоценность.

За два дня до наступления Фрунзе, Чапаев и Федор приехали туда на автомобиле и сейчас же созвали совещание командиров и комиссаров, чтобы выяснить все обстоятельства и особенности наличной обстановки, учесть и взвесить все возможности, еще и еще раз подсчитать свои силы и шансы на успех.

У Фрунзе есть одна отличная черта, которая прежде всего ему же самому и помогает распутывать самые, казалось бы, запутанные и сложные дела: он созывает на товарищеское совещание всех заинтересованных, ставит им ребром самые главные вопросы, отбрасывая на время второстепенные, сталкивает интересы, вызывает прения, направляет их в надлежащее русло. Когда окончена беседа, самому Фрунзе остается подсчитать только обнаруженные шансы, прикинуть, координировать и сделать неизбежный вывод. Прием этот, казалось бы, очень прост, но удается он не каждому,— во всяком случае, сам Фрунзе владел им в совершенстве.

Когда теперь в Красном Яру собрались вожди дивизии, надо было учитывать, помимо техники и количества бойцов, еще и качество их, касаясь именно этой исключительной обстановки. Выбор пал на рабочий Иваново-Вознесенский полк. Этот выбор был сделан не случайно. Полки бригады Еланя покрыли себя бессмертною победной славой, они были в отношении боевом на одном из первых мест, но для *данного момента* надо было остановиться именно на полку высокосознательных красных ткачей — здесь одной беззаветной удали могло оказаться недостаточно.

Совещание окончилось. Вскочили на коней, поскакали к берегу, откуда должна была начаться переправа. Коней оставили за полверсты, а сами пешком пошли по песчаному откосу, посматривая на тот берег, ожидая, что вот-вот поднимется пальба. Но было тихо. Забрались на косогор и оттуда в бинокль рассматривали противоположный берег, облюбовали место, окончательно и точно договорились о деталях переправы и уехали обратно. Вскоре к месту ожидаемой переправы пригнали два пароходика; третий стоял на мели. Стали нагружать топливо, сколачивать подмостки.

Задержались еще на целые сутки. Уж близки решительные часы... Условились так, что переправою у Яра будет руководить сам Чапаев, а Федор поедет к мосту, где раскинулась поповская бригада, и будет направлять эту операцию вплоть до вступления в город. Разъехались.

Уж с вечера на берегу у Красного Яра царило необычайное оживление. Но и тишина была для таких случаев необычайная. Люди шныряли, как тени, сгруппировывались, таяли и пропа-

дали, собирались снова и снова таяли,— это готовился к переправе Иваново-Вознесенский полк. На пароходики набивали народу столько, что дальше некуда. Одних отвозили — приезжали за другими, снова отвозили — и снова возвращались. Так во тьме, в тишине перебросили весь полк. Уж давно миновала полночь, близился рассвет.

В это время батареи из Красного Яра открыли огонь. Били по ближайшим неприятельским окопам, замыкавшим ту петлю, что в этом месте делает река. Ударило разом несколько десятков орудий. Пристрелка взята была раньше, и результаты сказались быстро. Под таким огнем немыслимо было оставаться в окопах,— неприятель дрогнул, стал в беспорядке перебегать на следующие линии. Как только об этом донесли разведчики, артиллерия стала смолкать, а подошедшие иваново-вознесенцы пошли в наступление — и погнали, погнали вплоть до поселка Новые Турбаслы... Неприятель в панике отступал, не будучи в состоянии закрепиться где-нибудь по пути. На плечах бегущих вступили в Турбаслы иваново-вознесенцы... Здесь остановились,— надо было ждать, пока переправится хоть какая-нибудь подмога, зарываться одному полку было крайне опасно. Закрепились в поселке. А пугачевцы тем временем наступали по берегу к Александровке... Грузились разинцы и домашкинцы — они должны были немедленно двигаться на подмогу ушедшим полкам. Переправились четыре броневика, но из них три разом перекувырнулись и застряли на шоссе; их потом поднимали кавалеристы и поставили на ноги, пустив в дело...

Тем временем неприятель, отброшенный кверху, оправился и повел наступление на Иваново-Вознесенский полк. Было уже часов семь-восемь утра. Пока стояли в Турбаслах и отстреливались от демонстративных атак, пока гнали сюда, за поселок, неприятеля — ивановцы расстреляли все патроны и теперь оставались почти с пустыми руками, без надежды на скорый подвоз, помня приказ Еланя, командовавшего здесь всею заречной группой:

«Не отступать, помнить, что в резерве только штык!»

Да, у них, у ткачей, теперь, кроме штыка, ничего не оставалось. И вот, когда вместо демонстративных атак неприятель повел настоящее широкое наступление,— дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Теперь полком командовал наш старый знакомый — Буров: его из комиссаров перевели сюда. Комиссаром у него — Никита Лопарь. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать все равно некуда — позади река, перевозить нельзя, что надо встать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать.

В это время к цепям подскакали несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это — Фрунзе, с ним начальник политотдела армии Траллин, несколько близких людей... Он с винтовкой забежал вперед: «Ура! Ура! Товарищи! Вперед!!!» Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный! Редко-редко стреляли, патронов было мало, они неслись со штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали... Елань своих ординарцев послал быть неотлучно около Фрунзе, наказал:

«Если убьют, во что бы то ни стало вынести из боя и сюда на переправу, к пароходу!»

На повозках уже гнали от берега патроны; их подносили ползком, как только цепи залегли за Турбаслами. Когда помчались в атаку, прямо в грудь пуля сбила Траллина; его подхватили и под руки отвели с поля боя. Теперь на том месте, где была крошечная смертельная ранка, горит у него орден Красного Знамени.

Перелом был совершен, положение восстановлено. Фрунзе оставил полк и поехал с Еланем к другому полку, к пугачевцам. Взбирались на холмики, на пригорки, осматривали местность, совещались, как лучше развивать операцию, вновь и вновь разучивали карту, всматривались пристально в каждую точку, сравнивали с тем, что видели здесь на самом деле. Пугачи продолжали идти по берегу. Стали подходить разинцы и батальоны Домашкинского полка; они выравнивались вдоль шоссе. В полдень был отдан приказ об общем дальнейшем наступлении. Пугачевцы должны были двигаться дальше по берегу, разинцы и батальоны Домашкинского — в центре, а с крайнего левого фланга — иваново-вознесенцы; они уже заняли к тому времени Старые Турбаслы и стали там на передышку. Как раз в это время показались колонны неприятельских полков; они с севера нависали ударом мимо иваново-вознесенцев — в центр группы, готовой к наступлению.

— Это, может быть, стада? — предполагали иные.

— Какие стада, когда штыки сверкают! — замечали им.

Видно ли было сверканье штыков — сказать нельзя, но уж ни у кого не было сомнения, что идут неприятельские полки, что от этого боя зависеть будет очень многое. Фрунзе хотел участвовать и в этой схватке, но Елань упросил, чтобы он ехал к переправе и ускорил переброску полков другой дивизии. Согласились, что это будет лучше, и Фрунзе поскакал к переправе. Скоро под ним убило лошадь и самого жестоко контузило

разорвавшимся поблизости снарядом. Но, и будучи контужен, он не оставил там работы, на берегу — подгонял, помогал советом, переправил туда часть артиллерии.

Прежде всех подвел к Иваново-Вознесенскому полку батарею Хребтов. Он встал позади цепей и в первом же натиске неприятельском, когда застыли цепи в состоянии дикого, окостенелого выжидания, открыл огонь. И бойцы, заслышав свою батарею, вздрогнули весело, пошли вперед...

Наступление развить не удалось,— на разинцев и домашкинские батальоны навалилась грудью вся та огромная масса, что двигалась с севера. Слишком неравные были силы, слишком трудно было удержать и перебороть этот натиск,— разинцы дрогнули, отступили. В одном батальоне произошло замешательство,— там было мало старых бойцов, больше свежей, непривыкшей молодежи; этот батальон сорвался с места и помчался к берегу, за ним кинулись отдельные бойцы других батальонов. Остальные медленно отступали, отбиваясь от наседавшего неприятеля. Иваново-вознесенцы задержались под Турбаслами. Теперь часть неприятельских сил обратилась на них. Елань подскакал к Хребтову.

— Разинцы, Хребтов, отступают, надо помогать! Поверни орудия, бей правее по тем частям, что преследуют отступающих!..

И Хребтов повел обстрел. Верный глаз, смекалка и мастерство испытанного, закаленного артиллериста сделали чудо: снаряд за снарядом, снаряд за снарядом — и в самую гущу, в самое сердце неприятельских колонн... Там растерялись, остановили преследование, задержались на месте, понемногу стали отступать, а огонь все крепчал, снаряды все чаще, все так же верно ложились и косили неприятельские ряды. Наступление было остановлено. Разинцы встрепенулись, ободрились. В это время Чапаеву на том берегу помогал при переправе Михайлов. Когда он увидал, что к берегу сбежалась масса красноармейцев, понял, что дело неладно, побежал к Чапаеву, хотел доложить, но тот уж все знал — только что по телефону обо всем переговорил с Еланем.

Только заикнулся Михайлов рассказать ему, что видел, а Чапаев уж приказывает:

— Михайлов, слушай! Сейчас только погрузили мы еще батальон... Туда нужны силы... Этого мало... Надо отогнать этих с берега... Понял? От них — одна гибель! Поезжай, возьми их обратно, за собой. Понял?

— Так точно,— и Михайлов уж на том берегу.

Разговор у него короток, да и нет времени разговаривать. Иных бегущих плеткой, иных револьвером задержав, остановил, крикнул:

— Не смей бежать! Куда, куда бежите? Остановись! Одно

спасенье — идти вперед! За мной, чтобы ни слова! Кто попытается бежать — пулю в голову! Сосед, так его и стреляй! За мной, товарищи, вперед!!!

Эти простые и так нужные в ту минуту слова разогнали панику. Бежавшие остановились, перестали метаться по берегу, сгрудились, смотрели на Михайлова и недоуменно, и робко, и с надеждой:

«А не ты ли и вправду спасешь нас, грозный командир?»

Да, он их спас. В эти мгновенья иначе как плетью и пулей действовать было нельзя. Он взял их, повел за собою. Построил как надо, толпу снова превратил в организованное войско. И теперь, когда подходил с ними навстречу отступавшим двум разинским батальонам и домашкинцам, те вздрогнули радостью, закричали:

— Пополнение идет, пополнение!

В такие минуты ошибку рассеять было бы преступлением — их так и уверили, что тут показалось действительно пополнение. Батальоны повернулись, пошли в наступление... Но победы здесь не было. Только-только удалось неприятеля отогнать, и, когда отгоняли, главные силы его загнали на Иваново-Вознесенский полк. Он очутился под тяжким ударом, он выдержал одну за другой четыре атаки нескольких неприятельских полков. Здесь героизм и стойкость были проявлены необыкновенные. Выстояли, выдержали, не отступили, пока не подошли на помощь свои полки и облегчили многотрудную обстановку...

Ушедших по берегу пугачевцев, чтобы не дать им оторваться, надо было оттянуть обратно. Когда приказание было отдано и они стали отходить — молчавший и, видимо, завлекавший их неприятель открыл одну за другой ряд настойчивых атак. Пугачевцы отступали с потерями... Схватывались, отбивались, но в контратаку не ходили — торопились скорее успеть на линию своих полков.

И когда все части снова были оттянуты к шоссе, сюда пришло известие о том, что Чапаев ранен в голову, что Еланю поручается командование дивизией... Тяжелая весть облетела живо полки, нагнав на всех тяжелое уныние... Вот и не видели бойцы здесь, в бою, Чапаева, а знали, что тут он, что все эти атаки, наступления и отходы, что все это не мимо него совершается. И как бы трудно ни было положение, верили они, что выход будет, что трудное положение минует, что такие командиры, как Чапаев и Елань, не заведут на гибель.

Узнав про чапаевское ранение, все как-то сделались будто тише и грустней... Наступление к тому времени уже остановилось, сумерки оборвали перестрелку. Затихло все. Над полками

тишина. Во все концы стоят сторожевые охранения, всюду высланы дозоры. Полки отдыхают. Наутро, перед зарей, назначено общее наступление.

Находясь при переправе, Чапаев каждые десять минут сносился телефоном то с Еланем, то с командирами полков. Связь организована была на славу,— без такой связи операция проходила бы менее успешно. Чапаев все время и всегда точно знал обстановку, складывавшуюся за рекой. И когда там начинали волноваться из-за недостатка снарядов или патронов, Чапаев уже знал эту нужду и первым же пароходом отсылал необходимое. Неизменно справлялся о настроении полков, об активности неприятеля, силе его сопротивления, о примерном количестве артиллерии, о том, много ли офицеров, что за состав войска вообще,— все его занимало, все он взвешивал, все учитывал. Он нити движения ежеминутно держал в своих руках, и короткие советы его по телефону, распоряжения его, что посылал с гонцами,— все это показывало, как он отчетливо представлял себе обстановку в каждый отдельный момент. Смутили его на время неприятельские аэропланы, но и тут не растерянность, а злоба охватила: у наших летчиков не было бензина, они не могли подняться навстречу неприятельским. Громы-молнии помочь здесь не могли, так свои аппараты и остались бездействовать. Пришлось всю работу на берегу проводить под разрывами аэроплановых бомб, под пулеметным обстрелом с аэропланов... Но делать было нечего... Скоро орудийным огнем заставили неприятельских летчиков подняться выше, но улететь они не улетели. Этот обстрел с аэропланов нанес немало вреда. Во время этой стрельбы ранило и Чапаева. Пуля пробила ему голову, но застряла в кости... Ее вынимали — и шесть раз срывалась. Сидел. Молчал. Без звука переносил мученье. Забинтовали, увезли Чапаева в Авдонь — местечко верстах в двадцати от Уфы. Это было к вечеру 8-го, а на утро 9-го было назначено наступление...

Упорная работа на берегу, исключительная заслуга артиллеристов, отличная постановка связи, быстрая, энергичная переброска на пароходах — все это говорило о той слаженности, о той организованности и дружной настойчивости, с которою вся операция проводилась. Здесь не было заслуги отдельного лица, и здесь выявилась коллективная воля к победе. Она просвечивала в каждом распоряжении, в каждом отдельном исполнении, в каждом отдельном шаге и действии командира, комиссара, рядового бойца...

Поздно вечером к Еланю привели перебежчика-рабочего. Он уверял, что утром рано пойдут в атаку два офицерских батальона и Каппелевский полк; они пойдут на пугачевцев, чтобы, пробив здесь брешь, отрезать остальные полки и, окружив, уничтожить при поддержке других своих частей, остановившихся севернее. Рабочий клялся, что сам он с Уфимского завода, что сочувствует Советской власти и перебежал, рискуя жизнью, исключительно с намерением предупредить своих красных товарищей о грозящей опасности. Сведения получил он совершенно случайно, работая в том доме, где происходило совещание. Он клялся, что говорит правду, и чем угодно готов был ее подтвердить. И верили ему — и не верили. На всякий случай свое наступление Елань отсрочил на целый час. Усилили дозоры. Приготовились встретить десятками пулеметов. Рабочего взяли под стражу, объявили ему, что будет расстрелян, если только сведения окажутся ложными и никакого наступления белых не произойдет...

Мучительно долго тянулась ночь. В эту ночь из командиров почти никто не спал, несмотря на крайнюю усталость за минувший страдный день. Все были оповещены о том, что рассказал рабочий. Все готовы были встретить врага. И вот подошло время...

Черными колоннами, тихо-тихо, без человеческого голоса, без лязга оружия шли в наступление офицерские батальоны с Каппелевским полком... Они раскинулись по полю и охватывали разом огромную площадь. Была, видимо, мысль — молча подойти вплотную к измученным сонным цепям и внезапным ударом переколоть, перестрелять, поднять панику, уничтожить...

Эта встреча была ужасна... Батальоны подпустили вплотную, и разом, по команде, рявкнули десятки готовых пулеметов... Заработали, закосили... Положили ряды за рядами, уничтожали... Повскакали бойцы из окопов, маленьких ямок, рванулись вперед. Цепями лежали скошенные офицерские батальоны, мчались в панике каппелевцы — их преследовали несколько верст... Этот неожиданный успех окрылил полки самыми радужными надеждами.

Рабочего из-под стражи с почестями отправили в дивизию, из дивизии, кажется, в армию...

Про всю эту историю Елань потом подробно рассказывал Федору (тот был у моста с бригадой Попова); рассказывал и о том, что дальше, после такого успеха, части шли победоносно и безостановочно; вечером 9-го были уже под самой Уфой.

...Разъехавшись с Чапаевым, Федор с несколькими товарищами поехал в ту сторону, где расположена была бригада Попова. Песчаную Уфимскую гору со стороны Авдоня было видно еще верст за двадцать; по скату точками чернели строения, высоким столбом торчала каланча, горели на солнце золотые макушки церквей. Проскакали быстро, выехали на широкую поляну. Сюда неприятель доставал уже артиллерийским обстрелом, поляна была перед ним как на ладони, и как только он замечал здесь движение — открывал огонь. Гурьбою не поехали, разбились гуськом, друг от друга шагов на семьдесят, и один за одним быстро-быстро поскакали к штабу бригады. Переехали полотно железной дороги; здесь валялось по бокам и стояло на рельсах много сожженных, разбитых, поломанных вагонов. Била откуда-то из-за пригорка артиллерия по Уфе, за лесом татакали говорливые пулеметы.

Приехали к Попову. Он остановился на крошечном полустанке верстах в двух-трех от берега. Происходило как раз совещание командиров — выискивали лучшие способы переправиться на тот берег. Порешили переправу ставить в полнейшую зависимость от продвижения двух других бригад и не поддаваться ни на какие соблазны — броситься, положим, через мост, относительно которого почти общее было мнение, что он подготовлен к взрыву. Потолковали о средствах переправы,— их не было. Принялись за поиски этих средств во всех направлениях и кой-что действительно разыскали.

На самом берегу Белой стоят две будки-избушки; там поставили телеграф, провели телефонные провода. В траве, на берегу, по обе стороны от моста залегли полки. Сзади них, за леском, остановились батареи. В эту же ночь решили прощупать неприятеля, узнать окончательно про мост: действительно, мол, минирован или нет (в бригаду поступили сведения, что уфимские рабочие не дают белым войскам ни взрывать этот мост, ни готовить его к взрыву). В одиннадцать часов, когда будет совсем темно, должен прибыть головной отряд рабочих; они вызываются чинить мост, загроможденный вагонами, и поправить разобранный путь... Вот уже одиннадцать, двенадцать, час... Отряда все нет! Он явился только в третьем, когда начинали уже редеть предрассветные сумерки... И лишь только стало известно, что близко отряд, артиллерия из-за леска стала ему «расчищать» дорогу к работе,— батареи разом открыли огонь по берегу, пытаясь выбить неприятеля из первой линии окопов, навести панику, отвлечь внимание от рабочего отряда. Но в расчетах ошиблись. Неприятель на огонь артиллерии ответил еще более частым, жарким огнем, и как только стукнул по рельсам первый молоток, с берега заухали тяжелые орудия.

Прицел у врага великолепный, выверенный до точности,— видно было, что в ожидании красных гостей белые войска практиковались здесь изрядно и серьезно готовились к встрече. Первые два снаряда упали возле переднего каменного столба, как бы только нащупывая нужное место и указывая огненными вехами, где должен упасть третий. Указано было точно: третий снаряд ухнулся как раз на шпалы первого пролета. С грохотом полопались рельсы, во все стороны полетели осколки шпал. Рабочие шарахнулись назад... им так и не удалось пробраться к темневшим впереди вагонам... Лишь только успели они отскочить, как началась торопливая меткая стрельба по цели. Снаряды падали все время на мосту, как раз на шпалы и рельсы, и быстро изуродовали путь. Отряд оттянули за будку, потом его снова вернули, и работа хотя и с перерывами, но подвигалась.

Когда стрельба перенеслась за мост, Федор, Зоя Павловна, две санитарки да человек двадцать бойцов забрались по лестнице, приткнулись на ступеньках, расположились по склону насыпи... Вдруг над головами ахнул разрыв, и все кубарем покатились вниз. На этот раз счастливо — ранило только двоих; санитарки их тут же перевязали, но ребята не ушли, остались на месте. Когда вскочили с земли, кинулись инстинктивно к будке и спрятались за нею, прижавшись по стене... Снаряды визжали и хрипели, стонали, метались над головой, а когда рвалась шрапнель, осколки засыпали избушку, стучали по крыше, то ее пробивали, то соскакивали оттуда и шлепались на землю у самых ног. Первое время будто окостенели, стояли полумертвые, в молчании. Свои снаряды тоже мчались из-за опушки над самой головою, и все жадно слушали их пронзительный визг и свист, а еще более чутко вслушивались, когда летел неприятельский снаряд.

«Сюда или дальше?» — сверлила каждого жуткая мысль.

А визг приближается, усиливается, переходит в страшный, пронзительный скрежет... Будто какие-то огромные чугунные пластины трут одну о другую все быстрее, все быстрее, и они верезжат, и стонут, и скрежещут своим невыносимым чугунным скрежетом...

«Над нами *этот* или пролетит?»

И вдруг визг уж совсем над головой. Вот он пронизал мозги, застыл в ушах, пронесся ураганом по мышцам, по крови, по нервам, заставил дрожать их частой, мелкой дрожью. И все невольным быстрым движением втягивают в плечи головы, сгибаются на стороны, еще теснее жмутся друг к другу, лица закрывают руками, как будто ладони спасут от раскаленного стремительного снаряда... Оглушительный удар... Все вздрогнут и так в окостенении, не дернув ни одним членом,

стоят целую минуту, как бы ожидая, что за разрывом последует что-то еще и даже более страшное, чем этот ужасный удар. По крыше бьются осколки; они шуршат в листве деревьев, ломают сучья, шлепаются на землю, взметая быстрые, короткие вихри. Секунды затаенного дыхания, гробового молчания, а потом кто-нибудь двинется и все еще нетвердым голосом пошутит:

— Пронесло... Закуривай, ребята...

Удивительное дело, но после этих ужасных мгновений разговор возобновляется почти всегда шуткой и почти никогда ничем другим. Потом замолкнут и снова стоят, ждут новых разрывов. Так целые долгие часы, до рассвета... Несколько раз прибегал Попов из соседней избушки, забегал и к нему туда Федор, а потом отправлялся снова на дежурство... Все-таки не оставляла дерзкая мысль: если удастся определить, что мост совершенно цел, ворваться в город хотя бы одним полком и одною внезапностью налета навести панику, помочь идущим от Красного Яра бригадам...

Как только рассвело, пальба прекратилась... Перебрались на полустанок, где расположился штаб.

Измученные бессонной ночью, быстро позасыпали.

А в сумерки — снова к мосту и снова стали нащупывать: цел или нет? Разведчики дошли уже до половины, но их заметили, обстреляли пулеметным огнем... Федор с комиссаром полка тоже пошел к вагонам на мосту. Продвинулись они шагов на двести и запели «Интернационал»... По-видимому, странное чувство испытывали колчаковские солдаты — они не стреляли. Федор что было мочи крикнул с моста:

— Товарищи!..

И как только крикнул, снова заработали пулеметы. Припали на рельсы и поползли... Обошлось благополучно. Они добрались до последнего пролета, поднялись, по лестнице спустились к избушке. Пошли по берегу, где залегли цепи... По траве во все стороны разбросались бойцы, иные отползали в лес, там покуривали, собирались небольшими кучками; другие на животе маршировали к воде, наполняли котелки, возвращались и опоражнивали один за другим, попивая вприкуску с хлебом, передавая друг другу. Их можно было видеть, как то и дело спускались вниз по берегу, пряча голову в острой и жесткой осоке, перед самым носом покачивая полным до краев котелком.

Эта ночь была такая же, как накануне. Пришли сведения, что две бригады уже продвинулись на том берегу от Красного Яра, значит, и здесь наступает что-то решительное. Одна за другой пытаются разведки проникнуть на тот берег или хотя бы к вагонам, застопорившим путь, но неприятель зорко охраняет все щели, все дыры, где только можно было бы проникнуть... Ночь

темная-темная... Там, на берегу, лишь слабые огни — ничего не видно, что делается у врага. Около двух часов утихла артиллерия... Тишина воцарилась необыкновенная... Чуть забрезжил рассвет...

И вдруг со страшным грохотом взорвался мост, полетели в воду чугунные гиганты, яркое пламя заиграло над волнами... Стало светло, как днем...

Все стоявшие у избушки повскакивали на насыпь и всматривались через реку,— так хотелось узнать, что же там творится у врага? И почему именно теперь, в этот час, он уничтожил чугунного великана? Значит, что-то неладно... Может быть, уж отступают?.. Может быть, и бригады уж близко подошли к Уфе?..

Всеми овладело лихорадочное нетерпение... Шли часы. И лишь стало известно, что бригады в самом деле идут к городу, была отдана команда переправляться. Появились откуда-то лодки, повытащили из травы и спустили на воду маленькие связанные плоты, побросали бревна, оседлали их и поплыли...

Неприятель открыл частую беспорядочную пальбу. Видно было, что он крайне обеспокоен, а может быть, и в панике. Артиллерия усилила огонь, била по прибрежным неприятельским окопам... По одному, по двое, маленькими группами все плыли да плыли под огнем красноармейцы, доплывали, выскакивали, тут же в песке нарывали поспешно бугорки земли, ложились, прятали за них головы, стреляли сами...

Прижигало крепко полуденное солнце. Смертная жара. Пот ручьями. Жажда.

И все ширится, сгущается, растет красная цепь. Все настойчивей огонь, и все слабей, беспомощней сопротивление. Враг деморализован.

«Ура!!!» Поднялись и побежали... Первую линию окопов освободили, выбили одних, захватили других, снова залегли... И тут же с ними лежали пленные — обезоруженные, растерявшиеся, полные смертельного испуга. Так, перебежка за перебежкой, все дальше от берега, все глубже в город...

С разных концов входили в улицы красные войска... Всюду огромные толпы рабочих, неистовыми криками выражают они свою бурную радость. Тут и восторги, приветствия доблестным полкам, и смех, и радостные неудержимые слезы... Они подбегают к красноармейцам, хватают их за гимнастерки,— чужих, но таких дорогих и близких,— похлопывают дружески, крепко пожимают руки... Картины непередаваемой силы!

Засаленные блузы шпалерами выклеили улицы, они впереди толпы; все это счастье победы — главным образом счастье для них... Но сзади блуз и рубах по тротуарам, по переулкам,

на заборах, в открытых окнах домов, на крышах, на деревьях, на столбах — здесь все граждане освобожденной Уфы, и они рады встретить Красную Армию. Те, которые были крепко не рады, ушли вон за Колчаком. Полками, полками, полками проходят красные войска. Стройно, гордо поблескивая штыками, идут спокойные, полные сознания своей непобедимой силы. Не забудешь никогда это мраморное, величавое спокойствие, что застыло в их запыленных, измученных лицах!

Сейчас же, немедленно и прежде всего — к тюрьме: остался ли хоть один? Неужели расстреляли до последнего? Распахиваются со скрежетом на ржавых петлях тяжелые тюремные двери... Бегут по коридорам... к камерам, к одиночкам... Вот один, другой, третий. Скорее, товарищи, скорее вон из тюрьмы. Потрясающие сцены! Заключенные бросаются на шею своим освободителям, наиболее слабые и замученные не выдерживают, разражаются истерическими рыданиями... Здесь так же, как и за стенами тюрьмы,— и смех и слезы радости. А мрачный тюремный колорит придает свиданию какую-то особенную, глубокую, символическую и таинственную силу...

Убегая от красных полков, не успели белые генералы расстрелять остатки своих пленников... Но только остатки... Уфимские темные ночи да белые жандармы Колчака — только они могут рассказать, где наши товарищи, которых угрюмыми партиями невозвратно и неизвестно куда уводили каждую ночь. Оставшиеся в живых рассказывали потом, какая это была мучительная пытка — жить в чаду поганых издевательств, бессовестного и тупого глумления офицерских отбросов и каждые сумерки ждать своей очереди в наступающую ночь...

Как только освободили заключенных, всюду расставлены были караулы, по городу — патрули, на окраины — несменяемые посты... Ни грабежей, ни насилий, никаких бесчинств и скандалов,— это ведь вошла Красная Армия, скованная дисциплиной, пропитанная сознанием революционного долга.

В этот же первый день приходили одна за другой делегации от рабочих, от служащих разных учреждений — одни приветствовали, другие благодарили за тишину, за порядок, который установился в городе... Пришла делегация от еврейской социалистической партии и поведала те ужасы, которые за время колчаковщины вынесло здесь еврейское население. Издевательствам и репрессиям не было границ, в тюрьму сажали без всяких причин. Ударить, избить еврея на улице какой-нибудь золотопогонный негодяй считал и лучшим и безнаказанным удовольствием...

— Если будете отступать,— говорил представитель партии,— все до последнего человека уйдем с вами... Лучше голая

и голодная Москва, чем этот блестящий и сытый дьявольский кошмар.

В тот же день еврейская молодежь начала создавать добровольческий отряд, который влился в ряды Красной Армии.

Политический отдел дивизии развернул широчайшую работу. В первые же часы были в огромном количестве распространены листовки, объяснявшие положение. По городу расклеены были стенные газеты, а с утра начала регулярно выходить ежедневная дивизионная газета. Во всех концах города непрерывно, один за другим, организовывались летучие митинги. Жители встречали ораторов восторженно, многих тут же, на митингах, качали, носили на руках — не за отличные ораторские качества, а просто от радости, от избытка чувств. Большой городской театр заняли своею труппой; тут всю работу уж проводила неутомимая Зоя Павловна,— она возилась с декорациями, раздобывала по городу костюмы, хлопотала с постановками, играла сама. Театр был все время битком набит красноармейцами. Уже через несколько дней, когда раненый Чапаев приехал в город и пришел в театр, он от имени всех бойцов приветствовал со сцены Зою Павловну, поднес ей букет цветов, и весь огромный зал свою любимую работницу приветствовал громом криков и отчаянным хлопанием в ладоши,— это была ей лучшая и незабываемая доселе награда от красных солдат.

Город сразу встряхнулся, зажил новой жизнью. Об этом особенно говорили те, которым тускло и трудно жилось при офицерских «свободах».

За Уфу погнали Колчака другие дивизии, а 25-ю остановили здесь на передышку, и больше двух недель стояла она в Уфимском районе. Время даром не пропадало, части приводили себя в порядок после такого долгого и изнурительного похода. Штабы и учреждения тоже подтягивались и разбирались понемногу во всем, что накопилось, сгрудилось за время горячего походного периода. С неослабной силой работал политический отдел; во главе его теперь вместо Рыжикова стоял Суворов, петербургский рабочий, по виду тихий, застенчивый, но отличный неутомимый работник. Он в политотделе проводил так много времени, что здесь его можно было застать каждый час. Видимо, там же и ночевал. Крайнюков, помощник Федора, тесно сошелся с Суворовым и все свободное от поручений время тоже проводил в политотделе: они вдвоем выполняли фактически ту огромную политическую работу, которая проделана была за эту двухнедельную стоянку. Клычков только помогал им советом и участвовал на разных совещаниях,— время уходило

у него на работу с другими дивизионными органами, к которым они с Чапаевым прикоснулись здесь впервые после Белебея.

Скоро начали поступать тревожные вести с Уральского фронта. Там казаки имели успех за успехом, только никак не могли ворваться в осажденный Уральск. Сведения поступали через газеты, через армейские сводки и телеграммы, через письма, особенно много через письма... Красноармейцы узнавали, что по их родным селениям проносятся всесожигающим вихрем дикие казацкие шайки, уничтожают хозяйства, убивают, замучивают тех, у кого сыновья, мужья и братья ушли в Красную Армию. Полки затревожились, заволновались, стали проситься на уральские степи, где они с удесятеренной силой клялись сражаться против зарвавшихся уральских казаков.

Чапаев с Федором об этом часто беседовали и видели, что переброска дивизии необходима и полезна, если только не воспрепятствуют этому какие-нибудь исключительные обстоятельства. Неоднократно говорили с центром, объяснили и Фрунзе, что́ за настроение создалось среди бойцов и как невыгодно это настроение для какого-либо другого фронта, кроме Уральского. А тут еще начали приезжать с тех краев отдельные беженцы или просто охотники-добровольцы, не хотевшие нигде служить, кроме «своей дивизии». Настроение обострялось. В центре обстановку учли: скоро получен был приказ о переброске в уральские степи. Одушевлению полков не было границ — собирались в поход словно на торжественную веселую прогулку. Чапаев тоже был доволен не меньше рядовых бойцов: он переносился в степи, в те степи, где воевал уже многие месяцы, где все ему знакомо, понятно и близко — не так, как здесь, среди татарских аулов. Быстрее быстрого были окончены сборы, и дивизия тронулась в путь.

XIV. ОСВОБОЖДЕНИЕ УРАЛЬСКА

Уральск долго был обложен казачьим кольцом — вплоть до подхода Чапаевской дивизии, его освободительницы. Героическая его защита войдет в историю гражданской войны блестящей страницей. Отрезанные от всего мира, уральцы с честью выдержали казачью осаду, много раз и с высокой доблестью отражали налеты, сами делали вылазки, дергали врага со всех сторон. Измученный гарнизон, куда влились добровольческой волной уральские рабочие, никогда не роптал ни на усталость, ни на голод,— не было и мысли о том, чтобы отдаться во власть ликующего врага. Борьба шла на жизнь и на смерть.

Все знали, что половины здесь быть не может, и казачий плен означает фактически истязания, пытки, расстрелы... В самом городе вскрывались заговоры. Местные белогвардейцы через голову местного гарнизона ухитрялись связываться с казацкими частями, получали оттуда указания, сами доносили казацкому командованию о том, что творится в городе... Уж иссякали снаряды, патроны, подходило к концу продовольствие, и, может быть, скоро пришлось бы красным героям сражаться одними штыками, но не пугало и это,— бодро и уверенно, спокойно и мужественно было настроение осажденных. А когда долетели к ним вести, что на выручку идет Чапаевская дивизия, пропали остатки сомнений, и еще более стойко, геройски отбивались последние атаки врага.

Крупных боев по пути к Уральску не было, хотя отдельные схватки не прекращались ни на день. Казаки, знавшие чапаевские полки еще по 1918 году, не выражали большой охоты сражаться с ними лицом к лицу и предпочитали отступать, пощипывая там, где это удавалось. По дороге к станице Соболевской казаки с двумя броневиками, пустив кавалерию с флангов, пошли на Иваново-Вознесенский полк. Они рассчитывали, что под огнем броневиков дрогнут и бросятся бежать красноармейцы — тогда бы кавалерия нашла себе работу! Но вышло все как-то очень просто и даже вовсе не эффектно: цепи лежали, как мертвые, посторонились, пропустили в тыл к себе броневики, строчили по несмелой кавалерии противника... А тем временем красная батарея все вернее, все ближе к смертоносным машинам укладывала снаряды. Чудовища воротились с тем, с чем и пришли. Тут даже и потерь вовсе не было — так спокойно и организованно, так просто был принят и ликвидирован этот неприятельский натиск.

А где-то неподалеку, там же у Соболевской, окружили казаки оторвавшуюся роту красных солдат, и те почти сплошь были уничтожены. Послали на помощь новую роту — пострадала и она. Послали третью — участь одинаковая. Лишь тогда догадались, что нельзя такою крошечной подмогой оказать действительную помощь, что это лишь напрасный перевод живых и технических сил. Послали полк, и он сделал, что требовалось, с поразительной быстротой. Когда узнал Чапаев,— бушевал немало, ругался, грозил:

— Не командир ты — дурак еловый! Должен знать навсегда, што казак не воевать, а щипать только умеет. Вот и щипал: роту за ротой, одну за другой. Эх ты, цапля! Всадить бы «што следовано»...

...Несмотря на ежедневные непрерывные схватки с казарой,

полки продвигались быстро: пешим порядком верст по пятьдесят в сутки.

В станицах и селах встречали красных солдат как освободителей, выходили нередко навстречу жители, приветствовали, помогали как умели и чем могли, делились достатками... Самому Чапаеву прием оказывали чрезвычайный,— он в полном смысле был тогда «героем дня».

— Хоть одно словечко скажи,— просили его мужички,— будут еще казаки идти али ты, голубчик, прогнал их вовсе?

Чапаев усмешливо покручивал ус и отвечал, добродушный, веселый, довольный:

— Собирайтесь вместе с нами — тогда не придут, а бабам юбки будете нюхать, кто же вас охранять станет?

— А как же мы?

— Да так же вот, как и мы,— отвечал Чапаев, указывая на всех, что его окружали.

И он начинал пояснять крестьянам, чем сильна Красная Армия, как нужна она Советской России, что к ней должно быть за отношение у трудовой крестьянской массы.

Чапаеву крепко засело в голову с десяток верных, бесспорных положений, которые он частью вычитал где-нибудь, а больше услышал в разговоре и запомнил. Например, о классовом составе нашей армии; о том, что казаки не случайно, а неизбежно являются пока в большинстве своем нашими врагами; о том, что голодному центру необходимо помогать немедленно из сытых окраин, и т. д. и т. д. Эти положения, такие убедительные и простые, он воспринял со всей силой ясных и чистых своих мыслей, воспринял раз навсегда и бесповоротно, гордился тем, что знает их и помнит, а где-нибудь в разговоре старался вклеить непременно, будь то к делу или совсем не к делу.

Мужикам-крестьянам эти положения он развивал с особенной охотой, а слушали они его со вниманием исключительным. Иной раз и галиматью станет наслаивать всякую, но общий результат бывал всегда наилучший. Он, например, с большим трудом и совершенно неясно представлял себе крупное коллективное хозяйство, систему работы в нем, взаимоотношения между членами и прочее, сбивался нередко на «дележку», «самостоятельность» и т. д. С этой стороны путем объяснить ничего не умел, но даже и от таких бесед получалось кое-что положительное. Он призывал к трудолюбию, протестовал против жадности и своекорыстия, против невежества и темноты, ратовал за новые, усовершенствованные способы труда в крестьянском хозяйстве. В одном селе он так красочно описывал голод фабричных рабочих, так жестоко укорял крестьян за то, что они, сытые, совсем забыли голодных своих братьев, что крестьяне

тотчас же постановили открыть между собою сбор зерна для отправки в Москву. Выбрали и организаторов дела — тут же на собрании и поклялись Чапаеву, что отправят непременно в Москву все, что наберут, а его, Чапаева, уведомят об этом на позиции. Собрали ли они, отправили ли — неизвестно, а Чапаева оповестить им не удалось: уж недолго ему осталось жить — скоро Чапаева не стало...

Так, встречаемые радостно, приближались к цели красные полки. Скоро они были под стенами Уральска. Последний бой — и казаки бежали, разорвав кольцо. Из Уральска, верст за десять, выехали навстречу руководители осажденного гарнизона, с ними эскадрон кавалерии, оркестр музыки... Под гром «Интернационала», под радостные крики, со слезами радости на глазах встречались, обнимали один другого, хотели сразу и многое друг другу рассказать, но не могли — так переполнены были чувствами, растроганы, потрясены.

— Федя! — окликнул возле автомобиля чей-то голос.

Клычков обернулся и увидел на высоком вороном коне Андреева. Они по-дружески расцеловались. В прекрасных светлых глазах Андреева теперь было что-то новое, чего Федор никогда прежде не замечал,— они смотрели с какой-то усиленной недоверчивостью, сурово и сухо. Можно было подумать, что он не рад даже встрече, но голос, все эти хорошие, теплые слова, что сразу были сказаны,— это все говорит про обратное. На лбу углубились морщинки, а одна, поперечная, над самой переносицей, оставалась все время неразглаженной, будто щель.

Разговорились, и Федор узнал, какое деятельное участие принимал Андреев в борьбе с предательством и заговорами, в которых, как в тенетах, мог запутаться осажденный Уральск. Круто надо было расправляться с негодяями, решительно и беспощадно. Мучительная эта борьба и наложила печать на его юношеское лицо, тяжелую, глубокую, неизгладимую печать... (Скоро обстоятельства загнали Андреева в полк; там, будучи окружен, после отчаянной сечи он был в куски изрублен озверевшим врагом.)

В самом Уральске по улицам не пройти — они запружены рабочими и бойцами. Высыпало и все население.

«Слава герою! Слава Чапаеву! Да здравствуют полки Чапаевской дивизии! Да здравствует красный вождь — Чапаев!»

Эти радостные клики неслись по освобожденному Уральску, и трудно было Чапаеву с Федором пробираться на автомобиле через тысячные толпы, которые заполонили улицы. На Чапаева смотрели с восхищением, кричали ему громкие приветствия, бросали шапки вверх, пели торжественные победные песни...

Город раскрасился красными флагами, всюду расставили трибуны, открылись митинги. И когда выступал Чапаев, толпа неистовствовала, волновалась, как море в непогоду, не знала предела восторгам. Его первое слово рождало гробовую тишину, его последнее слово открывало простор новому безумному восторгу. Около автомобиля схватывали десятки рабочих рук и начинали качать, а потом, когда отъезжал, все бежали за автомобилем, будто хотели догнать, еще и еще выразить ему свою благодарность и это свежее, искреннее восхищение. Полкам почет был тоже немалый: уральцы постарались окружить их заботами и ласковым вниманием, чествовали на парадах, организовали массу всяческих увеселений, позаботились о питании, собрали и отдали им все, что могли.

Торжества длились несколько дней — торжества под разрывы шрапнели! Один снаряд угодил в театральную крышу в то время, как шел спектакль. Но подобные случаи нисколько не нарушали общего торжественного настроения. Казаки ушли за реку, их надо было немедленно гнать еще дальше, чтобы не дать собраться с силами, чтобы снять угрозу с города, чтобы отдалить от них этот притягивающий магнит — Уральск. Чапаеву лучшей наградой были бы новые успехи на фронте, и потому, лишь миновали первые восторги встречи, он уже неизменно летал от полка к полку, следил за тем, как строились переправы.

Через реку налаживали мост, а за рекой были уже два красных полка, перебравшиеся на чем попало. Надо было спешить с работами, чтобы переправить артиллерию,— без нее полки чувствовали себя беспомощно, и от командиров стали тотчас поступать самые тревожные сведения. Чапаев не то на второй, не то на третий день по приезде в Уральск ранним утром отправился сам — проверить, что сделано за ночь, как вообще идет, продвигается работа. С ним пошел и Федор. По зеленому пригорку копошились всюду красноармейцы,— надо было перетаскивать к берегу огромные бревна... И вот на каждое налепится без толку человек сорок — толкаются, путаются, а дело нейдет... Взвалят бревно на передки от телеги, и тут, кажется, уж совсем бы легко, а кучей — опять толку не получается.

— Где начальство? — спрашивает Чапаев.

— А вон, на мосту...

Подошли к мосту. Там на бревнышках сидел и мирно покуривал инженер, которому вверена была вся работа. Как только увидел он Чапаева — марш на середину; стоит и оглядывается как ни в чем не бывало, как будто и все время наблюдал тут работу, а не раскуривал беспечно на берегу. Чапаев в таких случаях был груб и крут без меры. Он еще полон был тех

слезных просьб, которые поступали из-за реки, он каждую минуту помнил — помнил и болел душою, что вот-вот полки за рекой погибнут... Дорога была каждая минута... Торопиться надо было сверх сил — недаром он сам сюда согнал на работы такую массу красноармейцев, даже отдал половину своей комендантской команды. Он весь напрягся заботой об этом мосте, ждал чуть ли не ежечасно, что он готов будет — и вдруг... вдруг застает полную неорганизованность, пустейшую суету одних, мирное покуривание других...

Как взлетел на мост, как подскочил к инженеру, словно разъяренный зверь,— да с размаху, не говоря ни слова, изо всей силы так и ударил его по лицу! Тот закачался на бревнах, едва не свалился в воду, весь побледнел, затрясся от страха, зная, что может быть застрелен теперь же... А Чапаев и действительно рванулся к кобуре, только Федор, ошеломленный этой неожиданностью, удержал его от расправы. Самой крепкой, отборной бранью бранил рассвирепевший Чапаев дрожащего инженера:

— Саботажники! Сукины дети! Я знаю, что вам не жалко моих солдат... Вы всех их готовы загубить, сволочь окаянная!.. У-у-у... подлецы!.. Чтобы к обеду готов был мост! Понял?! Если не будет готов — застрелю, как собаку!!!

И сейчас же инженер забегал по берегу. Там, где висело на бревне по сорок человек, осталось по трое-четверо, остальные были переведены на другую работу... Красноармейцы заработали торопливо... Заходило ходом, закипело дело. И что же? Мост, который за двое суток подвинулся только на какую-нибудь четвертую часть, *к обеду был готов.*

Чапаев умел заставлять работать, но меры у него были исключительные и жестокие. Времена были такие, что в иные моменты и всякие меры приходилось считать извинительными; прощали даже самый крепкий, самый ужасный из этих способов — «мордобой». Бывали такие случаи, когда командиру своих же бойцов приходилось колотить плеткой, и это *спасало всю часть.*

Было ли неизбежным то, что произошло на мосту?

Ответа дать невозможно... Во всяком случае, несомненно то, что постройка моста была делом исключительной срочности, что сам Чапаев и вызывал инженера к себе неоднократно и сам ходил, приказывал, торопил, ругался, грозил... Медлительность работ оставалась прежнею. Была ли она сознательным саботажем, была ли она случайностью — кто знает! Но в то утро чаша терпения переполнилась — неизбежное совершилось, а мост... к обеду был готов. Вот примеры суровой, неумолимой железной логики войны!..

...Бывали у Чапаева и такие случаи, которыми обнаруживалось в нем какое-то мрачное самодурство, необыкновенная наивность, граничащая с непониманием самых простых вещей.

В этот вот приезд в Уральск, может быть через неделю или полторы, как-то днем вбегают к Федору ветеринарный врач с комиссаром. Оба дрожат, у врача на глазах слезы... Трясутся, торопятся — ничего не понять. (Ветеринарные комиссары вообще народ нежный.)

— В чем дело?

— Чапаев... ругает... кричит... застрелить...

— Кого ругает? Кого хотел застрелить?

— Нас... нас обоих... Или в тюрьму, говорит... или расстреляю...

— За что же?

Федор усадил их, успокоил и выслушал странную, почти невероятную историю.

К Чапаеву из деревни приехал знакомый мужичок, известный «коновал», промышлявший ветеринарным ремеслом годов восемь — десять. Человек, видимо, тертый и, безусловно, в своем деле сведущий. И вот сегодня Чапаев вызывает дивизионного ветеринарного врача с комиссаром, усаживает их за стол. Тут же и мужичок. Чапаев «приказывает» врачу экзаменовать в своем присутствии «коновала» и выдать ему удостоверение о том, что он, мужичок, тоже, дескать, может быть «ветеринарным доктором». А чтобы бумага была крепче — пусть и комиссар подпишется... Экзаменовать строго, но чтобы саботажу никакого. Знаем, говорит, мы вас, сукиных детей,— ни одному мужику на доктора выйти не даете.

— Мы ему говорим, что так и так, мол, экзаменовать не можем и документа выдать не имеем права. А он как вскочит, как застучит кулаком по столу. «Молчать, говорит, немедленно экзаменовать при мне же, а то в тюрьму, сволочей... Расстреляю!..» Тогда вот комиссар на вас указал. «Пойдем, говорит, спросим, как самый экзамен производить, посоветуемся...» Услыхал про вас — ничего. Пять минут сроку дал... ждет... Как же мы теперь пойдем к нему?.. Застрелит ведь...

И оба они вопрошающе, умоляюще смотрели на Клычкова...

Он оставил их у себя, никуда ходить не разрешил — знал, что Чапаев явится сам. И действительно, через десять минут вбегает Чапаев — грозный, злой, с горящими глазами. Прямо к Федору.

— Ты чего?

— А ты чего? — усмехнулся тот его грозному тону.

— И ты с ними? — прогремел Чапаев.

— В чем? — опять усмехнулся Федор.

— Все вы сволочи!.. Интеллигенты... У меня сейчас же экзаменовать,— обратился он к дрожащей «ветеринарии»,— сейчас же марш на экзамен!

Федор увидел, что дело принимает нешуточный оборот, и решил победить Чапаева своим обычным оружием — спокойствием.

Когда тот кричал и потрясал кулаками у Федора под носом, угрожая и ему то расстрелом, то избиением, Клычков урезонивал его доводами и старался показать, какую чушь они совершат, выдав подобное свидетельство. Но убеждения на этот раз действовали как-то особенно туго, и Клычкову пришлось пойти на «компромисс».

— Вот что,— посоветовал он Чапаеву,— этого вопроса нам здесь не разрешить. Давай-ка пошлем телеграмму Фрунзе, спросим его — как быть? Что ответит, то и будем делать; идет, что ли?

Имя Фрунзе всегда на Чапаева действовало охлаждающе. Притих он и на этот раз, перестал скандалить, согласился молча.

Комиссара с врачом отпустили, телеграмму написали и подписали, но посылать Федор воздержался...

Через пять минут дружески пили чай, и тут в спокойной беседе Клычкову наконец удалось убедить Чапаева в необходимости сжечь и не казать никому телеграмму, чтобы не надолать смеху. Тот молчал — видно было, что соглашался... Телеграмму не послали...

Подобных курьезов у Чапаева было сколько угодно. Рассказывали, что в 18 году он плеткой колотил одно довольно «высокопоставленное» лицо, другому — отвечал «матом» по телеграфу, третьему — накладывал на распоряжении или на ходатайстве такую «резолюцию», что только уши вянут, как прочитаешь. Самобытная фигура! Многого он еще не понимал, многого не переварил, но уже ко многому, разумному и светлому, тянулся сознательно, не только инстинктивно. Через два-три года в нем кой-что отпало бы окончательно из того, что уже начинало отпадать и теперь, приобрелось бы многое из того, что его начинало интересовать и заполнять, притягивать к себе неотвратимо. Но суждено было иное...

XV. ФИНАЛ

Дивизия шла на Лбищенск. От Уральска до Лбищенска больше сотни верст. Степи и степи кругом. Здесь казаки — у себя «дома», и встречают они всюду поддержку, сочувствие,

всяческую помощь. Красные полки встречаются враждебно: где остается частичка населения по станицам, там слова хорошего не услышишь, не то что помощь, а в большинстве эти казацкие станицы к приходу красных частей уж начисто пусты, разве только где-где попадется забытая дряхлейшая старушонка. Отступавшие казаки перепугали население «головорезами-большевиками», и станицы подымали на повозках весь свой домашний скарб, оставляли только хлеб по амбарам, да и тот чаще жгли или с песком мешали, с грязью, превращали в гаденькую жижицу. Колодцы почти сплошь были отравлены, многие засыпаны до половины, не было оставлено ни единой бадьи. Все, что надо и можно было уродовать, уродовали до изничтожения, до неузнаваемости. Необходимые стройки поломали, разрушили, сожгли. Получалось такое впечатление, будто казаки уходят невозвратно. Отступали они здесь, за Лбищенском, с непрерывным боем, дрались ожесточенно, сопротивлялись упорно, настойчиво и искусно...

Штаб Чапаевской дивизии стоял в Уральске, передовые же части ушли на несколько десятков верст. Не хватало снарядов, патронов, обмундирования, хлеба... Голодные красноармейцы топтали хлебные равнины, по станицам находили горы необмолоченного зерна, а сами оставались без пищи. Нужда была тогда ужасная. Даже заплесневелый, прогнивший хлеб иной раз не попадал на фронт неделями, и красноармейцы буквально голодали... Ах, какие это были трудные, непереносимые, суровые дни!

Почти ежедневно Чапаев с Федором заглядывали на автомобиле то в одну бригаду, то в другую. Тут дороги широкие, ровные, передвигаться можно очень быстро. А когда поломается, бывало, машина (ох, как часто это бывало!), садились на коней и за сутки отмахивали верст по полтораста, уезжая на заре и к ночи возвращаясь к Уральску. Чапаев отлично разбирался в степи и всегда точно определял местонахождение станиц, хуторов, дорог и дорожек. Но однажды и с ним случился грех — заплутался. Про это плутание в степи у Федора в дневнике записано под заголовком «Ночные огни». Выпишем оттуда, но будем помнить, что здесь и в десятой доле не переданы своеобразие и оригинальность тех настроений, которыми жили в эту ночь в степи заблудившиеся товарищи с Чапаевым во главе. Многое из «ночного» он не сумел как следует описать, а потом и вообще оно, это «ночное», чрезвычайно трудно поддается выражению и передаче.

НОЧНЫЕ ОГНИ

Надо было навестить Еланя. Сборы коротки: поседлали коней, взяли с собой человек двенадцать верных спутников и понеслись... Миновали Чаган, и возле дороги, загаженной лошадиными трупами,— прямо к озеру, через степь. Хлебами, высокими травами, цветными, пестрыми лугами добрались до озера-лужи. Выехали на косогор, слезли с коней, спустились к воде. Кони пили жадно, мы — еще жадней. Было уж часов пять-шесть. Верст на тридцать не встретили дальше ни одного хуторка. Кидались в каждую прогалину, искали воду, но не находили и мучились от нестерпимой жажды. В отдалении, по макушкам сыртов, показывались всадники — это, верно, казацкие наблюдатели и часовые. Каждую минуту здесь было можно ожидать из первой же лощины внезапного казацкого налета. Это у них любимый прием. Выждать где-нибудь в засаде, пропустить несколько шагов, а потом налететь ураганом, с гиканьем и свистом, блестя обнаженными шашками, потрясая пиками,— налететь и рубить, колоть внезапно, пока не успеешь стащить с плеча винтовку. Ехали и оглядывались, засматривали в каждую дыру, были наготове.

Дымчатые легкие облака вдруг помутнели, сгустились и совсем низко опустились черными тучами. Стало быстро смеркаться. Зашумел ветер, помчался по полю и еще теснее согнал в груду мрачные зловещие тучи.

Вот упали первые капли — еще, еще, еще... Разразился настоящий степной ливень — оглушительный, частый и сильный ударом... Все быстро промокли. Я, как на грех, был в одной тонюсенькой рубашонке и всех быстрее измок до самой печенки. Стало холодно, бросало в жар и озноб, дрожали руки, лязгали зубы. В стороне показались какие-то разрушенные мазанки — остатки прежнего селения. Около них, по видимости, копошились люди...

Подъехали и тут застали двух обозников. Несчастные себя чувствовали совершенно беспомощно. Их полк ушел далеко вперед, а у них вот тут что-то приключилось: лопнули колеса, да и лошаденка повалилась, не подымается никак. Решили оставить все у колодца, а сами — полк догонять, пока не угодили к казакам в лапы. Мы у них нашли четвертную, привязали ее на вожжах, на самом кончике камень прикрепили, опустили в колодец... Хоть и знали, что травят часто колодцы, да отгоняли страшную мысль,— ее перебарывала жажда. Долго ждали, пока в узкое горлышко натечет вода, а как напились — тут уж стало и совсем темнеть. Дорога была едва видна в траве, но общее направление знали точно и потому снялись уверенно.

Отъехали версты четыре — порешили свернуть и ехать прямо степью, на огонь, что виднелся вдали. Оставалось, по нашим расчетам, верст пятнадцать, и часа через полтора думали быть на месте. Про огонь погадали, погадали и порешили, что это костер горит в нашей цепи,— а может, и не в нашей, да это все равно: свою цепь не перепрыгнешь, упрешься... Едем. Молчим. Пока были сухи, перед дождем, песни все пели, да кричали, да гикали, а тут притихли — ни песен, ни громких разговоров. Хоть насчет костра и рассуждали, будто «свою цепь не перескочишь», однако была и другая мысль у каждого:

«А ну, да как ошиблись и едем прямо в лапы казаре?»

И от этих мыслей становилось не по себе, лезла в голову всякая чертовщина. Напрасно вздувал Чапаев спичку за спичкой, напрасно водил пальцем по карте, а носом по компасу,— ничего из этой затеи не получалось, и ехали наугад, вслепую, сами точно не зная куда. Огонек впереди то вспыхивал, то замирал, и когда замирал, мигая, становился бледен, тускл и бесконечно далек, приобретал какую-то странную таинственность, будто это не огонек, а наваждение, призрак, который шутит над нами в ночной темноте. Мы полагали первоначально, что всего тут каких-нибудь шесть — восемь верст, но уже проехали добрый десяток, а он, огонек, все так же, как и прежде, безмятежно мигал и то приближался, то пропадал где-то далеко... Стали гадать-предполагать: да костер ли это? Может быть, фонарь светит откуда-нибудь с высоченного далекого столба?.. Но почему же он как будто все отдаляется, уходит?..

Решили дальше не ехать. С дороги давно уже сбились в сторону. Кони шагали по высокой мокрой густой траве, задевали ее копытами, и она хрустела, рвалась, как сочные, звонкие нити. Справа зажегся другой огонек — и тоже как будто совсем недалеко, но, проехав с версту, убедились, что и тут как бы не все обстоит ладно... Вон еще один, другой, третий... В черной, пустой и могильно-тихой степи становилось жутко... Дождя то нет, то снова застучит по измокшей жалкой одежонке... Бр-р-р... Как холодно!.. И как это скверно, когда холодные струи текут за шею, за спину, на грудь, словно змейки проползают по телу... Теперь бы в избу, к теплой печке, обогреться немножко... А впереди целая ночь, и все такая же холодная, такая же дождливая, мокрая, неприютная. Настроение понизилось до гнусности. Ехали и ехали — но куда? Временами казалось, что повернули обратно, проезжаем знакомые места, кружимся около одного, словно заколдованного места... Как только шорох в стороне — быстро повертываем головы и пристально-пристально всматриваемся: не разъезд ли казацкий? Может быть, выследили... подкрались... идут по следам... по пятам...

К стр. 248

и вот сейчас... раз... два... три... Черт знает, что за силу имеет над человеком ночная тьма! Она даже самых смелых, самых храбрых делает беспомощными, мнительными, неуверенно-робкими... Вон в стороне как будто чернеет что-то длинное, непрерывное, неуклюжее... Выслали двоих. Они с разных сторон тихой рысью затрусили в ту сторону, воротившись, сообщили, что это скирды необмолоченного хлеба... Было решено остановиться и здесь, под скирдами, ждать рассвета... Коней не расседлывали, даже и не спутывали. Несколько человек, чередуясь через каждые два часа, должны были дежурить всю ночь.

Винтовки — заряженные, готовые — были у каждого под рукой на случай внезапного налета. Пристроились к снопам, выкопали в соломе небольшие ложбинки, вдвинули себя в середину... Дождь не переставал ни на минуту... Я было уселся довольно ладно и соломы на землю набросал немало, а через несколько минут уж почувствовал себя в луже, и было невыносимо тошно, противно от этой слякоти, холодно и мерзко. Чапаев сидел рядом, уткнувшись лицом в промокшую солому, и вдруг... запел — тихо, спокойно и весело запел свою любимую: «Сижу за решеткой в темнице сырой...» Это было так необычно, так неожиданно, что я подумал сначала — не ослышался ли? Может быть, мычит он что-нибудь невнятное, а мне чудится песня?.. Но Чапаев действительно пел...

— Василий Иваныч, да што ты?

— А чего? — отозвался он глухо.

— Услышат. Ну, как разъезд?

— Не услышат, я тихонько... А то, брат, холодно больно да противно тут в воде...

И от этого хорошего, простого ответа мне самому сделалось как будто легче.

— А вот, Федя, вспоминаю,— говорит Чапаев.— Рассказывали мне, што в пустыне двое заплутались... ну, как мы здесь с тобой — только их-то было двое всего-навсего... Бросили их там али сами как отстали — только сидят на песочке, а идти им и некуда... Нам хоть ночью... Ну, ладно... Солнце взойдет — отыщем, а они куда? И ночь и день — все песок кругом: и туда песок и сюда песок, больше нет ничего... Воды у них по фляжке висело — не пьют. Помирать-то не хочется, а знают — как выпьют, так и смерть пришла... Только водой и жили. Три дня все вместе ходили, а найти ничего не могут, не видя конца... На четвертый-то день упал один. «Я, говорит, помираю, а ты рядом ложись: ходили вместе — вместе и ляжем...» Упал на песок, да и конец... Тот, што один-то остался, посидел над дружком, а у того, глядит, и зубы оскалились, глаза оловянные открылись. Страшно ему стало одному в пустыне... Ну-ка...

уйдет он от этого места, а и жалко станет. Походит-походит, да и опять сюда оглядывается, штобы не потерять — боится... Хоть и мертвый тот, а все будто вдвоем... Так вот ты смотри, што вышло. На него верблюды пришли — там караван оказался... так и жив человек... А дружка в песке схоронил... Это вот — да! Тут никуда не уйдешь, коли во все стороны песок один тыщами верст рассыпается...

— Што тут? — обернулся он быстро в сторону и вскочил.

Федор — за ним, вскочил и Петька... Схватили винтовки, застыли в ожидании. Через несколько секунд выступила из тьмы фигура своего вестового, за ним, почавкивая и посапывая, приблизились кони... Опять прилегли в колючие, жесткие снопы...

— А ты что это, к чему рассказал? — спросил Чапаева Федор.

— Да вспомнилось. Я всегда, как самому плохо, вспоминать начинаю, кому же, когда и где было еще хуже моего. Да надумаю и вижу, что терпели люди, а тут и мне — отчего бы не потерпеть? Я вон слышал еще, будто на море корабль разбило, а матрос обнялся с бревном да по волнам-то и гулял двое суток, пока его не подобрали... Тут вот позадумаешься, каково-то ему было, коли ноги в воде, да и сам того гляди туда же кувырнешься... А уцелел...

За разговором сгрудились потеснее... Петька слушал с большим вниманием. Когда ему надо было откашляться, закрывал ладонью рот, тыкался еще глубже в солому и там хрюкал как-то неопределенно. В темноте его блестящие черные глаза светились, как у кошки... Лишь только Чапаев кончил, Петька быстро взглянул на него и как-то весь передернулся,— видно было, что ему самому смертельная охота что-то сказать.

— Я вот... разрешите? — обратился он к Чапаеву.

Но тот ничего не ответил и молча поглаживал усы.

— Я хотя бы,— продолжал Петька,— на Дону, в восемнадцатом... Нас казаки в сарай человек двадцать заперли. «Утром, говорят, разберемся, кто тут у вас большевик... А не скажете, так и все за большевиков уйдете». Капут, одним словом. Знаем, что расстреляют, сволочи... Мы это доску одну полегоньку — чик да чик, чик да чик, она и отползла... Я самый у них маленький. «Полезай, говорят, ты первый, а если попадешь — на нас не говори... сам, мол, один полез... Часового убери камнем — сразу-то, што ли, увидишь как...» Одним словом, полез я. А ночь вот, что сегодняшняя,— дождик идет, а уж тьма-то, тьма-то... Я эдак тихонько ногу просунул — ничего... Я принагнулся... плечом... руку с головой выпустил, вторую ногу выставил... Гляжу — на земле, вышел у самого сарая, а за углом — как есть часовой стоит... Лег на брюхо, думаю —

проползти надо сначала, чтоб его разглядеть, сидит человек или ходит... Вот по грязи, будто червяк, плыву, а ребята высунули головы, смотрят... Он на полене сидит и голову наклонил,— спит, может, думаю... Взял тут кирпич — из сарая дали, а как дополз к нему, да как хрясну его, да по виску его. Клюнул, сердечный, в землю и крикнуть не знал што... А я его еще раза четыре стукнул — забрызгался кровью, испачкался... Вышли мы всей артелью, сарай-то с краю был... Мы тут ползком, все ползком, так и ушли непримеченные... Знали, где от своих отбились, нашли... Э-эх, тоже страху было!..

— Страх страхом, а жив,— заметил как-то неопределенно Чапаев.

— Жив! — подтвердил обрадованный Петька, польщенный вниманием.— И все живы — так артелью и доползли... Право слово...

— Верю,— усмехнулся Чапаев.

Петька снова прикрыл рукою рот и два-три раза хрюкнул в солому...

— Вон спят,— показал Чапаев на лежавших кругом спутников...— А я не могу и никогда не засну, ежели што такое...

А все-таки усталость свое взяла. Когда перестали говорить и притулились снова в глубину скирды, задремали чуткой, нервной дремотой, то и дело просыпаясь от малейшего шороха. Так продремали до рассвета, а лишь забрезжило первой белесоватой мутью,— поднялись усталые, промокшие, дрожащие от холода, измученные бессонной ночью. Согреться решили на быстрой езде. И в самом деле, как только Чапаев распутался с картою и выбрал направление,— поскакали на ближний сырт и тут, через несколько минут, почувствовали себя бодрее. А когда стало подыматься солнце — вконец повеселели. С сырта заметили обоз и хотели направиться к нему, но обозники, увидев группу конных, ударились вскачь наутек... Петька полетел за ними карьером,— хотя бы только узнать, свои или нет. Остальные ехали ровной рысью... Обоз оказался свой — как раз из той бригады, в которую держали путь... Через полчаса подъезжали к избушке, где поселился Елань со своим полевым летучим штабом... Местечко называлось Усихой!

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . Еще не было шести часов, а Еланя с комиссаром застали на ногах. Взобравшись на плоскую крышу мазанки-избушки, они водили бинокли из стороны в сторону, внимательно всматривались, о чем-то совещались между собою. Когда заметили подъезжавших, спустились вниз и ввели их в грязную

полутемную лачужку. Вид у них был самый ужасный: бледно-зеленые, трупного цвета лица, лихорадочные глаза, крайняя степень измученности и печать какой-то безысходности во взорах. Оба были без гимнастерок, в нижних рубахах,— духота и жарища в халупе не позволяли работать одетыми. Елань был совершенно бос. По грязным, заплесневелым ногам можно было судить, что последний раз он мылся в бане, верно, несколько месяцев назад. От бессонных ночей и крайнего напряжения у него дрожали руки, а когда начинал торопиться в разговоре, голос прерывался, он начинал захлебываться словами, а кадык дергался нервно, то втягиваясь, то выскакивая стремительно; пересохшие бледные губы изрезаны были трещинами. Елань уж ни одного слова не мог сказать спокойно: он выкрикивал высоким протестующим фальцетом, махал руками в такт и не в такт своей речи, бил кулаками в грудь, доказывая то, что ясно было и без доказательств,— доказывал, что без патронов и снарядов воевать нельзя! Место было тут равнинное, видно с крыши далеко, и Елань в бинокль отлично рассматривал расположение казары.

— Так будут ли патроны, товарищ Чапаев? — спросил он надрывающимся голосом и смотрел Чапаеву в лицо, ловил и взгляд и первое слово...

— Подвезут... приказано...

— Што же — приказано... Я не могу дальше!..

— Так подожди... Ну, откуда я тебе возьму, не с собой ведь вожу,— урезонивал Чапаев.— Говорю — везут, скоро быть должны...

— Знаете,— переводил Елань с одного на другого свой горящий, полусумасшедший взгляд,— мы с комиссаром весь день с этой крыши не слезаем. Тут больше неоткуда... А по четыре атаки в день, подлецы, делают... По четыре атаки! Мы все видим — как и готовятся, как и лава несется — все видно отсюда. А как следует — ничего нельзя: патронов нет... Вчера приказал через третьего... Потом — через пятого... Теперь через десятого стреляют... На десять шагов подпускаем... Ручными бомбами только и спасаемся... Нет возможности никакой. Ведь че-ты-ре раза в день! А место — видели сами... простыня...

— Приказ на завтра получили? — спросил Чапаев и оглянулся.

— Получил... Тут все свои,— успокоил Елань.— Да что же без патронов — я не смогу этого ничего... голыми руками нельзя.

— Ну, знаю,— начинал сердиться и Чапаев,— знаю, чего говоришь зря? Тебя сразу облегчат. Шмарин начинает... Силы на него будут отвлечены, а ты...

— Ясно,— согласился Елань.— Только вот одно: патроны...

— А снарядов как? — спросил Чапаев.

— Да тоже. Ну, ладно, тут еще кое-как. Хлеба... Хлеба нисколько... Вот и вас нечем угостить — ни корки нет, ей-богу... Только воду одну — вон, в чайнике...

— Вместе и хлеб грузовики везут,— пояснил Чапаев.— Мы сейчас же к Шмарину, ждать некогда... Ну, прощай...

С тяжелым чувством уезжали от Еланя... Ехать было верст пятнадцать. Голодны кони, голодны сами, но знали, что Шмарину еще с вечера должно было прийти продовольствие, поэтому, как только приехали, сейчас же организовали завтрак. Шмарин парился над приказом дивизии,— ему с бригадой назавтра утром открывать действия. Задача выпала очень серьезная, обдумать надо чрезвычайно тонко, а советчиков у Шмарина раз-два да и обчелся. Призывал он начальника штаба, но ведь что же и от него узнаешь особенного? Невелика фигура. Начальник штаба у Шмарина, кажется, в писарях до того сидел, а тут некого было поставить — ну, и ткнули. Сидит, кумекает немного, парень неглупый оказался, но по штабной премудрости — ей-же-ей ничего не слыхивал и не знает. Потолковали за чаем, разузнали подробно, что тут за обстановка, какое где жилье, далеко ли, сколько сил у неприятеля и насколько можно верить полученным сведениям, слышно ли, чтобы сам он, неприятель, готовился к чему-нибудь теперь же? Все это выяснено было еще в порядке частной беседы, а лишь только подкрепились, вплотную сели за карту, и Чапаев подробнейшим образом стал объяснять Шмарину, как надо проводить операцию от первого момента до последнего. Можно было в восторг прийти от чапаевской предусмотрительности и точности выкладок, которые он тут делал. Способность учитывать мельчайшие обстоятельства — его особенная, характерная черта.

— Если вот так начнешь — вот што получится, а у Еланя вот што будет к тому времени... Попов за рекой будет вот в каком положении...

Учитывал быстроту движения измученных, почти разутых и нездоровых бойцов; количество и быстроту подвоза патронов, снарядов, хлеба; отсутствие воды; встречи с населением или полный его уход; серьезность и объем проделанной разведывательной работы; готовность казаков к встрече; усилия, на которые способна бригада Еланя; расхождения в стороны дорог и быстроту движения по бездорожным лугам...

Все, решительно все прикидывал и выверял Чапаев, делал сразу три-четыре предположения и каждое обосновывал суммою наличных, сопутствующих и предшествующих ему фактов и обстоятельств... Из ряда предположительных оборотов дела вы-

бирался самый вероятный, и на нем сосредоточивалось внимание, а про остальные советовал только не забывать и помнить, когда, что и как надо делать.

Совещание длилось часа два. Когда было окончено, собрались уж было ехать обратно в штаб дивизии, но тут пришли из бригадного резервного полка, который стоял от позиции верстах в двух, и пригласили... на спектакль. Что-то необычное. Назавтра такое серьезное дело, тут рядом окопы противника — и вдруг спектакль?!

— Это всегда так,— улыбнулся Шмарин.— Как только приедут, ребята уж поджидают и тут хоть бой начинай, а ставь... Смерть охотники...

— Так ведь тут же так близко...

— А чего им... Было так, што — если все спокойно — из окопов половина уползала. Насмотрятся одно действие — обратно, а за ними другие... Так и пересмотрят до одного...

— Тут и ставили рядом?

— Рядом... Зоя Павловна бедовая, она с ними все сама ездит... Заслышат еще где красноармейцы, что она с театром спешит,— уж ждут-ждут ее, ждут-ждут... Подготовлять все сами начнут... Иной раз только она сюда, а тут и сцена, глядишь, давно сколочена... Заборов-то в станицах поломали — ай-ай!

Чапаев с Федором знали, что за последние недели Зоя Павловна создала подвижной театр, но никак не предполагали, что она так близко к окопам ставит спектакли, а она сама про это до поры до времени молчала: в бригаде, говорит, ставлю... Ну, и не допытывались. А когда в бригаду поедут — только-только про военные дела успеют поговорить. Теперь, по разговорам, оказалось, что как-то, двигаясь по степи, она со своею кочующей труппой угодила как раз под обстрел: бригада шла в наступление, и полк, возле которого в это время очутилась труппа, уже снялся с места, пошел вперед... Недолго думая актеры оставили на возу по вознице, а сами взяли винтовки и пошли рядовыми... Зоя Павловна всегда была верхом. Она подъехала к комиссару полка, а через десять минут вместе с ним и еще пятком бойцов ускакала в разведку... Удивительные были времена: артист, организатор, политический работник, пропагандист и агитатор, комиссар — все это сливалось прежде всего в одно понятие: боец! Дивизионная труппа и была за то особенно любима красноармейцами, что они чувствовали тут своего же брата бойца, который всегда с ними, а по надобности и вместе идет в наступление...

Ждали красноармейцы эту свою труппу всегда с величайшим нетерпением и обычно знали каждый момент и самым точнейшим образом, где она сейчас находится, в какой бригаде, долго

ли там пробудет, сюда приедет или в другую бригаду? И если знали, что труппа едет к ним,— настроение повышалось, из уст в уста передавалось об этом, как о величайшей радости. Начинались приготовления. А когда труппа прибывала на место, очень часто даже из скудных своих средств устраивали ей дружеское угощение... Подмостки обычно сколачивались заранее, и если снимались с места, уходили в открытую степь, знали, что тесу там найти невозможно, а труппа вот-вот подойдет,— всю эту гору досок так и волокли за собой...

Какая же это была радость, какое великое торжество, когда устанавливали сцену! Любопытных было такое множество, что их по-приятельски приходилось разгонять, чтобы не толкались, не мешали расставлять и укреплять декорации, готовить костюмы, гримироваться. Бывало так, что какой-нибудь особенно дотошный красноармеец стоит-стоит у раскрытого сундука с костюмами, любуется там на разные фраки да сюртуки, а потом, когда отвернутся, выдернет разукрашенный цветной камзол, напялит с треском да с веселой, расплывшейся от удовольствия физией и крикнет:

— Ребята, смотри на короля!

Ну, конечно, «короля» сейчас же берут под микитки, сдирают с него королевские одежды, иной раз в шею двинут раза два-три, а он куда-нибудь убежит к кулисам, посмотреть, нельзя ли и там чего-нибудь на себя напялить, подурить, похохотать...

Это время приготовлений к спектаклю едва ли не бóльшим было удовольствием, чем сами спектакли. Артисты начинают одеваться... Но куда спрятаться от зрителя, чтобы поразить его все-таки прелестью неожиданности? Тычутся-тычутся — ничего не выходит. Тогда из двух зол выбирают меньшее: или все тут заранее насмотрятся один за другим, или уж небольшую компанию отрядить, им показаться, а зато другим ни-ни... Так и делают. Выберут человек сорок — пятьдесят, поставят их плотным кольцом в три ряда, а сами артисты в середке: тут одеваются, тут примеряют парики, гримируются... Только охнешь, как вспомнишь, сколько потрачено угля на этот самый грим! Можно себе представить, что за богатства театральные были в 1919 году, коли черную сухую корку хлеба считали богатством! До гримов ли было дорогих! Если и попадет, бывало, что ценное из этой области, так «зря» не расходуют, а какие-нибудь «высокоторжественные», особенные случаи,— положим, победа большая, обмундирование привезли, паек прибавили, да мало ли в полку своих особенных, позиционных радостей!

Играли актеры не сильно знаменито, а все-таки впечатление производили немалое. Надо честь отдать Зое Павловне: из небольшого, скудного репертуара она умела выбирать по тем

временам самое лучшее. Играла сама, понимала бойца, знала, что ему нужна была простая, понятная, сильная и своевременная вещь... Такие находились. Несколько из них даже было написано своими же дивизионными писателями. Иные — не бесталанно. Многие (большинство) — неуклюже, не литературно, зато имели какое-то необъяснимое качество самородности, силы, верного уклона, верных мыслей и сильных чувств, при полном иной раз неумении эти мысли и чувства воплотить в художественную форму. Репертуар слабоватый, но по тем временам не из бедных; в других местах было хуже, слабее, а то и просто вредными пьесами подкармливали...

Потребовалась исключительная любовь Зои Павловны к делу, чтобы совсем «из ничего» создать этот подвижной, столь любимый бойцами театр — и в какой ведь обстановке! Это не диво, что при других, при благоприятных условиях они рождались, а тут вот, когда нет ничего под руками, когда части в непрерывных и тяжких боях,— тут заслуга действительно немалая.

Бывало, на двух, на трех верблюдах и тянутся по степи... Сами пешком, имущество на горбах верблюжьих прилажено... Где можно — лошадей доставали; тогда все по телегам разместятся и от полка к полку, от полка к полку, а там уж давным-давно поджидают многоценных гостей...

Когда Чапаев и все присутствующие получили приглашение «пожаловать» на спектакль, оказалось, что все уже было готово, сейчас же могут «занавеску подымать», как доложил кто-то из приехавших красноармейцев... Решили съездить — отчего же нет? Тут совсем недалеко, делу не вредно, а в штаб дивизии ко времени доехать еще успеется, тем более что у Шмарина лошадей пришлось все равно обменивать на свежих. Когда подъезжали к массе зрителей, там уж было известно, кого поджидали. Все оглянулись. Из уст в уста полетело торопливо: «Чапаев... Чапаев... Чапаев...»

Картина замечательная! На земле, у самой стены, первые ряды зрителей были положены на животы; за ними другая группа сидела нормально; за сидевшими, сзади них, третья группа стояла на коленях, будто на молитве в страстной четверг; за этими — и таких было большинство — стояли во весь рост... Сзади них — десятка два телег, и в телегах сидели опять-таки зрители. Замыкали эту оригинально расположенную толпу кавалеристы — на конях, во всеоружии... Так разместились несколько сот человек и на совершенно ровной поляне — и все видели, все слышали...

Чапаева, Федора, Петьку пропустили вперед, поместили «во втором ярусе» — сидеть на земле...

Ставили какую-то небольшую, трехактную пьеску, написанную здесь же, в дивизии. Содержание было чрезвычайно серьезное, и написана она была неплохо. Показывалось, как красные полки проходили через казацкие станицы и как казачки встречались с нашими женщинами-красноармейками, как их чурались и проклинали сначала, а потом начинали понимать... Вот входит полк... Красноармейки, в большинстве коммунистки, одеты по-мужски: рубаха, штаны, сапоги, штиблеты, лапти, коммунарки на голове или задранный картузишко, волосы стрижены то наголо, то под гребенку. Встречают их бабы-казачки, отворачиваются, бранятся, плюются, а иные глумятся или потешаются в разговоре:

— Што ты, дура, штаны напялила? Што ты с ними делать будешь?

— Эй, солдат,— окликает казачка красноармейку,— зачем тебе прореха нужна?

— Через вас только, проклятых,— бранятся в другом месте казачки по адресу красноармеек,— через вас все пропадает у нас... Разорили весь край, окаянные, набрали вас тут, б...ей — девать-то некуда... Чего терять вам, прощелыгам? Известно, нечего, ну и шататься... Чужой хлеб кто жрать не будет?

— Да нет же, нет,— пытаются возражать коммунистки-женщины.— Мы не из тех, как вы думаете, не из тех: мы — работницы... Так же, как и вы, работаем, только по фабрикам, а не по хозяйствам своим...

— Сволочи вы — вот кто!

— Зачем — сволочи? У нас тоже семьи дома поостались... Дети...

— Ваши дети — знаем! — галдели бабы.— Знаем, што за дети... подзаборники!

Коммунистки-женщины доказывают казачкам, что они не «шлюхи» какие-нибудь, а честные работницы, которых теперь обстоятельства вынудили оставить и работу и семью — все оставить и пойти на фронт.

— Што здесь, што там,— кричали им в ответ казачки.— Где хочешь — одинаково брататься вам, беспутные... Кабы не были такими, не пошли бы сюда... не пошли бы...

— А знаете ли вы, бабы, зачем мы идем?

— Чего знать, знаем,— отпихиваются те.

— Да и выходит, что не знаете.

— А мы и знать не хотим,— отворачиваются бабы,— што ни скажи — одно вранье у вас.

— Да это что же за ответ — прямо говорите! — атаковали их красноармейки.— Прямо говори: знаешь али нет? А не знаешь — скажем...

— Скажем, скажем,— замычали бабы.— Нечего тут говорить — одно похабство.

— Да не похабство — зачем? Мы просто другое расскажем. Эх, вы!.. Хоть, к примеру, скажем так: мы бабы и вы бабы. Так ли?

— Так, да не больно так...

Говорившая коммунистка как будто озадачена...

— Чего?.. Так вы же — бабы?

— Ну, бабы...

— И белье стираете свое, так ли?

— А што тебе, кто у нас стирает? Воровать, што ли, хочешь, распознаешь?

— Поди, дети есть,— продолжается непрерывная и умная осада,— нянчить их надо?

— А то — без детей... у кого их нет? Это ваши по оврагам-то разбросаны да у заборов...

Но никакими оскорблениями не раздражишь, не собьешь с толку настойчивых проповедниц.

— С коровой путаешься... у печки... Мало ли...

— Ты дело говори, коли берешься,— обрывает казачка дотошную красноармейку.— Про это я сама знаю лучше тебя.

— Вот и все делай тут,— последовал ответ.— Поняла? Работаешь ты, баба, много, а свет видишь? Свет видишь али нет — спрашиваю? Хорошо тебе, бабе, весело живется? А?

— Та... веселья какая,— уж послабее сопротивляется баба, к которой обращена речь.

А атака все настойчивей и настойчивей.

— Да и казак колотит — чего молчать. Бьет мужик-то,— верно, што ли?

— А поди ты, сатана,— замахала руками казачка.— А твое какое дело?

— Кавалер он, знать, твой-то? — усмехнулась агитаторша.— Неужто уж так и не колотил ни разочку? Ври, тетенька, другому, а я сама это дело знаю. Был у меня и свой, покойничек: такой подлец жил — ни дна ему, ни покрышки! Пьяный дрался да грыз, как пес цепной... Али и его теперь жалеть стану? Да мне одной теперь свет рогожей: хочу — встану, хочу — лягу, одна-то...

— Молотишь, девка, пустое,— уж совсем ослабленно протестует казачка.

— А и так — пусть не били тебя,— шла та на уступки,— пусть не били... а жизни хорошей все-таки не знаешь... И никогда не узнаешь, потому что кто тебе ее даст, жизнь-то эту? Никто. Сама!.. Сама могла бы, а ты вон пень какой: и с места

не стронешь, да ведь и слова-то хорошего слушать не хочешь. Ну, кто тебя *выведет* после этого?

— Чего выводить-то?..— недоумевает казачка.— Вывели уж, ладно.— И тут загалдели все.

— Надо! — крепко убеждает красноармейка.— На дорогу надо выходить — тут только и жизнь настоящая начинается... Не знаете вы этого, бабы!

— Начинается...— роптали казачки.— Все у вас там «начинается», кончить-то вот не можете.

— Не удается, бабка, а хотелось бы... Ой, как бы хотелось поскорее-то! — говорила горячо коммунистка с неподдельным сожалением.— Мы и штаны-то затем надели, чтобы окончить скорее, а вы не поняли вот... смеетесь...

— Смешно — и смеемся,— ответили в толпе, но смеху уж не было.

Сопротивление, слово за словом, все тише, все слабее, все беспомощнее.

— Понимали бы лучше, чем смеяться-то,— урезонивали баб,— от смеху умен не будешь...

— Ишь умны больно сами...

В этом роде длится беседа — оживленно, естественно, легко... Игра идет с большим подъемом... Очень хорошо передается, как казачки начинают поддаваться неотразимому влиянию простых, ясных, убедительных речей... Беседы эти устраиваются не раз, не два. Красноармейки-женщины, пока стоят с полком в станице, помогают казачкам, у которых остановились, нянчиться с ребятами, за скотиной ходить, по хозяйству...

И вот когда уже полк снимается,— выходит, что картина переменилась. Бабы-казачки напекли своим «учительницам» пирогов, колобков сдобных, вышли их провожать с поклонами, с поцелуями, со слезами, с благодарными словами — новыми, хорошими словами...

Отныне в станице два лагеря, и те женщины-казачки, что слушали тогда коммунисток-женщин,— эти все считаются «большевичками» и подвергаются жестокому гонению.

Полк ушел... Станица оставлена наедине сама с собою... Многие казачки снова ослабевают, остаются вполне сознательными только единицы, но у всех — у всех при воспоминаниях о «красных солдатках» загораются радостно глаза, тепло становится на сердце, верится тогда, что не вся жизнь у них пройдет в коровьем стойле, что придет какая-то другая жизнь, непременно придет, но не знают они — когда и кто ее за собою приведет.

. . . . . .

Пьеса окончена. Опущен занавес. Было приказано не кричать и аплодисментами не заниматься. Но безудержно, восторженно хлопали бойцы любимой труппе...

Что-то подумали на позиции казаки, когда услышали этот гвалт? Чувствовали ли они, что тут, на сцене, выводят ихних жен и обращают их в «коммунистическую веру»?

По окончании спектакля — сюрприз. При занятии станицы, оказывается, нашли в одной халупе стихотворение, посвященное Чапаеву и написанное белогвардейским поэтом П. Астровым, чья фамилия и значилась под последней строкой. Это стихотворение было теперь здесь прочитано с эстрады — тщательно переписанное, его потом преподнесли Чапаеву «на память».

Вот оно:

Из-за волжских гор зеленых
На яицкий городок
Большевистские громады
Потянулись на Восток.

Много есть у них снарядов,
Много пушек и мортир,
И ведет их, подбоченясь,
Сам Чапаев-командир.

Хочет он Яик мятежный
Покорить, забрать в полон,
И горят, дымятся села,
И народный льется стон...

Почитай, во всех поселках
Казни, пьянство и грабеж...
И гуторят меж собою
Старики и молодежь:

«Будет горе, будет лихо
На родимой стороне.
Эй, казак, берись за пику
По веселой старине!..

Большевистских комиссаров
Надо гнать ко всем чертям —
Нам без них жилось свободней,
Старорусским казакам.

Гей, вы, соколы степные,
Подымайтесь, стар и млад,
Со стены сними винтовку,
Отточи острей булат».

Вмиг станицы зашумели,
И на красные полки
Дружно сомкнутою лавой
Полетели казаки.

И вослед им улыбался
Старый дедушка Яик,
И бежал назад с позором
Полоумный большевик.

Произошло чтение это почти неожиданно. Кто его подстроил — так и не узнали, да и не дознавались, впрочем, особенно. Во всяком случае, можно было бы не читать, а просто передать Чапаеву переписанный экземпляр. Но уж когда начали читать — останавливать на половине не хотели, дослушали. Потом — у всех недоуменные, вытянутые лица.

Федор подтолкнул Чапаева:

— Поди выступи, расскажи, как тебя «били» казаки...

Предложение попало в нужное место: Чапаев задет был за живое. Он вышел на подмостки и произнес короткую, но ярко образную речь, насыщенную эпизодами боевой жизни... Кончил. Провожали восторженно... У всех настроение было торжественное... А наутро многих-многих из этих «зрителей» то на лугах оставили изуродованными, растоптанными трупами, то калеками развозили к станицам и на Уральск...

Поездка эта была последняя, которую Федор с Чапаевым совершили вместе. Уже через несколько дней Федора отозвали на другую, более ответственную работу, а вместо него прислали комиссаром Батурина, с которым Клычков когда-то знаком был еще по Москве.

Куда уехал Федор и что там делал — не станем рассказывать, эта история совершенно особенная. Напрасно Чапаев посылал слезные телеграммы, просил командующего, чтобы не забирали от него Федора,— ничто не помогло, вопрос был предрешен заранее. Чапаев хорошо сознавал, что́ за друга лишался он с уходом Клычкова, который так его понимал, так любил, так защищал постоянно от чужих нападок, относился разумно и спокойно к вспышкам чапаевским и брани — часто по адресу «верхов», «проклятых штабов», «чрезвычайки», прощал ему и брань по адресу комиссаров, всякого «политического начальства», не кляузничал об этом в ревсовет, не обижался сам, а понимал, что эти вспышки — вспышками и останутся. Было и у Федора время, когда он готов был ставить Чапаева на одну полку с Григорьевым и «батькой Махно», а потом разуверился, понял свою ошибку, понял, что мнение это скроил слишком поспешно, в раздражении, бессознательно... Чапаев никогда не мог изменить Советской власти, но поведение его, горячечная брань по щекотливым вопросам — все это человека, мало его знавшего, могло навести на сомнения. Помнится,

еще где-то под Уфой приезжало из Москвы «высокое лицо», и это лицо, услышав только раз Чапаева и наслушавшись о нем разной дребедени, сообщило Федору примерно следующее:

«...Если он только немножко «того» — мы его сразу по ногам и рукам скрутим!..»

Федор тогда возмутился до крайности и даже наговорил «лицу» всяких дерзостей, за что и заслужил его немилость. Но что же было удивительного? Сомнения того «лица» были вполне законными, ибо Чапаев при нем держался на первый день так же, как и при Федоре на двести первый. Во всяком случае, пробыв с глазу на глаз неотлучно с Чапаевым целые полгода, Федор уносил о нем самое лучшее воспоминание. Ему, как и Чапаеву, тяжела была эта разлука. Не знал того, что разлука эта спасла от неминуемой смерти, что *за него и на его месте* через две недели погибнет заместивший его Павел Степаныч Батурин...

Вот что заставляло только Федора потом задумываться и сомневаться: где *героичность* Чапаева, где его *подвиги*, существуют ли они вообще и существуют ли сами герои? Они были так долго неразлучны,— изо дня в день, из часа в час... Времена были самые жаркие, походные, сплошь боевые... Каждый шаг Чапаева Федор знал, видел, понимал, даже скрытые пружинки, закулисные соображения — и те в большинстве знал и видел отлично. Вот он перебирает в памяти день за днем — от встречи в Александровом-Гаю до последнего дня здесь, в Уральске. Сломихинский бой, колоссальная работоспособность, быстрота передвижения, быстрота сообразительности, быстрота в работе... На Уфу... Пилюгинский бой. Уфимский... Опять сюда... Где же *конкретно* те факты, которые надо считать героическими? А молва о Чапаеве широкая, и молва эта, верно, более заслужена, чем кем-либо другим. Чапаевская дивизия не знала поражений, и в этом была немалая заслуга самого Чапаева. Слить ее, дивизию, в одном порыве, заставить поверить в свою непобедимость, приучиться относиться терпеливо и даже пренебрежительно к лишениям и трудностям походной жизни, дать командиров, подобрать их, закалить, пронизать и насытить своей стремительной волей, собрать их вокруг себя и сосредоточить всецело только на одной мысли, на одном стремлении — к победе, к победе, к победе,— о, это великий героизм! Но не тот, который с именем Чапаева связывает народная молва. По молве этой чудится, будто «сам Чапаев» непременно носился по фронту с обнаженной занесенной шашкой, сокрушал самолично врагов, кидался в самую кипучую схватку и решал ее исход. Ничего, однако, подобного не было. Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоя-

тельствах и для той среды, с которою имел он дело, которая его и породила, которая его и вознесла! Во время хотя бы несколько иное и с иными людьми — не знали бы мы героя народного, Василия Иваныча Чапаева! Его славу, как пух, разносили по степям и за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже *слышали* от других, верили этому услышанному, восторгались им, разукрашивали и дополняли от себя и *своим* вымыслом — несли дальше. А спросите их, этих глашатаев чапаевской славы,— и большинство не знает никаких дел его, не знает его самого, ни одного не знает достоверного факта...

Так-то складываются легенды о героях. Так сложились легенды и о Чапаеве.

Имя его войдет в историю гражданской войны блестящею звездой — и есть за что: таких, как он, было немного.

Мы подошли к драме — она и закончит наши записки.

Мы знаем, что просьбы об оставлении Федора ни к чему не привели. Его отозвали категорически и даже строго, когда он сам намекнул, что хотел бы остаться работать с Чапаевым. Оглянувшись на эти минувшие шесть месяцев, и сам Клычков теперь не узнавал себя,— так он вырос, так окреп духовно, так закалился в испытаниях, так просто и уверенно стал подходить к разрешению всевозможных вопросов, которые ему до фронта казались безмерно трудными. Только теперь почувствовал он могучее влияние боевой страды, воспитательное значение фронтовой обстановки...

Приехал Батурин, остановился у Федора. Разговорились по-приятельски про старое житье-бытье в Москве... Потом перешли на дивизию. Федор стал ему рассказывать про обстановку, в которой остается он работать. Мрачный, неразговорчивый, как будто чем-то опечаленный, Павел Степаныч сразу оживился, узнав, в какую своеобразную среду попал...

Днем заседала партийная дивизионная конференция. Федор проводил ее в последний раз, знакомил, между прочим, со всеми и своего заместителя. Тепло, задушевно, с искренним сожалением провожали товарищи Федора Клычкова,— его за эти полгода они полюбили и привыкли ценить, а особенно дорожили им потому, что умел сдерживать Чапаева и *чапаевщину*, то есть все эти неприятные, временами просто опасные выходки и выпады в сторону политработников, ЧК, штабов...

После конференции, вечером, Федор созвал к себе на прощанье всех командиров и комиссаров. Был тут и Павел Степаныч. Но странно было его настроение: как сел в угол, так и просидел почти без движения, никому не сказавши ни слова, все эти несколько часов, пока друзья и товарищи провожали

Федора, поминали боевую минувшую жизнь, сожалели, что уходит простой, хороший, верный товарищ...

Наутро простились, расцеловались, разъехались в разные стороны: Федор — в Самару, а Чапаев с Батуриным — на позицию, по бригадам и полкам...

Наступали успешно. Бригада Шмарина да еще одна, приданная от другой дивизии, шли по Уралу, по большому тракту. Бригада Попова шла на Бухарскую сторону — так называются зауральские земли. Елань со своими полками совершил маневр на Усиху, куда приезжали к нему Чапаев с Федором после «ночных огней». Этот маневр не дал того, чего ждали; затраты были слишком велики — они не соответствовали результатам боев. Чапаев, такой чуткий и гибкий во всех своих действиях, так быстро все улавливавший и ко всему применявшийся,— он понял здесь, в степях, что с казаками бороться надо уж не тем оружием, как боролись недавно с мобилизованными насильно колчаковскими мужичками. Казаков на испуг не возьмешь, захваченной территорией с толку не собьешь: территория казацкая — вся широкая степь, по которой будет он скакать вдоль и поперек, в которой всюду найдет привет казачьего населения, будет жить у тебя в тылу, будет неуловим и бесконечно вреден — серьезно, по-настоящему опасен. Казацкие войска не гнать надо, не ждать надо, когда произойдет у них разложение, не станицы у них отымать одну за другою,— это дело тоже важное и нужное, но не *главное*. А главное дело — *сокрушить* надо живую силу, уничтожить казацкие полки. Если из пленных колчаковцев было можно восполнять поредевшие ряды своих полков, то из пленных казаков этого набора делать невозможно: тут — что казак, то и враг непримиримый. Во всяком случае, другом и помощником сделается он не скоро! Уничтожение живой неприятельской силы — вот задача, которую поставил Чапаев перед собою. Чем дальше, глубже в степь, тем труднее это сделать: возрастет нужда, одолеет измученность, голод и безводица сделают свое дело, оторванность от центра скажется болезненно и тяжко.

Трудно будет и казаку, но трудней того — красноармейцу. Значит, надо торопиться, надо идти на все: жертвовать силами, жертвовать средствами, многое отдать сознательно, чтобы больше того не потерять, забравшись глубоко в степи. И Чапаев нащупывает пути, которые бы вели к намеченной цели. Усихинский маневр — не то, совсем не то, что надо. И войска сгруппировываются, лобовым ударом берут вторую уральскую столицу — Лбищенск... Потери... да, потери, но результаты уже более серьезные. Пяток таких ударов — и кончено!

За Лбищенском миновали Горяченский. Под Мергеневским

встали. Свое положение отступавшие казаки понимали отлично и видели, что́ ожидает их в голодном песчаном низовье. Отпор красным войскам надо дать где-то здесь, пока не поздно, пока не все потеряно. И они усиливают оборону станиц до последней степени. Крепко защищали Лбищенск, упорно держались, долго не отдавали, но там этот могучий лобовой удар, видимо, был для них неожиданным. Рассчитывали, что Чапаев все еще живет маневрами, все еще в обхват только верит. Ошиблись. Но на ошибке этой научились и теперь укрепили Мергеневский, насколько хватило сил и средств: использовали оставшиеся от весенних боев глубокие окопы, сгрудили сюда артиллерию, наставили за каждым уголком, в каждую щель, попрятали в окопах пулеметы. Мергеневский брали красные полки лобовым ударом. Взяли. Несмотря ни на что — взяли. Положили немало казаков, но больше легло красноармейцев. Победа досталась дорогою ценой. Казаки уловили чапаевскую тактику и на каждый новый ход отвечали своим особым ходом. Когда убедился Чапаев по мергеневскому бою, что лобовой удар надо временно оставить,— Еланю дал задачу идти по большому пути, а Шмарина направил к Кушумской долине, на Кзыл-Убинский поселок, чтобы выходом против Сахарной облегчить захват этой станицы Еланю.

В это же время сюда из-под Сломихинской двигались казацкие полки; они набрели на хутор, где задержался иванововознесенский обоз. Начались ужасные расправы. Случайно спаслись, убежали только три красноармейца. Они и сообщили о случившемся. В бригаде затревожились — отсюда казаков не ждали. Повернули полк опять на хутор, на выручку обоза. Но вернуть его целиком не удалось — все лучшее захватили казаки с собой, с боем отступая от хутора. Представилось ужасное зрелище: две девушки валялись с отрезанными грудями, бойцы — с размозженными черепами, с рассеченными лицами, перерубленными руками... Навзничь лежал один худенький окровавленный красноармеец, и в рот ему был воткнут отрезанный член его... Омерзительно и страшно!..

Этими ужасами казаки, видимо, хотели, кроме утоления мести, устрашить красноармейцев, заставить трепетать их казацкого плена, трепетать самого пребывания здесь, в степях, подтолкнуть к дезертирству. Результаты как раз получились обратные. Опасаясь казацкого плена и пыток, красные бойцы живыми в руки не давались и бились всегда с поражающей стойкостью, воистину «до последней капли крови». Молва о случившемся здесь, на хуторе, помчалась из роты в роту, по всем полкам. Раздавались проклятья свирепым палачам, бойцы давали себе клятву победить или умереть в бою!

...Елань спустился с боем к Каршинскому и здесь ожидал вестей о подходе Шмарина, но тот с полками запутался в степи и никак не мог с ним в течение ряда дней установить связь. Посылал гонцов, но их перехватывали дежурившие кругом казацкие разъезды, выматывали у них разные сведения, отбирали письма и документы, а дальше — сносили голову. Расстреливать — жалели пуль, а вешать было не на чем. Сколько гонцов ни посылали — участь была одинаковая. А положение из рук вон плохо: станиц тут нет, голая степь кругом, только редко-редко хутор где встретится. Хлеба доели последние крохи, кололи скотину; питались одним мясом, поджаривая его на кострах. Усилились разные болезни, одолела желтуха. Лечить было некому и нечем. Воды нет. Скакали к Кушуму — он тут пересыхал — и доставали вместо воды только зеленовато-коричневую жижицу, наподобие той, что бывает в старых заплесневелых прудах. Наполняли котелки и ведерки этой мерзостью, отжимали грязь, а что оставалось — пили. Привозили по ведерку в полк, и там начиналась драка: кому первому?

Как-то случайно наткнулись на колодец. Немноговодны они, казацкие колодцы,— набралось тут всего пятнадцать ведер. Потребовалось у спуска, где цепляется бадья, поставить пулемет, а кругом — немалую охрану. Каждому полку выдавали поровну, и у поставленных ведер стояли тысячные очереди бойцов с желтыми, худыми, измученными лицами. Каждый подходил, заглядывал в студеную воду, и глаза его загорались недобрым огоньком,— так и казалось, что кинется он вперед, уцепится за ведро обеими руками, опустит в воду распаленную голову и жадными губами станет пить, пить, пить... Вы его бейте, рвите, гоните, стреляйте — он не оставит воды! Так бы, может, и случилось, если бы и тут не было охраны, если бы и тут кружка не передавалась через вторые руки. Подходит, сердяга, дадут ему эту кружку, и смотрит он, смотрит, как на дне тоненьким слоем раскатилась вода.

— Еще немножко, товарищ,— обратится он к водочерпию с умоляющим, скорбным, тяжелым взглядом.

— Нельзя... всем поровну...

— Хоть капельку...

— И капельки нельзя,— отвечают ему.

Посмотрит еще раз на дно, медленно поднесет к губам, все жалея пить, и долго-долго тянет и сосет, будто в кружке не вода, а густой, сочный, сладкий мед, и будто доверху его, никак не выпьешь, не осилишь.

Попадались колодцы, наполовину забросанные землею. Отрывали. Но там, в глубине, встречали только влажную грязную землю — воды не было. Два колодца встретились заваленные

трупами коров и лошадей. Смердило. Вонь слышна была издалека. Но раскопали и эти колодцы. Повыбрасывали трупы, а добытую со дна вонючую шоколадную жижицу опять отжимали от всякой дряни и пили.

Так мучилась шмаринская бригада, пока не нащупала еланьевские полки, которые к тому времени уже захватили Сахарную. Ждать подмогу не стали, торопились идти дальше.

Грозный, взволнованный Чапаев отдал Шмарина под суд за невыполнение приказа и сам требовал — расстрелять его!

Но председательствовавший в комиссии по разбору дела Елань настаивал — снизить Шмарина на командира полка. В этом предложении его поддержал Батурин, и Шмарина наутро же убрали из комбригов.

Уже подготовлялись полки к дальнейшему походу через Калмыков на Гурьев, к Каспийскому морю. Но тут-то и случилась драма, которую никогда-никогда не забыть.

Штаб дивизии стоял во Лбищенске; отсюда Чапаев с Батуриным продолжали на автомобиле почти ежедневно навещать бригады. Подступали осенние холода. За свежими, ядреными днями опускались быстро сумерки, за сумерками — черные, глухие осенние ночи... Все безнадежней положение отступающих казацких частей: впереди безлюдье, голод, степной ковыль, чужая сторона... Если сопротивляться, то только теперь,— дальше будет поздно! И казаки решили сделать последнее отчаянное усилие: обмануть бдительность своего победоносного противника и ударить его прямо в сердце. Они решили проделать из-за Сахарной глубокий рейд мимо Чижинских болот по Кушумской долине — как раз мимо тех мест, где по весне у Сломихинской била их Чапаевская дивизия,— выйти незаметно в тыл красным войскам и внезапным ударом сокрушить все, что сгрудилось во Лбищенске. А здесь тогда было немало и народу, и учреждений дивизионных, и даже всякого добра военного: патронов, снарядов, обмундирования как раз привезли на ту пору,— собирались дивизию одевать-обувать, увидев, как от грязи, от голоду, от муки походной целые роты и батальоны повалкой лежали в тифу.

В этот многотрудный путь от Уральска на Гурьев от тифа бойцов убыло многим больше, чем от сражений. Халупы станиц, полковые обозы, а то и просто придорожные канавки полным-полны были больными красноармейцами. Одних не успевали отвозить, как заболевали другие, а других везти было не на чем, и они оставались по пустым халупам пустых станиц или по траве, в канавах, на дороге...

Не было медикаментов, переболел и перемер наполовину медицинский состав. У казаков было немногим лучше, но на их стороне было то преимущество, что в станицы приходили они первые, все там забирали, все с собою угоняли, увозили, а то, что были не в силах взять, сжигали, уничтожали, отравляли — всячески приводили в негодность. Красные полки двигались по местам разоренным и опустошенным, все больше и острее нуждаясь в хлебе, воде, патронах, снарядах, повозках, лошадях... Положение чем дальше, тем несноснее. Казаки это знали и хорошо учитывали при своем, бесспорно, талантливом налете. Они думали: когда уничтожен будет штаб, разорвана связь и полки, ушедшие вниз на сотню верст, останутся с голыми руками,— они сдадутся сами по себе, видя полную безнадежность дальнейшего сопротивления... Будет сокрушена, думали они, несокрушимая Чапаевская дивизия, а вместе с ее гибелью освободятся от красных пришельцев уральские степи...

На операцию свою возлагали они надежды очень крупные и потому во главе дела поставили опытнейших военных руководителей... Над Лбищенском собирались черные тучи, а он и не знал, что так близка эта ужасная катастрофа...

Сегодня Чапаев мрачнее обыкновенного: рано утром умчался на автомобиле, но пробыл на фронте недолго, в полдень воротился во Лбищенск... Продвижение стало замедляться: тиф косил бойцов без жалости и без счету, обозы не могли доставлять ко времени все необходимое. Он видел и понимал, что «подтянуть» никого и никак нельзя,— через себя не перескочишь! Бригады работали, выбиваясь из сил, но тяжкая обстановка одолевала даже героическое, самоотверженное напряжение. Мрачен Чапаев. Забежал на минутку к Батурину, поделился сомнениями — и опять к себе. Все ходит, ходит взад-вперед по комнате просторной казацкой избы. Хочется ему придумать что-то — и не может придумать, потому что нет его, этого желанного ответа. Петька из-за двери посматривает и молчит, только ждет — не прикажет ли ему что-нибудь Василий Иваныч.

Приходил Чеков, но еще в коридоре остановил его Петька и посоветовал лучше не ходить. «Сейчас не для тебя у него время, друг»,— сказал он Чекову, и тот, пофыркав в густые, пышные усы, без разговоров повернулся и ушел. Заглянул Теткин Илья. Этот что-то даже «очень важное» сообщить хотел, но и он, услышав, в каком состоянии духа Чапаев, ушел обратно... С болью сердечной пришлось только пропустить начальника штаба Ночкова. Но этот с «докладом» шел, его и отговаривать Петька не осмелился...

Ночков, молодой человек лет двадцати трех, офицер, был

одним из тех немногих, которым Чапаев доверял, а Ночкова он даже и любил. Поступивши в Красную Армию еще в 18 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, кажется, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, и они его любили и уважали — «свой» был, словом, человек. Насколько его уважал Чапаев — уже по тому одному можно заключить, что за все время совместной работы ни разу на него не крикнул, не грозил, не пугал всеми муками ада, а таких счастливцев не было ведь почти ни одного.

Ночков вошел в комнату и остановился у притворенной двери, придерживая под мышкой пачку бумаг.

— Входи, чего ты? — посмотрел на него Чапаев.

— Слушаю,— подошел Ночков и, увидев, что Чапаев сел к столу, наклонился стоя и начал доклад. Он рассказывал и показывал на карте, какую линию заняла дивизия по последним сводкам. Особенно Чапаев остановился расспросами на сведениях о бригаде, которая ушла за Урал, на Бухарскую сторону, и, отрезанная, почти лишенная подвоза, сражалась там в безмерно трудных условиях. Но когда узнал он, что телеграммой оттуда извещают о прибытии последнего транспорта,— повеселел, стал ласковей, говорил спокойней и тише.

— Как известно вам,— докладывал Ночков,— на обозников тут неподалеку, верстах в пятнадцати, вчера нападение сделано.

— Знаю.

— Расследовали, произвели дознание. Есть убитые и раненые... Казачий разъезд, преследуя, подходил совсем близко к станице, но потом ускакал в неизвестном направлении.

— Догоняли? — спросил Чапаев.

— Опоздали, не видели даже, куда ускакал. Обозники, что спаслись, тоже не знают.

— А не думаешь, Ночков, што тут, близко где-нибудь, побольше имеется?

— Не могу знать. По вашему приказанию рано утром сегодня пущены во все стороны разъезды, улетело два аэроплана...

— Нет еще никого?

— Летчики здесь докладывали: нет ничего, движения никакого не заметно.

— Ты знаешь? — спросил Чапаев.— Сегодня выставишь школу курсантов.

— Слушаю...

Еще несколько вопросов, и Чапаев отпустил Ночкова. Скоро пришел Павел Степаныч. Он только что разговаривал с вернувшимися разведчиками — нигде ничего ими не обнаружено.

До сих пор удивительным и неразгаданным остается: кто же

в ту роковую ночь дивизионную школу снял с караула? Чапаев такого распоряжения никому не давал, Ночков — вне всяких подозрений: он сражался геройски и тяжко пострадал той ночью во лбищенском бою.

Что у казаков была связь со станичниками — в этом нет никакого сомнения. По крайней мере, в некоторых избах сразу обнаружились засады; оттуда били и винтовки и пулеметы; склады и учреждения дивизионные указывались чрезвычайно быстро,— все подготовлено и рассмотрено было заранее.

Когда Батурин сидел у Чапаева, мимо Петьки, несмотря на сопротивление, прорвалась к ним какая-то доброжелательница-казачка, у которой сын служил в Уральске, и впопыхах старалась рассказать и убедить, что приближается опасность, потому что «в поле ездют», но и это предупреждение не поимело никакой силы: Чапаев с Батуриным только усмехнулись, подумав, что женщина говорит про тот самый разъезд, который наскочил на обозников... Про эту «дуру бабу» Петька рассказывал тут же пришедшему вторично Теткину, который безобидно повернулся опять, узнав, что — занят с «комиссаром».

Уже полночь давно осталась позади, чуть дрожали предрассветные сумерки, но спит еще станица спокойным сном. Передовые казацкие разъезды тихо подступили к околице, сняли часовых... За ними подъезжали, смыкались, грудились и, когда уже довольно накопилось, двинулись черной массой.

Прозвучали первые тревожные выстрелы дозорных... Поздно была обнаружена опасность,— казаки уж рассеялись по улицам станицы... Поднялась беспорядочная, слепая стрельба — никто не знал, в кого и куда надо стрелять... Красноармейцы повскакивали и в одном белье метались в разные стороны. Видна была полная неорганизованность, полная неподготовленность... Отдельные кучки сбивались сами по себе, и те, что успели захватить винтовки, задерживались на каждом мало-мальски удобном месте, где можно было спрятаться, открывали огонь вдоль по улицам, а потом снимались и бежали дальше к реке. Общее направление всех отступавших было на берег Урала. Казаки гонялись на окраине за бегущими красноармейцами, рубили, захватывали, куда-то уводили,— здесь не было почти никакого сопротивления. Но проникнуть в центр станицы не могли... В одном месте несколько десятков человек сгрудились вокруг Чапаева и скоро залегли цепью. Сам Чапаев выскочил тоже в белье — с ним была винтовка, в левой руке держал револьвер... Уж совсем поредели сумерки, можно было все рассмотреть без труда... Прошли в ожидании две-три томительных минуты...

Цепь увидала, как на нее неслась казацкая лава. Дали залп, другой, третий... Затрещал подтащенный пулемет — лава отхлынула.

На соседней улице, где остановился политический отдел, возле Батурина тоже сомкнулась группа человек в восемьдесят: тут были с Суворовым во главе почти все работники политотдела, сам Батурин, Ночков, Крайнюков... Увидев, что казацкие атаки становятся все чаще и настойчивее, Батурин сам повел в атаку свой крошечный отряд. Этот удар был так неожидан, что ехавшие впереди на повозках казацкие пулеметчики повскакивали и кинулись бежать, оставив Батурину в руки два пулемета... Пулеметы повернуты были немедленно против врага... В это время тяжело в ногу ранен был Ночков. Его оттащили немного в сторону, но не знали, куда деть, оставили. Он дополз до халупы, протащился и спрятался там под лавку... Батуринская группа держалась дольше всех, но, не имея связи ни в одну сторону, она до последнего момента верила, что является только горсточкой, а главный бой главными силами идет где-то по соседству, верно, около Чапаева... Так и погибла с этой верой... Связи не было, и потому успех одной группы совершенно парализовался соседними неудачами: никто не знал, что делается рядом, что надо делать самому. Увидев, что лобовыми атаками скоро успехов не добьешься, казаки частью спешились и задворками, через сады, стали проникать в тыл обороняющимся группам...

Когда поднялась в тылу перестрелка, а тут, с фронта, снова и снова выносились казацкие лавы, группа батуринская не выдержала, начала отступать, рассеялась. Помчались бойцы в одиночку прятаться, кто куда успеет. Но не уцелел, конечно, ни один: жители выдавали поголовно, спаслись только убежавшие к Уралу, сохранившиеся при переправе... Батурин забежал в халупу и спрятался где-то под печью, но хозяйка выдала его немедленно, рассказала, что «это, надо быть, сам комиссар и есть»,— помнила, знать, окаянная, по собранию, где Павел Степаныч держал к станичникам речь. Разъяренные, рассвирепевшие казаки, узнав, что в руки попал «сам комиссар», даже и не подумали что-либо узнавать от него, допрашивать и выпытывать — они горели звериной охотой поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли на волю — каждому хотелось первому всадить ему в грудь холодное лезвие... Потрясали над головой оружием, скрещивались, звенели шашками, с остервенелыми лицами ждали, когда его бросят на землю... И как только бросили — в горло, в живот, в лицо воткнулись шашки и штыки... Началась вакханалия. Но и этого было мало: ухватили за ноги, ударили, размахнувшись, с такой силой, что

разлетелась черепная коробка, выскочили мозги... Потом рвали, драли, кололи и резали его одежду, пинали этот сгусток мяса и крови, каждый метил пнуть непременно в лицо... Тут же поблизости стояло несколько пленных красноармейцев; они с ужасом смотрели, во что превращен был славный комиссар Павел Степаныч Батурин. Несчастные! Они почти все до одного — уже через несколько минут — сами погибли под казацкими шашками...

А Чапаев — где он?

В окопах долго удержаться не удалось,— и сюда проникли по берегу казаки. Надо было отступать к обрыву... Здесь обрыв высоко над волнами, и на горку идти — все равно, что быть мишенью. Но деваться некуда, по обеим сторонам уже поставлены казацкие пулеметы: они бьют по реке и хоронят пловцов, которые думают скрыться на Бухарскую сторону. Чапаеву пробило руку. Он вздумал утереть лицо и оставил кровавые полосы на щеке и на лбу... Петька был все время подле.

— Василий Иваныч, дайте голову завяжу! — крикнул он Чапаеву.

— Ничего... голова здоровая...

— Кровь на лбу бежит,— задыхающимся голосом старался его уверить Петька.

— Ну, полно — все равно...

Они шаг за шагом отступали к обрыву... Не было почти никакой надежды — мало кто успевал спастись через бурный Урал. Но Чапаева решили спасти.

— Спускай его на воду! — крикнул Петька.

И все поняли, кого это *«его»* надо спускать. Четверо ближе стоявших, поддерживая бережно окровавленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся,— позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала...

А Петька остался на берегу до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую — в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького, рядового, но такого славного, благородного воина. С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в песке кровавую массу человеческого тела...

Месяца через два после этой трагической кончины Революционный военный совет республики отдал приказ о том, что за славные дела награждается орденом Красного Знамени слав-

ный воин Петр Исаев... Опоздала почетная награда — на два месяца не захватила своего героя.

Вместе со всеми до самого берега отступал с Исаевым рядом и Чеков. Его убили на песке, к воде спуститься не успел — пуля пробила ему голову.

Теперь сопротивления уже не оказывали нигде. Казаки гонялись за убегавшими, нагоняли их, ловили и зарубали на месте. Если захватывали группу, командовали:

— Жиды, комиссары и коммунисты — выходи!

И они выступали вперед, не желая подводить под расстрел красноармейцев,— только не всегда их этим спасали. Выходили перед рядами своих товарищей — такие гордые и прекрасные в своем молчаливом мужестве, с дрожащими губами, с горевшими гневными глазами и, посылая проклятья казацкой нагайке, умирали под ударами шашек, под ружейными пулями... Других уводили в поле, под пулеметы... Там, за станицей, есть три огромных кирпичных ямы,— они были доверху завалены трупами расстрелянных...

Бригады стояли у Сахарной и выше по станицам, когда помчалась страшная весть: уничтожен штаб, политический отдел, все дивизионное командование, разрушена связь, отнят отдел снабжения — нет и не будет снарядов, патронов, одежи, обуви, хлеба... Очутиться в таком положении — ужасно! Красноармейцы измучены боями, изнурены голодухой, безбожно — целыми ротами — мучаются, гибнут в тифу... Отрезанные, окруженные казаками, потерявшие управление — что станут делать?

Елань взял на себя командование дивизией,— никто его не назначал, не утверждал,— сам взял, ждать было некогда.

Идти вперед — бессмысленно! Идти назад — это значило с голыми руками пробиваться сквозь казацкие массы у Лбищенска. Но в этом последнем исходе хоть отдаленно поблескивает надежда на успех, а в первом решении и этой надежды нет — там верная, скорая гибель. Решено отступать немедленно, быстро, незаметно снявшись со стоянок, стараясь неприятеля ввести в заблуждение, обмануть его бдительность... Один другому со скорбью, с ужасом передавали бойцы мрачную весть, и скоро все до последнего знали о том, что случилось во Лбищенске.

— Вперед или назад? — спрашивали друг друга и не знали того, что сам новый командир осиротелой дивизии не решил еще в ту минуту этого больного, мучительного вопроса: вперед или назад?

От Мергеневского бригада пошла первая, скоро за нею должна была идти и вторая, что стояла в Сахарной... Сняться решено было ночью — так тихо, чтобы неприятель и не думал,

что уходят красные полки. В кольцо замкнули обозы и артиллерию, оставили на охрану кавалерийский дивизион, поднялись и бесшумным, тихим ходом задвигались во тьме... В станице горели костры,— пусть думают казаки, что у этих костров все еще греются безмятежно красные бойцы...

А они все дальше, дальше уходят в степь... Команда — шепотом, и этот шепот из уст в уста передается по невидимым цепям и колоннам... Скрипнет колесо, придавит кому-нибудь ногу, и он охнет невольно. Кто-то глухо, сдержанно кашлянет в кулак,— и снова тишина, тишина... Не шли, а словно на крыльях летели. Уж позади остался Каршинский поселок, вот на виду Мергеневский... В это время донесся издалека глухой тяжелый удар,— в Сахарной отступавший последним кавалерийский дивизион взорвал оставшиеся снаряды, их не на чем было увозить... Как только взорвал, на рысях ударился догонять давно ушедшие части...

Почти двое суток шагали не отдыхая. Чуть приникнут — и дальше: некогда стоять, дорога́ каждая минута... На вторую ночь подходили ко Лбищенску. Отсюда казаки еще накануне, до прихода первой бригады из Мергеневского, ушли вверх на Уральск. Они тоже торопились и много надежд возлагали на внезапность, на быстроту удара. Отрезанные части они считали обреченными: их добьют из Сахарной! А сами — скорей, скорей на Уральск! Но обернулось по-иному, совсем по-иному: «обреченные» остались живы и целы.

Вот уж и вторая бригада проходит через зловещий кровавый Лбищенск... Он все еще страшен, глух и пуст. Валяются по улицам неубранные тела проколотых, иссеченных шашками, расстрелянных красноармейцев... Первая бригада не задержалась здесь — ушла тогда же на Кожехаров. Трупы подбирали, уносили, хоронили... Отправились в поле и в общие братские могилы схоронили тех, что сотнями поставлены были под казацкие пулеметы... Ни прощальных слов, ни похоронного марша — с обнаженными головами опускались бойцы на колени и застывали в безмолвии над дорогими могилами, полные скорбных чувств, тяжелых и суровых дум...

Во Лбищенске отдыхали недолго — снялись и пошли... Тут настигли преследовавшие от Сахарной казацкие части, и завязались бои — бои не на жизнь, а на смерть. Казаки не хотели верить, что столь измученные войска могут сопротивляться, наскакивали бешеными атаками, торопились покончить упущенное дело. А красные полки, обреченные на гибель, вырывались из железных объятий смерти, пробивали путь, отражали атаки, доказали еще и еще в этой изумительной обстановке, что́ представляли из себя полки Чапаевской дивизии...

...Под хутором Янайским очутились ночью. Усталость была беспредельная. Повалились с ног. Каменным сном заснули бойцы... Даже караулы не могли совладеть с собою — спали и они. Красный лагерь представлял собою сплошное мертвое царство. Казаки приготовились к внезапному удару; они цепями подкрались почти вплотную, замерли в нескольких шагах, только боялись начать в такую глухую непроглядную темь,— ждали первых признаков робкого, дрожащего рассвета... Конные массы отброшены по флангам,— они нацелились поскакать за бегущими, перепуганными красноармейцами... Было все готово. Над красными частями нависла смерть!

Первый удар казаки давали на испытание: будет паника или нет? побегут или останутся на месте?.. И только колыхнулся дремучий мрак сентябрьской ночи, как по казацким частям загремело: «Ура!!! ура!!! ура!!!» Залпами открыли огонь... Откуда-то сзади грохнули орудия...

Как ни крепко спали бойцы — повскакивали и сразу за винтовки... Но не было порядка, не было стройного сопротивления,— от первых же казацких пуль погибло немало командиров. Произошло замешательство. Никто не мог определить сразу, что надо делать, ждали команду, но ее не было. Сопротивление было раздробленным, случайным, ненадежным... Все нарастал беспорядок, все увеличивалось замешательство, с минуты на минуту можно было ожидать сумасшедшей, губительной паники... Командир артиллерийского дивизиона Николай Хребтов — тот, что работал у Красного Яра,— подбежал к орудиям, но там не было наготове ни одного «номера»: кто отбежал к повозкам, кто лежал уткнувшись, спасаясь от огня. Властным окриком поднял людей, пустил снаряд, за ним другой, третий... и открыл жестокий, сокрушительный огонь... Этого было достаточно, чтобы предотвратить панику. Лишь только бойцы увидели, услышали, что бьют свои батареи,— встрепенулись, ободрились, а тут на смену погибшим командирам явились новые. Завязался упорный, кровопролитнейший бой,— таких боев не много запомнят даже старые боевые командиры Чапаевской дивизии. От сопротивления переходили к атакам и снова замирали, когда несносен становился пулеметный огонь...

С грохотом и воем шли на красные цепи два неприятельских броневика: один в открытую, по равнине, другой в обход, по глубокому оврагу. Не привыкать стать — только еще плотнее прилегли к земле, застыли в ожидании... А когда чудовища приблизились, Николай Хребтов одному снарядом угодил прямо в лоб, и тот, покачнувшись, осел на месте... Восторгу не было пределов... Поднялись на новую атаку. И били... А потом снова зарывались в землю и ждали очередной ответной схватки...

Казаков угнали за несколько верст. В этом янайском бою немало погибло красных бойцов, но еще больше на поле осталось казаков. И так было, что лежали они рядами,— здесь скошена была вся цепь неумолимым пулеметным огнем...

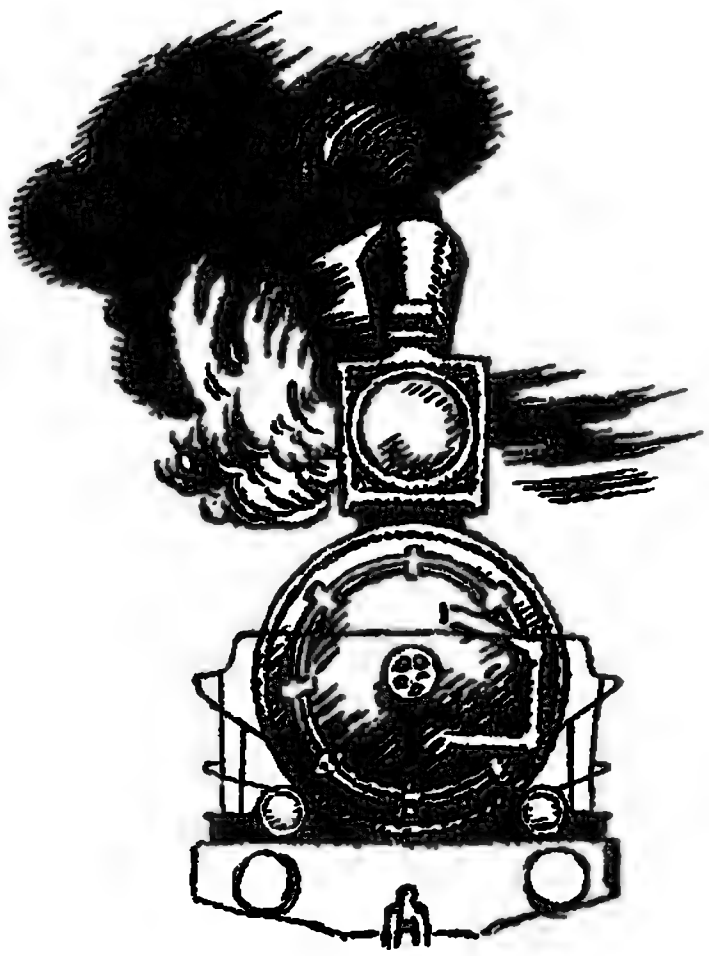
Другого боя, подобного янайскому, не было. Скоро подошла подмога... Казаки угонялись вспять через те же хутора и станицы, где лишь несколько дней тому быстро-быстро спешили от погони красные полки. Теперь они снова шли в наступление на самый Гурьев, до берегов Каспийского моря...

Проходили и Лбищенск, застывали над братскими могилами, пели похоронные песни, клялись бороться, клялись победить, вспоминали тех, что с беззаветным мужеством отдали свои жизни на берегах и волнах неспокойного Урала.

Москва, 20-1-1923 г.

НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

Как закалялась сталь



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

— Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок — встаньте!

Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек,— четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.

— Вы садитесь,— махнул поп в сторону девочек.

Те быстро сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.

— Идите-ка сюда, голубчики!

Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам:

— Кто из вас, подлецов, курит?

Все четверо тихо ответили:

— Мы не курим, батюшка.

Лицо попа побагровело.

— Не ку́рите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.

— А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

— У меня нет карманов,— и провел руками по зашитым швам.

— А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость — испортить тесто! Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! — Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь.

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа.

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора.

Павку душили слезы.

«Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал? Сережка подбил. «Давай, говорит, насыплем гадюке вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят».

Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили «без обеда». Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс, Павка уселся на заднюю скамью.

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже

вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело.

По закону божию поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, Новый и Ветхий завет знал он назубок; твердо знал, в какой день что произведено богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал:

— Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе божием — пять тыс...— и сразу осел от визгливого крика отца Василия.

— Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово божие!

Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор.

Здорово попало Павке и от матери.

На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился.

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия: гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто.

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа.

...Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог.

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.

— Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! — крикнул он.

И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую.

☆

Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку:

— Сколько ему лет?

— Двенадцать,— ответила мать.

— Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей

в месяц и стол в дни работы, сутки работать, сутки дома — и чтоб не воровать.

— Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь,— испуганно сказала мать.

— Ну, пусть начинает сегодня же работать,— приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил: — Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки.

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех:

— Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись.

И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу.

В судомойне шла работа вовсю: гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами.

Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесаными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами.

Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала:

— Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать.

Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:

— Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай.— Повернулась и пошла в буфет.

— Хорошо,— тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю.

Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинства, и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным, грудным голосом:

— Дело твое, милай, маленькое: вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтобы в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтобы наколол, потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься,— говорила она костромским говорком, с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.

«Тетка эта, видно, ничего»,— решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе:

— А что мне сейчас делать, тетя?

Сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова:

— Ха-ха-ха!.. У Фросеньки уж и племянник завелся...

— Ха-ха!..— смеялась больше всех сама Фрося.

Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было восемнадцать лет.

Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил:

— Что мне делать надо сейчас?

Но мальчик на вопрос только хихикнул:

— Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно.— И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.

— Иди сюда, помогай вытирать вилки,— услышал Павка голос одной из работающих, уже немолодой судомойки.— Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал?.. Вот берика,— подала она Павке полотенце,— бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чисть туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь — беда: хозяйка в три счета прогонит.

— Как — хозяйка? — не понял Павел.— Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал.

Судомойка засмеялась:

— Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он. Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь — увидишь.

Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды.

Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:

— Пошевеливайтесь живее. Сейчас придет двенадцатичасовой, а вы копаетесь.

Глядя на Павку, он спросил:

— А это кто?

— Это новенький,— ответила Фрося.

— А, новенький,— проговорил он.— Ну, так вот,— тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам,— они у тебя всегда должны быть готовы, а они, видишь, один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет, а завтра если повторится, то получишь по морде. Понял?

Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары.

Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не ста-

рался так, как в свой первый рабочий день. Понял он: тут — не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что, если не послушаешь,— в морду.

Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала:

— Ишь, мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то.

— Да, парень справный,— сказала Фрося,— такого подгонять не надо.

— Убегается скоро,— возразила Луша,— все сначала стараются...

В семь часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене — толстоморденькому мальчишке с нахальными глазками.

Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения:

— Эй ты, шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену.

— Почему в шесть? — спросил Павка.— Ведь сменяются в семь.

— Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит.

Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь влепить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал:

— Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя; если захочешь попробовать — пожалуйста.

Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.

— Ну ладно, посмотрим,— пробормотал он.

Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой

с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед.

Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинского.

«Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь,— думал Павка и пошел быстрее, посвистывая.— Получилось не так уже скверно, что меня из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел,— рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил: — А тому, белобрысому, обязательно набью морду, обязательно».

Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно:

— Ну как?

— Хорошо,— ответил Павка.

Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял — в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема.

— Что, Артем приехал? — спросил он, смутившись.

— Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо.

Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату.

Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата.

— А, пришел, махорочник? Ну, ну, здоро́во!

Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.

«Артем уже все знает,— подумал Павка.— Артем может и отругать и поколотить».

Побаивался Павлик Артема.

Но Артем, видно, драться не собирался; он сидел на табуретке, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрывающимся взглядом — не то насмешливо, не то презрительно.

— Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помои принялся? — сказал Артем.

Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню.

«Обойдется, видно, без припарки»,— облегченно вздохнул Павка.

Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе.

Павка рассказал все.

— И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь? — с грустью проговорила мать.— Ну что нам с ним

делать? И в кого он такой уродился? Господи боже мой, сколько я мучения с этим мальчишкой перенесла! — жаловалась она.

Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке:

— Ну, так вот, браток. Раз уж так случилось, держись теперь настороже, на работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо; ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда, черт, ни ткнется — везде недоразумение, везде чего-нибудь отчубучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок — буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу — может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью, но ты смотри, Павка, будь человеком.

Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери:

— Я пойду по делу на часок.— И, согнувшись у притолоки двери, вышел.

Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал:

— Там тебе привез сапоги и ножик, мамка даст.

☆

Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки.

Железнодорожный узел соединял пять линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два-три часа ночью, в перерыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях.

Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня — вот все, что он видел за эти два года. В громадной подвальной кухне — лихорадочная работа. Работало двадцать с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню.

Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню — выбросил всесильный шеф: не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали за это с работы, но спасала его неиссякаемая трудоспособность.

В горячие для буфета часы носился как угорелый с подно-

сами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра: в «очко», в «девятку». Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый из них за сутки своего дежурства чаевыми получал по тридцать — сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка.

«Сволочь проклятая! — думал он.— Вот Артем — слесарь первой руки, а получает сорок восемь рублей, а я — десять; они гребут в сутки столько — и за что? Поднесет — унесет. Пропивают и проигрывают».

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые».

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают»,— думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных; знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу.

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахну́ло на него, жадного ко всему новому, неизведанному.

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию.

Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь.

Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося.

Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженок, ощущал какую-то пустоту и одиночество.

☆

В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточках перед открытой дверцей; прищурившись, смотрел на огонь — хорошо было от теплоты печки. В судомойне никого не было.

Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина.

В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из любопытства влез на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки.

А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Заливанов держал банк.

На лестнице послышались шаги. Обернулся: сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог.

Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову.

Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными, легкими шагами, и Павка услыхал знакомый голос:

— Прохошка, подожди.

Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх.

— Тебе чего? — буркнул он.

Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю.

Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала:

— Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?

Прохор резко отдернул руку.

— Что? Деньги? А разве я тебе не дал? — говорил он озлобленно-резко.

— Но ведь он дал тебе триста рублей.— И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания.

— Триста рублей, говоришь? — ехидно проговорил Прохошка.— Что же, ты хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударынька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье! Почище барыньки, с образованием — и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это — ночку поспать и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой — еще подработаешь, я тебе протекцию составлю.— И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню.

— Подлюга, гад! — крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала.

Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он услышал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю. Не сказался Павка, молчал, судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось и застряло отчетливо, ясно:

«И эту продали, проклятые. Эх, Фрося, Фрося!..»

Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылело и стало ненавистным. «Эх, была бы сила, избил бы этого подлеца до смерти! Почему я не большой и сильный, как Артем?»

Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток; казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся показывает ему свой язык.

Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке, и у крана слышался стук равномерно падающих капель.

Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь:

— Садись, Климка.

Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил, улыбаясь:

— Ты что, на огонь колдуешь?

Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища.

— Чудной ты, Павка, сегодня какой-то...— И, помолчав, затем спросил: — Случилось у тебя что-нибудь?

Павка поднялся и сел рядом с Климкой.

— Ничего не случилось,— ответил он глуховато.— Тяжело мне здесь, Климка.— И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

— Что это на тебя сегодня нашло? — продолжал приподнявшийся на локтях Климка.

— Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается! Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто придраться не мог, кидаешься во все

концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя — и по шее...

Климка испуганно перебил его:

— Ты не кричи так, а то зайдет кто — услышит.

Павка вскочил:

— Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда! Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... могила, жулик на жулике сидит. Денег у них сколько у всех! А нас за тварей считают, с дивчатами что хотят, то и делают; а которая хорошая, не поддается, выгоняют в два счета. Тем куда деваться? Набирают беженок, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода.

Он говорил это с такой злобой, что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню, а Павка все говорил о накипевшем у него на душе:

— Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?

Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола.

— Читать не будем сегодня? — спросил он Павку.

— Книжки нет,— ответил Павка,— киоск закрыт.

— Что, разве он не торгует сегодня? — удивился Климка.

— Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то,— ответил Павка.

— За что?

— За политику, говорят.

Климка недоуменно посмотрел на Павку:

— А что эта политика означает?

Павка пожал плечами:

— Черт его знает! Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется.

Климка испуганно дернулся:

— А разве есть такие?

— Не знаю,— ответил Павка.

Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша:

— Вы это чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу.

☆

Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел.

В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня

не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду.

Отвернул кран Павка — вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и уснул: усталость одолела.

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал.

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и, только когда вода залила лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха.

А вода все прибывала и прибывала. Убиравший со стола во втором зале Прохошка кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал.

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохошка бросился к спящему Павке.

Удары один за другим сыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика.

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело.

Избитый, едва доплелся домой.

Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся.

Павка рассказал все, как было.

— Кто тебя бил? — глухо спросил Артем.

— Прохошка.

— Ладно, лежи.

Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел.

☆

— Могу я видеть официанта Прохора? — спросил у Глаши незнакомый рабочий.

— Он сейчас зайдет, подождите,— ответила она.

Громадная фигура прислонилась к притолоке.

— Ладно, подожду.

Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнув ногой дверь, вошел в судомойню.

— Вот этот самый,— сказала Глаша, указывая на Прохора.

Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор:

— За что Павку, брата моего, бил?

Прохор хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол; он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу.

Испуганные посудницы шарахнулись в сторону.

Артем повернулся и пошел к выходу.

Прохошка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу. Артем из депо вечером не вернулся.

Мать узнала: сидит Артем в жандармском отделении.

Через шесть суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково:

— Что, поправился, браток? — Присел рядом.— Бывает и хуже.— И, помолчав, добавил: — Ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил. Там делу научишься.

Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.

Глава вторая

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: «Царя скинули!»

В городке не хотели верить.

С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей.

Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство.

Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось по-прежнему.

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с Юго-Западного фронта.

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры все больше графы да князья, погоны золотые, на рейтузах канты серебряные, всё как при царе,— словно и не было революции.

Прошагал мимо семнадцатый год. Для Павки, Климки и Сережки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались

старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из окопных солдат, с чудны́м прозвищем: «большевики».

Откуда такое название, твердое, увесистое,— никому невдомек.

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами.

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали.

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали, и на вокзал воротились, и дальше двинулись эшелон за эшелоном.

☆

Весной тысяча девятьсот восемнадцатого года трое друзей шли от Сережки Брузжака, где резались в «шестьдесят шесть». По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади, и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул нагайкой лежавшим Павке и Климке:

— Эй, хлопцы мои, сюда!

Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли: толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висел наган и две немецкие бомбы.

— Тащите воды попить, ребятки! — попросил всадник и, когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глазевшему на него Сережке: — Скажи, паренек, какая власть в городе?

Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости:

— Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? — в свою очередь, задал он вопрос.

— Ну, много будешь знать — скоро состаришься,— с улыбкой ответил всадник.

Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой.

Всадник жадно, залпом, выпил ее до дна, передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.

— Кто это был? — недоуменно спросил Павка Климку.

— Откуда я знаю? — ответил тот, пожав плечами.

— Наверно, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают — значит, придут партизаны,— окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка.

Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка и Климка.

Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору.

Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко от шоссе — человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое: один — пожилой, в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на груди, а рядом с ним — только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого — красный бант.

— А я что говорил? — толкнул Павку локтем в бок Сережка.— Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза — партизаны...— И, гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу.

Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжавших.

Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав нагайкой на дом Лещинских, спросил:

— Кто в этом доме живет?

Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал:

— Здесь адвокат Лещинский живет. Вчера сбежал. Вас, видно, испугался...

— Ты откуда знаешь, кто мы такие? — спросил, улыбаясь, пожилой.

Павка, указывая на бант, ответил:

— А это что? Сразу видать...

На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев.

Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам.

Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо: трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков — пожилой, с проседью в волосах.

Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии, и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому, с крепкими зубами:

— Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я думаю — надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача — успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывать сопротивление с нашими силами — это же смешно... Одно орудие и тридцать снарядов, двести штыков и шестьдесят сабель — грозная сила... Немцы идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что, кроме немцев, мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. Мое мнение — завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной дороге их продвижение будет задержано... Вы как думаете, товарищи? Давайте решим,— обратился он к сидящим за столом.

Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и наконец с трудом выдавил застрявшие в горле слова:

— Я... под... держиваю Булгакова.

Самый молодой, в рабочей блузе, согласился:

— Булгаков говорит дело.

И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой:

— На черта же мы тогда отряд собирали? Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать... Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно.— Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате.

Булгаков неодобрительно посмотрел на него:

— Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей на верный разгром и уничтожение — этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией, бронемашинами... Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко...— И, уже обращаясь к остальным, закончил: — Итак, решено — завтра утром отходим... Следующий вопрос — о связи,— продолжал совещание Булгаков.— Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь — крупный железнодорожный узел, городишко имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры.

— Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай,— сказал Ермаченко, подходя к столу.— Во-первых, Жухрай из здешних мест. Во-вторых, он слесарь и монтер — сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел — он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек.

Булгаков кивнул головой.

— Правильно, я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете?..— обратился он к остальным.— Нет. Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу... Теперь третий, последний вопрос, товарищи,— произнес Булгаков.— Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок — двадцать тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин — хозяин сарая. Хочет избавиться от них... Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно: сарай стоит на краю города, среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки.

Крепко сбитый, со щетиной давно не бритой бороды, Стружков шевельнулся:

— За... за...зачем... поджигать? Я д...думаю раз...раздать оружие на...населению.

Булгаков быстро повернулся к нему:

— Раздать, говоришь?

— Правильно. Вот это правильно! — восхищенно воскликнул Ермаченко.— Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет, по крайней мере, чем почесать бока немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь, как полагается, крепко будут. А когда станет невмоготу, возьмутся ребята за оружие. Стружков правильно сказал: раздать. Хорошо бы даже в деревеньку завезти. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать подчистую, эти винтовочки-то ой как нужны будут!

Булгаков засмеялся:

— Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут.

Ермаченко запротестовал:

— Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит.

Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих.

— Раздадим, раздадим винтовки,— поддержал Ермаченко и Стружкова молодой рабочий.

— Ну что же, значит, раздадим,— согласился Булгаков.— Вот и все вопросы,— сказал он, вставая из-за стола.— Теперь

мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне. Я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты.

Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разостлав на матраце шинель, лег.

☆

Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара.

В городке царило необычайное оживление. Это оживление сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые.

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Бруз-жаку, жившему на другом конце города.

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая жен-щина, недовольно посмотрела на Павку:

— А черт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву! Натащит всякой дряни, а потом отвечай за него... А ты что, тоже туда собрался?

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамаши и выкатился на улицу.

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке.

— Дядя, скажи, где достал? — подлетел к нему Павка.

— А там, на Верховине, раздают.

Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Про-бежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тя-желую пехотную винтовку со штыком.

— Где взял ружье? — остановил его Павка.

— Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Всё разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые лежат. А я вторую несу,— с гордостью закончил мальчишка.

Сообщенная новость страшно огорчила Павку.

«Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой! — с отчаянием думал он.— И как это я проморгал?»

И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук.

— У тебя уже одно есть — хватит. А это мне,— тоном, не допускающим возражения, заявил Павка.

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед штык, крикнул:

— Отскочь, а то наколешься!

Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом.

☆

Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина — городок, а окраины — крестьянские.

В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах. Дивчата, парубки — все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками. Смех, песни.

Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко...

Любит свою гармонь Павка. Любовно ставит на колено певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие — клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы, и засыплет гармоника лихую, заливистую...

Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься? Не утерпишь — ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника,— хорошо жить на свете!

Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче всех — Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее — альт, грудной, бархатистый.

Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет:

— Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов, тает мое сердце перед ними.

Краснеет Павка до корней волос — хорошо, вечером не вид-

но. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит — не пускает.

— Ну, куда же ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок,— шутит она.

Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.

Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:

— Ты мне мешаешь играть, отодвинься.

И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки.

Вмешивается Маруся:

— Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало.

Медленно растягиваются меха, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем, родная мелодия. Галина первая подхватывает ее. За ней — Маруся и остальные.

Зібралися всі бурлаки
до рідної хати,
тут нам мило,
тут нам любо
в журбі заспівати.

И уносятся вдаль, к лесу, звонкие молодые голоса, поющие песню.

— Павка! — Это голос Артема.

Павка сдвигает меха гармоники, застегивает ремни:

— Зовут, я пошел.

Маруся говорит упрашивающе:

— Ну посиди еще, поиграй немного. Успеешь домой.

Но Павка спешит.

— Нет. Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет.— И бежит через улицу к домику.

Открыв дверь в комнатку, видит — за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий — незнакомый.

— Ты меня звал? — спросил Павка.

Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу:

— Вот он самый и есть, братишка мой.

Тот протянул Павке узловатую руку.

— Вот что, Павка,— обратился Артем к брату.— Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь.

Незнакомец вмешался:

— Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю.

— Конечно, нужно. Ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал — все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. А пускать станцию с одним кочегаром не решился. А монтер тифом заболел.

— Ну вот, дело и сделано,— сказал незнакомец.— Завтра я за тобой зайду, и пойдем вместе,— обратился он к Павке.

— Хорошо.

Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут — видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб.

Прощаясь, Артем проговорил:

— Пока всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело.

☆

Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, осиротевшей за последние дни. По городу разнеслась весть:

— Немцы идут.

И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе.

Все жители прилипли к заборам, калиткам. На улицу выходить боялись.

А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах с винтовками наперевес. На винтовках — широкие, как ножи, штыки. На головах — тяжелые стальные шлемы. За спинами — громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался.

Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе — гетманский старшина, переводчик, в синем украинском жупане и папахе.

Собрались немцы в каре на площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта, майора Корфа.

Приказ гласил:

ПРИКАЗЫВАЮ

§ 1

Всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа — расстрел.

§ 2

В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается.

Комендант города майор Корф.

В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался Совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой уже не в стальном шлеме, а в парадной каске, с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия.

Целый день напуганный угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали.

Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру.

В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было четырнадцать тысяч штук. Итак, шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты.

На рассвете следующего дня за городом, у старого еврейского кладбища, были расстреляны двое рабочих-железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки.

☆

Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил:

— Ты что-нибудь принес домой со склада?

Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось, и все рассказал.

Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балку винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную. Проделав все это, Артем повернулся к брату:

— Ты уже не маленький, Павка, понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю — ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри, не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то, сморкача, трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?

Павка обещал ничего не носить.

Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети — Нелли и Виктор.

— Прилетели птички,— злобно проговорил Артем.— Эх, и кутерьма начнется, едят его мухи! — И вошел в дом.

Весь день Павка грустил о винтовке. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в нее замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раздаче. Отдавать их немцам он не собирался — не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей.

Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама; критически осмотрев результаты своего труда и найдя его удовлетворительным, снял с головы фуражку и вытер со лба пот.

«Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай — неизвестно».

☆

Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц как работал на электростанции.

Жухрай показывал подручному кочегару устройство динамо и приучал его к работе.

Смышленый мальчишка понравился матросу. Жухрай частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки.

Он умел так успокаивающе подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее.

Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции, среди сложенных штабелей дров, и, улыбнувшись, спросил:

— Мать рассказывает, ты драться любишь. «Он у меня, говорит, драчливый, как петух».— Жухрай рассмеялся одобрительно.— Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить.

Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил:

— Я зря не дерусь, всегда по справедливости.

Жухрай неожиданно предложил:

— Хочешь, научу тебя драться по-настоящему?

Павка удивленно на него посмотрел:

— Как так — по-настоящему?

— А вот посмотришь.

И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу.

Не легко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым.

В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко — на крышу сторожки, стоявшей в углу сада, за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора со стоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы.

Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился — видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней к калитке, и оба вышли на улицу.

Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали какие-то ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка

тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «манлихером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрущающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном. И только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой.

На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали. «Чем все это кончится?» — думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.

На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал:

«Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

— Почему у вас обыск был сегодня?

Павка испуганно вздрогнул:

— Как — обыск?

Жухрай, помолчав, добавил:

— Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?

Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

— Артема арестовали?

— Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном.

От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.

«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего не известно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней»,— думал Жухрай.

Разошлись молча к своей работе.

А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.

Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.

Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.

Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.

Глава третья

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически

расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы — анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.

— Разве здесь рыба ловится?

Павка сердито оглянулся.

Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.

А голосок сзади взволнованно:

— Клюет, видите, клюет...

Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.

«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту»,— раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду — между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало, крючок мог зацепиться за корягу.

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:

— Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.

И услыхал сверху насмешливое, издевающееся:

— Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!

Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него

являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:

— Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли.

Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.

— Разве я вам мешаю?

В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собиравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.

— Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко,— согласился он и, присев, опять глянул на поплавок.

Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.

«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла»,— рассуждал он.

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания.

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет: леса, упираясь, натягивается.

«Зацепилась, проклятая!» — мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку.

Через мостик у водокачки прошли двое молодых людей — гимназисты-семиклассники. Один — сын начальника депо, инженера Сухарько, белобрысый веснушчатый семнадцатилетний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом — Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша.

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил:

— Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю, ро-ман-ти-че-ская особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотвореньице подходящее.

— Ну и что же? — с любопытством спросил Виктор.

Сухарько, немного смущенный, проговорил:

— Да ломается, знаешь, задается. Не порть бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться — долго ухаживать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь вечерком в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешь-

ся. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили — ты дорожного мастера знаешь?

Виктор презрительно сморщился:

— Ты занимаешься такой гадостью, Шура?

Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо:

— Подумаешь, чистоплюй... Знаем, чем занимаетесь...

Виктор, перебивая его, спросил:

— Так ты меня с этой познакомишь?

— Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила.

Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папироску изо рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился:

— Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?

— Нет, наблюдаю, как ловят,— ответила Тоня.

— А вы незнакомы? — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку.— Мой приятель, Виктор Лещинский.

Виктор смущенно подал Тоне руку.

— А почему вы сегодня не ловите? — старался завязать разговор Сухарько.

— Я не взяла удочки,— ответила Тоня.

— Я сейчас принесу еще одну,— заторопился Сухарько.— Вы пока половите моей, а я сейчас принесу.

Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем.

— Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят,— ответила Тоня.

— Кому мешать? — спросил Сухарько.— Ах, вот этому? — Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку.— Ну, этого я выставлю отсюда в два счета.

Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке.

— Сматывай удочки сейчас же,— обратился Сухарько к Павке.— Ну, быстрей, быстрей,— говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить.

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего:

— А ты потише. Чего губы распустил?

— Что-о-о? — вскипел Сухарько.— Ты еще разговариваешь, рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда! — и с силой ударил носком ботинка по банке с червями.

Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони.

— Сухарько, как вам не стыдно! — воскликнула она.

Павка вскочил. Он знал, что Сухарько — сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу

и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы.

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не упал в воду.

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста.

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя.

— Ах, так! Ну, получай! — и коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду.

Стоя по колени в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег.

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски.

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил:

«Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок».

Рррраз!..

Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело, всем телом, плюхнулся в воду.

А на берегу безудержно хохотала Тоня.

— Браво, браво! — кричала она, хлопая в ладоши.— Это замечательно!

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу.

Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне:

— Это самый отъявленный хулиган, Павка Корчагин.

☆

На станции становилось неспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фольварки[1].

Плетки гетманских стражников полосовали мужицкие спины.

---

[1] Фо́льварк (нем.) — небольшая усадьба, поместье.

В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками.

Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими-железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать и Артема. На его вопрос, как Артем смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему:

— Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь. Но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать.

Федор и на этом остался доволен — знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. «А до партии, видать, еще не дошел человек. Ничего, времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдет»,— думал матрос.

Перешел Федор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать: на электростанции он был оторван от железной дороги.

Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот...

☆

Неожиданно взяла на станции гетманская стража телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема.

За Романом пришли во время работы два немца и гетманец — помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его нагайкой по лицу.

— Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кой о чем,— сказал он. И, жутко осклабившись, рванул слесаря за рукав: — Там у нас поагитируешь!

Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:

— Как смеешь бить, гад?

Гетманец попятился, отстегивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лязгнул затвором.

— Хальт! — пролаял он, готовый выстрелить при первом движении.

Верзила-слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать.

Забрали обоих. Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале.

Через десять минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились другие рабочие, стрелочники и работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко.

Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал:

— Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем! А кое-кого и к стенке поставим.

Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванных комендантом станции.

Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции.

Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как легавая собака на стойке. Положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал.

Вокзал обезлюдел.

Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли.

Собрали всех в громадном товарном пакгаузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд.

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошел комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

— Корчагин, Политовский, Брузжак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ — расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

☆

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику машинисту Политовскому:

— Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

— Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину.

— Бросить все и тикать с паровоза,— предложил Брузжак, искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

— Я тоже так думаю,— буркнул Артем,— да вот этот тип за спиной торчит.

— Да...— неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Политовский тихо прошептал:

— Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, а все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?

— Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? — И он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния, выругался.

Артем потянул из чайника воды. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраево:

«Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?»

И его, Артема, ответ:

«Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...»

«Хорошая помощь, везем карателей...»

Политовский, нагнувшись над ящиком с инструментом бок о бок с Артемом, с трудом выговорил:

— А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Политовский, скрипнув зубами, добавил:

— Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход — и с паровоза долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артем сказал:
— Ладно.

Артем, нагнувшись к Брузжаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Брузжак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Особенно многосемейным был Политовский: у него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

— Что ж, я согласен,— сказал Брузжак,— но кто ж его...— Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Брузжак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, подвинулся к Политовскому ближе:

— Но как же мы это сделаем?

Тот посмотрел на Артема:

— Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок — и кончено.— Старик сильно волновался.

Артем нахмурился:

— У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали.

Политовский блеснул глазами:

— Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карательный везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты?.. Эх ты, сиромаха!.. Здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

— Ладно,— прохрипел Артем, беря лом.

Но Политовский зашептал:

— Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Брузжак кивнул головой:

— Верно, старик.— И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышем сидел с края на тендере, поставив между ног винтовку, и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Политовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход.

Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

— Кончено,— прошептал Политовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил: — Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик.

— Вывинчивай регулятор, живей! — крикнул он.

Через десяток минут все было сделано.

Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь.

Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров.

Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

— Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Политовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени.

☆

В доме Брузжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Политовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо, с ругательствами допрашивали ее.

Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина, мучимая тяжелой неизвестностью, повязала платок, собираясь идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже.

Старшая дочь, Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходившую мать, спросила:

— Ты далеко, мама?

Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слез глазами, ответила:

— Пойду к Корчагиным. Может, узнаю у них про отца. Если Сережка придет, то скажи ему: пусть на станцию сходит к Политовским.

Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала ее, провожая до двери:

— Ты не тревожься, мама.

☆

Мария Яковлевна встретила Брузжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла.

У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру.

Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна: Павел, как всегда, ночью работал на электростанции.

Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний, и Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебаний, если б она была нужна брату.

Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Политовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Политовского. От него он узнал, что ночью был обыск и у Политовских. Искали отца.

Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыби.

☆

Валя оглянулась на стук в дверь.

— Кто там? — спросила она и откинула крючок.

В открытой двери появилась рыжая всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега.

— Мама дома? — спросил он Валю.

— Нет, ушла.

— А куда ушла?

— Кажется, к Корчагиным.— Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку.

Тот нерешительно посмотрел на девушку:

— Да так, знаешь, дело у меня к ней есть.

— Какое дело? — затормошила парня Валя.— Ну, говори же скорей, медведь ты рыжий, говори же, а то тянет за душу! — повелительным тоном командовала девушка.

Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично, вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он этой белокурой сестренке Сережки, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится сестренка Сережи. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла:

«Дорогая Тоня! Не беспокойся. Все хорошо. Живы и невредимы. Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что все благополучно, чтоб не тревожились. Записку уничтожь. З а х а р».

Прочитав записку, Валя бросилась к Климке:

— Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок? — И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку.

И он не опомнился, как сделал вторую оплошность:

— Это мне Жухрай на станции передал.— И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил: — Только он сказал: никому не давать.

— Ну хорошо, хорошо! — засмеялась Валя.— Я никому не скажу. Ну беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь.

Она легонько подталкивала поваренка в спину. Через секунду рыжая голова Климки мелькнула за калиткой.

Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил как мог испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко, в глухом селе, у дядьки Брузжака, что они там в безопасности, но возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения.

Все происшедшее еще более сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустыннее и тише.

Зайдя как-то раз как бы невзначай к старухе Политовской, Жухрай передал ей деньги:

— Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, ни слова никому.

Старуха благодарно пожала ему руку:

— Вот спасибо, а то совсем беда, есть ребятам нечего.

Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков.

«Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь, а те трое — молодцы, это пролетарии»,— с восхищением думал матрос, шагая от Политовских к депо.

☆

В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге на отшибе села Воробьева Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, Политовский длинными щипцами ворочал уже накалившийся докрасна кусок железа.

Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил:

— Мастеровому на селе сейчас не пропасть, работа найдется, хоть завались. Вот подработаю недельку-другую, и, пожалуй, сальца и мучицы своим послать сможем. У мужичка, сынок, кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи, хе-хе. А Захар-то особь статья, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж, оно, пожалуй, понятно. У нас с тобой, Артем, ни кола ни двора, горб да рука, как говорится — вековая пролетария, хе-хе, а Захар пополам разделился: одна нога на паровозе, другая в деревне.— Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно, задумчиво: — А наше дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут вскорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов навертывать, а то возьмут за жабры и подвесят между небом и землей, как пить дать.

— Да,— пробурчал Артем.

— Как наши там держатся, не пристают ли к ним гайдамаки?

— Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся.

Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню:

— А ну, сыночек, стукни!

Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноп ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновенье ее темные углы.

Политовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск.

В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь.

☆

Озеро внизу — темное, громадное; сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами.

«Как живые»,— думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножия отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными.

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах, забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукою ветви, смотрит вниз: от берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец, устав, ложится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись.

Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично»,— насмешливо подумала она и принялась за чтение.

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и, только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущенный, собирался уйти.

«Это он сейчас купался»,— догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы.

— Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда.— И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню.

— Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь.

Павка с удивлением глядел на Тоню:

— О чем же мы с вами говорить будем?

Тоня улыбнулась:

— Ну, чего же вы стоите? Можете сесть, вот здесь.— И она указала на камень.— Скажите, как вас зовут?

— Я Павка Корчагин.

— А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились.

Павка смущенно мял кепку.

— Так вас зовут Павкой? — прервала молчание Тоня.— А почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите...— она хотела сказать

«купаться», но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила: — гулять?

— Нет, не часто, как случается свободное время,— ответил Павел.

— А вы где-нибудь работаете? — допытывалась Тоня.

— Кочегаром на электростанции.

— Скажите, где вы научились так мастерски драться? — задала вдруг неожиданный вопрос Тоня.

— А вам-то что до моей драки? — недовольно буркнул Павел.

— Вы не сердитесь, Корчагин,— проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом.— Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно.— И она расхохоталась.

— А вам что, жалко? — спросил Павел.

— Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь.

— Кто говорит? — насторожился Павел.

— Ну, вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка.

Павел потемнел:

— Виктор — сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать...

— Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо,— перебила его Тоня.

Павел нахохлился.

«Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь, командует: то ей «Павка» не нравится, то «не ругайся»,— думал он.

— Почему вы злы на Лещинского? — спросила Тоня.

— Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать; ежели затронет как-нибудь, то сразу и получит все сполна. Таких кулаком и учить,— говорил он возбужденно.

Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему: начала расспрашивать Павла о его семье и работе.

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти.

— Скажите, почему вы не учились дальше? — спросила Тоня.

— Меня из школы выперли.

— За что?

Павка покраснел.

— Я попу в тесто махры насыпал — ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было.— И Павел обо всем рассказал ей.

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старой знакомой, о том, что не вернулся брат; никто из них и не заметил, как в дружеской оживленной беседе они просидели на площадке несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил:

— Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данило волынку подымет.— И он беспокойно заговорил: — Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город.

Тоня быстро поднялась, надевая жакет:

— Мне тоже пора, пойдемте вместе.

— Ну нет, я бегом, вам со мной не с руки.

— Почему? Мы побежим вместе, впéрегонку: посмотрим, кто быстрей.

Павка пренебрежительно посмотрел на нее:

— Вперегонку? Куда вам со мной!

— Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда.

Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции.

Тоня остановилась у середины дороги:

— Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! — И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развевался от ветра.

Павел помчался за ней.

«В два счета догоню»,— думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи.

— Есть, попалась птичка! — закричал весело, задыхаясь.

— Пустите, больно,— защищалась Тоня.

Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось.

— Меня никто догнать не мог,— говорила она, освободившись от его рук.

Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Павел побежал в город.

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данило, кочегар, сердито обернулся:

— Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал:

— В один момент, старик, топка будет в ходу.— И завозился у сложенных в штабеля дров.

К полуночи, когда Данило, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских «краснорубашечников» Гарибальди.

«Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами...»

«А у этой тоже синие глаза,— вспомнил Павел.— Она особенная какая-то, на тех, богатеньких, не похожа,— думал он,— и бегает, как черт».

Углубившись в воспоминания о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала.

Павка метнул взглядом на манометр: стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию.

— Ах ты, черт!— сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо, двигающее насос.

Павел оглянулся на Данилу; тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки.

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место.

Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что прошедшей встрече с этим черноглазым юношей и, сама того не сознавая, была рада ей.

«Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае, он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов...»

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась.

«Его можно приручить,— думала она,— и это будет интересная дружба».

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее.

Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил:

— Вы прочли роман?

— Ах да, роман! — спохватилась Тоня.— А я его...— Она чуть не сказала, что книга забыта у озера.

— Ну, как он вам понравился? — Виктор внимательно посмотрел на нее.

Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него:

— Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли.

— Вот как,— обиженно протянул Виктор.— А кто автор? — спросил он.

Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами:

— Никто...

— Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай! — позвала стоявшая на балконе мать Тони.

Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.

☆

Первое, еще не осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно волнующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня.

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно что адвокат Лещинский.

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской, он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки.

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце сада заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку.

Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку.

— Наконец-то вы пришли,— обрадованно сказала она.— Где пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, в сад.

Павка отрицательно махнул головой:

— Не пойду.

— Почему? — Брови ее удивленно поднялись.

— Да отец-то ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела?

— Вы чепуху говорите, Павел,— рассердилась Тоня.— Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот вы сами увидите. Идемте.

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней.

— Вы любите читать книги? — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол.

— Очень люблю,— оживился Павел.

— Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?

Павел, подумав, ответил:

— «Джузеппа Гарибальди».

— «Джузеппе Гарибальди»,— поправила Тоня.— Вам очень нравится эта книга?

— Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую получку покупаю по пять штук. Вот человек был Гарибальди! — с восхищением произнес Павел.— Вот герой! Это я понимаю! Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился.

— Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? — сказала Тоня и взяла его за руку.

— Ну нет, в дом не пойду,— наотрез отказался Павел.

— Отчего вы упрямитесь? Или боитесь?

Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок:

— А меня мамаша или отец не попрут оттуда?

— Бросьте наконец эти разговоры, или я окончательно рассержусь! — вспылила Тоня.

— Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила,— наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает,— улыбнулся Павка.

— Идем, идем.— Она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон.

Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен

книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству.

— Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо?

Павка радостно кивнул головой:

— Я книжки люблю.

Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась. Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники.

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала:

— Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?

— Я их начистую снимаю, когда отрастают, что больше с ними делать? — неловко оправдывался Павка.

Тоня, смеясь, взяла с туалета гребешок и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.

— Вот сейчас совсем другое,— говорила она, оглядывая Павла.— А волосы надо красиво подстричь, а то вы как бирюк ходите.

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала.

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд.

Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. И взяла с него слово прийти через два дня вместе удить рыбу.

В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось.

☆

С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приниматься за работу, кстати, Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

— Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уже не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась.

На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывал для просушки свеженапиленные доски. Встретил там

знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулишова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию.

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и наконец попросил:

— Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю,— помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот эта уже старая,— оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу.

— Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой.— Она ласково глядела на сына.

☆

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь.

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло:

— Садитесь.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию.

— Под машинку? — спросил парикмахер.

— Да, то есть нет, в общем, подстригите. Ну, как это у вас называется? — и сделал отчаянный жест рукой.

— Понимаю,— улыбнулся парикмахер.

Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали.

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку.

«Что мать скажет, когда увидит?»

☆

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это обидело.

«Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар»,— с досадой думала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно.

Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала:

— К тебе, Тонечка, гости. Можно?

В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала.

На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и — что сразу заметила Тоня — он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше,— и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете. Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила этой разительной перемены.

Она принялась было укорять его:

— Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите?

— Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти.

Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти дни до изнеможения.

Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно.

— Идемте гулять к пруду,— предложила она. И они пошли в сад, а оттуда на дорогу.

И уже как другу, как большую тайну, рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять.

— Смотри, ты меня не выдай,— неожиданно сказал он ей «ты».

— Я тебя никогда никому не выдам,— торжественно обещала Тоня.

Глава четвертая

Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину.

Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников.

Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни.

Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям.

Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков: маленькие и большие батьки, разные голубы, архангелы, ангелы, гордии и нескончаемое число других бандитов.

Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры — всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей.

Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии «головний атаман Петлюра».

В эту эсеровско-кулацкую муть стремительно врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок.

В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа:

— Автоном Петрович, какая власть в городе?

И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался:

— Не знаю, Афанас Кириллович. Ночью пришли какие-то. Посмотрим: ежели евреев грабить будут, то, значит, петлюровцы, а ежели «товарищи», то по разговору слыхать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, чтобы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед недосмотрел хорошо, да возьми и вывеси Ленина, а к нему как наскочат трое: оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина! Всыпали ему, понимаете, плеток с двадцать. «Мы,— говорят,— с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур сдерем». Уж он как ни оправдывался, ни кричал — не помогло.

Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался. Не ровен час...

А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма[1], оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовто-блакитников[2]. День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять.

Сейчас хозяин города — полковник Голуб, «краса и гордость» Заднепровской дивизии.

Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном вороном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой «китыцей», в черкеске с полным вооружением: кинжал, сабля чеканного серебра.

Красив пан полковник Голуб: брови черные, лицо бледное с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода, но скучна эта жизнь, не сравнять с атаманским

---

[1] Самостийный шовинизм — проповедь травли и угнетения других народов, характерна для украинских контрреволюционеров, требовавших превратить Украину в буржуазную республику.

[2] Жовто-блакитный (укр.) — желто-голубой.

положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране, уже паном полковником Голубом.

В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь «цвет» петлюровской интеллигенции присутствовал на нем: украинские учителя, две поповские дочери — старшая, красавица Аня, младшая, Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого, и кучка мещан, называвшая себя «вильным казацтвом», украинские эсеровские последыши.

Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами, учительницы, поповны и мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев.

Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке «Назара Стодоли».

Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта, хорунжего Паляницю, а по-настоящему — бывшего подпоручика Полянцева, бросил небрежно, но властно:

— Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию.

— Слушаюсь, пане полковнику.

Хорунжий Паляница не умер и монтеров достал.

Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста.

Паляница сказал коротко:

— Если до семи часов не будет света, повешу всех троих! — Он указал рукой на железную штангу.

Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет.

Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей.

Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города.

Усевшись на почетные места, у самой стены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убегавшего со сцены режиссера.

Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Паляницей, и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели.

Вскочивший на сцену Паляныця театрально взмахнул рукой и провозгласил:

— Шановни добродии, зараз почнем танци.

В зале дружно зааплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал.

Через полчаса в театре шел дым коромыслом.

Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра.

В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных.

На околице петлюровская застава с пулеметом, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик:

— Стой! Кто идет?

Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала:

— Я — атаман Павлюк со своим отрядом, а вы — голубовские?

— Да,— ответил вышедший вперед старшина.

— Где мне разместить отряд? — спросил Павлюк.

— Я сейчас спрошу по телефону штаб,— ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги.

Через минуту выбежал оттуда и приказал:

— Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману.

Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье.

— Ого, тут весело,— сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним есаулу.— Слезем, Гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта. Эй, Сталежко,— крикнул он,— размести хлопцев по квартирам! Мы тут остаемся. Конвой со мной.— И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю.

У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев:

— Билет?

Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора.

Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк, в офицерском, хорошего сукна,

френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папахе. Через плечо — маузер, из кармана торчит ручная граната.

— Кто это? — зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую метелицу помощник Голуба.

В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся поповны.

Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг.

Павлюк мутным взглядом вперился на ноги поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой:

— Жарь гопака!

Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания.

Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил как ужаленный.

Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих.

— Это наглость! — вскипела дочь буфетчика.— Ты не должен этого позволить,— нервно жала она локоть сидевшего рядом Голуба.

Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счеты с этим конкурентом на власть в уезде.

Неделю тому назад Павлюк подставил пану полковнику ножку самым свинским образом.

В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк, вместо того чтобы ударить большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало «широму» петлюровцу, погром коснулся еврейского населения.

Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли.

А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что, если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен.

Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча.

Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой нащупывая в кармане наган, Голуб гаркнул:

— Как ты смеешь бить моих людей, подлец?

Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера.

— Легче, пане Голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимый мозоль, осержусь.

Это переполнило чашу терпения.

— Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих! — прокричал Голуб.

На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины.

Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросячьим визгом насмерть перепуганные женщины.

Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу.

Павлюк потерял в драке папаху, ему расквасили лицо, разоружили,— он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице.

Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но Голуб стал на дыбы.

— Никого из зала не выпускать, поставить часовых,— приказал он.

Паляныця поспешно выполнял приказания.

На посыпавшиеся протесты Голуб упрямо отвечал:

— Танцы до утра, шановни добродийки и добродии. Я сам танцую первый тур вальса.

Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось. Не успел полковник пройти с поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали:

— Театр окружают павлюковцы!

Окно у стены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась удивленная морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала.

Паляныця выстрелил в тысячесвечовую лампу в потолке, и та, лопнув, как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла.

Стало темно. С улицы кричали:

— Выходи все во двор! — и неслась жуткая брань.

Дикие, истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу Голуба, старавшегося собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе — все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший вьюном Паляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу.

Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи

всколыхнул непрерывный грохот выстрелов, мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей — прилипли к окнам.

Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто, по-собачьи, лает пулемет.

Бой утихает, брезжит рассвет...

☆

Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они и в еврейские домишки, маленькие, низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называющихся домами, в невероятной тесноте жила еврейская беднота.

В типографии, в которой уже второй год работал Сережа Брузжак, наборщики и рабочие были евреи. Сжился с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против хозяина, отъевшегося, самодовольного господина Блюмштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюмштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше, и на этой почве не раз закрывалась на две-три недели типография: бастовали типографщики. Было их четырнадцать человек. Сережка, самый младший, вертел по двенадцати часов колесо печатной машины.

Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали воззвания «головного» атамана.

Сережу отозвал в угол чахоточный наборщик Мендель.

Смотря на него своими грустными глазами, он сказал:

— Ты знаешь, что в городе будет погром?

Сережа удивленно посмотрел:

— Нет, не знаю.

Мендель положил высохшую, желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил:

— Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю: ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?

— Конечно, хочу, если смогу. Говори, Мендель.

Наборщики прислушивались к разговору.

— Ты славный парень, Сережа, мы тебе верим. Ведь твой отец тоже рабочий. Побеги сейчас домой и поговори с отцом: согласится ли он к себе спрятать несколько стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит.

— Хорошо, Мендель, будь уверен, я сейчас к Павке и Климке сбегаю — у них обязательно примут.

— Подожди минутку,— забеспокоился Мендель, удерживая собиравшегося уходить Сережу.— Кто такие эти Павка и Климка? Ты их хорошо знаешь?

Сережа уверенно кивнул головой:

— Ну как же, мои кореши: Павка Корчагин, его брат — слесарь.

— А, Корчагин,— успокоился Мендель.— Этого я знаю, с ним вместе жил в одном доме. Этому можно. Иди, Сережа, и возвращайся скорее с ответом.

Сережа выскочил на улицу.

☆

Погром начался на третий день после боя павлюковского отряда с голубовцами.

Разбитый и отброшенный от города, Павлюк убрался восвояси и занял соседнее местечко, потеряв в ночном бою два десятка человек. Столько же недосчитали голубовцы.

Убитых поспешно отвезли на кладбище и в тот же день похоронили, без особой пышности, потому что хвастаться здесь было нечем. Погрызлись, как две бродячие собаки, два атамана, и устраивать шумиху с похоронами было неудобно. Паляныця хотел было хоронить с треском, объявив Павлюка красным бандитом, но против этого был эсеровский комитет, во главе которого стоял поп Василий.

Ночное столкновение вызвало в голубовском полку недовольство, в особенности в конвойной сотне Голуба, где убитых насчитывалось больше всего, и, чтобы потушить это недовольство и поднять дух, Паляныця предложил Голубу «облегчить существование», как он издевательски выражался о погроме. Он доказывал Голубу необходимость этого, ссылаясь на недовольство в отряде. Тогда полковник, не желавший было сначала нарушать спокойствия в городе перед свадьбой с дочерью буфетчика, под угрозами Паляныци согласился.

Правда, немного смущала пана полковника эта операция в связи с вступлением его в эсеровскую партию. Опять же враги могут создать вокруг его имени нежелательные разговоры, что вот он, полковник Голуб,— погромщик, и обязательно будут на него наговаривать «головному» атаману. Но пока что Голуб от «головного» мало зависел, снабжался со своим отрядом на свой риск и страх. Да «головной» и сам прекрасно знал, что за братия у него служит, и сам не раз денежки требовал на нужды директории от так называемых реквизиций, а насчет

славы погромщика, то у Голуба она уже была довольно солидная. Прибавить к ней он мог очень немногое.

Разбой начался ранним утром.

Городок плавал в предрассветной серой дымке. Пустые улицы, как измокшие полотняные полосы, беспорядочно опутывавшие несуразно застроенные еврейские кварталы, были безжизненны. Подслеповатые окошки завешаны и наглухо закрыты ставнями.

Снаружи казалось, что кварталы спали крепким предутренним сном, но в середине домишек не спали. Семьи, одетые, готовились к начинающемуся несчастью, сбивались в какой-нибудь комнатушке, и только маленькие дети, не понимавшие ничего, спали безмятежно-спокойным сном на руках матерей.

Долго будил в это утро голубовского адъютанта Паляницю начальник голубовского конвоя Саломыга, черный, с цыганским лицом, с сизым рубцом от удара сабли на щеке.

Тяжело просыпался адъютант. Никак оторваться не мог от дурацкого сна. Все еще его царапал когтями по горлу кривляющийся горбатый черт, от которого не было отбоя всю ночь. И, когда наконец поднял разрывающуюся от боли голову, понял: это будит Саломыга.

— Да вставай же, холера,— тряс его за плечо Саломыга.— Поздно уже, пора начинать. Ты бы еще больше выпил.

Паляниця совсем проснулся, сел и, скривившись от изжоги, сплюнул горьковатую слюну.

— Чего начинать? — вылупил он бессмысленные глаза на Саломыгу.

— Как — чего? Жидов потрошить. Не знаешь?

Паляниця вспомнил: да, верно, он совсем забыл, вчера здорово выпили на хуторе, куда забрался пан полковник со своей невестой и кучкой собутыльников.

Убраться из города Голубу на время погрома было удобно. Потом можно было сказать, что произошло недоразумение в его отсутствие, а Паляниця успеет все обделать на совесть. О, этот Паляниця большой специалист по части «облегчения»!

Он вылил ведро воды на голову, и к нему вернулась способность соображать. Он зашнырял по штабу, отдавая различные приказания.

Конвойная сотня была уже на конях. Предусмотрительный Паляниця, во избежание возможных осложнений, приказал выставить заставу, отделяющую рабочий поселок и станцию от города.

В саду усадьбы Лещинских был поставлен пулемет, смотревший на дорогу. В случае, если бы рабочие подумали вмешаться, их бы встретили свинцом.

Когда все приготовления были окончены, адъютант и Саломыга вскочили на лошадей.

Уже трогаясь в путь, Паляныця вспомнил:

— Стой, забыл было. Давай две подводы: мы Голубу приданое пристараемся. Го-го-го... Первая добыча, как всегда, командиру, а первая баба, ха-ха-ха, мне, адъютанту. Понял, балда стоеросовая! — Последнее относилось к Саломыге.

Тот блеснул на него желтоватым глазом:

— Всем хватит.

Тронулись по шоссе. Впереди — адъютант и Саломыга, сзади — беспорядочной ватагой конвойники.

Дымка рассвета прояснилась. У двухэтажного дома с проржавевшей вывеской «Галантерейная торговля Фукса» Паляныця натянул поводья.

Серая тонконогая кобыла его беспокойно ударила копытом по камню.

— Ну, с божьей помощью отсюда и начнем,— сказал Паляныця, соскакивая на землю.

— Эй, хлопцы, слазь с коней! — обернулся он к обступившему его конвою.— Представление начинается,— пояснил он.— Хлопцы, по черепкам никого не стукать, на то будет еще час; баб тоже, если не велика охота, до вечера продержитесь.

Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал:

— Как же так, пане хорунжий, а ежели по доброму согласию?

Кругом заржали. Паляныця посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением:

— Ну конечно, если по доброму согласию, валяйте, этого запретить никто не имеет права.

Подойдя к закрытой двери магазина, Паляныця с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула.

Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери, ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю. За ним двинулся Саломыга.

В доме сразу услыхали стук копыт по мостовой, и, когда топот затих у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались и тела как бы замерли. В доме было трое.

Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую забитую девятнадцатилетнюю девушку. Чтобы ей не страшно было в пустой квартире, он предложил привести своих стариков — отца с матерью — и всем троим жить до его возвращения.

Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, и не будет, что им взять с нищих? А он уже ей, Риве, по приезде подарит на платье.

Все трое в мучительной надежде прислушивались: авось проедут мимо, может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина.

Старый, с серебряной головой, с детски испуганными голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, зашептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастье от дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближавшихся шагов.

Рива забилась в самую дальнюю комнату, за большой дубовый буфет.

Резкий, грубый удар в дверь отозвался судорожной дрожью в теле стариков.

— Открывай! — Удар резче первого, и брань озлобленных людей.

Но нет сил поднять руки и откинуть крючок.

Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала.

Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери.

Начался грабеж.

Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Саломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услыхал дикий крик.

Паляныця, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысьими глазами, сказал, обращаясь к старикам:

— Убирайтесь!

Ни отец, ни мать не трогались.

Паляныця шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю.

— Мама! — раздирающе крикнула дочь.

Этот крик и услышал Саломыга.

Паляныця обернулся к подоспевшим товарищам и бросил коротко:

— Вышвырните их! — Он указал на стариков. И, когда тех с силой вытолкнули за дверь, Паляныця сказал подошедшему Саломыге: — Ты постой здесь за дверью, а я с девочкой поговорю кое о чем.

Когда старик Пейсах кинулся на крик к двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в Саломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая Тойба:

— Ой, пустите, что вы делаете?

Она рвалась к двери, и Саломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы.

Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь:

— Пустите, пустите!.. О, моя дочь!

Они вдвоем оттолкнули Саломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса наган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал.

А из комнаты рвался крик Ривы.

Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками и мольбами о помощи.

Крики в доме прекратились.

Выйдя из комнаты, Паляныця, не глядя на Саломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его:

— Не ходи — задохлась: я ее немного подушкой прикрыл.

И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу.

— Неудачно как-то началось,— выдавил он, выйдя на улицу.

За ним молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках оставались кровавые отпечатки.

А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди не поделивших добычу громил, кое-где взметывались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой. Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки.

Потом ползли по домам.

Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, бегло шарили по углам и уходили навьюченные, оставив сзади взрыхленные груды тряпья и пуха распоротых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы: Рива и ее отец, но надвигавшаяся ночь несла с собой неотвратимую гибель.

К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась досиня. Замутевшие от угара петлюровцы ждали ночи.

Темнота развязала руки. В черной темени легче раздавить человека: даже шакал и тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных.

Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез! И, кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные девичьи тела — истерзанные, замученные, согнутые.

И только у самой речки в домике кузнеца Наума шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.

В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом.

На сытых лошадях появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовывали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно.

Сережа Брузжак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, возвращался через огород к себе во двор; он увидел бежавшего по шоссе человека.

Взмахивая руками, в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом, задыхаясь, бежал старик еврей. Сзади, быстро нагоняя, изогнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Сережа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загородил собой старика:

— Не тронь, бандит, собака!

Не желая удерживать удара сабли, конник полоснул плашмя по юной белокурой головке.

Глава пятая

Красные упорно теснили части «головного» атамана Петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке остались небольшое тыловое охранение и комендатура.

Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов появилась жизнь.

Тихими вечерами издалека доносился неясный грохот. Где-то недалеко шли бои.

Железнодорожники расползались со станции по деревням в поисках работы.

Гимназия была закрыта.

В городе объявлено военное положение.

☆

Неприглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову.

Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошеного. Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет. Будьте уверены, не пойдет.

И вот в такую ночь двигался человек.

Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучал в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее.

Павка во сне видит: на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее; он пытается убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит.

Стекло дребезжит от настойчивого стука.

Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит. Но, кроме неясного, темного силуэта, ничего не видел.

Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж которой работал машинистом на сахарном заводе. А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотком на харчи.

Стучать мог только Артем.

Павел решил открыть окно.

— Кто там? — бросил он в темноту.

За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил:

— Это я, Жухрай.

На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора.

— Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка? — зашептал он.

— Ну конечно,— дружески ответил Павел.— Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно.

Грузная фигура Федора втиснулась в окно.

Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна.

Он стоял прислушиваясь, и, когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу:

— Мы мамашу не разбудим? Она спит, наверное?

Павел сказал Федору, что в доме, кроме него, никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче:

— За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Сводят счеты за последнюю бузу на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить «серожупанникам» хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной и гонятся. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно с задворок, стал у сарая. Смотрю: в саду кто-то стоит, к дереву прижался, но штык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возраженьев не имеешь? Ну и хорошо.

Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги.

Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире.

Легли спать. Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу; вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте, согревая его своей теплотой.

☆

Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими.

Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край «жовтоблакитникам» передавал жадно слушавшему Павлу.

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего не решенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов,— это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых,— это партия большевиков.

Раньше Павел в этом безнадежно путался.

И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРП(б) с тысяча девятьсот пятнадцатого года, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару.

— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя,— говорил он.— Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку — жизни не перевернуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю: будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады.

Он с силой ударил кулаком по столу.

Жухрай встал; засунув руки в карманы, нахмуренный, зашагал по комнате.

Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям.

В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые должны были вести работу.

«Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа руки. Довольно, и так угробил десять месяцев»,— с раздражением думал Жухрай.

— Кто ты такой, Федор? — спросил его однажды Павел.

Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса.

— Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я думаю, что ты большевик или коммунист,— тихо ответил Павел.

Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник:

— Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик и коммунист одно и то же.— И он сразу стал серьезным.— Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?

— Понял,— твердо ответил Павел.

На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой

Сережа Брузжак, похудевший, бледный. За ним вошли Валя и Климка.

— Здоро́во, чертяка,— улыбаясь, подал Павке руку Сережа.— Мы к тебе втроем в гости. Валя меня одного не пускает, боится. А Климка Валю не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно.

Валя шутливо закрыла ему ладонью рот.

— Вот болтун-то,— засмеялась она.— Он сегодня Климке жить не дает.

Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы:

— Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается.

Все засмеялись.

Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, неунывающий, Сережа, теперь притихший и подавленный, рассказывал Жухраю, как его ударил петлюровец.

Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у Брузжаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома. В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее.

Поздно вечером проводил Павел гостей.

Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе.

В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать.

Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина, с крапленным оспой лицом, стирала белье и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила отрывисто:

— А что, мне только и делов, что твоего Федора смотреть? Из-за него, черта корявого, у Зозулихи весь дом перевернули. Тебе-то на что сдался он? Что за компания такая? Нашлись приятели: Климка, ты...— Она с ожесточением нажимала на белье.

Мать у Климки была с язычком, сварливая.

От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор:

— Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался.— Но в голосе ее не было уверенности.

У Брузжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать.

Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая.

Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством: не хотелось идти в пустую квартиру.

Несколько минут стоял на дворе, раздумывая, и, направленный каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый «маплихер».

Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию.

О Жухрае ничего не узнал и, возвращаясь обратно, около знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С неясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустнее.

Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно почти месяц назад.

Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка.

В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости:

— Отец и мама уходят к Большанским на именины. Дома буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева — «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?

Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на Корчагина ожидающе смотрели ее огромные глаза.

— Приду.

И они расстались. Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче и поленья потрескивали веселей.

В тот вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала:

— У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить.

Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти.

— Идем,— схватила она его за рукав.— Им будет полезно познакомиться с тобой.— И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе.

Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала:

— Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин.

За маленьким столом посредине комнаты сидели: Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической гимназистка, какой-то незнакомый Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке, с прилизанными, блестящими от вежеталя волосами, серыми глазами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь.

Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись.

Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспешила нарушить, приглашая Павла войти, и, обращаясь к Лизе, сказала:

— Познакомься.

Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, приподнялась.

Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала:

— Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой.

Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил:

— Нечего меня напоказ выставлять перед этим обормотом. Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел.

Тоня, сдерживая возмущение, прервала его:

— Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит.

Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил:

— Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду.— И побежал к калитке.

С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова захотел встретиться с ней.

Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в

К стр. 326

квартире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой кашицей, поворачивало вправо.

За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной, шелудивой стеной сходились две улицы.

☆

На перекрестке, у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской: «Продажа минеральных вод», Виктор Лещинский прощался с Лизой.

Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза:

— Вы придете? Не обманете?

Лиза кокетливо отвечала:

— Приду, приду, ждите.

И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволокой глазами.

Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной, надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком у глаза.

Он шагал твердо слегка выгнутыми ногами, одетыми в желтые короткие сапоги.

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане, с двумя подсумками на поясе.

Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза. Желтые, прокуренные махрой усы топорщились в стороны.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих.

Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая.

«Так вот почему он не вернулся!»

Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно было ясно: Жухрай погиб.

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств.

«Что делать?»

В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтов-

кой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная...»

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была свободна. На ней не было ни души... Впереди торопилась пройти женская фигура в весеннем коротком пальто. Она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры.

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов.

Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка.

— Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! — взвизгнул конвоир резкой фистулой.

Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой.

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее.

Но голову сверлила тревожная мысль: «Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая...»

Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом?

И случилось так: с Павлом поравнялся рыжеусый конвоир; Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул ее к земле.

Штык с лязгом скребнул о камень.

Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удержал ее. Бабахнул выстрел. Пуля ударилась о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву.

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноше руки. Но последний не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в такую минуту.

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два

свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву.

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги.

☆

Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел, насвистывая «Сердце красавицы склонно к измене». Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещания прийти завтра на свидание к заброшенному заводу.

Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько, как о смелой в вопросах любви девушке.

Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, что он овладел Лизой. И хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом, и завтра он решил узнать, правду ли говорил Заливанов.

«Если только придет, то я буду решителен. Ведь позволяет она себя целовать. И если Семка не врал...» Его мысли прервались. Он посторонился, пропуская мимо двух петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром,— видимо, поить лошадь. Другой, в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал.

Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю.

Лещинский побежал за ними и, когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворота на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе:

— Хлопцы, в ружье, там нашего убили!

Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами.

Виктора арестовали.

На шоссе собралось несколько человек. Среди них и Лиза, которую задержали как свидетельницу.

От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухрай и Корчагин. Она с удивлением узнала в напавшем на петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня.

Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидя

убегавшего с винтовкой Жухрая и конвоира, силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору.

Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно.

Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло.

— Что же ты, балда, с-под носу упустил арестанта? Теперь получишь двадцать пять шомполов по задней части.

Конвоир озлобленно огрызнулся:

— Ты очень разумный, я вижу. Упустил с-под носу! Кто ж его знал, что та стервятина на меня кинется, як скаженна?

Лизу тоже допрашивали. Она рассказала то же, что и конвоир, но скрыла, что знает напавшего. Их все же повели в комендатуру.

Только вечером по приказанию коменданта их отпустили. Он предложил даже лично проводить Лизу домой. Но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ей ничего хорошего.

Провожал Лизу Виктор.

До станции было далеко, и, идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию.

— А вы знаете, кто освободил арестованного? — спросила Лиза, когда подходила к дому.

— Нет, откуда же мне знать.

— Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком?

Виктор остановился.

— С Павлом Корчагиным? — спросил он удивленно.

— Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно? Так это был он.

Виктор стоял огорошенный.

— А вы не ошиблись? — спросил он Лизу.

— Нет, я прекрасно запомнила его лицо.

— Почему же вы этого не сказали коменданту?

Лиза возмутилась:

— Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?

— Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость?

— А по-вашему, честно? Вы забыли, что они делают. Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот, и вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас, не думала.

Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом:

— Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная.

— Шутка у вас получилась нехорошая,— сухо ответила Лиза.

У дома Сухарько Виктор, прощаясь, спросил:

— Вы придете, Лиза?

И услыхал ее неопределенное:

— Не знаю.

Шагая в город, Виктор размышлял: «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал».

Ему, родовитому польскому шляхтичу Лещинскому, были противны и те и эти. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть, истинно шляхетская, Речи Посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живо голову свернут.

Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. А отец с матерью и Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение.

Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь.

Через некоторое время он шел в сопровождении четырех петлюровцев к дому Корчагиных.

Указывая на светившееся окно, он тихо сказал:

— Вот здесь.— И, обратившись к стоящему рядом хорунжему, спросил: — Мне можно идти?

— Пожалуйста. Мы справимся одни. Благодарю за услугу.

Виктор быстро зашагал по тротуару.

☆

Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный.

Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. «Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай?»

Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города.

«Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде,— подумал Павел.— Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. Но как они узнали?» Этот вопрос мучил его неизвестностью.

Мало чем воспользовались петлюровцы из имущества Корчагиных. Свой костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немногое.

Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаз выколи. Небо заволокло тучами, и, подталкиваемый с боков и сзади немилосердными пинками, он шел бессознательно, в состоянии какого-то отупения.

За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой — заделана крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка.

Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула.

— Сволочь немазаная! — выругался Павел.

В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспанная растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла:

— Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь пятерку в...

Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали.

Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу окончилась для него, Корчагина, так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике.

И, когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери, ее худенькое, морщинистое лицо с такими знакомыми, родными глазами. Плыла мысль: «Хорошо, что ее нет, меньше горя».

От окна на полу вырисовывался серый квадрат.

Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет.

Глава шестая

В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе залаял внушительным басом привязанный на цепь Трезор.

Сквозь дремоту Тоня слышит негромкий голос матери:

— Нет, она еще не спит. Заходите, Лиза.

Легкие шаги и ласковое, порывистое объятие подруги рассеивают обрывки дремоты.

Тоня улыбается усталой улыбкой:

— Хорошо, Лиза, что пришла: у нас радость — вчера миновал кризис у папы, и сегодня он спит спокойно целый день. И мы тоже с мамой отдыхали от бессонных ночей. Рассказывай, Лиза, все новости.— Тоня притягивает подругу к себе на диван.

— О, новостей очень много! Часть из них я могу рассказать только тебе,— смеется Лиза, лукаво поглядывая на Екатерину Михайловну.

Мать Тони, представительная дама, несмотря на свои тридцать шесть лет, с живыми движениями молодой девушки, с умными серыми глазами, с некрасивым, но приятным, энергичным лицом, улыбнулась.

— Я с удовольствием оставлю вас одних через несколько минут. А теперь рассказывайте общедоступные новости,— шутила она, подвигая стул к дивану.

— Первая новость — мы больше заниматься не будем. Школьный совет решил выдать седьмому классу аттестат об окончании. Я очень рада,— живо рассказывала Лиза.— Мне так надоела эта алгебра и геометрия! И для чего учить все это? Мальчишки, возможно, дальше будут учиться, хотя они сами не знают где. Везде фронты, сражения. Ужас... Нас выдадут замуж, а от жены никакой алгебры не требуется.— Говоря это, Лиза засмеялась.

Посидев немного с девушками, Екатерина Михайловна ушла к себе.

Лиза подвинулась ближе к Тоне и, обняв подругу, шепотом рассказывала ей о столкновении на перекрестке.

— Представь себе мое удивление, Тонечка, когда я узнала в бегущем... как бы ты думала, кого?

Тоня, с любопытством слушавшая рассказ, недоуменно пожала плечами.

— Корчагина! — выпалила залпом Лиза.

Тоня вздрогнула и болезненно съежилась:

— Корчагина?

Лиза, довольная произведенным эффектом, уже описывала ссору с Виктором.

Увлеченная рассказом, Лиза не замечала, какой бледностью покрылось лицо Тумановой, как тонкие ее пальцы нервно перебирали ткань синей блузки. Не знала Лиза, как тревожно сжималось сердце Тони, не знала, почему так неспокойно вздрагивают густые ресницы прекрасных глаз.

Тоня уже не слышала рассказа о пьяном хорунжем, у нее одна мысль: «Виктор Лещинский знает, кто напал. Зачем Лиза сказала ему?» И невольно эту фразу произнесла вслух.

— Что сказала? — не поняла Лиза.

— Зачем ты рассказала Лещинскому о Павлуше, то есть о Корчагине? Ведь он его выдаст...

Лиза возразила:

— Ну нет! Не думаю. Зачем ему, в конце концов, это делать?

Тоня порывисто села, до боли сжав руками колени:

— Ты, Лиза, ничего не понимаешь! Они с Корчагиным враги, и к этому прибавляется еще одно обстоятельство... И ты сделала большую ошибку, рассказав Виктору о Павлуше.

Лиза теперь лишь заметила волнение Тони, а это случайно уроненное «о Павлуше» открыло ей глаза на вещи, о которых у нее были лишь смутные догадки.

Невольно чувствуя себя виноватой, она смущенно притихла.

«Значит, это правда,— думала она.— Странно, у Тони вдруг такое увлечение — кем? — простым рабочим...» Ей очень хотелось поговорить на эту тему, но из чувства деликатности сдерживалась. Стараясь чем-нибудь загладить свою вину, она схватила руки Тони:

— Ты очень волнуешься, Тонечка?

Тоня рассеянно ответила:

— Нет, может быть, Виктор честнее, чем я о нем думаю.

Вскоре пришел Демьянов, скромный мешковатый юноша, их одноклассник. До самого его прихода разговор у девушек не вязался.

Проводив товарищей, Тоня долго стояла одна. Прислонясь к калитке, она смотрела на темную полосу дороги, ведущей в город. На нее дышал насыщенный холодной влажностью и весенней прелью вечный бродяга ветер. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. Вот он там, этот чужой ей городок. В нем, под одной из крыш, не зная об угрозе, он, ее мятежный товарищ. И, возможно, забыл о ней. Сколько дней пробежало чередой после их последней встречи? Он был неправ тогда, но все давно уже забыто. Завтра она увидит его, и опять вернется дружба, волнующая, хорошая. Она вернется, Тоня это знает. Лишь бы не предала ночь. Ночь недобрая какая-то, словно притаилась, поджидает... Холодно.

Кинув последний взгляд на дорогу, Тоня вошла в дом. В постели, кутаясь в одеяло, она стала засыпать с мыслью: лишь бы не предала ночь!..

Ранним утром, когда в доме еще спали, Тоня проснулась, быстро оделась. Тихо, чтобы не разбудить никого, вышла во двор, отвязала Трезора, большого лохматого пса, и пошла с ним в город. Напротив дома Корчагина остановилась на минуту в нерешительности. Затем, толкнув калитку, вошла во двор. Трезор бежал впереди, помахивая хвостом...

Этим же ранним утром возвратился из села Артем. Приехал на телеге с кузнецом, у которого работал. Взвалил на плечи мешок с заработанной мукой, пошел по двору. За ним кузнец нес остальные пожитки. У раскрытой двери Артем сбросил с плеч мешок, позвал:

— Павка!

Но ответа не получил.

— Тащи в дом, чего там! — сказал подошедший кузнец.

Положив пожитки на кухне, Артем вошел в комнату — и остолбенел. Все было перерыто, перевернуто, старое тряпье разбросано по полу.

— Что за черт! — недоумевающе буркнул Артем, оборачиваясь к кузнецу.

— Да, беспорядок,— поддакнул тот.

— Куда мальчишка девался? — начинал злиться Артем.

Но квартира была пуста, и спрашивать было не у кого.

Кузнец простился и уехал.

Артем вышел во двор и стал осматриваться кругом.

«Не пойму, что за буза такая! Квартира открыта, Павки нет».

Сзади него послышались шаги. Артем обернулся. Перед ним стоял, насторожив уши, громадный пес. От калитки к дому шла незнакомая девушка.

— Мне нужно видеть Павла Корчагина,— сказала она негромко, рассматривая Артема.

— Мне тоже его надо видеть. Черт его знает, где он подевался! Я вот приехал, квартира открыта, а его нету. А вы к нему, что ли? — обратился он к девушке.

В ответ услыхал вопрос:

— Вы брат Корчагина — Артем?

— Да, а что такое?

Но девушка, не отвечая ему, смотрела с тревогой на открытую дверь. «Почему я не пришла вчера? Неужели, неужели?..» И тяжесть в груди налегла еще сильнее.

— Вы застали квартиру открытой, и Павла не было? — спросила она смотревшего на нее Артема.

— А вы что, собственно, имеете к Павлу?

Тоня подвинулась к нему ближе и, оглядываясь вокруг, порывисто заговорила:

— Я точно не знаю, но если Павла нет дома, то его арестовали.

— За что? — нервно вздрогнул Артем.

— Зайдемте в комнату,— сказала Тоня.

Артем слушал ее молча. Когда она передала ему все, что знала, он пришел в отчаяние.

— Эх, будь ты трижды проклята! Не хватало печали — черти накачали...— подавленно пробормотал он.— Теперь понят-

но, почему такой кавардак в квартире. Внесла же нечистая сила мальчишку в эту историю... Где его теперь искать? А вы, барышня, чья будете?

— Я дочь лесничего Туманова. Павла я знаю.

— А-а...— неопределенно протянул Артем.— Вот, муку вез подкормить мальчишку, а тут вот что...

Тоня и Артем молча смотрели друг на друга.

— Я ухожу. Вы, может быть, его найдете,— проговорила тихо Тоня, прощаясь с Артемом.— Вечером зайду к вам, вы мне расскажете.

Артем молча кивнул головой.

☆

В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха. На краю старого, протертого дивана, опершись руками о колени, сидела молодая крестьянка, уставившись бесцельным взглядом в грязный пол.

Комендант, закусив углом рта папироску, размашисто дописывал лист и под подписью «комендант города Шепетовки хорунжий» с удовольствием поставил витиеватую подпись с замысловатым крючком на конце. В дверях послышалось звяканье шпор. Комендант поднял голову.

Перед ним стоял с перевязанной рукой Саломыга.

— Каким ветром занесло? — приветствовал его комендант.

— Хорош ветер, руку разнес богунец до кости.

Саломыга, не обращая внимания на присутствие женщины, крепко выругался.

— Что же ты, поправляться сюда приехал?

— Поправляться будем на том свете. На фронте жмут, аж вода капает.

Комендант остановил его, указав головой на женщину:

— Поговорим потом.

Саломыга грузно сел на табурет и снял кепку с кокардой, на которой был вырезан эмалевый трезубец — государственный знак УНР[1].

— Меня Голуб прислал,— начал он негромко.— Скоро сюда дивизия сичевых стрельцов перейдет. Вообще здесь каша заварится, так я должен навести порядок. Возможно, головной приедет, с ним какой-нибудь заграничный гусь, так чтоб здесь никто не разговаривал насчет «облегчения». А ты что пишешь?

Комендант передвинул папироску в другой угол рта:

---

[1] УНР — Украинская народная республика. Так лживо называли Украину контрреволюционеры, временно захватившие власть.

— Тут один стервец у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался тот самый Жухрай, помнишь, который железнодорожников натравил на нас.

— Ну-ну? — заинтересованно придвинулся Саломыга.

— Ну, понимаешь, Омельченко, балда, станционный комендант, с одним казаком послал его к нам, а этот, что у меня сидит, отбил его середь бела дня. Разоружили казака, выбили ему зубы и — поминай как звали. Жухрая след простыл, а этот попался. Вот почитай-ка материал.— Он подвинул Саломыге пачку исписанной бумаги.

Тот бегло просмотрел ее, перелистывая левой, здоровой рукой. Прочитав, уставился на коменданта:

— И ты от него ничего не добился?

Комендант нервно потянул козырек фуражки:

— Пять дней с ним бьюсь. Молчит. «Ничего, говорит, не знаю, я не освобождал». Выродок какой-то бандитский. Понимаешь, конвойный его опознал, чуть не задушил здесь, гаденыша. Я насилу оторвал. Омельченко казаку на станции двадцать пять шомполов вписал за арестанта, так он ему тут жару и дал. Держать больше нечего, я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход.

Саломыга презрительно сплюнул:

— Был бы он в моих руках, заговорил бы. Не тебе, попович, дознанья делать. Какой с семинариста комендант? Ты ему шомполов дал?

Комендант вскипел:

— Ты уж слишком себе позволяешь. Свои насмешки можешь оставить при себе. Я здесь комендант и прошу не вмешиваться.

Саломыга взглянул на петушившегося коменданта и захохотал:

— Ха-ха!.. Попович, не надувайся, а то лопнешь. Черт с тобой и с твоими делами, ты лучше скажи, где достать пару бутылок самогонки?

Комендант ухмыльнулся:

— Это можно.

— А этого,— ткнул Саломыга пальцем на бумаги,— если хочешь, чтобы к ногтю прижали, поставь ему вместо шестнадцати лет восемнадцать. Крючок загни вот здесь, а то могут не утвердить.

☆

В кладовой их было трое. Бородатый старик в поношенном кафтане лежал бочком на нарах, подогнув худые ноги в широких полотняных штанах. Его посадили за то, что пропал из его сарая конь постояльца-петлюровца. На полу сидела пожилая женщина

с хитрыми, вороватыми глазками, с острым подбородком, самогонщица, по обвинению в краже часов и других ценных вещей. В углу под окном, уложив голову на смятую фуражку, в полузабытьи лежал Корчагин.

☆

В кладовую ввели молодую женщину в повязанном по-крестьянски цветном платочке, с испуганными большими глазами. Женщина постояла с минутку и села рядом с самогонщицей.

Та, пытливо обследовав новенькую, бросила быстрым говорком:

— Сидишь, девонька?

Не получив ответа, не отставала:

— За что тебя сюда, а? Случáй, не по самогонному делу?

Крестьянка, встав и посмотрев на назойливую бабу, ответила тихо:

— Не, за брата меня взяли.

— А он что? — приставала баба.

Старик вмешался:

— Чего ты ее тревожишь? Человеку, может, на свет глядеть не мило, а ты трещишь.

Баба быстро повернулась к нарам:

— А ты что мне за указчик такой нашелся? Я с тобой, что ли, говорю?

Старик сплюнул:

— Не приставай, говорю, к человеку.

В кладовой стихло. Женщина разостлала большой платок, прилегла, положив голову на руку.

Самогонщица принялась за еду. Старик спустил ноги на пол, не спеша свернул козью ножку и закурил. По кладовой потянулись клубы вонючего дыма.

Чавкая набитым ртом, баба заворчала:

— Поесть бы дал спокойно, без вонищи, раскурился без перестану.

Старик язвительно хихикнул:

— Похудеть боишься? Вон в дверь не пролезешь скоро. Ты бы хлопцу дала поесть, а то в себя все толчешь.

Баба обидчиво отмахнулась:

— Я ему говорю: поешь — не хочет. А насчет меня губы не распускай: не твое ем.

Молодая женщина повернулась к самогонщице и, кивнув головой в сторону Корчагина, спросила:

— Вы не знаете, за что он сидит?

Баба обрадовалась, что с ней заговорили, и охотно сообщила:

— Это здешний парняга, Корчагиной, кухарки, сын младший.

Нагнувшись к уху, самогонщица прошептала:

— Большевику освобожденье сделал. Матрос тут был один, у Зозулихи, соседки моей, квартировал.

Женщина вспомнила: «Я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход...»

☆

Станцию один за другим наполняли эшелоны. Беспорядочной толпой оттуда вываливались курени (батальоны) сичевых стрельцов. По путям медленно полз заклепанный в сталь четырехвагонный бронепоезд «Запорожец». С платформ стаскивали орудия. Из товарных вагонов выводили лошадей. Тут же седлали, садились и, расталкивая бесформенные толпы пехотинцев, пробивались на станционный двор, где строился кавалерийский отряд.

Суетились старшины, выкрикивая номера своих подразделений.

Вокзал гудел, как осиный рой. Из бесформенной кучи разноголосых суматошных людей постепенно сколачивались квадраты взводов, и вскоре поток вооруженных людей влился в город. До самого вечера по шоссе дребезжали подводы и плелись тыловые охвостья вступившей в город дивизии сичевых стрельцов. И наконец, замыкая шествие, прошагала штабная рота, горланя в сто двадцать глоток:

Шо за шум, шо за гам
Учинився?
То Петлюра на Вкраини
Появився...

Корчагин поднялся к окошку. Сквозь сумрак раннего вечера он услышал грохот колес на улице, топот множества ног, многоголосые песни.

Сзади тихо сказали:

— Видно, войска в город входят.

Корчагин обернулся.

Говорила девушка, которую привели вчера.

Он слышал ее рассказ. Самогонщица добилась своего. Она из деревни, что в семи верстах от городка. Старший ее братишка Грицко, красный партизан, при Советах верховодил в комбеде.

Когда ушли красные, ушел и Грицко, опоясав себя пулеметной лентой. А теперь семье житья нет. Лошадь одна была, и ту забрали. Отца в город возили: намучился, сидя под замком. Староста — из тех, кого прищемлял Грицко,— в отместку

на постой к ним всегда приводит разных людей. Обнищала семья вконец. Вчера на село явился комендант для облавы. Привел его староста к ним. Приглядeлся к девушке комендант, наутро забрал в город «для допроса».

Корчагину не спалось, бесследно исчез покой, и одна назойливая мысль, от которой не мог отмахнуться, мысль: «Что будет дальше?» — вертелась в голове.

Больно покалывало избитое тело. С животной злобой избил его конвоир.

Чтобы отвлечься от ненавистных мыслей, стал слушать шепот своих соседок.

Совсем тихо рассказывала девушка, как приставал к ней комендант, угрожал, уговаривал, а получив отпор, озверел. «Посажу, говорит, в подвал, ты у меня оттуда не выйдешь».

Чернота заволакивала углы. Впереди ночь, душная, неспокойная. Опять мысли о неизвестном завтра. Седьмая ночь, а кажется, будто месяцы прошли, жестко лежать, не утихла боль. В кладовой теперь лишь трое. Дедка на нарах храпит, как у себя на печи. Дедка мудро спокоен и спит ночами крепко. Самогонщицу выпустил хорунжий добывать водку. Христина и Павел на полу, почти рядом. Вчера в окошечке видел Сережку. Долго тот стоял на улице, смотрел тоскливо на окна дома.

«Видно, знает, что я здесь».

Три дня передавали куски черного кислого хлеба. Кто передавал, не сказали. Два дня тревожил допросами комендант. Что бы это могло значить?

На допросах ничего не сказал, от всего отрекался. Почему молчал, и сам не знал. Хотел быть смелым, хотел быть крепким, как те, о которых читал в книгах, а когда взяли, вели ночью и у громады паровой мельницы один из ведущих сказал: «Чего его таскать, пане хорунжий? Пулю в спину — и кончено», стало страшно. Да, страшно умирать в шестнадцать лет! Ведь смерть — это навсегда не жить.

Христина тоже думает. Она знает больше, чем этот парень. Он, наверное, еще не знает... А она слышала.

Не спит он, мечется ночами. Жалко, ой, как жалко Христине его, но у нее свое горе: не может забыть она страшные слова коменданта: «Я с тобой завтра расправлюсь. Не хочешь со мной — в караулку пойдешь. Казаки не откажутся. Выбирай».

«Ой, как тяжело, и неоткуда пощады ждать! Чем же она виновата, что Грицко в красные пошел? Ой, як на свити тяжко жити!»

Тупая боль сжимает горло, беспомощное отчаяние, страх захлестнули ее, и Христина глухо зарыдала.

Вздрагивает молодое тело от безумной тоски и отчаяния.

В углу у стены шевельнулась тень:

— Ты чего это?

Горячий шепот Христины — вылила она свою тоску молчаливому соседу. Он слушает, молчит, и только рука его легла на руки Христины.

— Замучают меня, проклятые,— глотая слезы, с неосознанным ужасом шептала она.— Пропала я: сила ихняя.

Что он, Павел, мог сказать этой дивчине? Нет слов. Нечего говорить. Жизнь давила обручем.

«Не пустить завтра ее, бороться? Изобьют до смерти, а то и рубанут саблей по голове — и кончено». И, чтобы хоть чуть приласкать эту горем отравленную девушку, нежно по руке погладил. Рыданья девушки стихли. Изредка часовой у входа окликал прохожих обычным: «Кто идет?» — и опять тихо. Крепко спит дедка. Медленно ползли неощутимые минуты. Не понял, когда крепко обняли руки и притянули к себе.

— Слухай, голубе,— шепчут горячие губы,— мени все равно пропадать: як не офицер, так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивочисть забрала.

— Что ты говоришь, Христина?

Но крепкие руки не отпускали. Губы горячие, полные губы, от них трудно уйти. Слова дивчины простые, нежные,— ведь он знает, почему эти слова.

И вот убежало куда-то в сторону сегодняшнее. Забыт замок на двери, рыжий казак, комендант, звериные побои, семь душных, бессонных ночей, и на миг остались только горячие губы и чуть влажное от слез лицо.

Вдруг вспомнилась Тоня.

«Как можно было ее забыть?.. Чудные, родные глаза».

Хватило сил оторваться. Как пьяный, поднялся и взялся рукой за решетку. Руки Христины нашли его.

— Чего же ты?

Сколько чувства в этом вопросе! Он нагибается к ней и, крепко сжимая руки, говорит:

— Я не могу, Христина. Ты — хорошая...— и еще что-то говорил, чего сам не понял.

Выпрямился, чтобы разорвать нестерпимую тишину, шагнул к нарам. Сев на краю, затормошил деда:

— Дедунь, дай закурить, пожалуйста.

В углу, закутавшись в платок, рыдала девушка.

Днем пришел комендант, и казаки увели Христину. Она попрощалась глазами с Павлом. В них был укор. И, когда за ней захлопнулась дверь, в его душе стало еще тяжелее и непрогляднее.

Дедка до вечера не добился от юноши ни одного слова.

Сменили караул и комендантскую команду. Вечером привели нового. Павел узнал в нем Долинника, столяра сахарного завода. Крепко скроенный, приземистый, в облинялой желтой рубашке под заношенным пиджаком. Внимательным взглядом обежал кладовку.

Павел видел его в 1917 году, в феврале, когда докатилась революция и до городка. На шумных демонстрациях он слышал только одного большевика. Это был Долинник. Он говорил солдатам речь, влезши на забор у дороги. Запомнилось его заключительное:

«Держитесь, солдаты, за большевиков: они не продадут!»

С тех пор столяра не встречал.

Старик обрадовался новому соседу. Ему, видно, было тяжело сидеть молча целый день. Долинник подсел к нему на нары, раскурил с ним папироску и расспросил обо всем.

Затем подсел к Корчагину.

— А у тебя что хорошего? — спросил он парня.— Каким образом сюда?

Получая односложные ответы, Долинник чувствовал, что его собеседник недоверчив, поэтому так скуп на слова. Но когда столяр узнал, какое обвинение предъявляют юноше, он удивленно уставился на Корчагина своими умными глазами. Сел рядом:

— Так ты, говоришь, Жухрая выручил? Вот оно что. Я и не знал, что тебя забрали.

Павел от неожиданности приподнялся на локте:

— Какого Жухрая? Я ничего не знаю. Мало ли чего мне пришьют.

Но Долинник, улыбаясь, подвинулся к нему ближе:

— Брось, дружок, передо мной не запирайся. Я больше твоего знаю.

И тихо, чтобы не слышал старик:

— Я сам Жухрая провожал, он, поди, на месте. Федор мне все рассказал про этот случай.

Помолчав немного, думая о чем-то, добавил:

— Парень ты, оказывается, что надо. Но вот то, что сидишь, что они знают про все,— это дело того, ни к черту, можно сказать, совсем дрянь.

Он сбросил пиджак, постелил его на полу, сел, опершись спиной о стенку, и снова стал крутить папироску.

Последние слова Долинника все сказали Павлу. Было ясно: Долинник свой человек. Раз провожал Жухрая — значит...

К вечеру он знал, что Долинник арестован за агитацию среди петлюровских казаков. Попался он с поличным, когда раздавал

воззвания губернского ревкома с призывом сдаваться и переходить к красным.

Осторожный Долинник рассказал Павлу немногое.

«Кто знает?» — думал он.— Начнут бить парнишку шомполами. Молод еще».

Поздно вечером, укладываясь спать, высказал свои опасения в короткой общей фразе:

— Положение наше с тобой, Корчагин, можно сказать, хуже губернаторского. Посмотрим, что из этого получится.

На другой день в кладовой появился новый арестант, известный всему городу парикмахер Шлема Зельцер, с огромными ушами, тонкой шеей.

Он рассказывал Долиннику, горячась и жестикулируя:

— Ну, так вот, Фукс, Блувштейн, Трахтенберг хлебсоль будут ему носить. Я говорю: хотите нести — несите, но кто им подпишет от всего еврейского населения? Извиняюсь, никто. Им есть расчет. У Фукса — магазин, у Трахтенберга — мельница, а у меня что? А у остальной голоты? У этих нищих — ничего. Ну, у меня длинный язык. Сегодня я брею одного старшину, из новых, что прислали недавно. «Скажите,— говорю,— атаман Петлюра знает про погромы или нет? Примет он эту делегацию?» Эх, сколько раз я неприятности имел за свой язык! Что, вы думаете, этот старшина сделал, когда я его побрил, попудрил, сделал все на первый сорт? Он себе встает, вместо того чтобы деньги мне заплатить, арестовывает меня за агитацию против власти.— Зельцер ударял себя по груди кулаком: — Какая агитация? Что я такое сказал? Я только спросил у человека... И за это меня сажать...

Зельцер, горячась, крутил Долиннику пуговицу на рубашке, дергал его то за одну, то за другую руку.

Долинник невольно улыбнулся, слушая возмущенного Шлему. Когда парикмахер замолчал, Долинник сказал серьезно:

— Эх, Шлема, ты вот умный парень, а дурака свалял. Нашел время, когда языком молоть. Я б тебе не советовал попадаться сюда.

Зельцер понимающе посмотрел на него и в отчаянии махнул рукой.

Дверь открылась, и в кладовую втолкнули знакомую Павлу самогонщицу. Она озлобленно ругала ведущего казака:

— Огонь бы вас спалил вместе с вашим комендантом! Чтоб ему от моей горилки околеть!

Часовой захлопнул за ней дверь, и было слышно, как он засовывал замок.

Баба села на нары; ее шутливо приветствовал старик:

— Что, опять к нам, трещотка? Что ж, садись, гостем будешь.

Самогонщица нелюбезно глянула на старика и, захватив узелок, пересела на пол рядом с Долинником.

Ее опять посадили, получив от нее несколько бутылок самогона.

За дверью в караулке послышались крики, движение. Чей-то резкий голос отдавал приказания. Все арестованные в кладовой повернули головы к двери.

☆

На площади, у неказистой церквушки со старинной колокольней, происходило необычайное для городка событие. Охватывая площадь с трех сторон, правильными прямоугольниками разместились части дивизии сичевых стрельцов в полном боевом снаряжении.

Впереди, начиная от церковного подъезда, рядами, упираясь в забор школы, вытянулись шахматными квадратами три пехотных полка.

Серой, грязноватой массой, приставив ружья к ноге, в нелепых железных русских шлемах, похожих на расколотые пополам тыквы, густо обвешанные патронами, стояли петлюровские солдаты наиболее боеспособной дивизии «Директории».

Хорошо одетая и обутая из запасов бывшей царской армии, больше чем наполовину состоявшая из кулаков, сознательно боровшихся против Советов, эта дивизия была переброшена в городок для защиты важнейшего стратегического железнодорожного узла.

Из Шепетовки в пять разных сторон убегали блестящие полоски путей. Потерять этот пункт для Петлюры — значило потерять все. У «Директории» и так оставалась куцая территория. Столицей петлюровщины стал скромный городок Винница.

Головной атаман лично решил проверить части. Все было готово к его встрече.

В задних рядах, подальше от взглядов, в углу площади примостили полк новомобилизованных. Тут была босая, пестро одетая молодежь. Никто из этих молодых сельских парней, стащенных ночной облавой с печек или пойманных на улице, не думал идти воевать.

— Нема дурних,— говорили они.

Самое большое, что удавалось петлюровским офицерам,— это привести мобилизованных под конвоем в город, рассчитать их на роты и курени и выдать оружие.

Но на другой же день треть приведенных исчезала, и с каждым днем их становилось все меньше.

Выдавать им сапоги было более чем легкомысленно, да и сапог-то было не густо. Издан был приказ: явиться на призыв обутыми. Он дал изумительные результаты. Где только добывалась та невероятная рвань, которая держалась на ногах лишь при помощи проволоки или веревок?

На парад их привели босыми.

За пехотой растянулся кавалерийский полк Голуба.

Кавалеристы сдерживали густые толпы любопытных. Всем хотелось посмотреть парад.

Сам головной атаман приедет! В городе такие события были редкостью, и пропустить бесплатное зрелище никто не хотел.

На ступеньках церкви собрались полковники, есаулы, обе поповны, кучка украинских учителей, группа «вильных» казаков, слегка горбатый председатель управы — в общем, избранные, представляющие «общественность», и среди них, в черкеске, главный инспектор пехоты. Он командовал парадом.

В церкви облачался в пасхальное одеяние поп Василий.

Прием Петлюре готовился торжественный. Принесли и водрузили знамя: желтое с голубым. Ему должны были присягать мобилизованные.

Командир дивизии на тощем, облезлом «форде» отправился на вокзал за Петлюрой.

Инспектор пехоты подозвал к себе стройного, с щегольски закрученными усиками полковника Черняка:

— Берите с собой кого-нибудь, проверьте комендатуру и тыл, чтобы все было чисто и прибрано. Если есть арестованные, просмотрите, шваль выгоните.

Черняк щелкнул каблуками, захватил попавшегося под руку есаула и ускакал.

Инспектор любезно обратился к старшей поповне:

— А как у вас с обедом, все в порядке?

— О да, там комендант старается,— ответила поповна, впиваясь глазами в красивого инспектора.

Вдруг все зашевелилось: по шоссе летел, припав к шее коня, верховой. Он махал рукой и кричал:

— Едут!

— По мес-там! — гаркнул инспектор.

Старшины побежали в строй.

Когда «форд» зачихал у церковного подъезда, оркестр заиграл «Ще не вмерла Украина».

Из автомобиля вслед за командиром дивизии неуклюже вылез «сам головной атаман Петлюра», человек среднего роста, с крепко посаженной угловатой головой на багровой шее, в синем жупане из хорошего гвардейского сукна, затянутом желтым поясом с пристегнутым к нему крошечным браунингом в зам-

шевой кобуре. На голове защитная «керенка», на ней кокарда с эмалевым трезубцем.

Ничего воинственного не было в фигуре Симона Петлюры. Выглядел он совсем не военным человеком.

Недовольный чем-то, выслушал он короткий рапорт инспектора. Затем к нему обратился с приветствием председатель управы. Петлюра рассеянно слушал, глядя через его голову на выстроенные полки.

— Начнем смотр,— кивнул он инспектору.

Взойдя на небольшой помост у знамени, Петлюра обратился к солдатам с десятиминутной речью.

Речь была неубедительна. Произносил ее Петлюра без особого подъема, видимо устав с дороги. Окончил под казенные крики солдат: «Слава! Слава!» Слез с помоста и вытер платком вспотевший лоб. Затем с инспектором и командиром дивизии обошел части.

Проходя вдоль рядов мобилизованных, презрительно сощурил глаза, нервно покусывая губы.

К концу смотра, когда мобилизованные, взвод за взводом, неровными рядами подходили к знамени, у которого стоял с Евангелием поп Василий, и целовали сначала Евангелие, потом угол знамени, произошло нечто неожиданное.

Невесть каким образом на площадь к Петлюре пробралась делегация. С хлебом и солью в руках выступал богатый лесопромышленник Блувштейн, за ним галантерейщик Фукс и еще трое солидных коммерсантов.

Блувштейн, лакейски изгибаясь, подал поднос Петлюре. Его взял стоявший рядом старшина.

— Еврейское население выражает свою искреннюю признательность и уважение к вам, глава государства. Вот, пожалуйста, поздравительный лист.

— Добре,— буркнул Петлюра, бегло просматривая бумагу.

Но тут выступил Фукс.

— Мы нижайше просим вас, чтобы нам дали возможность открыть предприятия и защитить от погрома,— выдавил Фукс трудное слово.

Петлюра злобно насупился:

— Моя армия погромами не занимается. Вы это должны запомнить.

Фукс беспомощно развел руками.

Петлюра нервно подернул плечом. Он был зол на так некстати подошедшую делегацию. Он обернулся. За его спиной стоял, покусывая черный ус, Голуб.

— Тут на ваших казаков жалуются, пане полковник. Разберитесь, в чем дело, и примите меры,— сказал Пет-

люра и, обращаясь к инспектору, приказал: — Начинаем парад.

Злополучная делегация никак не ожидала встречи с Голубом и поспешила улизнуть.

Все внимание зрителей было обращено на приготовление к церемониальному маршу. Раздались резкие слова команды.

Голуб, надвигаясь на Блувштейна с внешне спокойным лицом, говорил внятно, шепотом:

— Уносите ноги, некрещеные души, а то я из вас котлеты сделаю.

Гремел оркестр, и первые части стали проходить по площади. Подходя к месту, где стоял Петлюра, солдаты механически гаркали «слава» и заворачивали по шоссе в боковые улицы. Впереди рот, одетые в новенькие цвета хаки костюмы, непринужденно шагали старшины, как на прогулке помахивая тросточками. Эту моду маршировать с тросточкой, как и шомпола у солдат, сичевики ввели впервые.

В хвосте шли мобилизованные, шли недружной массой, сбиваясь с шага, натыкаясь друг на друга.

Шорох босых ног был тих. Старшины изо всех сил старались навести порядок, но это было невозможно. Когда подходила вторая рота, правофланговый, молодой парень в полотняной рубахе, засмотрелся на «головного», разинув от удивления рот, и со всего размаха шлепнулся на шоссе, попав ногой в выбоину.

Винтовка, дребезжа, покатилась по камням. Парень пытался подняться, но его сейчас же сбивали с ног идущие сзади.

Среди зрителей послышался хохот. Взвод смешал строй. Площадь проходили уже как попало. Неудачливый парнишка, подхватив винтовку, догонял своих.

Петлюра отвернулся в сторону от этого неприятного зрелища; не ожидая конца прохождения колонны, пошел к автомобилю. Инспектор, следуя за ним, осторожно спросил:

— Пан атаман обедать не останется?

— Нет,— отрывисто бросил Петлюра.

За высокой церковной оградой, среди толпы зрителей, смотрели парад Сережа Брузжак, Валя и Климка.

Крепко обхватив руками прутья решетки, взглядом, полным ненависти, всматривался Сережа в лица стоявших внизу.

— Пойдем, Валя, лавочка закрывается,— вызывающе громко, так, чтобы слышали все, проговорил он, отрываясь от решетки. На него изумленно обернулись.

Не обращая ни на кого внимания, он пошел к калитке. За ним сестра и Климка.

☆

Подскакав к комендантской, полковник Черняк с есаулом спрыгнули с лошади. Передав их вестовому, быстро вошли в караулку.

— Где комендант? — резко спросил Черняк у вестового.

— Не знаю,— промямлил тот,— куда-то пошел.

Черняк оглядывал грязную, неприбранную караулку, развороченные постели, на которых беспечно развалились комендантские казаки. Они и не думали даже встать при приходе старшин.

— Что за хлев развели? — заревел Черняк.— Вы что развалились, как поросные свиньи? — налетел он на лежавших.

Один из казаков, сев, сытно отрыгнул и недружелюбно промычал:

— Ты чего кричишь? У нас свое кричало есть.

— Что такое? — подскочил Черняк.— Ты с кем разговариваешь, коровья морда? Я — полковник Черняк! Слыхал, сукин сын? Вставать сейчас же, а то всыплю всем шомполов! — бегал по караулке разгоряченный полковник.— В одну минуту чтобы всю грязь вымести, кровати прибрать, морды свои привести в человеческий вид. На кого вы похожи? Не казаки, а банда с большой дороги.

Его ярости не было границ. Он с бешенством толкнул ногой бак с помоями, стоявший на дороге.

Есаул не отставал от него, обильно сыпля матерщину, и, убедительно помахивая плеткой-трехвосткой, сгонял лежебок с постелей:

— Головной атаман парад принимает, сюда зайти может. Живо шевелитесь!

Видя, что дело принимает серьезный оборот и что шомполы действительно можно заработать — имя Черняка было всем прекрасно известно,— казаки забегали как ошпаренные.

Работа закипела.

— Надо посмотреть арестованных,— предложил есаул.— Кто их знает, кого они здесь держат? Заглянет головной — может получиться ерунда.

— У кого ключ? — спросил часового Черняк.— Откройте сейчас же.

Старшой торопливо подскочил и открыл замок.

— А где комендант? Что, я его долго ждать буду? Найти его сейчас же и прислать сюда,— командовал Черняк.— Охрану вывести во двор, выстроить в порядке... Почему винтовки без штыков?

— Мы вчера только сменились,— оправдывался старшой.

Он кинулся к двери искать коменданта.

Есаул толкнул ногой дверь кладовой. С полу привстало несколько человек, остальные остались лежать.

— Откройте двери, — командовал Черняк, — здесь мало света.

Он всматривался в лица арестованных.

— За что сидишь? — резко спросил он сидевшего на нарах старика.

Тот приподнялся, подтянул штаны и, немного заикаясь, напуганный резким криком, прошамкал:

— Я и сам не знаю. Посадили — вот и сижу... Коняга со двора пропала, так я же в этом не виноват...

— Чья коняга? — перебил есаул.

— Да казенная. Пропили ее мои постояльцы, а на меня сваливают.

Черняк окинул старика с головы до ног быстрым взглядом, нетерпеливо дернул плечом.

— Забери свои манатки — и марш отсюда! — крикнул он, поворачиваясь к самогонщице.

Старик не сразу поверил, что его отпускают, и, обращаясь к есаулу, заморгал подслеповатыми глазами:

— Значит, мне уйти дозволяете?

Тот кивнул головой: катись, катись поскорей. Старик поспешно отвязал от нар свою торбу и бочком проскочил в дверь.

— А ты за что посажена? — уже допрашивал самогонщицу Черняк.

Та, доедая кусок пирога, затараторила:

— Меня, пане начальство, по несправедливости посадили. Вдова я, самогонку мою пили, а меня потом и посадили.

— Ты что, самогонкой торгуешь? — спросил Черняк.

— Да яка там торговля,— обиделась баба.— Он, комендант, взял четыре бутылки и ни гроша не заплатил. Вот так все: самогонку пьют, а денег не платят. Яка же это торговля?..

— Довольно, сейчас убирайся к черту!

Баба не заставила дважды повторять приказание и, схватив корзинку, благодарно кланяясь, попятилась задом к двери.

— Дай вам боже здоровечко, господа начальство.

Долинник смотрел на эту комедию широко раскрытыми глазами. Никто из арестованных не понимал, в чем дело. Было ясно одно: пришедшие люди — какое-то начальство, имеющее власть над арестованными.

— А ты за что? — обратился к Долиннику Черняк.

— Встать перед паном полковником! — гаркнул есаул.

Долинник медленно и тяжело приподнялся с пола.

— За что сидишь, спрашиваю? — повторил вопрос Черняк.

Долинник несколько секунд смотрел на подкрученные усы полковника, на его гладко выбритое лицо, потом на козырек новенькой «керенки» с эмалевой кокардой, и вдруг мелькнула хмельная мысль: «А что, если выйдет?»

— Меня арестовали за то, что я шел по городу после восьми часов,— сказал он первое, что пришло ему на ум.

Ожидал весь в мучительном напряжении.

— А чего ночью шатаешься?

— Да не ночью, а часов в одиннадцать.

Говорил и уже не верил в дикую удачу.

Колени дрогнули, когда услышал короткое:

— Отправляйся!

Долинник, забыв свой пиджак, шагнул к двери, а есаул уже спрашивал следующего.

Корчагин был последним. Он сидел на полу, совершенно сбитый с толку всем тем, что видел, и даже не успел осознать, что Долинника отпустили. Понять, что происходит, он не мог. Всех отпускают. Но Долинник, Долинник. Он сказал, что арестован за ночное хождение... Наконец понял.

Полковник начал допрос худенького Зельцера с обычного:

— За что сидишь?

Бледный, волнующийся парикмахер ответил порывисто:

— Мне говорят, что я агитирую, но я не понимаю, в чем моя агитация заключается.

Черняк насторожился:

— Что? Агитация?! О чем агитируешь?

Зельцер недоуменно развел руками:

— Я не знаю, но я говорил только, что собирают подписи на прошение головному атаману от еврейского населения.

— На какое прошение? — продвинулись к Зельцеру есаул и Черняк.

— Прошение об отмене погромов. Вы знаете, у нас был страшный погром. Население боится...

— Понятно,— оборвал его Черняк.— Мы тебе пропишем прошение, жидовская морда.— И, оборачиваясь к есаулу, бросил: — Этого фрукта надо запрятать подальше. Убрать его в штаб. Там я с ним побеседую лично. Узнает, кто собирается подать прошение.

Зельцер пытался возразить, но есаул, резко махнув рукой, ударил его нагайкой по спине:

— Молчи, стерва!

Кривясь от боли, Зельцер отшатнулся в угол. Губы его задрожали, он едва сдерживал прорывающиеся рыдания.

При последней сцене Корчагин встал. В кладовой из арестованных оставались только он и Зельцер.

Черняк стоял перед юношей и ощупывал его черными глазами:

— Ну, а ты чего здесь?

На свой вопрос полковник услышал быстрый ответ:

— Я от седла крыло отрезал на подметки.

— От какого седла? — не понял полковник.

— У нас стоят два казака, так я от старого седла крыло отрезал для подметок, а казаки меня сюда и привели за это.— И, охваченный безумной надеждой выбраться на свободу, добавил: — Я кабы знал, что нельзя...

Полковник пренебрежительно глядел на Корчагина.

— И чем этот комендант занимался, черт его знает, тоже арестантов насбирал! — И, оборачиваясь к двери, закричал: — Можешь идти домой и скажи отцу, чтобы он тебя вздул как полагается. Ну, вылетай!

Не веря себе, с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, схватив лежавший на полу пиджак Долинника, Корчагин кинулся к двери. Пробежал караулку и за спиной выходившего Черняка проскользнул во двор, оттуда в калитку и на улицу.

В кладовой остался одинокий, несчастный Зельцер. Он с мучительной тоской оглянулся, инстинктивно сделал несколько шагов к выходу, но в караулку вошел часовой, закрыл дверь, повесил замок и уселся на стоящий у двери табурет.

На крыльце Черняк, довольный, обратился к есаулу:

— Хорошо, что мы сюда заглянули. Смотри, сколько здесь швали набилось, а коменданта посадим недельки на две. Ну, поедем, что ли?

Во дворе выстраивал свой отряд старшой. Увидев полковника, он подбежал и отрапортовал:

— Все в порядке, пане полковник.

Черняк вложил ногу в стремя, легко вспрыгнул в седло. Есаул возился с норовистой лошадью. Подбирая поводья, Черняк сказал старшому:

— Скажи коменданту, что я выпустил всю дрянь, которую он тут напихал. Передай ему, что я посажу его на две недели за то, что он здесь развел. А того, что там сидит, перевести сейчас же в штаб. Караулу быть готовым.

— Слушаюсь, пане полковник,— откозырял старшой.

Дав лошадям шпоры, полковник с есаулом понеслись галопом к площади, где уже кончался парад.

☆

Перемахнув седьмой забор, Корчагин остановился. Бежать дальше не было сил.

Голодные дни в душной, непроветриваемой кладовой обес-

силили его. Домой нельзя, а к Брузжакам идти — узнает кто, разгромят всю семью. Куда же?

Он не знал, что делать, и бежал, оставляя позади себя огороды и задворки усадеб. Опомнился, лишь наткнувшись грудью на чью-то ограду. Глянул и обомлел: за высоким дощатым забором начинался сад главного лесничего. Вот куда принесли его усталые вконец ноги. Разве думал он добежать сюда? Нет.

Но почему же очутился именно у усадьбы лесничего?

На это ответить не мог.

Надо где-нибудь передохнуть и потом подумать, куда дальше; в саду есть деревянная беседка, там его никто не увидит.

Корчагин подпрыгнул, захватил рукой край доски, забрался на забор и свалился в сад. Оглянувшись на чуть видневшийся за деревьями дом, он пошел к беседке. Она была открыта почти со всех сторон. Летом ее обвивал дикий виноград — сейчас все было голо.

Повернулся к забору, но было поздно: за спиной он услышал бешеный лай. От дома по засыпанной листьями дорожке, оглашая сад грозным рычанием, на него мчалась огромная собака.

Павел приготовился к защите.

Первое нападение было отбито ударом ноги. Но пес готовился ко второму. Кто знает, чем окончилась бы эта схватка, если бы знакомый Павлу звонкий голос не закричал:

— Трезор, назад!

По дорожке бежала Тоня. Оттащив за ошейник Трезора, она обратилась к стоящему у забора Павлу:

— Как вы сюда попали? Вас же могла искусать собака. Хорошо, что я...

Она запнулась. Ее глаза широко раскрылись. До чего же похож на Корчагина этот неизвестно как забредший сюда юноша!

Фигура у забора шевельнулась и тихо проговорила:

— Ты... Вы меня узнаёте?

Тоня вскрикнула и порывисто шагнула к Корчагину:

— Павлуша, ты?

Трезор понял крик как сигнал к нападению и сильным прыжком бросился вперед.

— Пошел вон!

Трезор, получив несколько пинков от Тони, обиженно поджал хвост и поплелся к усадьбе.

Тоня, сжимая руки Корчагина, произнесла:

— Ты свободен?

— А ты разве знаешь?

Тоня, не справляясь со своим волнением, порывисто ответила:

— Я все знаю. Мне рассказала Лиза. Но каким образом ты здесь? Тебя освободили?

Корчагин устало ответил:

— Освободили по ошибке. Я убежал. Меня уже, наверное, ищут. Сюда попал нечаянно. Хотел отдохнуть в беседке.— И, как бы извиняясь, добавил: — Я очень устал.

Она несколько мгновений смотрела на него и, вся охваченная приливом жалости, горячей нежности, тревоги и радости, сжимала его руки:

— Павлуша, милый, милый Павка, мой родной, хороший... Я люблю тебя... Слышишь?.. Упрямый ты мой мальчишка, почему ты ушел тогда? Теперь ты пойдешь к нам, ко мне. Я тебя ни за что не отпущу. У нас спокойно, ты пробудешь сколько нужно.

Корчагин отрицательно покачал головой:

— Если меня найдут у вас, что тогда будет? Не могу я к вам.

Руки еще сильнее сжали пальцы, ресницы дрогнули, глаза заблестели.

— Если ты не пойдешь, ты больше меня никогда не увидишь. Ведь Артема нет, его забрали под конвоем на паровоз. Всех железнодорожников мобилизуют. Куда же ты пойдешь?

Корчагин понимал ее тревогу, но боязнь поставить под удар дорогую ему девушку останавливала его. Все пережитое утомило, хотелось отдохнуть, мучил голод. Он сдался.

Когда он сидел на диване в комнате Тони, в кухне между дочерью и матерью происходил разговор:

— Послушай, мама. У меня в комнате сейчас сидит Корчагин, помнишь? Мой ученик. Я от тебя ничего не буду скрывать. Он был арестован за освобождение одного матроса-большевика. Он сбежал, и у него нет пристанища.— Голос ее задрожал.— Я прошу тебя, мама, согласиться на то, чтобы он сейчас остался у нас.

Глаза дочери умоляюще посмотрели на мать.

Та испытующе смотрела в глаза Тоне:

— Хорошо, я не возражаю. А где же ты устроишь его?

Тоня зарделась и смущенно, волнуясь, ответила:

— Я устрою его у себя в комнате на диване. Папе можно будет пока не говорить.

Мать прямо посмотрела в глаза Тоне:

— Это и было причиной твоих слез?

— Да.

— Он совсем еще мальчик.

Тоня нервно теребила рукав блузки:

— Да, но если бы он не ушел, его бы расстреляли, как взрослого.

Екатерина Михайловна была встревожена присутствием в доме Корчагина. Ее беспокоили и его арест, и несомненная симпатия Тони к этому мальчику, и то, что она его совершенно не знала.

А Тоню охватил хозяйственный азарт.

— Он должен выкупаться, мама. Я сейчас это устрою. Он грязен, как настоящий кочегар. Он столько времени не умывался.

Она бегала, суетилась, растапливала ванну, приготовляла белье. И с налету, избегая объяснений, схватив Павла за руку, потащила купаться.

— Ты должен все с себя снять. Вот тут костюм. Твою одежду нужно выстирать. Наденешь вот это,— сказала она, показывая на стол, где были аккуратно сложены синяя матросская блуза с полосатым белым воротничком и брюки клеш.

Павел удивленно оглядывался. Тоня улыбалась:

— Это мой маскарадный костюм. Он тебе будет хорош. Ну, хозяйничай, я тебя оставлю. Пока ты купаешься, я приготовлю кушать.

Она захлопнула дверь. Делать было нечего. Корчагин быстро разделся и забрался в ванну.

Через час все трое — мать, дочь и Корчагин — обедали на кухне.

Изголодавшись, Павел незаметно для себя опустошил третью тарелку. Сначала он стеснялся Екатерины Михайловны, но потом, видя ее дружеское отношение, освоился.

Когда после обеда они собрались в комнате Тони, Павел по просьбе Екатерины Михайловны рассказал о своих мытарствах.

— Что же вы думаете дальше делать? — спросила Екатерина Михайловна.

Павел задумался.

— Я хочу Артема повидать, а потом удрать отсюда.

— Куда?

— На Умань пробраться думаю или в Киев. Я сам еще не знаю, но отсюда надо убраться обязательно.

Павел не верил, что все так быстро переменилось. Еще утром каталажка, а сейчас Тоня рядом, чистая одежда, а главное — свобода.

Вот как иногда поворачивается жизнь: то темь беспросветная, то снова улыбается солнце. Если бы не нависающая угроза нового ареста, он был бы сейчас счастливым парнем.

Но именно сейчас, пока он здесь, в этом большом и тихом доме, его могли накрыть.

Надо было уходить куда угодно, но не оставаться здесь.

Но ведь уходить отсюда совсем не хочется, черт возьми! Как интересно было читать о герое Гарибальди! Как он ему завидовал, а ведь жизнь у этого Гарибальди была тяжелая, его гоняли по всему свету. Вот он, Павел, всего только семь дней прожил в ужасных муках, а кажется, будто год прошел.

Герой из него, Павки, видно, получается неважный.

— О чем ты думаешь? — спросила, нагнувшись над ним, Тоня.

Ее глаза кажутся ему бездонными в своей темной синеве.

— Тоня, хочешь, я расскажу тебе о Христинке?..

— Рассказывай,— оживленно сказала Тоня.

— ...и она больше не пришла.— Последние слова он договорил с трудом.

В комнате было слышно, как размеренно стучали часы. Тоня, склонив голову, готовая разрыдаться, до боли кусала губы.

Павел посмотрел на нее.

— Я должен уйти отсюда сегодня же,— решительно сказал Павел.

— Нет, нет, ты сегодня никуда не пойдешь!

Тонкие теплые пальцы ее тихо забрались в его непокорные волосы, ласково теребили их...

— Тоня, ты мне должна помочь. Надо узнать в депо об Артеме и отнести записку Сережке. В вороньем гнезде у меня лежит револьвер. Мне идти нельзя, а Сережка должен его достать. Ты можешь это сделать?

Тоня поднялась:

— Я сейчас пойду к Сухарько. С ней в депо. Ты напиши записку, я отнесу Сереже. Где он живет? А если он захочет прийти, сказать ему, где ты?

Подумав, Павел ответил:

— Пусть сам принесет в сад вечером.

Тоня вернулась домой поздно. Павел спал крепким сном. От прикосновения ее руки он проснулся. Она радостно улыбалась:

— Артем сейчас придет. Он только что приехал. Его под ручательство отца Лизы отпустят на час. Паровоз стоит в депо. Я ему не могла сказать, что ты здесь. Сказала, что передам что-то очень важное. Да вот он.

Тоня побежала к двери. Не веря своим глазам, Артем как вкопанный остановился в дверях. Тоня закрыла за ним дверь, чтобы не услыхал в кабинете больной тифом отец.

Когда руки Артема схватили Павла в свои объятия, у Павла хрустнули кости.

— Братишка! Павка!

☆

Было решено: Павел едет завтра. Артем устроит его на паровоз к Брузжаку, который отправляется в Казатин.

Артем, обычно суровый, потерял равновесие, измучившись за брата, не зная об его участи. Он теперь был бесконечно счастлив.

— Значит, утром в пять часов ты приходишь на материальный склад. Дрова погрузят на паровоз, и ты сядешь. Хотелось бы с тобой поговорить, но пора возвращаться. Завтра провожу. Из нас формируют железнодорожный батальон. Как при немцах — под охраной ходим.

Артем попрощался и ушел. Быстро спустились сумерки. Сережа должен был прийти к ограде сада. В ожидании Корчагин ходил по темной комнате из угла в угол. Тоня с матерью были у Туманова.

С Сережей встретились в темноте и крепко сжали друг другу руки. С ним пришла Валя. Говорили тихо.

— Я револьвера не принес. У тебя во дворе полно петлюровцев. Подводы стоят, огонь разложили. На дерево полезть никак нельзя было. Вот неудача какая,— оправдывался Сережа.

— Шут с ним,— успокаивал его Павел.— Может, это и лучше. В дороге могут нащупать — голову оторвут. Но ты его забери обязательно.

Валя придвинулась к нему:

— Ты когда едешь?

— Завтра, Валя, чуть свет.

— Но как ты выбрался, расскажи!

Павел быстро, шепотом рассказал о своих мытарствах.

Прощались тепло. Сережа не шутил, волновался.

— Счастливого пути, Павел, не забывай нас,— с трудом выговорила Валя.

Ушли, сразу растаяв в темноте.

Тишина в доме. Лишь часы шагают, четко чеканя шаг. Никому из двоих не приходит в голову мысль уснуть, когда через шесть часов они должны расстаться и, быть может, больше никогда не увидят друг друга. Разве можно рассказать за этот коротенький срок те миллионы мыслей и слов, которые носит в себе каждый из них!

Юность, безгранично прекрасная юность, когда страсть еще непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец; когда рука испуганно вздрагивает и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги, и когда дружба юности бережет от последнего шага! Что может быть роднее рук любимой, обхвативших шею, и — поцелуй, жгучий, как удар тока!

За всю дружбу это второй поцелуй. Корчагина, кроме матери, никто не ласкал, но зато били много. И тем сильнее чувствовалась ласка.

В жизни забитой, жестокой не знал, что есть такая радость. А эта девушка на пути — большое счастье.

Он чувствует запах ее волос и, кажется, видит ее глаза.

— Я так люблю тебя, Тоня! Не могу я тебе этого рассказать, не умею...

Прерываются его мысли. Как послушно гибкое тело!.. Но дружба юности выше всего.

— Тоня, когда закончится заваруха, я обязательно буду монтером. Если ты от меня не откажешься, если ты действительно серьезно, а не для игрушки, тогда я буду для тебя хорошим мужем. Никогда бить не буду, душа с меня вон, если я тебя чем обижу.

И, боясь заснуть обнявшись, чтобы не увидела мать и не подумала нехорошее, разошлись.

Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забывать друг друга.

Ранним утром Екатерина Михайловна разбудила Корчагина.

Он быстро вскочил на ноги.

Когда переодевался в ванной в свое платье, натягивал сапоги, пиджак Долинника, мать разбудила Тоню.

Быстро шли в сыром утреннем тумане к станции. Подошли обходом к дровяным складам. Их нетерпеливо ожидал Артем у нагруженного дровами паровоза.

Медленно подходил мощный паровоз «щука», окутанный клубами шипящего пара.

В окно паровозной кабинки смотрел Брузжак.

Быстро попрощались. Цепко схватился за железные поручни паровозных ступенек. Полез наверх. Обернулся. На переезде стояли две знакомые фигуры: высокая — Артема и рядом с ним стройная, маленькая — Тони.

Ветер сердито теребил воротник ее блузки, трепал локоны каштановых волос. Она махала рукой.

Артем, кинув вкось взгляд на сдерживавшую рыдания Тоню, вздохнул:

«Или я совсем дурак, или у этих гайка не на месте. Ну и Павка! Вот тебе и шкет!»

Когда поезд ушел за поворот, Артем повернулся к Тоне:

— Ну что ж, будем друзьями? — И в его громадной руке спряталась крошечная рука Тони.

Издалека донесся грохот набиравшего ход поезда.

Глава седьмая

Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клекот ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы: щупали друг друга секреты. А на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись с воем и свистом, заглушая все, и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли.

На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни.

Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия. Подтягивая потуже ремень с тяжелым маузером, прислушивался к полету снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом:

— Досыпать завтра будем, товарищи. По-ды-ма-ай-сь!

Батарейцы спали тут же, у орудий. Они вскочили так же быстро, как и военком. Один только Сидорчук медлил, он нехотя подымал заспанную голову.

— Ну и гады, чуть свет — уже гавкают. Что за подлый народ!

Замостин расхохотался:

— Несознательные элементы, Сидорчук. Не считаются с тем, что тебе поспать хочется.

Батареец поднимался, недовольно ворча.

Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода примостились на настланных досках петлюровский офицер и телефонист.

Они взбирались по железным ступенькам, идущим внутри трубы.

Весь городок был как на ладони. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. Им было видно каждое движение осадивших город красных. Сегодня у большевиков большое оживление. В «цейсе» видно движение их частей. Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним виднелись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сичевики укрепились на подступах, окопались. И вскипали ураганным огнем окопы. Все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Он

К стр. 379

вырастал в сплошной рев, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атак. И, залитые свинцовым ливнем, не выдерживая нечеловеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела.

Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воздух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сичевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полные отчаянной решимости, большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей позиции — пригородных садов и огородов, петлюровцы третьего полка сичевых стрельцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно, разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы.

Никакая сила не могла удержать Сережу Брузжака в подвале, где собрались его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из проходного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, пронесся бронеавтомобиль «Сагайдачный». Вслед за ним бежали врассыпную охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор Сережи забежал один из сичевиков. Он с лихорадочной поспешностью сбросил с себя патронташ, шлем и винтовку и, перемахнув через забор, скрылся в огородах. Сережа решил выглянуть на улицу. По дороге к Юго-западному вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе. За ним другой, третий... Сережа видит их: они пригибаются и стреляют на ходу. Не скрываясь, бежит загорелый, с воспаленными глазами китаец, в нижней рубашке, перепоясанный пулеметными лентами, с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив ручной пулемет, мчится совсем еще молодой красноармеец. Это первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал что было сил:

— Да здравствуют товарищи!

От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный вид юноши остановил его.

— Куда Петлюра бежала? — задыхаясь, кричал ему китаец.

Но Сережа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схватил брошенные сичевиком патронташ и винтовку и бросился

догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на Юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами, амуницией, отбросив противника в лес, остановились, чтобы отдохнуть и переформироваться. Юный пулеметчик подошел к Сереже и удивленно спросил:

— Ты откуда, товарищ?

— Я здешний, из городка, я только и ждал, чтобы вы пришли.

Сережу обступили красноармейцы.

— Моя его знает,— радостно улыбался китаец.— Его кликала: «Длавствуй, товалиса!» Его больсевика — наса, молодой, холосая! — добавил он восхищенно, хлопая Сережу по плечу.

А сердце Сережи радостно билось. Его сразу приняли, как своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал.

Городок ожил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам, посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в рядах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Сережу. Он шел без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за плечом.

Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками.

Сережа, ее сын, вмешался в драку. О, это ему даром не пройдет! Подумать только: перед всем городом с винтовкой ходит! А потом что будет?

И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала:

— Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу, мерзавцу. Ты у меня повоюешь! — И она направилась к сыну с намерением остановить его.

Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, сурово взглянул на мать и, заливаясь краской стыда и обиды, отрезал:

— Не кричи! Никуда отсюда я не пойду.— И, не останавливаясь, прошел мимо.

Антонина Васильевна вспыхнула:

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Ну, так не смей после этого домой возвращаться!

— И не вернусь! — не оборачиваясь, крикнул в ответ Сережа.

Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов.

— Не плачь, мамаша! Сынка комиссаром выберем,— раздался чей-то крепкий насмешливый голос.

Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные голоса дружно взмахнули песню:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.

Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре — звонкий голос Сережи. Он нашел новую семью. И в ней один штык его, Сережи.

☆

На воротах усадьбы Лещинского — белый картон. На нем коротко: «Ревком».

Рядом огневой плакат. Прямо в грудь читающему направлены палец и глаза красноармейца. И подпись:

«Ты вступил в Красную Армию?»

Ночью расклеили работники подива[1] этих немых агитаторов. Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города Шепетовки:

> Товарищи! Пролетарскими войсками взят город. Восстановлена Советская власть. Призываем население к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но, чтоб они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона. Гражданская власть — революционному комитету.
>
> *Предревкома Долинник.*

В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ»!

Долинник забыл и сон и отдых.

Столяр налаживал революционную власть.

На двери маленькой комнаты дачи — лоскуток бумаги. На нем карандашом: «Партийный комитет». Здесь товарищ Игнатьева, спокойная, выдержанная. Ей и Долиннику поручил подив организацию органов Советской власти.

Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники, стучит пишущая машинка, организован продкомиссариат.

Комиссар Тыжицкий — подвижной, нервный. Тыжицкий работал на сахарном заводе помощником механика. С настойчивостью поляка начал он в первые же дни укрепления Советской власти громить аристократические верхушки фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам.

---

[1] Подив — политический отдел дивизии.

На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер трибуны, бросал он окружающим его рабочим жесткие, непримиримые слова по-польски.

— Конечно,— говорил он,— что было, того уже не будет. Достаточно наши отцы и мы сами целую жизнь пробатрачили на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это ясновельможный граф давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на работе не подохли.

Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть Советская всех их в железный кулак сожмет.

Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь.

Все пролетарии есть братья, но панов-то мы уж прижмем, будьте уверены.— Его рука описывает дугу и вновь обрушивается на барьер трибуны.— А кто нас поделил на народы, кто заставляет проливать кровь братьев? Короли и дворяне с давних веков посылали крестьян польских на турок, и всегда один народ нападал и громил другой — сколько народу уничтожено, каких только несчастий не произошло! И кому это было нужно, нам, что ли? Но вскоре все это закончится. Пришел конец этим гадам. Большевики кинули всему миру страшные для буржуев слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот в чем наше спасение, наша надежда на счастливую жизнь, чтобы рабочий рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в Коммунистическую партию!

Будет и польская республика, только советская, без Потоцких, которых мы изничтожим под корень, а в Польше советской сами хозяевами станем. Кто из вас не знает Бронника Пташинского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода. «Кто был ничем, тот станет всем». Будет и у нас праздник, товарищи, не слушайте только этих скрытых змей! И если наше рабочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во всем мире!

Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего простого, рабочего сердца.

Когда он сошел с трибуны, молодежь проводила его сочувственными возгласами. Только старшие боялись высказаться. Кто знает? Может быть, завтра большевики отступят, и тогда придется расплатиться за каждое свое слово. Если не попадешь на виселицу, то уж с завода прогонят наверняка.

Комиссар просвещения — худенький стройный учитель

Чернопысский. Это пока единственный человек среди местного учительства, преданный большевикам. Напротив ревкома разместилась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в ревкоме. Вечером в саду, перед входом, стоит настороженный «максим» со змеей-лентой, уползающей в приемник. Рядом двое с винтовками.

В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает:

— Сколько вам лет, товарищ?

— Пошел семнадцатый.

— Вы здешний?

Красноармеец улыбается:

— Да, я только позавчера во время боя в армию вступил.

Игнатьева всматривается в него:

— Кто ваш отец?

— Помощник машиниста.

В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к нему, говорит:

— Вот я и заправилу в райком комсомола подыскала, он местный.

Долинник окинул быстрым взглядом Сергея:

— Чей?.. А, Захара сын! Что ж, валяй, накручивай ребят.

Сережа удивленно взглянул на них:

— А как же с ротой?

Уже взбегая на ступеньки, Долинник бросил:

— Это мы уладим.

К вечеру второго дня был создан комитет Коммунистического союза молодежи Украины.

Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего. Закрутила в своем водовороте. Сережа забыл семью, хоть она и была где-то совсем близко.

Он, Сережа Брузжак,— большевик. И в десятый раз вытаскивал из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета КП(б)У было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то поверх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре, висел внушительный «манлихер», подарок дорогого Павки. Это убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки!

Сережа целыми днями бегал по поручениям ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию, в подив, где для ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот ревкома с автомашиной.

До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и

политотдел Первой советской украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов Сережи.

— Что ты сделал по своей отрасли? Создал организацию? Ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг; в общем, я тебя познакомлю в подиве с Устинович. Она, кажется, ведет работу среди вашего брата.

Устинович оказалась восемнадцатилетней дивчиной с темными стриженными волосами, в новенькой гимнастерке цвета хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал от нее очень много нового и получил обещание помогать в работе. На прощанье она нагрузила его тюком литературы и, особо, маленькой книжечкой — программой и уставом комсомола.

Поздно вечером возвратились в ревком. В саду ожидала Валя. С упреками она набросилась на Сергея:

— Как тебе не стыдно! Ты что, совсем от дома отрекся? Мать из-за тебя каждый день плачет, отец сердится. Скандал будет.

— Ничего, Валя, не будет. Домой мне идти некогда. Честное слово, некогда. И сегодня не приду. А вот с тобой поговорить нужно. Идем ко мне.

Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его словно кто зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Сережа начал сразу, без обиняков:

— Дело такое. Вступай в комсомол. Непонятно? Коммунистический союз молодежи. Я в этом деле за председателя. Не веришь? На вот, почитай!

Валя прочла и смущенно смотрела на брата:

— Что я буду делать в комсомоле?

Сережа развел руками:

— Что? Делать нечего? Милая! Так я же ночами не сплю. Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит: соберем всех в театре и про Советскую власть рассказывать будем, а мне, говорит, речь надо произнести. Я думаю, зря, потому что я, понятно, не знаю, как ее говорить. И завалюсь я, что называется. Ну вот, так и говори: как насчет комсомола?

— Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится.

— Ты на мать не смотри, Валя,— возразил Сережа.— Она не разбирается в этом. Она только смотрит, чтобы ее дети при ней были. Она против Советской власти ничего не имеет. Наоборот, сочувствует. Но чтоб воевали на фронте другие, не ее сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как

нам Жухрай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. А теперь нам право вышло жить на свете как полагается. Что ж, Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы! Ты среди дивчат, а я среди ребят взялся бы. Рыжего чертяку Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по этому делу.— Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от брата, тихо спросила:

— А что будет, если опять придут петлюровцы?

Сережа впервые задумался над этим вопросом.

— Я-то, конечно, уйду со всеми. Но вот с тобой как быть? Мать действительно несчастная будет.— Он замолчал.

— Ты меня запишешь, Сережа, так, чтобы мать не знала и никто не знал, только я да ты. Я помогать буду во всем, так лучше будет.

— Верно, Валя.

В комнату вошла Игнатьева.

— Это моя сестренка, товарищ Игнатьева, Валя. Я с ней разговор имел насчет идеи. Она вполне подходящая, но вот, понимаете, мать у нас серьезная. Можно так ее принять, чтобы об этом никто не знал? Ежели нам, скажем, отступать придется, так я, конечно, за винтовку — и пошел, а ей вот мать жалко.

Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его.

— Хорошо. Так будет лучше.

☆

Театр битком набит говорливой молодежью, созванной сюда развешанными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся — гимназисток, гимназистов, учеников высшего начального училища.

Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько спектаклем.

Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился только что приехавший из уезда секретарь укома[1] товарищ Разин.

Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. Он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна, и призывал молодежь объединиться вокруг Коммунистической партии. Он говорил, как настоящий оратор, в его речи было слишком много таких слов, как «ортодоксальные марксисты», «социал-шовинизм» и так далее, которых слушатели, конечно, не поняли.

---

[1] У к о м — уездный комитет партии.

Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Сереже и уехал.

Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. «Что говорить, о чем?» — мучился он, подыскивая слова и не находя их.

Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола:

— Говори об организации ячейки.

Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям:

— Вы уже все слышали, товарищи, теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это?

В зале настала тишина.

Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущенный, стоял в стороне.

Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невнимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов, с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками, переговаривались между собой. В углу, у входа на сцену, находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью смотрел на щегольски одетых Лизу Сухарько и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами.

Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Игнатьевой утихомирила слушателей.

— Товарищи молодежь,— говорила она,— каждый из вас может продумать все то, что он слышал здесь, и я уверена, что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в революцию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы высказались сами. Приглашаем желающих это сделать.

В зале снова водворилась тишина. Но вот с задних рядов раздался голос:

— Я хочу сказать!

И к сцене пробрался похожий на медвежонка, с чуть косыми глазами Миша Левчуков.

— Ежели такое дело, надо большевикам подсоблять, я не отказываюсь. Сережка меня знает. Я записываюсь в комсомол.

Сережа радостно улыбнулся.

— Вот видите, товарищи! — рванулся он сразу на середину сцены.— Я же говорил, вот Мишка — свой парень, потому что

у него отец — стрелочник, задавило его вагоном, от этого Мишка образования не получил. Но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил.

В зале послышался шум и выкрики. Слова попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал:

— Я извиняюсь, товарищи. Я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой? А учиться когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это. Извините. Я думаю, на это никто не согласится.

В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул:

— Смеетесь, гады?

Глаза его — как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил:

— Моя фамилия — Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери, беспризорный я был; нищим валялся под заборами. Голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть Советская, меня красноармейцы подобрали. Усыновили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное — понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет: за нас, за бедняков, за рабочую власть. Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом двести товарищей легло, навсегда погибло...— Голос Жаркого зазвенел, как натянутая струна.— Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело... По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи,— обернулся он вдруг к столу президиума,— вот к этим,— показал он пальцем на зал,— а разве они поймут? Нет! Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас,— яростно накинулся он на собрание,— просить не будем, на черта сдались нам такие! Таких только пулеметом прошить! — задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу.

Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал:

— Вот какая буза получилась! Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет...

— Нечего удивляться,— прервала его Игнатьева,— пролетарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватели. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи.

Устинович поддержала Игнатьеву:

— Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы проведем целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на станции открывает летний театр. На днях прибудет агитпоезд, и работу развернем вовсю. Помните, Ленин говорил: мы не победим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся.

Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. На прощанье крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась.

Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим.

Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери. Но когда выступил отец, Сережа сам перешел к активным действиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик:

— Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на паровозе часового убили, ты о семье думал? Думал. А все-таки пошел, потому что тебя твоя совесть рабочая заставила. А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато если мы победим, то наш верх будет. А дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет на меня кричать.— Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте.

Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы.

— На сознание нажимаешь, шельмец? Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею?

Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку:

— Двигай, Сережка, раз уже на подъеме, тормозить не стану, только ты от нас не отсовывайся, приходи.

☆

Ночь. Полоска света от приоткрытой двери лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими, обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом — пятеро. Заседание ревкома. Долинник, Игнатьева, предчека Тимошенко, похожий на киргиза, в кубанке, и двое из ревкома — верзила-железнодорожник Шудик и Остапчук, с приплюснутым носом, деповский.

Долинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатьеву упрямым взглядом, охрипшим голосом выдалбливал слово за словом:

— Фронту нужно снабжение. Рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торгаши и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются. Торгуют или на старые, николаевские, или на керенки. Сегодня же выработаем твердые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твердой цене продавать не станет. Попрячут. Тогда мы произведем обыски и реквизируем у шкуродеров все товары. Тут разводить кисель нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем. Товарищ Игнатьева предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это, я скажу, у нее интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя: я говорю то, что есть. Притом дело не в мелких торгашах. Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал еще до петлюровцев крупные магазинщики сложили громадные запасы товара.— Он выразительно, с ядовитой насмешкой посмотрел на Тимошенко.

— Откуда ты узнал? — спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долинник все сведения получил раньше его, в то время как об этом прежде всего должен был знать он, Тимошенко.

— Ге-ге! — смеялся Долинник.— Я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю,— продолжал он,— я и про то знаю, что ты вчера полбутылки самогона с шофером начдива выдул.

Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец.

— Ну и хвороба! — выдавил он восхищенно. Но, бросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. «Вот чертов столяр! У него своя Чека»,— думал Тимошенко, смотря на предревкома.

— Узнал я от Сергея Брузжака,— продолжал Долинник.— У него приятель есть, что ли, в буфете работал. Так он от поваров узнал, что их Зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Сережа добыл точные

сведения: погреб есть, только надо его найти. Вот ты, Тимошенко, бери ребят, Сережу. Сегодня же чтоб все было найдено! В случае удачи мы снабдим рабочих и опродкомдив[1].

Через полчаса восемь вооруженных вошли в дом трактирщика, двое остались на улице, у входа.

Хозяин, приземистый, толстый, как десятиведерная бочка, заросший рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил:

— В чем дело, товарищи? Почему так поздно?

За спиной Зона, накинув халаты, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери. А в соседней комнате, охая, одевалась дородная супруга.

Тимошенко объяснил в двух словах:

— Произведем обыск.

Каждый квадрат пола был исследован. Обширный сарай, заваленный пиленными дровами, кладовые, кухни и вместительный погреб — все подвергалось тщательному обследованию. Однако никаких следов потайного погреба не обнаружили.

В маленькой комнатушке, у кухни, крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Сережа осторожно разбудил ее.

— Ты что, здесь служишь? — спросил он заспанную девушку.

Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивленно ответила:

— Служу. А вы кто такие?

Сережа объяснил и ушел, предложив ей одеться.

В просторной столовой Тимошенко расспрашивал хозяина. Трактирщик пыхтел, говорил возбужденно, брызгаясь слюной:

— Что вы хотите? У меня другого погреба нет. Вы напрасно время тратите. Уверяю вас, напрасно. У меня был трактир, но теперь я бедняк. Петлюровцы меня ограбили, чуть не убили. Я очень рад Советской власти, но что у меня есть, то вы видите.— И он растопыривал свои короткие, толстые руки. А глаза с кровяными прожилками перебегали с лица предчека на Сережу, с Сережи куда-то в угол и на потолок.

Тимошенко нервно кусал губы:

— Значит, вы продолжаете скрывать? Последний раз предлагаю указать, где находится погреб.

— Ах, что вы, товарищ военный,— вмешалась супруга трактирщика,— мы сами прямо голодаем! У нас всё забрали.— Она хотела было заплакать, но у нее ничего не получилось.

— Голодаете, а прислугу держите,— вставил Сережа.

---

[1] Опродкомдив — особая продовольственная комиссия дивизии.

— Ах, какая там прислуга! Просто бедная девушка у нас живет. Ей некуда деваться. Да пусть вам сама Христинка скажет.

— Ладно,— крикнул, теряя терпение, Тимошенко,— приступаем к делу!

На дворе уже был день, а в доме трактирщика все еще шел упорный обыск. Озлобленный неудачей тринадцатичасовых поисков, Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги уже собиравшийся уходить Сережа вдруг услышал тихий шепот девушки:

— Наверное, в кухне, в печи.

Через десять минут развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя двухтонный грузовик, нагруженный бочками и мешками, отъезжал от дома трактирщика, окруженного толпой зевак.

☆

Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паек.

Однажды под вечер быстрее обычного протопал под окном Артем. И, толкая дверь, с порога бросил:

— От Павки известия.

Дорогой браток Артем,— писал Павка.— Извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнуло меня пулей в бедро, но я поправляюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверно, за свое геройство. Таких людей я еще не видал и большое уважение к комбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощения прошу за беспокойство. Твой брат.

Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо.

Много слез было пролито Марией Яковлевной. А сын непутевый даже адреса не написал, где лежит.

☆

Частенько Сережа наведывался на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью «Агитпроп подива». Здесь в маленьком купе работают Устинович и Медведева. Последняя,

с неизменной папироской в зубах, лукаво посмеивается уголками губ.

Незаметно сблизился с Устинович секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собой с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи.

Открытый театр подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленатый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью: работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович.

Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники подива, Сережа неожиданно для себя спросил:

— Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? — И добавил: — С тобой так хорошо! После встречи бодрости больше и работать хочется без конца.

Устинович остановилась:

— Вот что, товарищ Брузжак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю.

Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор.

— Я тебе, как другу, сказал,— ответил он,— а ты меня... Что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не буду!

И, быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город.

Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно он был очень занят.

☆

Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно высшие служащие сахарного завода, поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы союза пилсудчиков[1] «Стрелец».

На совещание в ревком приехала Устинович. Отведя Сережу в сторону, она спокойно спросила:

— Ты что, в мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Это, товарищ, никуда не годится.

И опять при случае стал забегать Сережа в зеленый вагон.

Был на уездной конференции. Два дня вел жаркие споры. На третий — вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки

---

[1] Пилсудчики — последователи Пилсудского, главы Польского буржуазного государства (1918—1922).

гонял в заречных лесах банду Зарудного, недобитого петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьевой Устинович. Провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку.

Устинович сердито руку отдернула. И опять долгое время в агитпроповский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой даже тогда, когда надо было. А на ее настойчивое требование объяснить свое поведение с размаху отрубил:

— Что мне с тобой говорить? Опять пришьешь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу.

☆

На станцию прибыли эшелоны Кавказской краснознаменной дивизии. В ревком приехали трое смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на Долинника:

— Ты мне ничего не говори. Давай сто подвод сена. Лошадь дохнет.

Сережа был послан с двумя красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сереже попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город комбедовцы. В село был послан отряд. Сена достали на другой день.

Сережа отлеживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый раз в этот вечер он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился.

☆

В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище. Уходя, бросил:

— Пойду в лес, искупаюсь в озере.

Устинович, отрываясь от работы, задержала:

— Подожди. Пойдем вместе.

У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды.

— Ты иди к выходу на дорогу и подожди. Я буду купаться,— командовала Устинович.

Сережа присел на камне у мостика и подставил лицо солнцу. За его спиной плескалась вода.

Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах, он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал.

Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него — видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню:

— На минуточку, товарищ. Я имею письмо, которое отчасти относится и к вам.

Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила:

— Вы больше ничего не знаете о нем?

— Нет,— ответил Сергей.

Сзади под ногами Устинович хрустнула галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал:

— Пойдемте.

Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его:

— Товарищ Чужанин! Вас там в поезде целый день ищут.

Чужанин недружелюбно покосился на нее:

— Ничего. Обойдутся и без меня.

Смотря вслед Тоне и военкому, Устинович сказала:

— Когда только прогонят этого прощелыгу!

Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережку потянуло искупаться.

После купанья он нашел Устинович недалеко от просеки на сваленном дубе.

Пошли, разговаривая, в глубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо. О чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые, заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайно взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся.

— Чего ты?

Сережа показал сапог:

— Как мы в таких сапогах воевать будем?

Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом.

— Чужанин — плохой коммунист,— сказала она наконец.— У нас все политработники в тряпье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии. А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои.— И, помолчав, добавила: — Нам, Сергей, придется действовать и словом и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава ком-

сомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся.

Сережа слушал ее, с удивлением улавливая в ее голосе какие-то необычные ноты. Ее черные, отсвечивающие влагой глаза были устремлены на него.

Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у нее как зеркало, в них все видно, но вовремя удержался.

Рита приподнялась на локте:

— Где твой револьвер?

Сергей огорченно пощупал пустой пояс:

— На селе кулацкая шайка отобрала.

Рита засунула руку в карман гимнастерки и вынула блестящий браунинг.

— Видишь тот дуб, Сергей? — указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол, шагах в двадцати пяти от них.

И, вскинув руку на уровень глаз, почти не целясь, выстрелила. Посыпалась отбитая кора.

— Видишь? — удовлетворенно проговорила она и снова выстрелила.

Опять зашуршала о траву кора.

— На,— передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо,— посмотрим, как ты стреляешь.

Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась:

— Я думала, у тебя будет хуже.

Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки вырисовывалась ее упругая грудь.

— Сергей, иди сюда,— проговорила она тихо.

Он придвинулся к ней.

— Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые — это что-то чересчур нежное.

И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы.

☆

Прошло два месяца. Наступала осень.

Ночь подобралась незаметно, окутав в черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь «морзе», подхватывал ленту, узенькой змейкой выползавшую из-под пальцев.

Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире:

Начштадиву 1-й, копия предревкома города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через десять часов после

получения настоящей телеграммы. Городе оставить батальон, которому влиться распоряжение командира Н-ского полка, командующего боевым участком. Штадиву, подиву, всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести начдиву.

Подпись.

Через десять минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом ацетиленового фонаря, мотоциклет. Пыхтя, остановился у ворот ревкома. Мотоциклист передал телеграмму предревкома Долиннику. И забегали люди. Выстраивалась особая рота. Час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны.

Сережа, послушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом.

— Товарищ, можно с вами на станцию? — спросил он шофера.

— Садись сзади, только держись крепче.

Шагах в десяти от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал:

— Прощай, Рита, товарищ мой дорогой! Мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня.

Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли жал ее руки.

☆

Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда, и за станцию по обе стороны пути залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе.

Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал свернутые листочки и тихонько катил по дороге.

Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками, с десятком красноармейцев занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков.

Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, еще не одетый, выглянул в раскрытую дверь:

— Что случилось?

Указывая на идущих с винтовками наперевес красноармейцев, Автоном Петрович подмигнул приятелю:

— Уходят.

Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него:

— Вы не знаете, у поляков какие знаки?

— Кажется, орел одноглавый.

— Где же достать?

Автоном Петрович озлобленно почесал затылок.

— Им ничего,— сказал он после некоторого раздумья,— взяли и ушли. А ты здесь голову ломай, как к новой власти прилаживаться.

Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз, и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудие. Завывая, со стоном высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, молча отходили нахмуренные красноармейские цепи.

У Сережи легким холодком катилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел.

Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его — на курке винтовки. Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли:

— Преследовать наших будут, особенно моих. «Поляк,— скажут,— а против польских легионов пошел». Выгонят старика с лесопилки и всыпят ему плетей. Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее! — И Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем.

Прощай, родной городишко, неказистый, грязный, с некрасивыми домиками, корявым шоссе! Прощайте, близкие, прощай, Валя, прощайте, товарищи, ушедшие в подполье! Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белополяцкие легионы.

Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазутом рубашках.

— Мы еще придем, товарищи! — взволнованно крикнул Сережа.

Глава восьмая

Смутно поблескивает река в предрассветной дымке; журчит по прибрежным камешкам-голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется неподвижной, а цвет ее серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная, видно глазу: движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное «Чуден Днепр...». Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем дви-

жении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега.

У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у тупоносого «максимки». Это передовой «секрет» 7-й стрелковой дивизии. У пулемета, лицом к реке, прилег на боку Сережа Брузжак.

Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились.

Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. 7-я дивизия героически пробивалась сквозь окружения, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев.

Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны.

Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы.

Но продвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками.

Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне.

Вчера, в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой; вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг — и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону.

Поляк упал.

Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что будет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут.

За плечо трогает Парамонов:

— Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят.

☆

Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой, с отрубленным ухом лошадке. Возмужал, окреп. Вырастал в страданиях и невзгодах.

Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки.

Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана.

Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном феврале двадцатого заметался в липком, жарком тифу.

Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть.

Сейчас полк занимал позицию у станции Фронтовки, на ветке, отходящей от Казатина на Умань.

Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела Фронтовка за это время!

Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар.

С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й Конной армии. Четвертая, Шестая, Одиннадцатая и Четырнадцатая кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды. Шестнадцать с половиной тысяч сабель, шестнадцать с половиной тысяч опаленных степным зноем бойцов.

Все внимание высшего красного командования и командования Юго-Западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб республики и фронтов.

На уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта — Харькову, отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали «морзянки» шифрованные приказы: «Не дать привлечь внимание поляков к группировке Конной армии». Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии буденновской конницы.

Шевелится рыжими лохмами костер. Бурыми кольцами, спирально вверх уходит дым. Не любит дыма мошкара, носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица.

У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки.

В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув:

— Тьфу, черт!

Вокруг засмеялись.

Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке, с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дуло винтовки, пробасил:

— Вот парень в науку ударился — и огня не чует.

— Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал.

Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался.

— Действительно, книжка — что называется, товарищ Андрощук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу.

Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил:

— А про кого там пишут? — И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: — Очень интересуюсь, ежели про любовь.

Кругом загоготали, Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щуря плутоватый глаз, обратился к юноше:

— Что ж, любовь — вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка! От тебя, куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дехвект у тебя, нос — пятачком. Да это исправить можно. На край носа десятифунтовку Новицкого[1] подвесить, за ночь оттянет книзу.

---

[1] Ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов, для разрыва проволочных заграждений.

От хохота испуганно всхрапнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади.

Середа лениво повернулся.

— Не в красоте дело, а в котелке,— выразительно стукнул он себя по лбу.— Вот язык у тебя крапивяной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные.

Готовых сцепиться товарищей разнял отделенный Татаринов:

— Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что сто́ящее.

— Сыпь, Павлушка, сыпь! — раздалось со всех сторон.

Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку.

— Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать.

— Жарь! Чего там! Никто мешать не будет.

Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел одиннадцать пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца. Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу:

— Вот половина разведки полка. У меня там четверо, зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вон тот, другой — видишь? — глаза, как у волчонка,— это Корчагин и Жаркий. Они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано — «молодая гвардия».

— Это политрук разведки читает? — спросил комиссар.

— Нет. Политрук Крамер.

Пузыревский двинул лошадь вперед.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул он громко.

Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим.

— Греемся, друзья? — спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими, узенькими глазами потеряло суровость.

Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше.

Пузыревский, откинув назад кобуру с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил:

— Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся.

Закурив папироску, он обратился к комиссару:

— Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать.

Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил:

— Читай дальше, я тоже послушаю.

Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя.

Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овода.

Пузыревский, дымя цигаркой, ожидал обмена мнений.

— Тяжелая история,— прервал молчание Середа.— Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается.

Он говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление.

Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул:

— Попался бы мне ксендз, что ему крестом в зубы залезал, я бы его, проклятого, сразу прикончил!

Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес:

— Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.

Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал:

— А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе, глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под седлами.

Ну, мы, понятное дело, думаем: застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворик кинулись. Вперед с маузерищем прет командир роты ихней, латышской.

До дому дорвались, дверь открыта. Мы — туда. Думали — поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они

раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, кто попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернется, так я пожалел за свои слова. Глаза у него как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберешь: «Кровью знамя крашено, а эти — позор всей армии. Бандит смертью платит».

Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.

Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.

— Замотается меж нас такая дрянь. Недосмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду,— закончил он, принимаясь за чай.

Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувший Середа. Спал, положив голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер.

На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай:

— Слушай, политрук, как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте.

Крамер посмотрел на него с удивлением:

— Как это перемахнуть? Что тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела!

— Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера.— Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл.

Крамер категорически запротестовал:

— А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии, это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит — точка.

Высокий, тонкий Крамер, с желтоватым лицом, закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких, часто горел на щеках его нездоровый румянец.

Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо:

— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт.

На другой день вечером Павла у костра уже не было.

☆

В соседней деревушке, на бугорке, у школы, в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденновец. И она у него рявкала, сбиваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гопака разудалый кавалерист в необъятных красных галифе.

На тачанку и соседние плетни влезли любопытные дивчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров из только что вступившей в их село кавалерийской бригады.

— Жми, Топтало! Дави землю. Эх, жарь, братишка! Гармонист, давай огня!

Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго подвигались по клавишам.

— Срубал Махно Кулябку Афанасия,— с сожалением сказал загорелый кавалерист,— гармонист первой статьи был. Правофланговым в эскадроне шел. Жаль парня. Хороший был боец, а гармонист лучший.

В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руку на мехи. Гармонь смолкла.

— Что тебе? — скосил глаз гармонист.

Топтало остановился. Кругом раздались недовольные голоса:

— Чего там? Что застопорил?

Павел протянул к ремню руку:

— Дай, наверну маленько.

Буденновец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень.

Павел привычным жестом вскинул гармонь на колено. Веером вывернул волнистые мехи и рванул с переборами, с перехватами во весь гармоний дух:

Эх, яблочко,
Куда котишься?
В Губчека попадешь —
Не воротишься.

На лету подхватил знакомый мотив Топтало. И, взмахнув руками, словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухарски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью по подошве и, наконец, по раскрытому рту.

А гармонь подхлестывала, подгоняла в буйном, хмельном ритме, и Топтало завертелся, словно волчок по кругу, выкидывая ноги, задыхаясь:

— Их, ах, их, ах!

☆

Пятого июня 1920 года после нескольких коротких ожесточенных схваток 1-я Конная армия Буденного прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого, и двинулась по направлению Ружин.

Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. Пять бронированных гусениц-танков, только что снятых с платформы станции Погребище, спешили к месту схватки.

Но Конная армия обошла Зарудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий.

По пятам 1-й Конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл 1-й Конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков — Казатин. Но это не облегчило положения белополяков. Хотя на другой день они и зашили дыру, пробитую на фронте, и за Конной армией сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков путей отступления.

Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии — на самом деле там был даже штаб фронта,— командарм Конной решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры — Житомир и Бердичев. Седьмого июня на рассвете на Житомир уже мчалась Четвертая кавалерийская дивизия.

В одном из эскадронов на месте погибшего Кулябко правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в эскадрон по коллективной просьбе бойцов, не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста.

Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель.

Застонала земля, задышали кони, привстали на стременах бойцы.

Быстро-быстро бежала под ногами земля. И большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, «даешь!» потрясло воздух.

Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен.

Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом на вороном тонконогом коне — Топтало.

На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденновец не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера.

Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг — на перекрестке — пулемет, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый, с золотым жгутом-змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с маузером.

Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина... Мимо... Воробьем чиркнула пуля у щеки, и, отброшенный грудью лошади, поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь.

В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша, пулемет. И упал Топтало вместе с вороным, ужаленный десятком шмелей.

Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенес седока через упавших прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки.

Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову. Но горячий конь отпрянул в сторону.

Словно бешеная горная река, вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе.

☆

Длинные, узкие коридоры тюрьмы огласились криками.

В камерах, до отказа наполненных людьми с измученными, изможденными лицами, волнение. В городе бой — разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои?

Выстрелы уже во дворе. По коридорам бегут люди. И вдруг родное, непередаваемо родное: «Товарищи, выходи!»

Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз. Яростно ударил по замку прикладом. Еще и еще!

— Подожди, я в него бонбой,— остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату.

Взводный Цыгарченко вырвал гранату:

— Стоп, психа, что ты, очумел? Сейчас ключи принесут. Где нельзя взломать, ключами откроем.

По коридору уже вели сторожей, подталкивая их наганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми.

Распахнув широкую дверь, Павел вбежал в камеру:

— Товарищи, вы свободны! Мы — буденновцы, наша дивизия взяла город.

Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала.

Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение пяти тысяч семидесяти одного большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и двух тысяч политработников Красной Армии. Для семи тысяч революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня.

Один из заключенных, с желтым, как лимонная корка, лицом, радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки.

☆

Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла.

— Забрали нас ночью всех сразу, выдал негодяй-провокатор. Очутились все мы в лапах военной жандармерии. Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других: после первых же ударов свалился замертво на пол, но другие покрепче были.

Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг.

Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель! Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих: Валю Брузжак, Розу Грицман из уездного города, совсем девочка, семнадцати лет, хорошая дивчина, глаза у нее доверчивые такие были, потом Сашу Буншафта, знаешь, наш же наборщик, веселый такой парнишка, он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он, потом двое гимназистов — Новосельский и Тужиц. Ну, ты этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано двадцать девять человек, среди них шесть женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались, гады, как кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка.

В ее сумасшествие не верили, считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие, безумные — старуха.

Валя Брузжак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов... Брузжак была замешана в самом опасном: это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба, и ее посылали в уезд для связи, и у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб.

Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но раз ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил: Валю и двух других — к повешению, остальных товарищей — к расстрелу.

Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили на два дня раньше нас.

Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурко, который до войны работал электромонтером в Лодзи, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через двадцать четыре часа после приговора.

Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинение в измене родине. «Мое отечество,— сказал он,— это Польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши, солдатом меня сделали насильно. И я открывал глаза

таким же, как я, солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет — я в этом глубоко уверен,— никто меня изменником не назовет».

После приговора нас всех уже держали вместе. А перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы; у самого леса, немного поодаль, у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела; там и общий ров вырыли для нас.

В городе приговор был вывешен, всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе, днем, чтобы всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства,— хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же, у тюрьмы, поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили, конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли тут же, у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов, из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил отбиваясь, настойчиво требовал от сестер: «Не надо слез, товарищи! Плачьте здесь, чтобы не плакать там. Нечего собак кровавых радовать. Все равно нам пощады не будет, все равно погибать приходится, так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползает на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо».

И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки, садист, бешеная собака. Он если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. И стояли эти «канарики», как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо.

Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы, по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей, а потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая.

На ней три петли из толстой крученой веревки, подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется. Все глаза на нас устремлены. Узнаем своих.

На крыльце, поодаль, собралась польская шляхта с биноклями, офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут.

Снег под ногами мягкий, лес от него седой, деревья словно ватой обсыпаны, снежинки кружатся, опускаются медленно, на лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует, а Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках.

У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы наконец Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руки. Валя в середине, сил у нее идти не было, товарищи поддерживали, а она прямо идти старается, помня Степанова слова: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке.

Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу нагайкой конный жандарм.

Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумном, рвалась сквозь цепь к идущим, но ее схватили, уволокли куда-то. Наверно, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса — с такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела «Варшавянку»; ее товарищи тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; их били с тупым бешенством. Но они как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы:

Вставай, проклятьем заклейменный...

К нам кинулись со всех сторон; я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задергались в петлях...

Нам, десяти, уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью — двадцатилетней каторгой. Остальных шестнадцать расстреляли.

Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил.

— Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали: «На четвертый день оборвался товарищ Тобольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же».

Но виселица стояла все время. И, когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв.

Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен.

В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела, безмолвно покачивающихся со страшными, запрокинутыми набок головами.

На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал:

— Пойдем отсюда, Самуил!

По улице, оцепленные кавалерией, шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ.

— Возьмите, товарищ Антипов,— передал он записку коренастому комэскадрона.— Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новоград-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направлению. Отвезите верст за двадцать от города — и пусть катятся. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было.

Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу:

— Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей! Где взять силы?

Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя:

— За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые!

И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком:

«Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна».

— Ни одного пятна,— шепчут губы Павла.

☆

В то время, когда Четвертая кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Окуниново форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова.

Группе, состоявшей из Двадцать пятой стрелковой дивизии и Башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев — Коростень у станции Ирша. Этим маневром отрезался

единственный путь отступления полякам из Киева. Здесь при переправе погиб член шепетовской комсомольской организации Миша Левчуков.

Когда бежали по шаткому понтону, оттуда, из-за горы, злобно шипя, пролетел над головами снаряд и рванул воду в клочья. И в тот же миг юркнул под лодку понтона Миша. Глотнула его вода, назад не отдала, только белобрысый, в фуражке с оторванным козырьком красноармеец Якименко удивленно вскрикнул:

— Чи ты не сгоришь? То те ж Мишка пид воду пишов, пропав хлопец, як корова злызнула!

Он было остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади на него набежали, затолкали:

— Чего рот разинул, дурень? Пошел вперед!

Некогда было раздумывать о товарище. Бригада и так отстала от других, уже занявших правый берег.

И о гибели Миши Сережа узнал спустя четыре дня, когда бригада с боем захватила станцию Буча и, поворачиваясь фронтом к Киеву, выдерживала ожесточенные атаки поляков, пытавшихся прорваться на Коростень.

В цепи рядом с Сережей залег Якименко. Прекратив бешеную стрельбу, с трудом открыл затвор раскаленной винтовки и, пригибая голову к земле, повернулся к Сереже:

— Винтовка передышки требует, як огонь!

Сергей едва расслышал его за грохотом выстрелов. Когда немного утихло, Якименко как-то вскользь сообщил:

— А твой товарищ утонул в Днепре. Я и недосмотрел, як вин нырнув в воду,— закончил он свою речь и, потрогав рукой затвор, вынув из подсумка обойму, стал деловито заправлять ее в магазинную коробку.

☆

Одиннадцатая дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточенное сопротивление поляков.

На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу коннице, строчили пулеметы. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снарядов — огневой базы польского фронта. В городе стекла сыпались мелким щебнем, и дома, как картонные, дрожали от взрывов.

Удар по Житомиру и Бердичеву был для поляков ударом с тыла, и они двумя потоками поспешно отхлынули от Киева, отчаянно пробивая себе дорогу из железного кольца.

Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада.

А события мчались с ураганной быстротой. Каждый день приносил новое.

Конная лавина буденновцев, не переставая, наносила удар за ударом, исковеркав и изломав весь польский тыл. Напоенные хмелем побед, со страстной яростью кидались кавалерийские дивизии в атаки на Новоград-Волынский — сердце польского тыла.

Откатываясь назад, как волна от крутого берега, отходили и снова бросались вперед со страшным: «Даешь!»

Ничто не помогло полякам: ни сети проволочных заграждений, ни отчаянное сопротивление гарнизона, засевшего в городе. Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, буденновцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению местечка Корец. В это же время Сорок пятая дивизия перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любар.

Радиостанция 1-й Конной принимала приказ командующего фронтом направить всю конницу на захват Ровно. Непреодолимое наступление красных дивизий гнало поляков разрозненными, деморализованными, ищущими спасенья группами.

Однажды, посланный комбригом на станцию, где стоял бронепоезд, Павел встретился с тем, с кем встретиться никак не ожидал. Конь с разбегу взял насыпь. Павел натянул поводья у переднего вагона, закрашенного серым цветом. Грозный своей неприступностью, с черными жерлами орудий, запрятанных в башни, стоял бронепоезд. Возле него возилось несколько замасленных фигур, приподымая тяжелую стальную завесу у колес.

— Где можно найти командира бронепоезда? — спросил Павел красноармейца в кожанке, несущего ведро с водой.

— Вот там,— махнул тот рукой к паровозу.

Останавливаясь у паровоза, Корчагин спросил:

— Кто командир?

Затянутый в кожу с головы до ног человек с рябинкой оспы на лице повернулся к нему:

— Я!

Павел вытащил из кармана пакет:

— Вот приказ комбрига. Распишитесь на конверте.

Командир, прилаживая на колене конверт, расписывался. У среднего паровозного колеса возилась с масленкой чья-

то фигура. Павел видел лишь широкую спину, из кармана кожаных брюк торчала рукоятка нагана.

— Вот, получи расписку,— протянул Павлу конверт человек в кожаном.

Павел подбирал поводья, готовясь к отъезду. Человек у паровоза выпрямился во весь рост и обернулся. В ту же минуту Павел соскочил с лошади, словно его ветром сдуло:

— Артем, братишка!

Весь измазанный в мазуте машинист быстро поставил масленку и схватил в медвежьи объятия молодого красноармейца.

— Павка! Мерзавец! Ведь это же ты! — крикнул он, не веря своим глазам.

Командир бронепоезда с удивлением смотрел на эту сцену. Красноармейцы-артиллеристы рассмеялись:

— Видишь, братки встретились.

☆

Девятнадцатого августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже срезались эскадроны с польскими цепями... Меж кустов лощинника. летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича:

— Начдива убили!

Павел вздрогнул. Погиб Летунов, героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла.

Полоснув тупым концом сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в самую гущу схватки.

— Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили! — И сослепу, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире.

Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров.

Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея; рвала воздух, брызгая смертью, шрапнель.

Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок.

Как соломинку, вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю.

И сразу наступила ночь.

Глава девятая

У спрута глаз выпуклый, с кошачью голову, тускло-красный, середина зеленая, горит-переливается живым светом. Спрут копошится десятками щупалец; они, словно клубок змей, извиваются, отвратительно шурша чешуей кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самых глаз. Щупальца поползли по телу; они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя его кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухающее туловище спрута. А жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль.

Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса:

— Какой у него сейчас пульс?

И еще тише отвечает другой голос, женский:

— Пульс у него сто тридцать восемь. Температура тридцать девять и пять. Все время бред.

Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять. Отчего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди:

— Пульс сейчас сто двадцать два.

Он пытается открыть веки. А внутри огонь. Душно.

Пить, как хочется пить! Он сейчас встанет, напьется. Но почему он не встает? Только хотел шевельнуться, но тело чужое, непослушное, не его тело. Мать сейчас принесет воды. Он ей скажет: «Я хочу воды». Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он, вот красный цвет его глаза...

Издали слышится тихий голос:

— Фрося, принесите воды!

«Чье это имя?» — силится вспомнить Павел, но от усилия погружается в темноту. Выплыл оттуда и снова вспомнил: «Хочу пить».

Слышит голоса:

— Он, кажется, приходит в себя.

И уже отчетливее, ближе нежный голос:

— Вы хотите пить, больной?

«Неужели я больной, или это не мне говорят? Да ведь я болею тифом, вот оно что». И в третий раз пытается открыть веки. Наконец удается. В узкую щель открывшегося глаза первое, что ощутил,— это красный шар над головой, но его закрывает что-то темное; это темное нагибается к нему, и губы ощущают твердый край стакана и влагу, живительную влагу. Огонь внутри потухает.

Прошептал удовлетворенно:

— Вот теперь хорошо.

— Больной, вы меня видите?

Это спрашивает то темное, стоящее над ним, и, уже засыпая, все же успел ответить:

— Не вижу, а слышу...

— Кто бы мог сказать, что он выживет? А он, смотрите, выцарапался в жизнь. Удивительно крепкий организм. Вы, Нина Владимировна, можете гордиться. Вы его буквально выходили.

И голос женский, волнуясь:

— О, я очень рада!

После тринадцатидневного беспамятства к Корчагину возвратилось сознание.

Молодое тело не захотело умереть, и силы медленно приливали к нему. Это было второе рождение: все казалось новым, необычным. Только голова тяжестью непреодолимой лежала неподвижно в гипсовой коробке, и не было сил сдвинуть ее с места. Но вернулось ощущение тела, и уже сжимались и разжимались пальцы рук.

☆

Нина Владимировна, младший врач клинического военного госпиталя, за маленьким столиком в своей квадратной комнате перелистывала толстую, в сиреневой обложке тетрадь. В ней мелким, с наклоном почерком были нанесены короткие записи:

«26 августа 1920 года

Сегодня к нам из санитарного поезда привезли группу тяжелораненых. На койку в углу у окна положили красноармейца с разбитой головой. Ему лишь семнадцать лет. Мне передали пачку его документов, найденных в карманах, положенных в конверт вместе с врачебными записями. Его фамилия Корчагин, Павел Андреевич. Там были: затрепанный билетик № 967 Коммунистического союза молодежи Украины, изорванная красноармейская книжка и выписка из приказа по полку. В ней говорилось, что красноармейцу Корчагину за боевое выполнение разведки объявляется благодарность. И записка, сделанная, видно, рукою хозяина:

«Прошу товарищей в случае моей смерти написать моим родным: город Шепетовка, депо, слесарю Артему Корчагину».

Раненый в беспамятстве с момента удара осколком, с 19 августа. Завтра его будет смотреть Анатолий Степанович.

27 августа

Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока, пробита черепная коробка, от этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние. Глаз вздулся.

Анатолий Степанович хотел глаз вынуть, чтобы избежать воспаления, но я уговорила его не делать этого, пока есть надежда на уменьшение опухоли. Он согласился.

Мною руководило исключительно эстетическое чувство. Если юноша выживет, зачем его уродовать, вынимая глаз?

Раненый все время бредит, мечется; около него приходится постоянно дежурить. Я отдаю ему много времени. Мне очень жаль его юность, и я хочу отвоевать ее у смерти, если мне удастся.

Вчера я пробыла несколько часов в палате после смены; он самый тяжелый. Вслушиваюсь в его бред. Иногда он бредит, словно рассказывает. Я узнаю многое из его жизни, но иногда он жутко ругается. Брань эта ужасна. Мне почему-то больно слышать от него такие страшные ругательства. Анатолий Степанович говорит, что он не выживет. Старик бурчит сердито: «Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию? Это возмутительно».

30 августа

Корчагин все еще в сознание не пришел. Он лежит в особой палате, там лежат умирающие. Около него, почти не отходя, сидит санитарка Фрося. Она, оказывается, знает его. Они когда-то давно работали вместе. С каким теплым вниманием она относится к этому больному! Теперь и я чувствую, что его положение безнадежно.

2 сентября

Одиннадцать часов вечера. Сегодня у меня замечательный день. Мой больной, Корчагин, пришел в себя, ожил. Перевал пройден. Последние два дня я не уходила домой.

Сейчас не могу передать своей радости, что спасен еще один. В нашей палате одной смертью меньше. В моей изнуряющей работе самое радостное — это выздоровление больных. Они привязываются ко мне, как дети.

Их дружба искренна и проста, и когда расстаемся, иногда даже плачу. Это немного смешно, но это правда.

10 сентября

Я написала сегодня первое письмо Корчагина к родным. Он пишет, что легко ранен, скоро выздоровеет и приедет; он потерял много крови, бледен, как вата, еще очень слаб.

14 сентября

Корчагин первый раз улыбнулся. Улыбка у него хорошая. Обычно он не по годам суров. Поправляется с поразительной быстротой. С Фросей они друзья. Я ее часто вижу у его постели. Она ему, видно, рассказала обо мне, конечно перехвалила, и больной встречает мой приход чуть заметной улыбкой. Вчера он спросил:

— Что это у вас, доктор, на руке черные пятна?

Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда.

17 сентября

Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки.

Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и, когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается, как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона.

Уже все знают: если Корчагин стонет, значит, потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю.

21 сентября

Корчагина на коляске вывезли первый раз на большой балкон госпиталя. Каким глазом он смотрел в сад, с какой жадностью дышал свежим воздухом! В его окутанной марлей голове открыт лишь один глаз. Этот глаз, блестящий, подвижной, смотрел на мир, как будто первый раз его видел.

26 сентября

Сегодня меня вызвали вниз в приемную, там меня встретили две девушки. Одна из них очень красивая. Они попросили свидания с Корчагиным. Их фамилии: Тоня Туманова и Татьяна Барановская. Имя Тони мне известно. Его иногда в бреду повторял Корчагин. Я разрешила свидание.

8 октября

Корчагин первый раз самостоятельно гуляет по саду. Он неоднократно спрашивал у меня, когда может выписаться. Я ответила, что скоро. Обе подруги приходят к больному каждый приемный день. Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил:

— Читайте роман «Овод», тогда узнаете.

14 октября

Корчагин выписался. Мы с ним расстались очень тепло. Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный. Мне было очень грустно расставаться с этим хорошим товарищем.

Так всегда: вылечиваются и уходят от нас, чтобы, возможно, больше не встретиться. Прощаясь, сказал:

— Лучше бы ослеп левый,— как же я стрелять теперь буду?

Он еще думает о фронте».

☆

Первое время после лазарета Павел жил у Бурановского, где остановилась Тоня.

Он сразу сделал попытку втянуть Тоню в общую работу. Пригласил ее на городское собрание комсомола. Тоня согласилась, но, когда она вышла из комнаты, где одевалась, Павел закусил губы. Она была одета очень изящно, нарочито изысканно, и он не решался вести ее к своей братве.

Тогда же произошло первое столкновение. На его вопрос, зачем она так оделась, она обиделась:

— Я никогда не подлаживаюсь под общий тон; если тебе неудобно со мною идти, то я останусь.

Тогда же в клубе ему было тяжело видеть ее расфранченной среди выцветших гимнастерок и кофточек. Ребята приняли Тоню, как чужую. Она, чувствуя это, смотрела на всех презрительно и вызывающе.

Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал:

— Это ты, что ль, привел эту кралю сюда?

— Да, я,— жестко ответил ему Корчагин.

— М-да...— протянул Панкратов.— Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похожа. Как ее пропустили сюда?

У Павла застучало в висках.

— Это мой товарищ, и я ее привел сюда. Понимаешь? Она человек нам не враждебный, только вот у нее насчет нарядов — так это правда, но ведь не всегда по одежде ярлык надо припаивать. Я тоже понимаю, кого сюда привести можно, и нацеливаться, товарищ, нечего.

Он хотел сказать еще что-то грубое, но сдержался, понимая, что Панкратов высказывает общее мнение, и все свое возмущение перенес на Тоню.

«Я же ей говорил! Какому черту нужен этот фарс?»

Этот вечер был началом развала дружбы. С чувством горечи

и удивления следил Павел, как ломается, казалось, так крепко сколоченная дружба.

Прошло еще несколько дней, и каждая встреча, каждая беседа вносила все большее отчуждение и глухую неприязнь в их отношения. Дешевый индивидуализм Тони становился непереносимым Павлу.

Необходимость разрыва была ясна обоим.

Сегодня они пришли оба в застланный умершими бурыми листьями Купеческий сад, чтобы сказать друг другу последнее слово. Стояли у балюстрады над обрывом: внизу серой массой воды поблескивал Днепр; против течения из-за громадины моста полз буксирный пароход, устало шлепая по воде крыльями колес, таща за собой две пузатые баржи. Заходящее солнце красило золотыми мазками Труханов остров и ярким полымем стекла домиков.

Тоня смотрела на золотые лучи и проговорила с глубокой грустью:

— Неужели наша дружба угаснет, как угасает сейчас солнце?

Он смотрел на нее не отрываясь; крепко сдвинув брови, тихо ответил:

— Тоня, мы уже говорили об этом. Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил и сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким.

Тоня с тоской глядела на синеву реки, и глаза ее наполнились слезами.

Павел смотрел на ее знакомый профиль, на густые каштановые волосы, и к сердцу прилила волна жалости к девушке, когда-то такой дорогой и близкой.

Он осторожно положил свою руку на ее плечо:

— Бросай все, что тебя вяжет. Идем к нам. Будем вместе добивать господ. У нас есть много девушек хороших, вместе с нами они несут всю тяжесть борьбы ожесточенной, вместе с нами переносят все лишения. Они, может, не такие образованные, как ты, но почему, почему ты не хочешь быть с нами? Ты говоришь, что тебя Чужанин силком взять хотел, но это же выродок, а не боец. Говоришь, встретили тебя недружелюбно, а зачем же ты оделась, словно на буржуйский бал? Гордость зашибла: не буду, мол, подлаживаться под грязные гимнастерки. У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь. Мне жаль с тобой расстаться, и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо.

Он замолчал.

На другой день на улице Павел увидал приказ за подписью председателя губернской Чека Жухрая. Сердце у него дрогнуло. Насилу добился он до матроса — не пускали. Такую «волынку» завел, что часовые арестовать собрались. Все же добился.

Встретились с Федором хорошо. Руку у Федора отбил снаряд. Тут же сговорились о работе.

— Будем с тобой контру здесь душить, пока на фронт у тебя сил нет. Завтра же и приходи,— сказал Жухрай.

☆

Борьба с белополяками закончилась. Красные армии, бывшие почти у стен Варшавы, израсходовав все материальные и физические силы, оторванные от своих баз, не могли взять последнего рубежа, отошли обратно. Случилось «чудо на Висле», как поляки называют отход красных от Варшавы. Белопанская Польша осталась жить. Мечту о Польской советской социалистической республике пока не удалось осуществить.

Страна, залитая кровью, требовала передышки.

Павлу не пришлось увидеться со своими, так как городок Шепетовка опять был занят белополяками и стал временной границей фронта. Шли мирные переговоры. Дни и ночи Павел проводил в Чрезвычайной комиссии, выполняя разные поручения. Жил он в комнате Федора. Узнав о занятии городка поляками, Павел загрустил:

— Что же, Федор, значит, мать за границей останется, если перемирие на этом закончится?

Но Федор его успокаивал:

— Наверное, граница через Горынь по реке пойдет. Так что город за нами останется. Скоро узнаем.

С польского фронта на юг перебрасывались дивизии. Пользуясь передышкой, из Крыма выполз Врангель. И в то время, когда республика напрягала все силы на польском фронте, врангелевцы продвинулись с юга на север, вдоль Днепра, пробираясь к Екатеринославской губернии.

Для ликвидации этого последнего контрреволюционного гнезда, пользуясь окончанием войны с поляками, страна бросила на Крым свои армии.

Через Киев на юг проходили эшелоны, груженные людьми, повозками, кухнями, орудиями. В участковой транспортной Чека шла лихорадочная работа. Весь этот поток составов создавал «пробки», и тогда вокзалы забивались до отказа, и движение срывалось, так как не было ни одного свободного пути. А аппараты выбрасывали полосочки лент с ультимативными телеграммами. В них приказывалось освободить путь для такой-

то дивизии. Ползли бесконечные полосочки, крапленные чертточками ленты, и в каждой из них было: «Вне всякой очереди... в порядке боевого приказа... немедленно освободить путь...» И почти в каждой из них упоминалось, что за неисполнение виновные будут преданы суду революционного военного трибунала.

А ответственной за «пробки» была УТЧК[1].

Сюда врывались, размахивая наганом, командиры частей, требуя немедленного продвижения их эшелонов вперед согласно вот такой-то телеграмме командарма, за номером таким-то.

Никто из них не хотел слушать, что этого сделать невозможно. «Душа вон, а пропускай вперед!» И начиналась страшная ругань. В особо сложных случаях срочно вызывали Жухрая. И тогда готовые перестрелять друг друга, разгоряченные люди утихали.

Железная фигура Жухрая, холодно-спокойная, и голос тугой, не допускающий возражений, заставляли засовывать в кобуры вынутые наганы.

Выбирался Павел на перрон из комнаты с колючей болью в голове. Разрушающе действовала на нервы чекистская работа.

Однажды на поездной платформе, наполненной зарядными ящиками, Павел увидел Сережку. Брузжак свалился на него с платформы, чуть не сшиб на землю и крепко тискал в объятиях:

— Павка! Чертяка, я тебя сразу узнал.

Друзья не знали, о чем расспрашивать друг друга, о чем рассказывать. Ведь так много было пережито за это время! Спрашивали и, не дожидаясь ответа, отвечали сами. И не заметили гудков. Лишь когда медленно поползли вагоны, разорвали объятия.

Что было делать? Встреча прервалась, поезд все прибавлял ход. И, чтобы не отстать, Сережа, последний раз крикнув что-то другу, побежал по перрону, цепляясь за открытую дверь теплушки; его подхватило несколько рук, втянули внутрь. А Павел стоял и смотрел вслед и только теперь вспомнил, что Сережа не знает о гибели Вали. Сережа ведь не был в родном городе. А он, Павел, ему этого не сказал, ошеломленный встречей.

«Пусть едет спокойно, хорошо, что не знает»,— думал Павел. Он не знал, что видит друга в последний раз. Не знал и Сергей, стоя на крыше вагона, подставляя под напор осеннего ветра грудь, что движется навстречу смерти.

— Сядь, Сережа,— уговаривал его Дорошенко, красноармеец с прогорелой на спине шинелью.

---

[1] УТЧК — участковая транспортная чрезвычайная комиссия.

— Ничего, мы с ветром друзья. Пусть продувает,— отвечал, смеясь, Сережа.

И через неделю погиб в первом бою в осенней украинской степи.

Издалека примчалась слепая пуля.

Вздрогнул от удара. Шагнул навстречу жгучей боли, разорвавшей грудь, покачнулся, не закричал, обнял воздух, горячо прижал к груди руки и, наклонившись, будто готовился к прыжку, ударился оземь очугуневшим телом, и в степную безграмь устремились недвижно голубые глаза его.

☆

Нервная обстановка работы в Чека сказалась на неокрепшем здоровье Павла. Участились контузионные боли, и наконец после двух бессонных ночей он потерял сознание.

Тогда он обратился к Жухраю:

— Как ты думаешь, Федор, будет ли правильно, если я перейду на другую работу? У меня большое желание идти в главные мастерские, по своей профессии, а то я чувствую, что у меня гайка здесь слаба. Мне в комиссии сказали, что я к военной службе не пригоден. Но тут хуже фронта. Вот эти два дня, когда ликвидировали банду Сутыря, меня совсем подрезали. Я должен отдохнуть от перестрелок. Ты, Федор, понимаешь, что из меня плохой чекист, если я на ногах едва держусь.

Жухрай озабоченно посмотрел на Павла:

— Да, выглядишь ты неважно. Надо было еще раньше тебя освободить, но это я виноват, за работой недосмотрел.

В результате этого разговора Павел очутился в губкомоле с бумажкой, в которой значилось, что он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета.

Вертлявый мальчишка в озорно надвинутой на нос кепке, стрельнув глазами по бумажке, весело подмигнул Павлу:

— Из Чека? Приятное учреждение. Пожалуйста, мы тебе работенку в два счета смастерим. У нас на ребят голодуха. Куда тебя? В губпродком хочешь?.. Нет? Не надо. На пристаня в агитбазу поедешь?.. Нет? Ну, напрасно. Хорошее местечко, ударный паек...

Павел перебил паренька:

— Я на железную дорогу, в главные мастерские хочу.

Тот удивленно посмотрел на него:

— В главные мастерские? Гм... там у нас людей не требуется. В общем, иди к Устинович. Она тебя куда-нибудь пристроит.

После короткой беседы со смуглой дивчиной было решено: Павел идет секретарем комсомольского коллектива в мастерские без отрыва от производства.

☆

А в это время у ворот Крыма, в узеньком горлышке полуострова, у старинных рубежей, отделявших когда-то крымских татар от запорожских куреней, стояла обновленная и страшная своими укреплениями белогвардейская твердыня — Перекоп.

За Перекопом, в Крыму, чувствуя себя в полной безопасности, захлебывался в винной гари загнанный сюда со всех концов страны обреченный на гибель старый мир.

И осенней, промозглой ночью десятки тысяч сынов трудового народа вошли в холодную воду пролива, чтобы в ночь пройти Сиваш и ударить в спину врага, зарывшегося в укреплениях. В числе тысяч шел и Жаркий Иван, бережно неся на голове свой пулемет. И когда с рассветом вскипел в безумной лихорадке Перекоп, когда прямо в лоб через заграждения ринулись тысячи, в тылу у белых, на Литовском полуострове взбирались на берег первые колонны перешедших Сиваш. И одним из первых, выползших на кремнистый берег, был Жаркий.

Загорелся невиданный по жестокости бой. Конница белых кидалась в диком, зверином порыве на людей, выползавших из воды. Пулемет Жаркого брызгал смертью, ни разу не останавливая свой бег. И ложились груды людей и лошадей под свинцовым дождем. С лихорадочной быстротой вставлял Жаркий все новые и новые диски.

Перекоп клокотал сотнями орудий. Казалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть, и, бороздя с диким визгом небо, метались, неся смерть, тысячи снарядов, рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая, израненная, вскидывалась вверх, черными глыбами застилая солнце.

Голова гадины была раздавлена, и в Крым хлынул красный поток, хлынули страшные в своем последнем ударе дивизии 1-й Конной. Охваченные судорожным страхом, белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристаней пароходы.

Республика прикрепляла к истрепанным гимнастеркам, там, где стучит сердце, золотые кружочки орденов Красного Знамени, среди них была гимнастерка пулеметчика-комсомольца Жаркого Ивана.

☆

Мир с поляками был заключен, и городок, как надеялся Жухрай, остался за Советской Украиной. Границей стала река в тридцати пяти километрах от города. В декабре 1920 года, памятным утром, подъезжал Павел к знакомым местам.

Вышел на запорошенный снегом перрон, мельком взглянул на вывеску «Шепетовка 1-я», свернул сразу влево, в депо. Спросил Артема, но слесаря не было. Запахнув плотнее шинель, быстро пошел через лес в городок.

Мария Яковлевна обернулась на стук в дверь, приглашая войти. И когда в дверь просунулся засыпанный снегом, узнала родное лицо сына, схватилась руками за сердце, не могла говорить от радости неизмеримой. Прижалась всем худеньким телом к груди сына и, осыпая бесчисленными поцелуями его лицо, плакала счастливыми слезами.

А Павел, обнимая ее, смотрел на измученное тоской и ожиданием лицо матери с бороздками морщинок и ничего не говорил, ожидая, пока она успокоится.

Счастье опять заблестело в глазах измученной женщины, и мать все эти дни не могла наговориться, насмотреться на сына, увидеть которого она уже и не чаяла. Радость ее была безгранична, когда дня через три, ночью, в комнатушку ввалился и Артем с походной сумкой за плечами.

В маленькую квартирку Корчагиных возвращались ее обитатели. После тяжелых испытаний и невзгод сошлись братья, уцелев от гибели...

— Что же вы делать теперь будете? — спрашивала Мария Яковлевна сыновей.

— Опять за подшипники примемся, мамаша,— ответил Артем.

А Павел, пробыв две недели дома, уезжал обратно в Киев, где его ждала работа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Полночь. Уже давно проволок свое разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник. Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную часть комнаты. В углу на столе — кружок света из-под абажура настольной лампы.

Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью — своим дневником.

«24 мая» — начеркал острый кончик ее карандаша.

«Я опять пытаюсь записать свои впечатления. Опять пустое место. Полтора месяца прошло, и не записано ни слова. Приходится согласиться с этим обрывком.

Когда же находить время для дневника? Вот сейчас ночь, а я пишу. Убегает сон. Уезжает на работу в ЦК товарищ Сегал. Это известие всех нас огорчило. Прекрасная личность наш Лазарь Александрович. Только теперь понимаю, каким богат-

ством была для всех нас дружба с ним. Конечно, с отъездом Сегала развалится кружок диамата. Вчера была до поздней ночи у него, проверяли достижения наших «подшефных». Пришел секретарь губкомсомола Аким, противный завучетом Туфта. Не терплю этого всезнайку! Сегал сиял. Его ученик Корчагин блестяще срезал Туфту по истории партии. Да, эти два месяца не пропали даром. Не жалко сил, если они дают такие результаты. По слухам, Жухрай переходит на работу в Особый отдел военного округа. Почему это, не знаю.

Лазарь Александрович передал мне своего ученика.

— Довершайте начатое,— сказал он,— не останавливайтесь на полдороге. И вам, Рита, и ему есть чему друг у друга поучиться. Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководом. Желаю вам успеха. Не забывайте писать мне в Москву,— говорил мне Сегал на прощание.

Сегодня из ЦК прислали нового секретаря Соломенского райкома, Жаркого. Я его знаю по армии.

Завтра Дмитрий приведет Корчагина. Опишу Дубаву. Среднего роста. Сильный, мускулистый. В комсомоле он с восемнадцатого, в партии с двадцатого. Это один из трех исключенных из губкомола за принадлежность к «рабочей оппозиции»[1]. Учеба с ним была нелегкая. Каждый день он срывал план, засыпая меня вопросами, отвлекая от темы. Между Юреневой, моей второй ученицей, и Дубавой были частые размолвки. В первый же вечер, оглядев Ольгу с ног до головы, он заметил:

— У тебя неполное обмундирование, старуха. Нужны штаны с кожей, шпоры, буденовка и шашка, а то ни рыба ни мясо.

Ольга не осталась в долгу, и мне пришлось разнимать. Дубава, кажется, друг Корчагина. На сегодня довольно. Спать».

Зной истомил землю. Накалило до обжога железные перила надвокзального моста. На мост поднимались вялые, изнемогающие от жары люди. Это не были пассажиры. По мосту шли преимущественно из железнодорожного района в город.

С верхней ступени Павел увидел Риту. Она пришла к поезду раньше его и смотрела на сходящих вниз людей.

Шагах в трех сбоку от Устинович Корчагин остановился. Она не замечала его. Павел рассматривал ее с каким-то странным любопытством. Рита была в полосатой блузке, в синей недлин-

---

[1] «Рабочая оппозиция» — антипартийная группа в РКП(б), вела борьбу против Ленина и ленинской линии ЦК партии.

ной юбке из простой ткани, куртка мягкого хрома была переброшена через плечо. Шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо. Она стояла, слегка запрокинув голову и щурясь от яркого света. В первый раз Корчагин смотрел на своего друга и учителя такими глазами, и в первый раз ему пришла в голову мысль, что Рита не только член бюро губкома, а... И, поймав себя на таких «грешных» мыслях, раздосадованный, окликнул ее:

— Я уже целый час смотрю на тебя, а ты меня не видишь. Пора идти, поезд уже стоит.

Они подошли к служебному проходу на перрон.

Вчера губком назначил Риту своим представителем на одну из уездных конференций. В помощь ей дали Корчагина. Сегодня им необходимо сесть в поезд, что было далеко не легкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятерки; без пропуска посадкома никто не имел права выйти на перрон. Все подступы и выходы занимал заградительный отряд комиссии. Поезд, до отказа набитый людьми, мог увезти лишь десятую долю стремившихся уехать. Никто не желал оставаться, ждать днями случайного поезда. Тысячи людей штурмовали проходы, пытаясь прорваться к недоступным зеленым вагонам. Вокзал в те дни переживал настоящую осаду, и дело иногда доходило до рукопашной.

Павел и Рита тщетно пытались пройти на перрон.

Зная все ходы и выходы, Павел провел свою спутницу через багажную. С трудом пробрались они к вагону № 4. У дверей вагона, сдерживая густую толпу, стоял распаренный жарой чекист, повторяя в сотый раз:

— Говорю вам, вагон переполнен, а на буфера и крышу, согласно приказу, никого не пустим.

На него напирали взбешенные люди, тыча в нос билетами посадкома, выданными на четвертый номер. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном. Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо, иначе срывалась конференция.

Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.

— Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата.

Павел взял у нее кожанку, надел, переложил в карман куртки свой наган, нарочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумку с припасами у ног Риты, пошел к вагону. Бесцеремонно растолкав пассажиров, взялся рукой за поручень.

— Эй, товарищ, куда?

Павел оглянулся на коренастого чекиста.

— Я из Особого отдела округа. Вот сейчас проверим, все ли

у вас погружены с билетами посадкома,— сказал Павел тоном, не допускавшим сомнения в его полномочиях.

Чекист посмотрел на его карман, вытер рукавом пот со лба и сказал безразличным тоном:

— Что ж, проверяй, если влезешь.

Работая руками, плечами и кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, подтягиваясь на руках, хватаясь за верхние полки, осыпаемый градом ругани, Павел все же пробрался в середину вагона.

— Куда тебя черт несет, будь ты трижды проклят! — кричала на него жирная тетка, когда он, спускаясь сверху, ступил ногой на ее колено. Тетка втиснулась своей семипудовой махиной на край нижней полки, держа между ног бидон для масла. Такие бидоны, ящики, мешки и корзины стояли на всех полках. В вагоне нельзя было продохнуть.

На ругань тетки Павел ответил вопросом:

— Ваш посадочный билет, гражданка?

— Чиво? — окрысилась та на незваного контролера.

С самой верхней полки свесилась чья-то «блатная» башка и загудела контрабасом:

— Васька, что это за фрукт явился сюда? Дай ему путевку на «евбаз».

Прямо над головой Корчагина появилось то, что, по-видимому, было Васькой. Здоровенный парень с волосатой грудью уставился на Корчагина бычьими глазищами:

— Чего к женщине пристал? Какой тебе билет?

С боковой полки свешивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично щелкая семечки. Здесь, видно, ехала спетая компания матерых мешочников, видавших виды железнодорожных мародеров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту.

— Чей это ящик? — спросил он пожилого железнодорожника, указывая на деревянную коробку у окна.

— Да вон той девахи,— показал тот на толстые ноги в коричневых чулках.

Надо было открыть окно. Ящик мешал. Положить его было некуда. Взяв ящик на руки, Павел подал его хозяйке, сидевшей на верхней полке.

— Подержите, гражданка, минутку, я открою окно.

— Ты что чужие вещи трогаешь! — заверещала плосконосая деваха, когда он на ее колени поставил ящик.

— Мотька, чтой-то за гражданин шум подымает? — обратилась она за помощью к своему соседу.

Тот, не слезая с полки, толкнул Павла в спину ногой, одетой в сандалий:

— Эй ты, плешь водяная! Смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил.

Павел молча снес пинок в спину. Закусив губу, открывал окно.

— Товарищ, отодвинься маленько,— попросил он железнодорожника.

Освобождая место, отодвинул чей-то бидон и встал вплотную к окну. Рита была у вагона, быстро подала ему сумку. Бросив сумку на колени тетки с бидоном, Павел нагнулся вниз и, захватив руки Риты, потянул ее к себе. Не успел красноармеец заградотряда заметить это нарушение правил и воспрепятствовать ему, как Рита была уже в вагоне. Неповоротливому красноармейцу ничего не оставалось, как выругаться и отойти от окна. Появление Риты в вагоне всей мешочной компанией было встречено таким галдежом, что Рита смутилась и затревожилась. Ей негде было встать, и она стояла на краешке нижней полки, держась за поручень верхней. Со всех сторон неслась ругань. Сверху контрабас изрыгнул:

— Вот гад, сам влез и девку за собой тащит!

А кто-то невидимый сверху пискнул:

— Мотька, засвети ему промеж глаз!

Деваха норовила деревянный ящик поставить на голову Корчагина. Кругом были чужие, похабные лица. Павел пожалел, что Рита здесь, но надо было устраиваться.

— Гражданин, забери свои мешки с прохода, здесь товарищ станет,— обратился он к тому, кого звали Мотькой, но в ответ получил такую циничную фразу, от которой весь вскипел. Над правой бровью часто и больно заколoло.

— Подожди, подлец, ты мне еще ответишь за это,— едва сдерживаясь, сказал он хулигану, но тут же получил удар сверху ногой по голове.

— Васька, ставь ему еще фитиля! — улюлюкали со всех сторон.

Все, что долго сдерживал в себе Павел, прорвалось наружу, и, как всегда в такие моменты, стали стремительны и жестки движения.

— Что же вы, гадье спекулянтское, издеваться думаете? — Подымаясь на руках, как на пружинах, Павел выбрался на вторую полку и с силой ударил кулаком по наглой роже Мотьки. Ударил с такой силой, что спекулянт свалился в проход на чьи-то головы.

— Слезайте с полки, гады, а то перестреляю, как собак! — бешено кричал Корчагин, размахивая наганом перед носами четверки.

Дело оборачивалось совсем по-другому. Рита внимательно наблюдала за всем, готовая стрелять в каждого, кто попытался

бы схватить Корчагина. Верхняя полка быстро была очищена. «Блатная» башка поспешно эвакуировалась в соседнее отделение вагона.

Усадив Риту на свободной полке, он шепнул ей:

— Ты сиди здесь, а я разделаюсь с этими.

Рита остановила его:

— Неужели ты еще будешь драться?

— Нет, я сейчас вернусь,— успокоил он.

Окно опять было открыто, и Павел через него выбрался на перрон. Несколько минут спустя он уже был у стола перед УТЧК Бурмейстером — старым своим начальником. Латыш, выслушав его, отдал распоряжение выгрузить весь вагон, проверить у всех документы.

— Я же говорил, поезда подаются к посадке уже с мешочниками,— ворчал Бурмейстер.

Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел, по старой привычке, помогал проверять весь поезд. Уйдя из ЧК, он не порвал связи со своими друзьями, а в бытность секретарем молодежного коллектива послал на работу в УТЧК немало лучших комсомольцев. Окончив проверку, Павел вернулся к Рите. Вагон наполнили новые пассажиры — командированные и красноармейцы.

На третьем ярусе в углу оставалось лишь место для Риты, все остальное было завалено тюками газет.

— Ничего, как-нибудь поместимся,— сказала Рита.

Поезд двинулся. За окном проплыла тетка, восседавшая на ворохе мешков.

— Манька, где мой бидон? — донесся ее крик.

Сидя в узеньком пространстве, отгороженные тюками от соседей, Рита и Павел уписывали за обе щеки хлеб с яблоками, весело вспоминая недавний не совсем веселый эпизод.

Медленно полз поезд. Перегруженные, расхлябанные вагоны, скрипя и потрескивая сухими кузовами, вздрагивали на стыках. Вечер глянул в вагон густой синевой. За ним ночь затянула чернотой открытые окна. Темно в вагоне.

Рита, утомленная, задремала, положив голову на сумку. Павел сидел на краю полки, свесив ноги, и курил. Он тоже устал, но негде было прилечь. Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила огонек папироски Павла. «Он так до утра просидеть может. Ясно, не хочет меня стеснять»,— подумала Рита.

— Товарищ Корчагин! Отбросьте буржуазные условности, ложитесь-ка вы отдыхать,— шутливо сказала она.

Павел лег рядом с ней и с наслаждением вытянул затекшие ноги.

— Завтра нам работы уйма. Спи, забияка.— Ее рука доверчиво обняла друга, и у самой щеки он почувствовал прикосновение ее волос.

Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое, ровное дыхание, где-то совсем близко ее губы. От близости родилось непреодолимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание.

Рита, как бы угадывая его чувства, в темноте улыбнулась. Она уже пережила и радость страсти и ужас потери. Двум большевикам отдала она свою любовь. И обоих забрали у нее белогвардейские пули. Один — мужественный великан, комбриг, другой — юноша с ясными глазами.

Скоро перестук колес убаюкал Павла. Лишь утром его разбудил рев паровоза.

☆

Поздно стала возвращаться в свою комнату Рита. В редко открываемой тетради появилось еще несколько коротких записей:

«11 августа

Закончили губконференцию. Аким, Михайло и другие уехали в Харьков на всеукраинскую. На меня свалилась вся техника. Дубава и Павел получили мандаты в губком. С тех пор как Дмитрия послали секретарем Печерского райкомола, он не приходит больше вечерами на учебу. Завалили его работой. Павел еще пытается заниматься, но то у меня нет времени, то его ушлют куда-нибудь. В связи с обостренным положением на желдороге у них постоянная мобилизация. Жаркий был вчера у меня, недоволен, что мы забрали у него ребят, говорит, что они ему самому до зарезу нужны.

23 августа

Сегодня иду по коридору, смотрю — стоят у двери управления делами Панкратов, Корчагин и еще незнакомый. Подхожу. Слышу — Павел рассказывает. «Да там такие типы сидят — пули не жалко. «Вы, говорит, не имеете права вмешиваться в наши распоряжения. Здесь хозяин Желлеском[1], а не какой-то комсомол». А морда, братишки, у него... Вот где позасели паразиты!» И я услыхала отборную матерщину. Панкратов, заметив меня, толкнул Павла. Тот обернулся и, увидев меня, побледнел. Не смотря мне в глаза, сейчас же ушел. Я его теперь

[1] Желлеском — Железнодорожный лесной комитет.

у себя долго не увижу. Он ведь знает, что я никому не прощаю ругань.

27 августа

Было закрытое бюро. Положение осложняется. Не могу пока полностью все записать — нельзя. Аким приехал из уезда хмурый. Вчера у Тетерева опять пустили под откос продмаршрут. Кажется, брошу записывать, все как-то клочками. Жду Корчагина. Видела его — создают с Жарким коммуну из пяти».

☆

Днем в мастерских Павла вызвали к телефону. Рита сообщила о свободном вечере и о незаконченной проработке темы: причины разгрома Парижской коммуны.

Вечером, подходя к подъезду дома на Кругло-Университетской, Павел посмотрел вверх. Окно Риты освещено. Взбежал по лестнице, как всегда, стукнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел.

На кровати, на которую никто из ребят не имел права даже присесть, лежал мужчина в военном. Револьвер, походная сумка и фуражка со звездой лежали на столе. Рядом с ним, крепко обняв его, сидела Рита. Они о чем-то оживленно разговаривали... Рита повернула к Павлу свое радостное лицо.

Освобождаясь от объятий, военный встал.

— Знакомьтесь,— сказала Рита, здороваясь с Павлом,— это...

— Давид Устинович,— простецки сказал за нее военный, крепко сжимая руку Корчагина.

— Свалился как снег на голову,— смеялась Рита.

Холодное было рукопожатие Корчагина. Метнулась кремневой искрой в глазах несказанная обида. Успел заметить на рукаве Давида четыре квадрата.

Рита хотела говорить — Корчагин перебил ее:

— Я забежал к тебе сказать, что сегодня работаю по разгрузке дров на пристанях. Чтобы не ждала... А у тебя, кстати, гость. Ну, я пошел, ребята внизу ждут.

Павел исчез за дверью так же внезапно, как и появился. Простучали на лестнице быстрые шаги. Глухо внизу стукнула дверь. Стихло.

— С ним что-то неладное,— неуверенно ответила Рита на недоумевающий взгляд Давида.

...Внизу, под мостом, глубоко вздохнул паровоз, выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввысь и погас в дыму.

Прислонясь к перилам, Павел смотрел на мерцание разноцветных огней сигнальных фонариков на стрелках. Зажмурил глаза.

«Все же непонятно, товарищ Корчагин, почему вам так больно оттого, что у Риты оказался муж? Разве когда-нибудь она говорила, что его нет? Ну, а если даже говорила, что из этого? Почему это вдруг так заело? А вы же считали, товарищ дорогой, что, кроме идейной дружбы, ничего нет... Как же это вы просмотрели? А? — иронически допрашивал себя Корчагин.— А что, если это не муж? Давид Устинович может быть и брат и дядька... Тогда ты, чудила, зря на человека освирепел. Такая же ты, видно, сволочь, как любой мужик. Насчет брата это узнать можно. Допустим, это брат или дядя, так что же ты ей скажешь об этом самом? Нет, ты не пойдешь к ней больше!»

Мысли оборвал рев гудка.

«Поздно, пора домой, хватит муру разводить».

☆

На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный район) пятеро создали маленькую коммуну. Это были — Жаркий, Павел, веселый белокурый чех Клавичек, Окунев Николай — секретарь деповской комсы, Степа Артюхин — агент железнодорожной ЧК, недавно еще котельщик среднего ремонта.

Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на четвертый день, украшенная портретом Петровского[1] и огромной картой, сияла комната еще не тронутой белизной.

Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обиты картоном,— это стулья. Ящик побольше — шкаф. Посреди комнаты здоровенный бильярд без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать Клавичека. Снесли сюда свое имущество. Хозяйственный Клавичек составил опись всего добра коммуны и хотел прибить ее на стенке, но после дружного протеста отказался от этого. Все стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посылки — все делилось поровну. Личной собственностью осталось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны,

---

[1] Петровский Г. И. (1878—1958) — старый большевик, в те годы председатель Всеукраинского Центрального исполнительного комитета.

нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Клавичек настояли на добавлении: и выселяется.

На открытие коммуны собрался весь актив районной комсы. В соседнем дворе был одолжен здоровенный самоварище, и на чай ухлопали весь запас сахарина, а покончив с самоваром, грянули хором:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд.
Но день настанет неизбежный...

Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачовая повязка чуть сбита набок, глаза — как у озорного мальчишки. Близко в них всматриваться никому еще не удавалось. Смеется заразительно Таля Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит эта картонажница на мир с восемнадцатой ступеньки. Взлетает вверх ее рука, и запев как сигнал фанфары:

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом —
Над миром наше знамя реет...
Оно горит и ярко рдеет,—
То наша кровь горит огнем...

Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой голосов.

☆

Жаркий протянул руку к телефону.

— Потише, ребята, ничего не слышно! — крикнул он голосистой комсе, набившейся в комнату отсекра.

Голоса сбавили на два тона.

— Я слушаю. А, это вы! Да, да, сейчас. Повестка? Все та же — доставка дров с пристаней. Что? Нет, никуда не послан. Здесь. Позвать? Ладно.

Жаркий поманил пальцем Корчагина:

— Тебя товарищ Устинович,— и передал ему трубку.

— Я думала, что тебя нет. У меня вечер не занят случайно. Приходи. Брат проездом заехал, мы с ним два года не виделись.

Брат!

Павел не слушал ее слов. Вспомнились и тот вечер и то, о чем решил тогда же ночью на мосту. Да, надо пойти к ней сегодня и сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней?

Голос в трубке:

— Ты что, не слышишь меня?

— Нет, нет, я слушаю. Хорошо. Да, после бюро.

Положил трубку.

☆

Он прямо смотрел в ее глаза и, сжимая дубовый край стола, сказал:

— Я, наверное, не смогу дальше приходить к тебе.

Сказал и увидел, как вскинулись густые ресницы. Карандаш ее остановил свой бег по листу и неподвижно лег на развернутой тетради.

— Почему?

— Все труднее становится выкраивать часы. Сама знаешь, дни пошли у нас тяжеловатые. Жаль, но приходится отложить...

Прислушался к последним словам и почувствовал их нетвердость.

«Для чего вертишь мельницу? Не находишь, значит, мужества ударить по сердцу кулаком!»

И Павел настойчиво продолжал:

— Кроме этого, давно хотел тебе сказать, плохо я тебя понимаю. Вот когда с Сегалом занимался, у меня в голове все задерживалось, а с тобой у меня никак не выходит. От тебя каждый раз к Токареву ходил, чтобы разобраться. Коробка моя не варит. Тебе надо взять кого-нибудь помозговитей.

И отвернулся от ее внимательного взгляда.

Закрывая для себя возврат к девушке, упрямо договорил:

— И вот выходит, что нам с тобой нельзя время зря тратить.

Встал, осторожно отодвинул ногой стул и посмотрел сверху вниз на склоненную голову, на побледневшее в свете лампы лицо. Надел фуражку:

— Что же, прощай, товарищ Рита. Жаль, что я тебе столько дней голову морочил. Надо было сразу сказать. Это уж моя вина.

Рита механически подала ему руку и, ошеломленная его неожиданной холодностью, смогла лишь произнести:

— Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла подойти к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее.

Тяжело переступали ноги. Без стука прикрыл дверь. У подъезда задержался — можно еще вернуться, рассказать... Для чего? Для того, чтобы получить в лицо удар презрительным словом и опять очутиться здесь, у подъезда? Нет.

☆

В тупиках росли кладбища расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер вихрил мелкие опилки на пустых дровяных складах.

А вокруг города, по лесным тропам, по глубоким балкам,

хищной рысью ходила банда Орлика. Днями отсиживалась она в окрестных хуторах, в лесных богатых пасеках, а ночью выползала на пути, разрывала их когтистой лапой и, совершив страшную работу, уползала в свое убежище.

И часто рушились под откос стальные кони. Разбивались в щепки коробки-вагоны, плющило в лепешку сонных людей, и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно.

Налетала банда на тихие волостные местечки. Испуганно кудахча, разбегались с улицы куры. Хлопал шальной выстрел. Трещала, словно сухой хворост под ногами, недолгая перестрелка у белого домика волсовета. Бандиты метались по деревне на сытых конях и рубили схваченных людей. Рубили с присвистом, как колют дрова. Редко стреляли — берегли патроны.

Так же быстро исчезали, как и появлялись. Везде имела банда свои глаза, свои уши. Сверлили эти глаза белый волсоветский домик, подсматривали за ним из поповского двора и из добротной кулацкой хаты. И туда, в лесные заросли, тянулись невидимые нити. Туда текли патроны, куски свежей свинины, бутылки сизоватого «первача» и еще то, что передавалось тихо на ухо меньшим атаманам, а затем, через сложнейшую сеть,— самому Орлику.

Банда имела всего две-три сотни головорезов, но поймать банду не удавалось. Разбиваясь на несколько частей, банда оперировала в двух-трех уездах сразу. Нащупать всех нельзя было. Бандит ночью — днем мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, подкладывая корм коню, и с ухмылкой посасывал свою люльку у ворот, провожая мутным взглядом кавалерийские разъезды.

Потеряв покой и сон, носился стремительно со своим полком по трем уездам Александр Пузыревский. Неутомимый в своем упорстве преследования, настигал он иногда бандитский хвост.

А через месяц оттянул свои шайки Орлик из двух уездов. Заметался в узком кольце.

☆

Жизнь в городе плелась обыденным ходом. На пяти базарах копошились в гомоне людские скопища. Властвовали здесь два стремления: одно — содрать побольше, другое — дать поменьше. Тут орудовало во всю ширь своих сил и способностей разнокалиберное жулье. Как блохи, сновали сотни юрких людишек с глазами, в которых можно было прочесть все, кроме совести. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся городская нечисть в едином стремлении «облапошить» серенького новичка. Редкие

поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей. Весь этот люд направлялся к базарам.

Вечером пустели базары, и одичалыми казались торговые переулки, черные ряды рундуков и лавок.

Не всякий смельчак рискнет ночью углубиться в этот мертвый квартал, где за каждой будкой — немая угроза. И нередко ночью ударит, словно молотком по жести, револьверный выстрел, захлебнется кровью чья-то глотка. А пока сюда доберется горсть милиционеров с соседних постов (в одиночку не ходили), то, кроме скорченного трупа, уже никого не найти. Шпана невесть где от «мокрого» места, а поднятый шум сдунул ветром всех ночных обитателей базарного квартала. Тут же напротив — кино «Орион». Улица и тротуар в электрическом свете. Толпятся люди.

А в зале трещал киноаппарат. На экране убивали друг друга неудачливые любовники, и диким воем отвечали зрители на обрыв картины. В центре и на окраинах жизнь, казалось, не выходила из проложенного русла, и даже там, где был мозг революционной власти — в губкоме,— все шло обычным чередом. Но это было лишь внешнее спокойствие.

В городе назревала буря.

О ее приближении знали многие из тех, кто входил в город со всех концов, плохо пряча строевую винтовку под мужицкой «свиткой». Знали и те, кто под видом мешочников приезжал на крышах поездов и держал путь не на базар, а нес мешки до записанных в своей памяти улиц и домов.

Если эти знали, то рабочие кварталы, даже большевики, не знали о приближении грозы.

Было в городе лишь пять большевиков, знавших все эти приготовления.

Остатки петлюровщины, загнанные Красной Армией в белую Польшу, в тесном сотрудничестве с иностранными миссиями в Варшаве готовились принять участие в предполагаемом восстании.

Из остатков петлюровских полков тайно формировалась рейдовая группа.

В Шепетовке центральный повстанческий комитет тоже имел свою организацию. В нее вошло сорок семь человек, из коих большинство — активные контрреволюционеры в прошлом, доверчиво оставленные местной ЧК на свободе.

Руководили организацией поп Василий, прапорщик Винник, петлюровский офицер Кузьменко. А поповны, брат и отец Винника и затершийся в деловоды исполкома Самотыя вели разведку.

В ночь восстания решено было забросать пограничный Осо-

бый отдел ручными гранатами, выпустить арестованных и, если удастся, захватить вокзал.

В большом городе — центре будущего восстания — в глубочайшей конспирации шло сосредоточение офицерских сил, а в пригородные леса стягивались бандитские шайки. Отсюда рассылались проверенные «зубры» в Румынию и к самому Петлюре.

☆

Матрос в Особом отделе округа не засыпал ни на минуту уже шестую ночь. Он был одним из тех большевиков, которые знали все. Федор Жухрай переживал ощущение человека, выследившего хищника, уже готового к прыжку.

Нельзя крикнуть, поднять тревогу. Кровожадная тварь должна быть убита. Лишь тогда возможен спокойный труд, без оглядки на каждый куст. Зверя нельзя спугнуть. Тут, в этой смертельной борьбе, дает победу лишь выдержка бойца и твердость его руки.

Наступали сроки.

Где-то здесь, в городе, в лабиринте явок и конспирации, решили: завтра ночью.

Те пятеро большевиков, что знали, предупредили. Нет, с е г о д н я ночью.

Вечером из депо тихо, без гудков, вышел бронепоезд, и так же тихо закрылись за ним деповские огромные ворота.

Прямые провода спешили передать шифрованные телеграммы, и везде, куда прилетали они, забывая про сон, сторожевые республики обезвреживали осиные гнезда.

Жаркого вызвал к телефону Аким.

— Ячейковые собрания обеспечены? Да? Хорошо. Сам сейчас приезжай с секретарем райкомпарта на совещание. Вопрос с дровами хуже, чем мы думали. Приедешь — поговорим,— слушал Жаркий твердую скороговорку Акима.

— Ну, мы все скоро на дровах помешаемся,— проворчал он, кладя трубку.

Оба секретаря вышли из автомобиля, на котором их примчал Литке. Поднявшись на второй этаж, они сразу поняли, что дело не в дровах.

На столе управделами стоял «максим», около него возились пулеметчики из ЧОН[1]. В коридорах — молчаливые часовые из горактива партии и комсомола. За широкой дверью кабинета секретаря губкома заканчивалось экстренное заседание бюро губкома партии.

[1] Ч О Н — части особого назначения, созданные из коммунистов и комсомольцев.

Через форточку с улицы шли провода к двум полевым телефонам.

Приглушенный разговор. Жаркий нашел в комнате Акима, Риту и Михайлу. Не сразу узнал Школенко в длинополой шинели под поясом, с портупеей и кобурой нагана. Рита, как когда-то в свою бытность политруком роты,— в красноармейском шлеме, в защитной юбке, поверх кожанки ремень к тяжелому маузеру.

— Как это все понимать надо? — с удивлением спросил ее Жаркий.

— Опытная тревога, Ваня. Сейчас поедем к вам в район. Сбор по тревоге в Пятой пехотной школе. Прямо с ячейковых собраний ребята двигаются туда. Главное — это проделать незаметно,— рассказывала Рита Жаркому.

Тихо в «кадетской» роще.

Высокие молчаливые дубы — столетние великаны. Спящий пруд в покрове лопухов и водяной крапивы, широкие запущенные аллеи. Среди рощи, за высокой белой стеной — этажи кадетского корпуса. Сейчас здесь Пятая пехотная школа краскомов. Глубокий вечер. Верхний этаж не освещен. Внешне здесь все спокойно. Всякий, проходя мимо, подумает, что за этой стеной спят. Но тогда зачем открыты чугунные ворота и что это похожее на две громадные лягушки у ворот? Но люди, шедшие сюда с разных концов железнодорожного района, знали, что в школе не могут спать, раз поднята ночная тревога. Сюда шли прямо с ячейковых собраний, после краткого извещения, шли, не разговаривая, в одиночку и парами, но не больше трех человек, в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку.

В актовом зале уже много людей. Здесь светло. Окна завешены брезентовыми палатками. Собранные здесь большевики, подшучивая над этими условностями тревоги, спокойно раскуривали козьи ножки. Никто никакой тревоги не ощущал. Просто так собирают, на всякий случай, чтобы чувствовалась дисциплина частей особого назначения. Но опытные фронтовики, входя во двор школы, чувствовали что-то не совсем похожее на условную тревогу. Очень уж тихо делалось все. Молча строились под полушепот команды взводы курсантов. На руках выносились пулеметы, и снаружи ни одного огонька во всех корпусах.

— Что-нибудь серьезное ожидается, Митяй? — тихо спросил Корчагин, подходя к Дубаве.

Митяй сидел на подоконнике рядом с незнакомой девушкой. Корчагин мельком видел ее третьего дня у Жаркого.

Дубава шутливо похлопал Павла по плечу:

— Что, сердце в пятки ушло, говоришь? Ничего, мы вас научим воевать... Ты что, с ней незнаком? — кивнул он на девушку.— Зовут Анной, фамилии не знаю, а чин ее — заведующая агитационной базой.

Девушка, слушая шутливое представление Дубавы, рассматривала Корчагина. Поправила выбившийся из-под сиреневой повязки виток волос.

С глазами Корчагина встретилась — несколько секунд длилось немое состязание. Глаза ее, иссиня-черные, вызывающе искрились. Пушистые ресницы. Павел отвел взгляд на Дубаву. Почувствовав, что краснеет, недовольно нахмурился.

— Кто же кого из вас агитирует? — силясь улыбнуться, спросил Павел.

В зале послышался шум. Михайло Школенко, взобравшись на стул, крикнул:

— Коммунары первой роты, строиться в этом зале! Быстрее, быстрее, товарищи!

В зал входили Жухрай, предгубисполкома и Аким. Они только что приехали.

Зал набит людьми, построенными в ряды.

Предгубисполкома стал на площадку учебного пулемета и, подняв руку, произнес:

— Товарищи, мы собрали вас сюда для серьезного и ответственного дела. Сейчас можно сказать то, чего нельзя было сказать еще вчера, так как это было глубокой военной тайной. Завтра в ночь в городе, как и по всей Украине, должно вспыхнуть контрреволюционное восстание. Город наполнен офицерьем. Вокруг города концентрируются бандитские шайки. Часть заговорщиков проникла в бронедивизион и работает там шоферами. Но Чрезвычайной комиссией заговор открыт, и мы сейчас ставим под ружье всю парторганизацию и комсомол. Совместно с испытанными частями из курсантов и отрядов Чека будут действовать первый и второй коммунистические батальоны. Курсанты уже выступили: теперь ваша очередь, товарищи. Пятнадцать минут на получение оружия и построение. Операцией будет руководить товарищ Жухрай. От него командиры получат точные указания. Я считаю излишним указывать коммунистическому батальону на серьезность настоящего момента. Завтрашний мятеж мы должны предотвратить сегодня.

Через четверть часа вооруженный батальон выстроился во дворе школы.

Жухрай обвел взглядом недвижные ряды батальона.

В трех шагах впереди строя двое в ремнях: комбат Меняйло — богатырь, уральский литейщик, и рядом — комиссар Аким. Налево — взводы первой роты. В двух шагах впереди — двое: комроты Школенко и политрук Устинович. За их спинами — молчаливые ряды коммунистического батальона. Триста штыков.

Федор подал знак:

— Пора выступать.

☆

Шли триста по безлюдным улицам.

Город спал.

На Львовской, против Дикой улицы, батальон оборвал шаг. Здесь начинались его действия.

Бесшумно оцеплялись кварталы. Штаб разместился на ступеньках магазина.

Сверху по Львовской, из центра, осветив шоссе прожектором, скатился автомобиль. У штаба застопорил.

Литке на этот раз привез своего отца. Комендант соскочил на мостовую и бросил несколько отрывистых фраз сыну полатышски. Машина рванула вперед и мигом исчезла за поворотом на Дмитровскую. Гуго Литке — весь в зрении. Руки слились с рулевым колесом — вправо-влево.

Ага, вот где понадобилась его, Литке, отчаянная езда! Никому в голову не придет припаять ему две ночи ареста за сумасшедшие виражи.

И Гуго летал по улицам, как метеор.

Жухрай, которого молодой Литке перебросил в мгновенье ока из одного конца города в другой, не мог не выразить своего одобрения:

— Если ты, Гуго, при такой езде сегодня никого не угробишь, завтра получишь золотые часы.

Гуго торжествовал:

— А я думаль — сутка десять ареста получаль за вираж...

Первые удары были направлены на штаб-квартиру заговорщиков. В Особый отдел были доставлены первые арестованные и забранные документы.

На Дикой улице, в переулке с таким же странным названием, в доме № 11, жил некто под фамилией Цюрберт. По данным ЧК, он играл немалую роль в белом заговоре. У него хранились списки офицерских дружин, которые должны были оперировать в районе Подола.

Сам Литке приехал на Дикую для ареста Цюрберта.

В квартире, выходящей окнами в сад, отделенный стеной от бывшего женского монастыря, Цюрберта не нашли. Он в этот день, по словам соседей, не возвращался. Произведен был обыск, вместе с ящиком ручных гранат нашли списки и адреса. Приказав устроить засаду, на минуту Литке задержался у стола, просматривая найденные материалы.

Часовым в саду стоял молодой курсант. Ему видно освещенное окно. Неприятно стоять здесь одному в углу. Жутковато. Ему приказано наблюдать за стеной. Но отсюда далеко до успокаивающего света окна. А тут еще чертов месяц так редко светит. В темноте кусты кажутся живыми. Курсант щупает штыком вокруг — пусто.

«Зачем меня поставили здесь? Все равно на стену никому не взобраться — высокая. Подойти, что ли, к окну, поглядеть?» — подумал курсант. Еще раз оглядев гребень стены, вышел из пахнущего плесенным грибом угла. Остановился на момент у окна. Литке быстро собирал бумаги и готовился уйти из комнаты. В этот момент на гребне стены появилась тень. Человеку с гребня виден часовой у окна и тот, другой, в комнате. С кошачьей ловкостью тень перебралась на дерево, потом на землю. По-кошачьи подкралась к жертве, замахнулась и — рухнул курсант. По рукоять вогнано ему в шею лезвие морского кортика.

Выстрел в саду ударил током по людям, оцепившим квартал. Гремя сапогами, к дому бежали шестеро.

Упав залитой кровью головой на стол, сидел в кресле мертвый Литке. Стекло окна разбито. Документов враг так и не выручил.

У монастырской стены заспешили выстрелы. Это убийца, спрыгнув на улицу, бросился бежать на Лукьяновские пустыри, отстреливаясь. Не ушел: догнала чья-то пуля.

Всю ночь шли повальные обыски. Сотни не прописанных в домовых книгах людей с подозрительными документами и оружием были отправлены в ЧК. Там работала отборочная комиссия — сортировала.

В некоторых местах заговорщики оказали вооруженное сопротивление. На Жилянской улице при обыске в одном доме был убит наповал Лебедев Антоша.

Соломенский батальон потерял в эту ночь пятерых, а в ЧК не стало Яна Литке, старого большевика, верного сторожевого республики.

Восстание предотвращено.

В эту же ночь в Шепетовке взяли попа Василия с дочерьми и всю остальную братию.

Улеглась тревога.

Но новый враг угрожал городу — паралич на стальных путях, а за ним голод и холод.

Хлеб и дрова решали всё.

Глава вторая

Федор в раздумье вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла.

Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов, над креслом предгубисполкома. Как в легком тумане, видны лица сидящих за столом, в углах кабинета.

Рядом с предгубисполкома грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косился на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами.

Аким поймал косой взгляд слесаря, и вспомнилось детство: был у них в доме драчун петух «Выбей глаз». Он точно так же посматривал перед наскоком.

Второй час продолжалось заседание губкома партии. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета.

Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил:

— ...И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше четырехсот кубометров дров. Ну, а задание в сто восемьдесят тысяч кубометров — это...— лысый подбирал слово,— утопия! — Сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ.

Молчание казалось долгим.

Федор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса:

— Тут и жевать нечего. В Желлескоме дров не было, нет и впредь не надейтесь... Так, что ли?

Лысый дернул плечом:

— Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...— Человек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель.

— Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней,— сказал из угла Денекко.

Лысый обернулся к нему:

— Я трижды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта...

Токарев остановил его.

— Это мы уже слыхали,— язвительно хмыкнул слесарь, кольнув лысого враждебным взглядом.— Вы что же, нас за дураков считаете?

От этого вопроса у лысого по спине заходили мурашки.

— Я за действия контрреволюционеров не отвечаю,— уже тихо отвечал лысый.

— Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги? — спросил Аким.

— Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке.

— Сколько у вас служащих? — задал лысому вопрос председатель совпрофа.

— Около двухсот.

— По кубометру на дармоеда в год! — бешено сплюнул Токарев.

— Мы всему Желлескому даем ударный паек, отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь? Куда вы дели два вагона муки, данные вам для рабочих? — продолжал председатель совпрофа.

Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей.

Угрем ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного: поскорее уйти отсюда туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом Поль де Кока.

Не переставая вслушиваться в ответы лысого, Федор писал на блокноте: «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже: здесь не простое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем... Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу».

Предгубисполкома прочел переданную ему записку и кивнул Федору.

Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону.

Когда он возвратился, предгубисполкома читал конец резолюции:

— «...снять руководство Желлескома за явный саботаж. Дело о разработке передать следственным органам».

Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но это пустяк, а дело о Боярке — ну, за это он спокоен, что не на его участке. «Фу, черт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь...»

Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный, сказал:

— Что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне

не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то, значит, не мог.

Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу.

— Ваша фамилия, гражданин? — спросил его человек в шинели.

С обрывающимся сердцем лысый проикал:

— Чер...винский...

В кабинете предгубисполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились тринадцать.

— Вот видите...— надавил пальцем развернутую карту Жухрай.— Вот станция Боярка, в шести верстах — лесоразработка. Здесь сложено в штабеля двести десять тысяч кубометров дров. Восемь месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате — предательство: дорога и город без дров. Их надо подвозить за шесть верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня — в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой... Понимаете, что это значит?.. Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу, а эти негодяи повели ее в глубь леса. Расчет верный: не сможем подвезти заготовленных дров к путям. И действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили!.. Это не меньше повстанкома.

Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу.

Каждому из тринадцати ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей. Больницы, школы, учреждения и сотни тысяч людей во власти стужи, а на вокзалах — человеческий муравейник, и поезд один раз в неделю.

Каждый глубоко задумался.

Федор разжал кулак:

— Есть один выход, товарищи: построить в три месяца узкоколейку от станции до лесоразработок — шесть верст — с таким расчетом, чтобы уже через полтора месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно,— голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел,— триста пятьдесят рабочих и два инженера. Рельсы и семь паровозов есть в Пуще-Водице. Их там комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить, одна развалина — школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на две недели, больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев,

Аким? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Комсомол кинет туда все, что только сможет: во-первых, соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но, если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают.

Начальник дороги недоверчиво покачал головой.

— Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте шесть верст проложить при теперешней обстановке: осень, дожди, потом морозы,— устало сказал он.

Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал:

— За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим. Не замерзать же сложа руки.

☆

Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурке Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли.

Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала:

— Желаем удачи.

Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей.

— Да, задали нам мороку, язви их в сердце! — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли.— Вы тут посматривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите где надо. Ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седать, доченька.

Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы невзначай спросила:

— Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно.

— Он с технору́ком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду.

По перрону к ним торопливо шли Жаркий, Дубава, а с ними, в небрежно накинутом жакете, с потухшей папиросой меж тонких пальцев, Анна Борхарт.

Всматриваясь в подходящих, Рита задала последний вопрос:

— Как ваша учеба с Корчагиным?

Токарев удивленно взглянул на нее:

— Какая учеба, ведь паренек под твоей опекой? Парень мне не раз говорил о тебе. Не нахвалится.

Рита недоверчиво прислушивалась к его словам:

— Так ли это, товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил переучиваться.

Старик рассмеялся:

— Ко мне?.. Я его и в глаза не видал.

Паровоз заревел. Клавичек из вагона кричал:

— Товарищ Устинович, отпускай нам папашу, нельзя же так! Что мы без него делать будем?

Чех еще что-то хотел сказать, но, заметив троих подошедших, замолчал. Мельком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил ее прощальную улыбку Дубаве и порывисто отошел от окна.

☆

Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темно-серые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища, хмуро стояли старики грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеянья, и стояли они голые и чахлые.

Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди.

Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты.

А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду.

Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи.

Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда, но люди с работы уходили только поздно вечером. И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес.

Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать,— все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей — дыры; вместо печных дверок — черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил.

Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложились четыреста человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. А сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер.

Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, полтора фунта черного, как антрацит, хлеба.

Это было все, что мог дать город.

Технорук, сухой, высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках, Валериан Никодимович Патошкин и техник Вакуленко, коренастый, с мясистым носом на грубо скроенном лице, поместились в квартире начальника станции.

Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Холявы, коротконогого, подвижного, как ртуть.

Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения.

Насыпь с каждым днем углублялась в лес.

Отряд насчитывал уже девять дезертиров. Через несколько дней сбежало еще пять.

Первый удар стройка получила на второй неделе: с вечерним поездом не пришел из города хлеб.

Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом.

Секретарь парткоммектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя под мышкой.

— Начинаются игрушки! — буркнул он себе под нос, быстро одеваясь.

В комнату вкатился шарообразный Холява.

— Сыпь к телефону и достучись до Особого отдела,— приказал ему Токарев.— А ты никому о хлебе ни звука,— предупредил он Дубаву.

После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый Холява добился связи с замнач Особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что? Хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал,— угрожающе загудел в трубку Жухрай.

— Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем? — сердито кричал в трубку Токарев.

Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь парткоммектива услыхал:

— Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литке, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас.

Чуть свет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литке-сын.

Борьба за стройку обострялась. Из правления дороги сообщили: нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку, и сами паровозики, оказалось, требовали значительного ремонта. Первая партия закан-

чивала работу, а смены не было, задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности.

В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив.

Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные — в Пущу-Водицу.

А дождь все лил.

Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью; сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще-холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово не ругаться. С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу.

На кухонном столе резала свеклу Одарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего вволю: по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми, могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей.

Одарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила:

— Ты что, к обеду мостишься? Раненько малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня,— брала она в оборот Корчагина.

Вошел пожилой повар.

— Сапог порвался вдребезги,— объяснил свое присутствие на кухне Павел.

Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на Одарку:

— У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель.

Слушая повара, Одарка пригляделась к Павлу и немного смутилась.

— А я вас за лодыря приняла,— призналась она.

Павел прощающе улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог.

— Латать его мой мужик не будет — не к чему, а чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу, на горище у нас такая валяется. Где ж это видно так мучиться! Не сегодня-

завтра мороз ударит, пропадете,— уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла.

Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху.

☆

Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату Холявы актив и передал ему невеселые новости.

— Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и всё на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили, на наш век их хватит,— докладывал старик собравшимся.— Я, ребятки, скажу открыто: дело ни к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют — неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну, так вот, ребятки, в городе возьмут в «штосс» всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем — одна слякоть,— говорил Токарев не обычным для него хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве.— Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром беспартийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома,— передал он Панкратову сложенный вчетверо лист.

Через плечо грузчика Корчагин прочел:

> Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкомола
>
> *Р. Устинович.*

В тесном бараке не пройти. Сто двадцать человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню.

Открывал собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех:

— Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут.

Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала ли-

ца. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о «домашнем уюте», другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемежку с бранью:

— К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас две недели — хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.

Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал: сын бухгалтера из губпродкома.

— Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор.

Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост.

— Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание — каторга? — глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих.— Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся, а тикать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина.

Грузчик не любил больших речей, но и эту, короткую, перебил все тот же голос:

— А беспартийные уезжают?

— Да,— отрубил Панкратов.

К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром.

— Вот билет, возьмите, пожалуйста. Из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!

Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:

— Чем швыряешься!

— Ах ты, шкура продажная!

— В комсомол втерся, на теплое местечко целился!

— Гони его отсюда!

— Мы тебя погреем, вошь тифозная!

Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.

☆

В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющиеся от ветра огоньки полами одежды, прочли:

> Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночн.

И подписано:

«Атаман Чеснок».

Чеснок был из банды Орлика.

☆

В комнате Риты на столе незакрытый дневник.

«2 декабря

Утром выпал первый снег. Крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Ольшинским. Шли вместе.

— Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? — сказал Ольшинский.

Я вспомнила о Боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала почему.

— Это субъективно? Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедии там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же: смех, слезы, горе и радость, жажда зрелищ и наслаждений, волненье, любовь...

В словах Ольшинского трудно отличить иронию. Ольшинский — уполномоченный Наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме, в квартире Сегала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить, знает Запад, долго жил в Париже, но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому: во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей — он достаточно мужествен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится.

Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Ольшинского.

Из Боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня

сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего двести сорок человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе?.. Дубава уже неделю там. В Пуще-Водице из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей.

На Дмитрия создано Управлением трамвая уголовное дело: он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из Пуще-Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли девятнадцать площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю.

На вокзале остатки соломенской комсомолии за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повез рельсы в Боярку.

Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в Управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше двух площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение:

— Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата?

Я еще не видела Дубаву таким свирепым.

— Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, и языком брешет. Мне без рельсов на Боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, Токареву на пересушку! — гремел Дмитрий на весь губком.

Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта от Акима выскочил красный и злой.

3 декабря

В губкоме новое дело, уже из Трансчека. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и, лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада двадцати пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с лесоразработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал.

Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется: «Все эти дела мы поломаем».

На стройке положение крайне напряженное и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Ребята на стройке все чаще выходят за рамки формалистики.

Ольшинский принес мне маленькую электрическую печку. Мы с Олей Юреневой греем над ней руки. Но в комнате от этого теплее не становится. Как-то там, в лесу, пройдет эта ночь? Ольга рассказывает: в больнице очень холодно и больные не вылезают из-под одеял. Топят через два дня.

Нет, товарищ Ольшинский, трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу!

4 декабря

Всю ночь валил снег. В Боярке, пишут, все засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение: стройку первой очереди, до границы лесоразработки, закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в Боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передóхнем, то выполним».

О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет «дела» вроде панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться.

5 декабря

Вчера банда обстреляла стройку».

☆

Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит — тогда всхрапывает конь. Метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних.

Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не устланной снегом земли. Здесь всадники задержали коней. Звякнули, встретясь, стремена. Шумно встряхнулся всем телом вспотевший от далекого пробега жеребец переднего.

— Их до биса наихало сюды,— говорил передний.— Ось мы им холоду нагоним. Батько сказав, щоб ции саранчи тут завтра не було, бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина доберется...

К станции подъезжали гуськом, по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы; не выезжая на поляну, остались за деревьями.

Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз

снежный ком с ветки серебристой при лунном свете березы. А меж деревьев высекали искры куцые обрезы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон.

Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги, но, когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол.

Падали друг на друга.

— Ты куда? — схватил за шинель Павла Дубава.

— На двор.

— Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись,— порывисто шептал Дмитрий.

Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них пять патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан.

Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла.

— Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда,— шепотом командовал лежащим Дубава.

Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки.

А в лесу десять всадников нахлестывали лошадей.

☆

В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Холява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет «максим», несколько коробок с пулеметными лентами и два десятка винтовок.

К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, вперевалку — все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще качающаяся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками: высокий Аким шел в ногу с Федором.

— Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его! Много земли вынимать придется.

Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой, и, пыхнув дымком раз-другой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шагу, уходил дальше.

Аким спросил Токарева:

— Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?

Токарев ответил не сразу.

— Знаешь, сынок,— сказал он наконец,— если говорить вообще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается.

Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно:

— Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут — Патошкин и я — знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить — нельзя. И вот почему я смог сказать: «Если не перемерзнем, то будет сделано». Сами поглядите, второй месяц, как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной состав — без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят — так сердце кровью заливает. Цены им нет... Не одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба.

☆

В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка.

Дальше, километра на полтора, на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленица, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, шла лишь ровная дорога.

Здесь работала первая строительная группа Панкратова. Сорок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвальней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов, под них ровняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты.

☆

Кропотливое и медленное это дело — прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать в земле шпалы и так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них.

Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои пятьдесят четыре года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой — дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все

невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный (отец Тали) всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки.

— Ну, как же мне вас кидать, скажите на милость? Напутаете без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по Расее натыкал за свою жизнь...— добродушно говорил он при каждой смене — и оставался.

Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы. Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, а плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось.

— А, губерния приехала! — проговорил он и подал Акиму горячую, влажную руку.

Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же прямо на снегу.

Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузовик шел рядом с Федором.

— Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? — серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика.

Панкратов смущенно улыбнулся:

— Мы его по согласию разоружили, он нас сам просил. Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали всё, как есть, он и говорит: «Я, ребята, не имею права позволить вам увезти окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах, ворует, мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас — он на меня обязательно донесет по службе, и меня в Ревтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесет, то на этом и кончится». Мы так и сделали. Двери и окна ведь не себе же везли!

Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил:

— Пусть же нам одним попадет, вы уже парня-то не жмите, товарищ Жухрай.

— Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя — это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном.— И Федор начал расспрашивать о подробностях налета.

☆

В четырех с половиной километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути.

А по сторонам стояло семеро, вооруженных карабином Холявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда.

Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город.

— На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая,— негромко сказал Патошкин стоящему перед ним Хомутову, хмурому увальню, скуповатому на слова.

— Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вы на выемку пятнадцать кладете,— ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса.

— Этот срок не реален, правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало.

В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На косогоре их заметили.

— Глянь, кто это? — толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере, Петька Трофимов, болторез из мастерских, указывая пальцем под косогор.

В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал его руку.

— Здоро́во, Павел. Поди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке.

Панкратов криво усмехнулся.

— Ничего себе комбинация из пяти пальцев, и все пять наружу. К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна: тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает, а потом «сыграет в ящик»,— невесело говорил Акиму грузчик.

Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил:

— Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем — и на кухню его в повара, к Одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест и погреется — хоть у печки, хоть у Одарки.

Дружный смех покрыл его слова.

В этот день смеялись первый раз.

☆

Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мельканье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму:

— Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется.

Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств — источника тепла и жизни.

☆

Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше двух недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал.

— Снимите людей с косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе.

На станции Жухрай долго сидел у телефона. Холява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора:

— Позвони сейчас же от моего имени наштаокру[1], пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к двенадцати Литке с машиной.

В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенный на первое января.

— Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в роту ЧОН. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть равных частей. Каждая группа получает свою часть. К первому января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, президиум губисполкома возбудит хода-

---

[1] Наштаокр — начальник штаба округа.

тайство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы.

Начальниками стройгрупп были утверждены: первой — товарищ Панкратов, второй — товарищ Дубава, третьей — товарищ Хомутов, четвертой — товарищ Лагутин, пятой — товарищ Корчагин, шестой — товарищ Окунев.

— Начальником стройки,— заканчивал свою речь Жухрай,— ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев.

Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица, и дружески-шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха.

Человек двадцать гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезины.

Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко:

— Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?

— Что-то похоже на это — припухать стали,— ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав: — Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только три.

Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер:

— Вот тебе мой подарок.

Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень:

— Бери, бери! Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй. Вот тебе еще три полные обоймы к нему.

На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул:

— Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу.

Панкратов озорно толкнул Павла в спину:

— Меняй, черт, на валенки. Все равно в калоше не доживешь до рождества Христова.

Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разрешение на подаренный револьвер.

☆

Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов трое подрывников из бронепоезда

глубоко забили в косогор две огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальные выстрелы. Тогда от страшного теперь косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком.

У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания — и... вздрогнула земля, страшная сила разнесла вершину холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого. Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора.

Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля.

В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами.

☆

С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание — борьба за первенство.

Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу.

Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло.

В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протиснулся Панкратов.

— Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, саженей десять уже проложили. Ребята говорят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те решили двадцать пятого закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим! — возмущенно говорил он Дубаве.

Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул: не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду.

— Дружба дружбой, а табачок врозь — тут кто кого,— сказал Панкратов.

Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел.

— В ружье, братва! Банда! — крикнул Павка и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер.

Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул:

— Стой, товарищи! Свои!

Полсотни конных в буденовках с алыми звездами подъезжали по дороге.

Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лысиной на лбу не стояла на месте, «играла» под всадником. Она испуганно попятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил ее под уздцы:

— Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! Уцелела от пули, красавица моя одноухая.

Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой ее вздрагивающие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивленно ахнул:

— Да это же Корчагин!.. Коня узнал, а Середу недосмотрел. Здравствуй, братенек!

☆

В городе «нажали на все рычаги». Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в Боярку. На Соломенке остались одни дивчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов.

Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал:

— Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На дверях напишем: «Женотдел», и покачука я на Боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки подозрительно. Наверно, меж собой говорят, сороки: «Всех разослал, а сам остался, гусь лапчатый», или еще пообиднее что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать.

Аким, смеясь, отказал.

В Боярку прибывал народ. Прибыло и шестьдесят студентов-путейцев.

Жухрай добился у Управления дороги посылки в Боярку четырех классных вагонов для жилья вновь посланным рабочим.

Группа Дубавы была снята с работы и послана в Пущу-Водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики

и шестьдесят пять узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке.

Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать Клавичека на стройку и дать ему вновь организованную группу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании чеха. А причиной была записка Анны, переданная приезжими соломенцами.

Дмитрий,— писала Анна.— *Мы с Клавичеком отобрали вам гору литературы. Шлем тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы все молодчаги! Желаем вам сил и энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. Клавичек просил передать вам привет. Чудный парень! Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам машиной месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши: Лагутина, Артюхина, Клавичек и иногда Жаркий. Понемногу подвигаем учебу, но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишения наравне со всеми. Таля говорит: «Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане, пусть попробует меня оттуда выпереть».*

Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черноглазому.

Анна.

☆

Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом.

Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи: не держала тепла станционная развалина.

Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на сине-голубом небе ни единого облачка.

Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег.

На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его едва приволок сюда выдыхающийся паровоз: на тендере ни одного полена, в топке догорали остатки.

— Дадите дров — поедем, а нет — переведите поезд на запасный, пока есть чем двигать! — кричал машинист начальнику станции.

Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались.

— Поговорите со стариком — вон идет по перрону. Это начстройки. Он может приказать подвезти к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут,— посоветовал начальник станции кондукторам.

Те пошли навстречу Токареву.

— Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы. В поезде шестьсот — семьсот пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным лопаты в руки — и до вечера греби снег. За это получат дрова. Если откажутся — пусть сидят до нового года,— сказал Токарев кондукторам.

☆

— Смотри, ребята, народу-то валит сколько! Гляди, и женщины! — удивленно заговорили за спиной Корчагина.

Павел обернулся.

— Вот тебе сто человек, дай им работу и присматривай, чтобы не сидели,— сказал, подходя, Токарев.

Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина, в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, возмущенно вертел в руках лопату и, обращаясь к стоящей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, протестовал:

— Я грести снег не буду, меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я, как инженер-путеец, смогу распорядиться работой, но ворочать снег ни ты, ни я не должны, это инструкцией не предусматривается. Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник? — спросил он ближайшего к нему рабочего.

Подошел Корчагин:

— Почему вы не работаете, гражданин?

Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом:

— А вы что из себя представляете?

— Я рабочий.

— Тогда мне не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне десятника или кто тут у вас.

Корчагин исподлобья посмотрел на него:

— Не хотите работать — не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки... А вы, гражданка, тоже отказываетесь? — повернулся Павел к женщине — и на миг остолбенел: перед ним стояла Тоня Туманова.

Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно не мытым лицом стоял перед ней Павел. Только одни глаза с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось!

Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в правлении дороги на ответственном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни не продвинулся.

Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбесило наглое, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне:

— Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого лаццарони.

Корчагин знал из романа «Джузеппе Гарибальди», кто такой лаццарони.

— Если я лаццарони, то ты просто недорезанный буржуй,— глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил: — Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится.

Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони, и добавил вскользь:

— Оставаться не советую. На днях банда наведывалась.

Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей.

Последние слова возымели действие и на путейца.

Тоня уговорила его остаться работать.

Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошел вперед, спеша занять места в поезде. Тоня остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на лопату, утомленный Корчагин.

— Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидала увидеть тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась...— заговорила Тоня, идя рядом с ним.

Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом.

— Я тоже не ожидал встретить тебя такой... замаринованной,— нашел наконец Павел подходящее слово помягче.

Кончики ушей Тони загорелись.

— Ты все так же грубишь!

Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя несколько шагов, ответил:

— Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с позволения сказать, вежливости. О моей жизни беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем.

☆

Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало.

Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, потеряв свое обычное спокойствие, поджигал своих «пристанских» на сумасшедшие темпы.

Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя: «Что это за люди? Что это за непонятная сила? Ведь если погода продержится еще хотя бы дней восемь, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит: век живи, век учись — и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы».

Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал:

— Это тебе. Не ведаешь, от кого?.. Хо! Ну и глуп же ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Ольшинский ей подарил, она

из рук его взяла и мне передала — вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Ольшинский немного нос скривил. «Я,— говорит,— этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась: ничего, в куртке ему лучше работать! Получай!

Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь.

☆

Рита записывала:

«20 декабря

Полоса вьюг. Снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюга остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего три четверти километра, но самые трудные.

Токарев сообщает: на стройке появился тиф, трое заболело.

22 декабря

На пленум губкомола из Боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в семнадцати километрах от Боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда.

23 декабря

В город из Боярки привезли еще семерых в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больницах холодно. Проклятая вьюга! Когда она кончится?

24 декабря

Только что от Жухрая. Оказывается, верно: Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на Боярку. Два часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Жухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь навылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но, отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено одиннадцать. Сейчас там бронепоезд и два эскадрона кавалерии.

Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до

единого. Часть кадровиков-беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам.

25 декабря

Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности.

Из Боярки губкомпарт и мы получили телеграмму: «В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге, совместно с командой бронепоезда «За власть Советов» и красноармейцами кавполка заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к первому января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует Коммунистическая партия, пославшая нас! Председатель митинга Корчагин. Секретарь Берзин».

На Соломенке с военными почестями похоронили Клавичека».

☆

Заветные дрова уже близки. Но к ним продвигались томительно медленно: каждый день тиф вырывал десятки нужных рук.

Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного.

Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и пять дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и валенки, присланные Федором, надетые на уже обмороженные ноги.

При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель.

Едва добрался до станции. Необычный шум поразил его. Вгляделся: длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы — их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую щеку.

На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вызванный с бронепоезда фельдшер заявил: «Крупозное воспаление легких и брюшной тиф. Температура 41,5. О воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится —

мелочь. Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет».

Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла.

Земляку Корчагина — Алеше Коханскому — было поручено отвезти больного в родной город.

Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском Холявы Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алешу в набитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом, сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге.

Холява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке больного, кричал:

— Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого вас всех выкидывать пришлось бы! Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет — я сообщу по линии: всех снимем с поезда и посадим за решетку. Вот тебе, Алеша, Павкин маузер, бей в упор всякого, кто его вздумает снимать,— подбросил Холява для острастки.

Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошел к Дубаве:

— Как ты думаешь, выживет?

И не получил ответа.

— Пойдем, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется, а утром попробуем их разогреть.

Холява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного Корчагина и, только получив твердое обещание «не допустить», пошел спать.

☆

На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого парня. Кто он и отчего умер — никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу Холявы, побежали к вагону, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую эвакоприемника.

Холяве же тотчас позвонили в Боярку, сообщая о смерти того, за жизнь которого он так беспокоился.

Краткая телеграмма из Боярки извещала губком о гибели Корчагина.

Алеша Коханский доставил больного Корчагина родным и сам свалился в жарком тифу.

☆

«9 января

Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог думать, что и Рита может рыдать, и еще как больно! Разве слезы всегда признак слабости воли? Сегодня причина их — жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня, в день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом, когда я только что была на торжестве победы, на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев-строителей? Это победа, но за нее двое отдали свою жизнь: Клавичек и Корчагин.

Гибель Павла открыла мне истину: он мне дорог больше, чем я думала.

На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-либо к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК комсомола Украины».

Глава третья

Молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел перевалил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. Только через месяц, худой и бледный, поднялся он на неустойчивые ноги и, цепляясь за стены, попытался пройти по комнате. Поддерживаемый матерью, он дошел до окна и долго смотрел на дорогу. Поблескивали лужицы от тающего снега. На дворе была первая предвесенняя оттепель.

Прямо перед окном, на ветке вишни, хорохорился серопузый воробей, беспокойно посматривая вороватыми глазками на Павла.

— Что, пережили зиму с тобой? — тихо проговорил Павел, постучав пальцем в окно.

Мать испуганно посмотрела на него:

— Ты с кем там?

— Это я воробью... Улетел, жуликоватый такой,— и слабо улыбнулся.

Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но в его организме творилось что-то неладное. Однажды, гуляя в саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в позвоночнике. С трудом приплелся в комнату. На другой день его внимательно осматривал врач. Нащупав в позвонке глубокую впадину, удивленно хмыкнул:

— Откуда у вас это?

— Это, доктор, след от камня из мостовой. Под городом Ровно трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули...

— Как же вы ходили? Вас это не тревожило?

— Нет. Тогда полежал часа два — и на лошадь. Вот только сейчас первый раз напомнило.

Врач, нахмурясь, осматривал впадину:

— Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он о себе не заявит. Оденьтесь, товарищ Корчагин.

И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смотрел на своего пациента.

☆

Артем жил в семье своей жены, неприглядной молодухи Стеши. Семья была захудалая крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком грязном дворике бегал замазюканный раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазенками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил:

— Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? Уходи лучше, а то у нас мамка сердитая!

В старой низкой избенке открылось крошечное окно, и Артем позвал:

— Заходи, Павлуша!

У печи возилась с ухватом старуха с пожелтелым, как пергамент, лицом. Она на миг коснулась Павла нелюбезным взглядом и, пропустив гостя, загремела чугунами.

Две девочки-подростка с куцыми косичками быстро взобрались на печь и с любопытством дикарей выглядывали оттуда.

За столом сидел Артем, немного смущенный. Его женитьбу не одобряли ни мать, ни брат. Потомственный пролетарий, Артем неизвестно почему порвал свою трехлетнюю дружбу с красавицей Галей, дочерью каменотеса, работницей-портнихой, и пошел «в примаки» к серенькой Стеше, в семью из пяти ртов, без единого работника. Здесь он после деповской работы всю свою силу вкладывал в плуг, обновляя захирелое хозяйство.

☆

Артем знал, что Павел не одобрял его отхода, как он выражался, в «мелкобуржуазную стихию», и теперь наблюдал, как воспринимает брат все окружающее его здесь.

Посидели, перебросились малозначащими, обычными при встрече фразами, и Павел собрался уходить. Артем задержал его:

— Погодь, покушаешь с нами, сейчас Стеша молока принесет. Значит, завтра едешь? Слабоват ты еще, Павка.

В комнату вошла Стеша, поздоровалась, позвала Артема на гумно помочь что-то перенести. Павел остался один со старухой, не щедрой на слова. В окно донесся церковный звон. Старуха поставила ухват и недовольно забормотала:

— Осподи сусе, за чертовой работой и помолиться некогда! — И, сняв с шеи платок, подошла, косясь на пришельца, к углу, уставленному потемневшими от времени, унылыми ликами святых. Сложив щепоткой три костлявых пальца, закрестилась.— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...— зашептала она высохшими губами.

На дворе мальчонка с наскока оседлал черную вислоухую свинью. Крепко шпоря ее босыми ногами, вцепившись ручонками в щетину, кричал на вертящееся и хрюкающее животное:

— Но-о-о, пошла, поехала! Тпру! Не балуй!

Свинья носилась с мальчишкой по двору, пытаясь его сбросить, но раскосый сорванец держался крепко.

Старуха прервала молитву и высунулась в окно:

— Я тебе поезжу, трясця твоему батькові! Слезь со свиньи, холера тебе в бок, а провались ты, таке дитя скаженне!

Свинье удалось наконец сбросить наездника, и удовлетворенная старуха опять повернулась к иконам. Сделав набожное лицо, она продолжала:

— Да приидет царствие твое...

В дверях показался заплаканный мальчишка. Рукавом утирая ушибленный нос, всхлипывая от боли, он заныл:

— Мамка-а-а, дай вареник!

Старуха злобно повернулась:

— Помолиться не даст, черт косоокий. Я тебя, сукиного сына, сейчас накормлю!..— И она схватила с лавки кнут.

Мальчик моментально исчез. За печкой девочки тихонько прыснули.

Старуха в третий раз принялась за молитву.

Павел встал и вышел, не дождавшись брата. Закрывая калитку, приметил в крайнем оконце голову старухи. Она следила за ним.

«Какая нелегкая затянула сюда Артема? Теперь ему до смерти не выбраться. Будет Стеша рожать каждый год. Закопается, как жук в навозе. Еще, чего доброго, депо бросит,— размышлял удрученный Павел, шагая по безлюдной улице городка.— А я было думал в политическую жизнь втянуть его».

Он радовался, что завтра уедет туда, в большой город, где остались его друзья и дорогие его сердцу люди. Большой город притягивал своей мощью, жизненностью, суетой непрерывных

человеческих потоков, грохотом трамваев и криком сирен автомобилей. А главное, тянуло в огромные каменные корпуса, закопченные цеха, к машинам, к тихому шороху шкивов. Тянуло туда, где в стремительном разбеге кружились великаны-маховики и пахло машинным маслом, к тому, с чем сроднился. Здесь же, в тихом городке, бродя по улицам, Павел ощущал какую-то подавленность. Не удивляло, что городок стал ему чужим и скучным. Неприятно даже было выходить днем гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крылечках, Павел слышал их торопливый переговор:

— Дывысь, бабы, откуда цей страхополох?

— Видать, беркулезный, чихотка у него.

— А тужурка на ем богатая, не иначе — краденая...

И многое другое, от чего становилось противно.

Давно уже оторвался корнями отсюда. Стал ближе и роднее большой город, братва, крепкая и жизнерадостная, и труд.

Корчагин незаметно дошел до сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо — отгороженная от леса высоким заостренным частоколом угрюмая старая тюрьма, за ней белые корпуса больницы.

Вот здесь, на этой просторной площади, задыхались в петлях Валя и ее товарищи. Молча постоял он на том месте, где была виселица, затем пошел к обрыву. Спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища.

Чьи-то заботливые руки убрали ряд могил венками из ели, оградив маленькое кладбище зеленой изгородью. Над обрывом высились стройные сосны. Зеленый шелк молодой травы устлал склоны оврага.

Здесь край городка. Тихо и грустно. Легкий лесной шелест и весенняя прель возрожденной земли. Здесь мужественно умирали братья, для того чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом рабства.

Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть заполнила сердце.

Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее.

Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища.

☆

Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за ней, Павел видел: скрывает от него слезы.

— Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут — разбегутся. Чего тебя в город-то тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмотрел себе перепелку стриженую? Ведь никто мне, старухе, ничего не расскажет. Артем женился — слова не сказал, а ты уж и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь,— тихонько говорила мать, укладывая в чистую сумку небогатые сыновьи пожитки.

Павел взял ее за плечи, притянул к себе:

— Нет, маманя, перепелки! А знаешь ли ты, старенькая, что птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, перепел?

Заставил мать улыбнуться.

— Я, маманя, слово дал себе дивчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя, долго буржуй не продержится... Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящие,— в Италию, страна такая теплая понад морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем.

— Не дожить мне, сынок, до твоей сказки... Таким заскочистым твой дед был, в моряках плавал. Настоящий разбойник, прости господи! Довоевался в севастопольскую войну, что без ноги и руки домой вернулся. На груди ему два креста навесили и два полтинника царских на ленточках, а помер старый в страшной бедности. Строптивый был, ударил какую-то власть по голове клюшкой, в тюрьме мало не год просидел. Закупорили его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя, не иначе как в деда вдался.

— Что же мы, маманя, прощание таким невеселым делаем? Дай-ка мне гармонь, давно в руках не держал.

Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Дивилась мать новым тонам его музыки.

Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной залихватистости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы, стала какой-то более глубокой.

☆

На вокзал пришел один.

Уговорил мать остаться дома: не хотел ее слез при прощанье.

В поезд набились все нахрапом. Павел занял свободную полку на самом верху и оттуда наблюдал за крикливыми и возбужденными людьми в проходах.

Все также тащили мешки и пихали их под лавку.

Когда поезд тронулся, поугомонились и, как всегда в этих случаях, жадно принялись за еду.

Павел скоро уснул.

☆

Первый дом, который он хотел посетить, был в центре города, на Крещатике. Медленно взбирался по ступенькам. Все кругом знакомо, ничто не изменилось. Шел по мосту, рукой скользил по гладким перилам. Подошел к спуску. Остановился — на мосту ни души. В бескрайней вышине ночь открывала завороженным глазам величественное зрелище. Черным бархатом застилала темь горизонт, перегибаясь, мерцали фосфористым светом, жглись звездные множества. А ниже, там, где сливалась на невидимой грани с небосклоном земля, город рассыпал в темноте миллионы огней.

Навстречу Корчагину по лестнице поднималось несколько человек. Резкие голоса увлеченных спором людей нарушили тишину ночи, и Павел, оторвав взгляд от огней города, стал спускаться с лестницы.

На Крещатике, в бюро пропусков Особого отдела округа, дежурный комендант сообщил Корчагину, что Жухрая в городе уже давно нет. Он долго прощупывал Павла вопросами и, лишь убедившись, что парень лично знаком с Жухраем, рассказал: Федор уже два месяца, как отозван на работу в Ташкент, на туркестанский фронт. Огорчение Корчагина было так велико, что он не стал даже спрашивать подробностей, а молча повернулся и вышел на улицу. Усталость навалилась на него и заставила присесть на ступеньки подъезда.

Прошел трамвай, наполняя улицу грохотом и лязгом. На тротуарах бесконечный людской поток. Оживленный город — то счастливый смех женщин, то обрывки мужского баса, то тенор юноши, то клокочущая хрипотца старика. Людской поток бесконечен, шаг всегда тороплив. Ярко освещенные трамваи, вспышки автомобильных фар и пожар электроламп вокруг рекламы соседнего кино. И везде люди, наполняющие несмолкаемым говором улицу. Это вечер большого города.

Шум и суета проспекта скрадывали остроту горечи, вызванной известием об отъезде Федора. Куда идти? Возвращаться на Соломенку, где были друзья,— далеко. И сам собой всплыл дом на недалекой отсюда Кругло-Университетской улице. Конечно, он сейчас пойдет туда. Ведь после Федора первым товарищем, которого он хотел бы видеть, была Рита. Там, у Акима или Михайлы, можно и заночевать.

Еще издали наверху в угловом окне увидел свет. Стараясь быть спокойным, потянул к себе дубовую дверь. На площадке постоял несколько секунд. За дверью в комнате Риты слышны голоса, кто-то играл на гитаре.

«Ого, разрешена, значит, и гитара? Режим смягчен»,— заключил Корчагин и легонько стукнул кулаком в дверь. Чувствуя, что волнуется, зажал зубами губу.

Дверь открыла незнакомая женщина, молодая, с завитушками на висках. Вопросительно оглядела Корчагина:

— Вам кого?

Она не закрывала двери, и беглый взгляд на незнакомую обстановку уже подсказал ответ.

— Устинович можно видеть?

— Ее нет, она еще в январе уехала в Харьков, а оттуда, как я слышала, в Москву.

— А товарищ Аким здесь живет или тоже уехал?

— Товарища Акима тоже нет. Он сейчас секретарь Одесского губкомола.

Павлу ничего не оставалось делать, как повернуть назад. Радость возвращения в город поблекла.

Теперь надо было серьезно подумать о ночлеге.

— Так по друзьям ходить, все ноги отобьешь и никого не увидишь,— угрюмо ворчал Корчагин, пересиливая горечь. Но все же решил еще раз попытать счастья — найти Панкратова.

Грузчик жил вблизи пристани, и к нему было ближе, чем на Соломенку.

Совсем усталый, добрался наконец до квартиры Панкратова и, стуча в когда-то окрашенную охрой дверь, решил: «Если и этого нет, больше бродить не буду. Заберусь под лодку и переночую».

Дверь открыла старушка в простеньком, подвязанном под подбородок платочке, мать Панкратова.

— Игнат дома, мамаша?

— Только что пришедши. А вы к нему?

Она не узнала Павла и, оборачиваясь назад, крикнула:

— Генька, тут к тебе!

Павел вошел с ней в комнату, положил на пол мешок.

Панкратов, доедая кусок, повернулся к нему из-за стола.

— Ежели ко мне, садись и рассказывай, а я пока борща умну миску, а то с утра на одной воде.— И Панкратов взял в руку огромную деревянную ложку.

Павел сел сбоку на продавленный стул. Сняв с головы фуражку, по старой привычке вытер ею лоб.

«Неужели я так изменился, что и Генька меня не узнал?»

Панкратов отправил ложки две борща в рот и, не получив от гостя ответа, повернул к нему голову:

— Ну, давай, что там у тебя?

Рука с куском хлеба на полдороге ко рту остановилась. Панкратов растерянно замигал:

— Э... постой... Тьфу ты, буза какая!

Видя его красное от натуги лицо, Корчагин не вытерпел и расхохотался.

— Павка! Ведь мы тебя за пропащего считали!.. Стой! Как тебя зовут?

На крики Панкратова из соседней комнаты выбежали старшая сестра и мать. Все втроем наконец удостоверились, что перед ними настоящий Корчагин.

В доме уже давно спали, а Панкратов все еще рассказывал о событиях за четыре месяца:

— Еще зимой в Харьков уехали Жаркий, Митяй и Михайло. И не куда-нибудь, стервецы, а в Коммунистический университет. Ванька и Митяй — на подготовительный, Михайло — на первый. Нас человек пятнадцать собралось. С горячки и я нашпарил заявление. Надо, думаю, в мозгах начинку подгустить, а то жидковато. Но, понимаешь, в комиссии меня посадили на песок.

Сердито посопев, Панкратов продолжал:

— Сначала у меня на мази дело было. Все статьи подходящие: партбилет есть, стажа по комсе хватает, насчет положеньев и происхожденьев носа не подточишь, но, когда дело дошло до политпроверки, здесь у меня получилась неприятность.

Заелся я с одним товарищем из комиссии. Подкидывает он мне такой вопросец: «Скажите, товарищ Панкратов, какие сведения вы имеете по философии?» А сведений-то, понимаешь, у меня никаких и не было. Но тут же вспомнил, был у нас грузчик один, гимназист, бродяга. В грузчики из форсу поступил. Он нам рассказывал как-то: черт его знает когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилии не помню, кажись, Идеоген, жил всю жизнь в бочке и так далее... Лучшим спецом

среди них считался тот, кто сорок раз докажет, что черное — то белое, а белое — то черное. Одним словом, были они брехуны. Ну вот, я рассказ гимназиста вспомнил и подумал: «Объезжает меня с правой стороны этот член комиссии». А тот с хитринкой на меня поглядывает. Ну, я тут и жахнул. «Философия, говорю, это одно пустобрехство и наводка теней. Я, товарищи, этой бузой заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет истории партии всей душой бы рад». Давай они меня тут марьяжить, откуда, мол, у меня такие новости про философию. Тут я еще кое-что прибавил со слов гимназиста, от чего вся комиссия в хохот. Я обозлился. «Что, говорю, вы с меня тут дурака строите?» За шапку — и домой.

Потом меня этот член комиссии в губкоме встретил и часа три беседовал. Оказывается, гимназистик-то напутал. Выходит, что философия — большое и мудрое дело.

А вот Дубава и Жаркий прошли. Ну, Митяй хоть учился здорово, а Жаркий — тот недалеко от меня отъехал. Не иначе, как орден Ваньке помог. Одним словом, остался я на бобах. Меня здесь на пристанях хозяйством ворочать назначили. Замещаю начальника товарной пристани. Раньше я, бывало, всегда с начами вперебой вступал по разным делам молодежным, а теперь самому приходится руководить делом хозяйственным. Иногда и так бывает, лодырь тебе под руку подвернется или растяпа неповоротливая, так жмешь его и как начальник и как секретарь. Он уж мне очков не вотрет, извиняюсь. О себе потом. Какие я тебе новости еще не рассказывал? Про Акима знаешь, из старых в губкоме только Туфта торчит все на том же месте. Токарев секретарит в райкоме партии на Соломенке. В райкоме Окунев, твой коммунщик. Политпросветом — Таля. В мастерских на твоем месте Цветаев, я его мало знаю, на губкоме встречаемся, кажется, парень не глупый, но самолюбивый. Если помнишь Борхарт Анну, она тоже на Соломенке, завженотделом райкомпарта. Об остальных я уже тебе рассказывал. Да, Павлуша, много народу партия на учебу бросила. В губсовпартшколе весь старый актив теперь сидит за книжкой. На будущий год обещают и меня послать.

Уснули далеко за полночь. Утром, когда Корчагин проснулся, Игната в доме уже не было, ушел на пристань. Дуся, сестра его, крепкая дивчина, лицом в брата, угощала гостя чаем, весело тараторя о всяких пустяках. Отец Панкратова, судовой машинист, был в поездке.

Корчагин собрался уходить. На прощанье Дуся напомнила:

— Не забывайте, что ждем вас к обеду.

☆

В губкоме обычное оживление. Входная дверь не знает покоя. В коридорах и в комнате людно; приглушенный стук машинок за дверью управления делами.

Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, вошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь губкома. Встретил Корчагина коротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать.

Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя Акима.

— По какому вопросу? — спросил секретарь в косоворотке, ставя точку в конце исписанного листа.

Павел рассказал ему свою историю.

— Необходимо, товарищ, воскресить меня в списках организации и направить в мастерские. Сделай об этом распоряжение.

Секретарь откинулся на спинку стула. Ответил нерешительно:

— Восстановим, конечно, об этом разговора быть не может. Но в мастерские посылать тебя неудобно, там уже работает Цветаев, член губкома последнего созыва. Мы тебя используем в другом месте.

Глаза Корчагина сузились:

— Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я иду в цех по специальности, а не секретарем коллектива, и, поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать.

Секретарь согласился. Набросал на бумаге несколько слов.

— Передайте товарищу Туфте, он все уладит.

В учраспреде[1] Туфта разносил в пух и прах своего помощника — учетчика. С полминуты Павел слушал их перебранку, но, видя, что она затягивается надолго, прервал расходившегося учраспредчика:

— Потом доругаешься с ним, Туфта. Вот тебе записка, давай оформим мои документы.

Туфта долго смотрел то на бумагу, то на Корчагина. Наконец уразумел:

— Э! Значит, ты не умер? Как же теперь быть? Ты исключен из списков, я сам посылал в ЦК карточку. А потом, ты же не прошел всероссийской переписи. Согласно циркуляру ЦК комсомола, все, не прошедшие переписи, исключаются. Поэтому тебе остается одно — вступать вновь на общих основаниях,— произнес Туфта безапелляционным тоном.

Корчагин поморщился:

---

[1] Учраспред — учетно-распределительный отдел.

— Ты все по-старому? Молодой парень, а хуже старой крысы из губархива. Когда ты станешь человеком, Володька?

Туфта подскочил, словно его укусила блоха:

— Прошу мне нотаций не читать, я отвечаю за свою работу. Циркуляры пишутся не для того, чтобы я их нарушал. А за оскорбление насчет «крысы» привлеку к ответственности.

Последние слова Туфта произнес с угрозой и демонстративно подтянул к себе ворох пакетов непросмотренной почты, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Павел не спеша направился к двери, но, вспомнив что-то, вернулся к столу, взял обратно лежавшую перед Туфтой записку секретаря. Учраспредчик следил за Павлом. Злой и придирчивый, этот молодой старичок с большими настороженными ушами был неприятен и в то же время смешон.

— Ладно,— издевательски-спокойно сказал Корчагин.— Мне, конечно, можно припаять «дезорганизацию статистики», но скажи мне, как ты ухитряешься налагать взыскания на тех, кто взял да и помер, не подав об этом предварительно заявления? Ведь это каждый может: захочет — заболеет, захочет — умрет, а циркуляра на этот счет, наверно, нет.

— Го-го-го! — весело заржал помощник Туфты, не выдержавший нейтралитета.

Кончик карандаша в руке Туфты сломался. Он швырнул его на пол, но не успел ответить своему противнику.

В комнату ввалились гурьбой несколько человек, громко разговаривая и смеясь. Среди них был Окунев. Радостному удивлению и расспросам не было конца. Через несколько минут в комнату вошла еще группа молодежи и с ней Юренева. Она долго, растерянно, но радостно жала ему руки.

Павла опять заставили рассказывать все сначала. Искренняя радость товарищей, неподдельная дружба и сочувствие, крепкие рукопожатия, хлопки по спине, увесистые и дружеские, заставили забыть о Туфте. Под конец рассказа Корчагин передал товарищам и свой разговор с Туфтой. Кругом послышались возмущенные восклицания. Ольга, наградив Туфту уничтожающим взглядом, пошла в комнату секретаря.

— Идем к Нежданову! Он ему прочистит поддувало.— С этими словами Окунев взял Павла за плечи, и они с толпой товарищей пошли вслед за Ольгой.

— Его надо снять и послать к Панкратову на пристань грузчиком на год. Ведь Туфта — штампованный бюрократ! — горячилась Ольга.

Секретарь губкома снисходительно улыбался, выслушивая требования Окунева, Ольги и других снять Туфту из учраспреда.

— О восстановлении Корчагина говорить нечего, ему сейчас же выпишут билет,— успокаивал Ольгу Нежданов.— Я тоже с вами согласен, что Туфта формалист,— продолжал он.— Это его основной недостаток. Но ведь надо же признать, что он поставил дело очень неплохо. Где я ни работал, учет и статистика в комсомольских комитетах — непроходимые дебри, и ни одной цифре верить нельзя. А в нашем учраспреде статистика поставлена хорошо. Вы сами знаете, что Туфта иногда просиживает в своем отделе до ночи. И я так думаю: снять его можно всегда, но если вместо него будет рубаха-парень, но никудышный учетчик, то бюрократизма не будет, но и учета не будет. Пусть работает. Я ему намылю голову как следует. Это подействует на некоторое время, а там посмотрим.

— Ладно, шут с ним,— согласился Окунев.— Едем, Павлуша, на Соломенку. Сегодня в нашем клубе собрание актива. Никто еще о тебе не знает и вдруг: «Слово Корчагину!» Молодец, Павлуша, что не умер! Ну, какая тогда была бы с тебя польза пролетариату? — шутливо резюмировал Окунев, загребая в охапку Корчагина и выталкивая его в коридор.

— Ольга, ты придешь?

— Обязательно.

☆

Панкратовы не дождались Корчагина к обеду, не вернулся он и к ночи. Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме Совета у него была отдельная комната. Накормил чем смог и, положив на столе перед Павлом кипы газет и две толстые книги протоколов заседаний бюро райкомола, посоветовал:

— Просмотри всю эту продукцию. Когда ты в тифу даром время тратил, здесь немало воды утекло. Читай, знакомься с тем, что было и что есть. Я под вечер приду, и пойдем в клуб, а устанешь — ложись и дрыхни.

Рассовав по карманам кучу документов, справок, отношений (портфель Окунев принципиально игнорировал, и он лежал под кроватью), секретарь райкомола сделал прощальный круг по комнате и вышел.

Вечером, когда он вернулся, пол комнаты был завален развернутыми газетами, из-под кровати выдвинута груда книг. Часть из них была сложена стопкой на столе. Павел сидел на кровати и читал последние письма Центрального Комитета, найденные им под подушкой друга.

— Что ты, разбойник, из моей квартиры сделал! — с напускным возмущением закричал Окунев.— Э, постой, постой,

товарищ! Да ты ведь секретные документы читаешь! Вот пусти такого в хату!

Павел, улыбаясь, отложил письмо в сторону:

— Здесь как раз секрета нет, а вот вместо абажура на лампочке у тебя действительно был документ, не подлежащий оглашению. Он даже подгорел на краях. Видишь?

Окунев взял обожженный лист и, взглянув на заголовок, стукнул себя ладонью по лбу:

— А я его три дня искал, чтоб он провалился! Исчез, как в воду канул. Теперь я припоминаю, это Волынцев третьего дня из него абажур смастерил, а потом сам же искал до седьмого пота.— Окунев, бережно сложив листок, сунул его под матрац.— Потом все приведем в порядок,— успокоительно сказал он.— Сейчас шаманем маленько — и в клуб. Подсаживайся, Павлуша!

Окунев выгрузил из кармана длинную воблу, завернутую в газету, а из другого — два ломтя хлеба. Подвинул на край стола бумагу, разостлал на свободном пространстве газету, взял воблу за голову и начал хлестать ею по столу.

Сидя на столе и энергично работая челюстями, жизнерадостный Окунев, мешая шутку с деловой речью, передавал Павлу новости.

☆

В клуб Окунев провел Корчагина служебным ходом за кулисы. В углу вместительного зала, вправо от сцены, около пианино, в тесном кругу железнодорожной комсы сидели Таля Лагутина и Борхарт. Напротив Анны, покачиваясь на стуле, восседал Волынцев — комсомольский секретарь депо, румяный, как августовское яблоко, в изношенной до крайности, когда-то черной кожаной тужурке. У Волынцева пшеничные волосы и такие же брови.

Около него, небрежно опершись локтем о крышку пианино, сидел Цветаев — красивый шатен с резко очерченным разрезом губ. Ворот его рубахи был расстегнут.

Подходя к компании, Окунев услышал конец фразы Анны:

— Кое-кто желает всячески усложнять прием новых товарищей. У Цветаева это налицо.

— Комсомол не проходной двор,— упрямо, с грубоватой пренебрежительностью отозвался Цветаев.

— Посмотрите, посмотрите! Николай сегодня сияет, как начищенный самовар! — воскликнула Таля, увидев Окунева.

Окунева затянули в круг и забросали вопросами:

— Где был?

— Давай начинать.

Окунев успокаивающе протянул вперед руку:

— Не кипятитесь, братишки. Сейчас придет Токарев, и откроем.

— А вот и он,— заметила Анна.

Действительно, к ним шел секретарь райкомпарта. Окунев побежал ему навстречу:

— Идем, отец, за кулисы, я тебе одного твоего знакомца покажу. Вот удивишься!

— Чего там еще? — буркнул старик, пыхнув папироской, но Окунев уже тащил его за руку.

☆

Колокольчик в руке Окунева так отчаянно дребезжал, что даже заядлые говоруны поспешили прекратить разговоры.

За спиной Токарева в пышной рамке из зеленой хвои — львиная голова гениального создателя «Коммунистического манифеста». Пока Окунев открывал собрание, Токарев смотрел на стоящего в проходе кулис Корчагина.

— Товарищи! Прежде чем приступить к обсуждению очередных задач организации, здесь вне очереди попросил слова один товарищ, и мы с Токаревым думаем, что ему слово надо дать.

Из зала понеслись одобряющие голоса, и Окунев выпалил:

— Слово для приветствия предоставляется Павке Корчагину!

Из ста человек в зале не менее восьмидесяти знали Корчагина, и когда на краю рампы появилась знакомая фигура и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями.

— Дорогие товарищи!

Голос Корчагина ровный, но скрыть волнение не удалось.

— Случилось так, друзья, что я вернулся к вам и занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. Я здесь вижу целый ряд моих друзей. Я у Окунева читал, что у нас на Соломенке на треть стало больше новых братишек, что в мастерских и в депо зажигалочникам крышка и что с паровозного кладбища тянут мертвецов в «капитальный». Это значит, что страна наша вновь рождается и набирает силы. Есть для чего жить на свете! Ну, разве я мог в такое время умереть! — И глаза Корчагина заискрились в счастливой улыбке.

Под крики приветствий Корчагин спустился в зал, направляясь к месту, где сидели Борхарт и Таля. Быстро пожал несколько рук. Друзья потеснились, и Корчагин сел. На его руку легла рука Тали и крепко сжала ее.

Широко раскрыты глаза Анны, чуть вздрагивают ресницы, и в ее взгляде удивление и привет.

☆

Скользили дни. Их нельзя было назвать буднями. Каждый день приносил что-нибудь новое, и, распределяя утром свое время, Корчагин с огорчением отмечал, что времени в дне мало и что-то из задуманного остается недоделанным.

Павел поселился у Окунева. Работал в мастерских помощником электромонтера.

Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согласиться на временный отход от руководящей работы.

— У нас людей не хватает, а ты хочешь прохлаждаться в цехе. Ты мне на болезнь не показывай, я и сам после тифа месяц с палкой в райком ходил. Я ведь тебя, Павка, знаю, тут — не это. Ты мне скажи про самый корень,— наступал на него Окунев.

— Корень, Коля, есть: хочу учиться.

Окунев торжествующе зарычал:

— А-а!.. Вот оно что! Ты хочешь, а я, по-твоему, нет? Это, брат, эгоизм. Мы, значит, колесо будем вертеть, а ты — учиться? Нет, миленький, завтра же пойдешь в оргинстр[1].

Но после долгой дискуссии Окунев сдался:

— Два месяца не трону, знай мою доброту. Но ты с Цветаевым не сработаешься, у него большое самомнение.

Возвращение Корчагина в мастерские Цветаев встретил настороженно. Он был уверен, что с приходом Корчагина начнется борьба за руководство, и, болезненно самолюбивый, приготовлялся к отпору. Но в первые же дни он убедился в ошибочности своих предположений. Узнав о намерении бюро коллектива ввести его в свой состав, Корчагин сам пришел в комнату отсекра и, ссылаясь на договоренность с Окуневым, убедил снять этот вопрос с повестки. В цеховой ячейке комсомола Корчагин взял на себя кружок политграмоты, но работы в бюро не добивался. И все же, несмотря на официальный отход от руководства, влияние Павла чувствовалось во всей работе коллектива. Незаметно, дружески он не раз выводил Цветаева из затруднительного положения.

Как-то раз, зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся молодежная ячейка и десятка три беспартийных ребят мыли окна, чистили машины, соскребая с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и хлам. Павел ожесточенно тер огромной шваброй залитый мазутом и жиром цементный пол.

— С чего это вы прихорашиваетесь? — недоуменно спросил Павла Цветаев.

---

[1] Оргинстр — организационно-инструкторский отдел.

— Не хотим работать в грязи. Тут двадцать лет никто не мыл, мы за неделю сделаем цех новым,— кратко ответил ему Корчагин.

Цветаев, пожав плечами, ушел.

Электротехники не успокоились на этом и принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего там только не было! Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа, рельсы, буфера, буксы — несколько тысяч тонн металла ржавело под открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация:

— Есть более важные задачи, а со двором на нас не каплет.

Тогда электрики вымостили кирпичами площадку у входа в свой цех, укрепив на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви, и на этом остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам, после работы. Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от вековой пыли, смешанной с мазутом, открыли путь солнечным лучам, и те, проникая в машинный зал, ярко отражались в начищенных медных частях дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки.

— М-мда...— удивился Стриж.

В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работы. Стриж прошел туда. Навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел Корчагин.

— Подождите, милейший,— остановил его инженер.— То, что вы делаете, я одобряю. Но кто дал вам краску? Ведь я запретил без моего разрешения расходовать ее — дефицитный материал. Покраска частей паровоза важней того, что вы делаете.

— А краску мы добыли из выброшенных красильных банок. Два дня возились над старьем и наскребли фунтов двадцать пять. Здесь все по закону, товарищ технорук.

Инженер еще раз хмыкнул, но уже смущенно:

— Тогда, конечно, делайте. М-мда... Все-таки интересно... Чем объяснить такое, как это выразиться, добровольное стремление к чистоте в цехе? Ведь это вы проделали в нерабочее время?

Корчагин уловил в голосе технорука нотки искреннего недоумения.

— Конечно. А вы как же думали?

— Да, но...

— Вот вам и «но», товарищ Стриж. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться.

И, осторожно обходя инженера, чтобы не мазнуть его краской, Корчагин пошел к двери.

Вечерами допоздна Корчагин застревал в публичной библиотеке. Он завел здесь прочное знакомство со всеми тремя библиотекаршами и, пуская в ход все средства пропаганды, получил наконец желанное право свободного просмотра книг. Подставив лесенку к огромным книжным шкафам, Павел часами просиживал на ней, перелистывая книгу за книгой в поисках интересного и нужного. В большинстве книги были старые. Новая литература скромно умещалась в одном небольшом шкафу. Здесь были собраны случайно попавшие брошюры периода гражданской войны, «Капитал» Маркса, «Железная пята» и еще несколько книг. Среди старых книг Корчагин нашел роман «Спартак». Осилив его в две ночи, Павел перенес книгу в шкаф и поставил рядом со стопкой книг М. Горького. Такое перетаскивание наиболее интересных и близких книг продолжалось все время.

Библиотекарши этому не мешали — им было безразлично.

☆

В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием: член бюро ячейки среднего ремонта Костька Фидин, курносый, с исцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже — почти нарочно. Произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта Ходоров предложил Костьке просверлить в плите несколько дыр. Костька сначала отказывался, но под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Ходорова в цехе не любили за придирчивую требовательность. Он когда-то был меньшевиком. В общественной жизни не принимал никакого участия, на комсомольцев смотрел косо, но свое дело знал прекрасно и свои обязанности выполнял добросовестно. Мастер заметил, что Костька сверлил «на сухую», не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его.

— Ты что, ослеп, что ли, или вчера пришел сюда?! — закричал он на Костьку, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении.

Но Костька облаял мастера и опять пустил станок. Ходоров пошел жаловаться к начальнику цеха, а Костька, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об

увольнении Фидина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Костьку, опираясь на то, что Ходоров зажимает молодежный актив. Администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось.

Из пяти членов бюро трое были за то, чтобы Костьке вынести выговор и перевести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Костьку виноватым.

Заседание бюро происходило в комнате Цветаева. Здесь стоял большой стол, покрытый красной материей, несколько длинных скамеек и табуреток, собственноручно сделанных ребятами из столярной мастерской, по стенам портреты вождей, позади стола во всю стену развернутое знамя коллектива.

Цветаев был «освобожденный работник». Кузнец по профессии, он благодаря своим способностям за последние четыре месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел членом в бюро райкомола и в состав губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят, за все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность.

Комната и та декорировалась под его личным наблюдением.

Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его.

Павел уже направлялся к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его:

— Корчагин! У нас сейчас закрытое бюро.

Щеки Павла залила краска, и он медленно повернулся к столу:

— Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?

— Я не против, но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел — садись.

Такую пощечину Корчагин получал впервые. На лбу меж бровей родилась складка.

— К чему такие формальности?..— высказал свое неодобрение Хомутов, но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет.— Я вот о чем хотел сказать,— заговорил Хомутов.— Насчет Ходорова это верно, он человек на отшибе, но у нас

с дисциплиной неважно. Если так все комсомольцы начнут сверла крошить, нам нечем будет работать. А уж беспартийным пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно.

Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут десять, Корчагин понял установку бюро. Когда же приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово.

— Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костьки.

Голос Корчагина был более резок, чем он этого хотел.

— Дело Костьки — это сигнал, а главное не в Костьке. Я вчера собрал немного цифр.— Павел вынул из кармана записную книжку.— Они даны табельщиком. Послушайте внимательно. Двадцать три процента комсомольцев ежедневно опаздывают на работу от пяти до пятнадцати минут. Это уже закон. Семнадцать процентов комсомольцев прогуливают от одного до двух дней в месяц систематически, в то время как беспартийный молодняк имеет четырнадцать процентов прогульщиков. Цифры хуже плетки. Я мимоходом записал и еще кое-что. Среди партийцев прогульщиков четыре процента по одному дню в месяц и опаздывают тоже четыре процента. Среди беспартийных взрослых прогульщиков одиннадцать процентов по одному дню в месяц и опаздывают тринадцать процентов. Поломка инструментов — девяносто процентов падает на молодняк, среди которого только что принятых на работу семь процентов. Отсюда вывод: мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Но это положение не везде одинаково. Кузнице можно только позавидовать, у электриков удовлетворительно, а у остальных более или менее ровно. Товарищ Хомутов, по-моему, сказал о дисциплине лишь на четверть. Перед нами стоит задача — выровнять эти зигзаги. Я не стану агитировать и митинговать, но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят: на хозяина работали лучше, на капиталиста работали исправнее, а теперь, когда мы сами стали хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не столько Костька или кто там другой, а мы с вами, потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а, наоборот, под тем или другим предлогом иногда защищали таких, как Костька.

Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Фидин свой парень. Как говорится, «свой в доску»: активист, несет нагрузки. Ну, сковырнул сверло — подумаешь, какая важность, с кем не случается. Зато парень наш, а мастер — чужак... Хотя

с Ходоровым никто работы не ведет... Этот придира имеет тридцать лет рабочего стажа! Не будем говорить о его политической позиции. Он сейчас прав: он, чужак, бережет государственное добро, а мы кромсаем заграничные инструменты. Как такой оборот дела назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке.

Предлагаю: Фидина, как лодыря, разгильдяя и дезорганизатора производства, из комсомола исключить. Об его деле написать в стенгазете и открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть сила, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев — хорошие производственники. Из них шестьдесят человек прошли через Боярку, а эта школа — самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот заровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас.

Обычно спокойный и молчаливый, Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его — Цветаева — авторитета и решил разгромить монтера. Свои возражения он прямо начал с обвинения Корчагина в защите меньшевика Ходорова.

Три часа продолжалась страстная дискуссия. Поздно вечером были подведены ее результаты: разбитый неумолимой логикой фактов и потеряв большинство, перешедшее на сторону Корчагина, Цветаев сделал неверный шаг — поломал демократию: перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты.

— Хорошо, я выйду, хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что, если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании, и — уверен — ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, неправ... Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в партколлектив еще до общего собрания.

Цветаев вызывающе крикнул:

— Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю, мы и о тебе поговорим! Если сам не работаешь, то другим не мешай.

Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу. На улице вздохнул полной грудью. Закрутив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев.

Корчагин застал слесаря за ужином.

— Рассказывай, послушаем, что у вас там новенького...

Дарья, принеси-ка ему миску каши,— говорил Токарев, усаживая Павла за стол.

Дарья Фоминишна, жена Токарева, в противоположность мужу высокая, полнотелая, поставила перед Павлом тарелку пшенной каши и, вытирая белым фартуком влажные губы, сказала добродушно:

— Кушай, голубок.

☆

Раньше, когда Токарев работал в мастерских, Корчагин частенько просиживал здесь допоздна, но теперь, по возвращении в город, он был у старика впервые.

Слесарь внимательно слушал Павла. Сам ничего не говорил, старательно работал ложкой, похмыкивая про себя. Покончив с кашей, он вытер платком усы и откашлянулся:

— Ты, конечно, прав. Нам давно пора поставить это дело по-настоящему. Мастерские — основной коллектив в районе, отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаевым поцапались? Плохо. Парень он козыристый, но ты же умел с ребятами работать? Кстати, что ты в мастерских делаешь?

— Я в цехе. Так, вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейке кружок веду политграмоты.

— А в бюро что делаешь?

Корчагин замялся:

— Я на первое время, пока силенок было мало, да и подучиться думал, официально в руководстве не участвую.

— Вот тебе и на! — с неодобрением воскликнул Токарев.— Знаешь, сынок, одно тебя от взбучки выручает — это неокрепшее здоровье. А сейчас как, оправился маленько?

— Да.

— Ну так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Кто это видел, чтобы сбоку припека можно было что-нибудь путное сделать! Да тебе любой скажет — увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправь, а я Окуневу накручу чуба,— с ноткой недовольства в голосе закончил Токарев.

— Ты его не трогай, отец,— вступился Павел,— я сам просил не грузить.

Токарев презрительно свистнул:

— Просил, а он тебя уважил? Ну ладно, что с вами, с комсой, поделаешь... Давай, сынок, по старой привычке газеты почитай... Глаза мои прихрамывают.

☆

Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача: личной работой дать пример трудовой дисциплины. На бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он было запетушился, но, припертый в угол выступлением отсекра Лопахина, пожилого, с желто-бледным лицом от сжигающего его туберкулеза, Цветаев сдался и наполовину свою ошибку признал.

На другой день в стенных газетах в мастерских появились статьи, привлекшие внимание рабочих. Их читали вслух и горячо обсуждали. Вечером, на необычно многолюдном собрании молодежного коллектива, только и разговору было, что о них.

Костьку исключили, а в бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросвета — Корчагина.

Необычайно тихо и терпеливо слушали Нежданова. А тот говорил о новых задачах, о новом этапе, в который вступали железнодорожные мастерские.

После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин.

— Пойдем вместе, нам есть о чем поговорить,— подошел он к отсекру.

— О чем речь пойдет? — глухо спросил Цветаев.

Павел взял его под руку и, сделав с ним несколько шагов, остановился у скамьи:

— Сядем на минутку.— И первый сел.

Огонек папироски Цветаева то вспыхивал, то потухал.

— Скажи, Цветаев, за что ты на меня зуб имеешь?

Несколько минут молчания.

— Вот ты о чем, а я думал — о деле! — Голос Цветаева неровный, деланно удивленный.

Павел твердо положил свою ладонь на его колено:

— Брось, Димка, ездить на рессорах. Это так только дипломаты выкаблучивают. Ты вот дай ответ: почему я тебе не по нутру пришелся?

Цветаев нетерпеливо шевельнулся:

— Чего пристал? Какой там зуб! Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь, выходит, вроде я тебя отшиваю.

Павел не уловил в его голосе искренности и, не снимая руки с колена, заговорил, волнуясь:

— Не хочешь отвечать — я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перееду, думаешь — место отсекра мне снится? Ведь если бы не это, не было б перепалки из-за Костьки. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним — неважно, думай, что хочешь. Но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну, так

слушай. Нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне пять, и завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука, бери, пока это рука товарища.

С большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони узловатые пальцы Цветаева.

☆

Прошла неделя. В райкомпарте кончалась работа. Становилось тихо в отделах. Но Токарев еще не уходил. Старик сидел в кресле, сосредоточенно читая свежие материалы. В дверь постучали.

— Ага! — ответил Токарев.

Вошел Корчагин и положил перед секретарем две заполненные анкеты.

— Что это?

— Это, отец, ликвидация безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки.

Токарев взглянул на заголовок, потом, несколько секунд посмотрев на юношу, молча взял перо в руки. И в графе, где были слова о партстаже рекомендующих товарища Корчагина Павла Андреевича в кандидаты РКП(б), твердо вывел «1903 год» и рядом свою бесхитростную подпись.

— На, сынок. Верю, что никогда не опозоришь мою седую голову.

☆

В комнате душно, и мысль одна: как бы скорее туда, в каштановые аллеи привокзальной Соломенки.

— Кончай, Павка, нет моих сил больше,— обливаясь по́том, взмолился Цветаев.

Катюша, за ней и другие поддержали его.

Корчагин закрыл книгу. Кружок кончил свою работу.

Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул старенький «эриксон». Стараясь перекричать разговаривающих в комнате, Цветаев повел переговоры.

Повесив трубку, он обернулся к Корчагину:

— На вокзале стоят два дипломатических вагона польского консульства. У них потух свет, поезд через час отходит, нужно исправить проводку. Возьми, Павел, ящик с материалом и сходи туда. Дело срочное.

Два блестящих вагона международного сообщения стояли

у первого перрона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был ярко освещен. Но соседний с ним утопал в темноте.

Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за поручень, собираясь войти в вагон.

От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его за плечо:

— Вы куда, гражданин?

Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная куртка, широкий козырек фуражки, тонкий с горбинкой нос и настороженно-недоверчивый взгляд.

Артюхин лишь теперь узнал Павла — рука упала с плеча, выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно застрял на ящике.

— Ты куда шел?

Павел кратко объяснил. Из-за вагона появилась другая фигура:

— Сейчас я вызову их проводника.

В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводником, сидели несколько человек, изысканно одетых в дорожные костюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спиной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она разговаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва монтер вошел, разговор прекратился.

Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салон-вагона, продолжая искать повреждение. За ним неотступно следовал жирный, с шеей боксера, проводник в форме, изобилующей крупными медными пуговицами с изображением одноглавого орла.

— Перейдем в соседний вагон, здесь все исправно, аккумулятор работает. Повреждение, видно, там.

Проводник повернул ключ в двери, и они вошли в темный коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько минут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-матовым светом.

— Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы, они перегорели,— обратился к своему спутнику Корчагин.

— Тогда надо позвать пани, у нее ключ.— И проводник, не желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой.

В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Проводник остановился в дверях, закупорив их своим телом. Павлу бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван шелковое манто. Флакон духов

и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. Женщина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, наблюдала за работой монтера.

— Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного пива,— угодливо сказал проводник, с трудом сгибая при поклоне свою бычью шею.

Женщина протянула певуче-жеманно:

— Можете идти.

Разговор шел на польском языке.

Полоса света из коридора падала на плечо женщины. Изысканное, из тончайшего лионского шелка, сшитое у первоклассных парижских мастеров платье пани оставляло обнаженными ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая, качался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и руку женщины, словно выточенные из слоновой кости. Лицо было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потолке розетку, и через минуту в купе появился свет. Оставалось осмотреть вторую электролампочку над диваном, где сидела женщина.

— Мне нужно проверить эту лампочку,— сказал Корчагин, останавливаясь перед ней.

— Ах да, я ведь вам мешаю,— на чистом русском языке ответила пани и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с Корчагиным.

Теперь ее было видно всю. Знакомые стрельчатые линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не могло: перед ним стояла Нелли Лещинская. Дочь адвоката не могла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин узнал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти четыре года монтер и есть ее беспокойный сосед.

Пренебрежительно сдвинув брови в ответ на его удивление, она прошла к двери купе и остановилась там, нетерпеливо постукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вторую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и неожиданно для себя, а тем более для Лещинской, спросил на польском языке:

— Виктор тоже здесь?

Спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве.

— Разве вы его знаете?

— Очень даже знаю. Мы ведь были с вами соседи.— Павел повернулся к ней.

— Вы Павел, сын...— Нелли запнулась.

— Кухарки,— подсказал ей Корчагин.

— Как вы выросли! Помню вас дикарем-мальчиком.

Нелли бесцеремонно рассматривала его с ног до головы.

— А почему вас интересует Виктор? Насколько я помню, вы с ним были не в ладах,— сказала Нелли своим певучим сопрано, надеясь рассеять скуку неожиданной встречей.

Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп.

— За Виктором остался неоплаченный долг. Вы, когда встретите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться.

— Скажите, сколько он вам должен, я заплачу за него.

Она понимала, о каком «расчете» говорил Корчагин. Ей была известна вся история с петлюровцами, но желание подразнить этого «хлопа» толкало ее на издевку.

Корчагин отмолчался.

— Скажите: верно ли, что наш дом разграблен и разрушается? Наверно, беседка и клумбы все разворочены? — с грустью спросила Нелли.

— Дом теперь наш, а не ваш, разрушать его нам нет расчета.

Нелли саркастически усмехнулась:

— Ого, вас тоже, видно, обучали! Но, между прочим, здесь вагон польской миссии, и в этом купе я госпожа, а вы как были рабом, так и остались. Вы и сейчас работаете, чтобы у меня был свет, чтобы мне было удобно читать вот на этом диване. Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили воду. Теперь мы опять встретились в том же положении.

Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, зачищая ножом кончик провода, смотрел на польку с нескрываемой насмешкой:

— Я для вас, гражданочка, и ржавого гвоздя не вбил бы, но раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим, и мы им голов не рубаем, даже грубостей не говорим, не в пример вам.

Щеки Нелли запунцовели.

— Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы себе в наложницы?

Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись; чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспыхнул свет. Павел выпрямился:

— Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял — такую!

Ящик в руках, два шага к двери. Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное:

— Пшекленты большевик!

☆

На другой день вечером, когда Корчагин направлялся в библиотеку, на улице встретился с Катюшей. Зажав в кулачок рукав его блузы, Зеленова шутливо преградила ему дорогу:

— Куда бежишь, политика и просвещение?

— В библиотеку, мамаша, освободи дорогу,— в тон ей ответил Корчагин, бережно взял Катюшу за плечи и осторожно отодвинул ее на мостовую. Освободясь от его рук, Катюша пошла рядом.

— Слушай, Павлуша! Не все же учиться... Знаешь что? Сходим сегодня на вечеринку, у Зины Гладыш сегодня собираются ребята. Меня девочки давно уже просили привести тебя. Ты ведь в одну политику ударился, неужели тебе не хочется повеселиться, погулять? Ну, не почитаешь сегодня, твоей же голове легче,— настойчиво уговаривала его Катюша.

— Какая это вечеринка? Что там делать будут?

Катюша насмешливо передразнила:

— Что делать! Не богу же молиться, а весело проведут время — и только. Ведь ты на баяне играешь? А я ни разу не слыхала. Ну, сделай ты для меня удовольствие. У Зинкиного дяди баян есть, но дядя играет плохо. Тобой девочки интересуются, а ты над книгой сохнешь. Где это написано, чтобы комсомольцу повеселиться нельзя было? Идем, пока мне не надоело тебя уговаривать, а то поссорюсь с тобой на месяц.

Большеглазая малярка Катя — хороший товарищ и неплохая комсомолка. Корчагину не хотелось обижать дивчину, и он согласился, хоть было и непривычно и диковато.

В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые, чтобы не мешать молодежи, перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде, выходящей в маленький садик, собралось человек пятнадцать парней и дивчат. Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая «кормежка голубей». Посреди веранды стояли два стула спинками друг к другу. На них, по вызову хозяйки, руководившей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала: «Кормите голубей!» — и сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы, губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в «колечко», в «почтальоны», и каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями, причем в «почтальоне», чтобы избежать общественного надзора, поцелуи переносились из освещенной веранды в комнату, где на это время тушился свет. Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике, в углу, лежала стопка карточек «цветочного флирта». Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет шестнадцати, ко-

кетничая голубыми глазенками, протянула ему карточку и тихо сказала:

— Фиалка.

Несколько лет тому назад Павел наблюдал такие вечера, и если не принимал в них непосредственного участия, то все же считал нормальным явлением. Но сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни маленького городка, вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным.

Как бы то ни было, а карточка «флирта» была в его руке.

Напротив «фиалки» он прочитал: «Вы мне очень нравитесь».

Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот взгляд.

— Почему?

Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее.

— Роза,— протянула она ему вторую карточку.

Напротив «розы» стояло: «Вы мой идеал». Корчагин повернулся к девушке и, стараясь смягчить тон, спросил:

— Зачем ты этой чепухой занимаешься?

Мура смутилась и растерялась.

— Разве вам неприятно мое признание? — Ее губы капризно сморщились.

Корчагин оставил ее вопрос без ответа. Но ему захотелось узнать, кто с ним разговаривает. И он задавал вопросы, на которые девушка охотно отвечала. Через несколько минут он уже знал, что она учится в семилетке, что ее отец — осмотрщик вагонов и что она знает его давно и хотела с ним познакомиться.

— Как твоя фамилия? — спросил Корчагин.

— Волынцева Мура.

— Твой брат секретарь ячейки депо?

— Да.

Теперь Корчагин знал, с кем он имеет дело. Один из активнейших комсомольцев района, Волынцев, как видно, совсем не обращал внимания на свою сестру, и она росла серенькой мещаночкой. В последний год стала посещать вечеринки у своих подруг с поцелуями до одурения. Корчагина она несколько раз видела у брата.

Сейчас Мура почувствовала, что сосед не одобряет ее поведения, и, когда ее позвали «кормить голубей», она, уловив кривую усмешку Корчагина, наотрез отказалась.

Посидели еще несколько минут. Мура рассказывала о себе. К ним подошла Зеленова:

— Принести баян, ты сыграешь? — И, плутовато щуря глаза, смотрела на Муру: — Что, познакомились?

Павел усадил Катюшу рядом и, пользуясь тем, что кругом смеялись и кричали, сказал ей:

— Играть не буду, мы с Мурой сейчас уйдем отсюда.

— Ого! Заело, значит?..— многозначительно протянула Зеленова.

— Да, заело. Ты скажи, кроме нас с тобой, здесь еще комсомольцы есть? Или только мы с тобой в «голубятники» зашились?

Катюша примиряюще сообщила:

— Уже бросили чудить, сейчас потанцуем.

Корчагин поднялся:

— Ладно, танцуй, старуха, а мы с Волынцевой все-таки уйдем.

☆

Однажды вечером Борхарт зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин.

— Ты очень занят, Павел? Хочешь, пойдем на пленум горсовета? Вдвоем нам будет веселее идти, а возвращаться придется поздно.

Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер, он был слишком тяжел. Из стола он вынул браунинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окуневу. Ключ спрятал в условленном месте.

В театре встретили Панкратова и Ольгу. Сидели все вместе, в перерывах гуляли по площади. Заседание, как и ожидала Анна, затянулось до поздней ночи.

— Может, пойдем ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко,— предложила Юренева.

— Нет, мы уж с ним договорились,— отказалась Анна.

Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а соломенцы пошли в гору.

Ночь была душная, темная. Город спал. По тихим улицам расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц. На пустом рынке их остановил патруль. Проверив документы, пропустил. Пересекли бульвар и вышли на неосвещенную, безлюдную улицу, проложенную через пустырь. Свернули влево и пошли по шоссе, параллельно центральным дорожным складам. Это были длинные бетонные здания, мрачные и угрюмые. Анну невольно охватило беспокойство. Она пытливо всматривалась в темноту, отрывисто и невпопад отвечала Корчагину. Когда подозрительная тень оказалась всего лишь телефонным столбом, Борхарт рассмеялась

и рассказала Корчагину о своем состоянии. Взяла его под руку и, прильнув плечом к его плечу, успокоилась.

— Мне двадцать третий год, а неврастения как у старушки. Ты можешь принять меня за трусиху. Это будет неверно. Но сегодня у меня особенно напряженное состояние. Вот сейчас, когда я чувствую тебя рядом, исчезает тревога, и мне даже неловко за все эти опаски.

Спокойствие Павла, вспышки огонька его папиросы, на миг освещавшей уголок его лица, мужественный излом бровей — все это рассеяло страх, навеянный чернотой ночи, дикостью пустыря и слышанным в театре рассказом о вчерашнем кошмарном убийстве на Подоле.

Склады остались позади. Миновали мостик, переброшенный через речонку, и пошли по привокзальному шоссе к туннельному проезду, что пролегал внизу, под железнодорожными путями, соединяя эту часть города с железнодорожным районом.

Вокзал остался далеко в стороне, вправо. Проезд проходил в тупик, за депо. Это были уже свои места.

Наверху, где железнодорожные пути, искрились разноцветные огни на стрелках и семафорах, а у депо утомленно вздыхал уходящий на ночной отдых «маневрик». Над входом в проезд висел на ржавом крюке фонарь, он едва заметно покачивался от ветерка, и желто-мутный свет его двигался от одной стены туннеля к другой.

Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик. Два года назад в него плюхнулся тяжелый снаряд и, разворотив его внутренности, превратил лицевую половину в развалину, и сейчас он зиял огромной дырой, словно нищий у дороги, выставляя напоказ свое убожество. Было видно, как наверху по насыпи пробежал поезд.

— Вот мы почти и дома,— облегченно сказала Анна.

Павел незаметно попытался освободить свою руку. Подходя к проезду, невольно хотелось иметь свободной руку, взятую в плен его подругой.

Но Анна руки не отпустила.

Прошли мимо разрушенного домика.

Сзади рассыпалась дробь срывающихся в беге ног.

Корчагин рванул руку, но Анна в ужасе прижала ее к себе, и, когда он с силой все же вырвал ее, было уже поздно. Шею Павла обхватил железный зажим пальцев, рывок в сторону — и Павел повернут лицом к напавшему. Прямо в зубы ткнулся ствол парабеллума, рука переползла к горлу и, свернув жгутом гимнастерку, вытянувшись во всю длину, держала его перед дулом, медленно описывающим дугу.

Завороженные глаза электрика следили за этой дугой с

нечеловеческим напряжением. Смерть заглядывала в глаза пятном дула, и не было сил, не хватало воли хоть на сотую секунды оторвать глаза от дула. Ждал удара. Но выстрела не было, и широко раскрытые глаза увидели лицо бандита. Большой череп, могучая челюсть, чернота небритой бороды и усов, а глаза под широким козырьком кепки остались в тени.

Край глаза Корчагина запечатлел мелово-бледное лицо Анны, которую в тот же миг потянул в провал дома один из трех. Ломая ей руки, повалил ее на землю. К нему метнулась еще одна тень, ее Корчагин видел лишь отраженной на стене туннеля. Сзади, в провале дома, шла борьба. Анна отчаянно сопротивлялась, ее задушенный крик прервала закрывшая рот фуражка. Большеголового, в чьих руках был Корчагин, не желавшего оставаться безучастным свидетелем насилия, как зверя, тянуло к добыче. Это, видимо, был главарь, и такое распределение роли ему не понравилось. Юноша, которого он держал перед собой, был совсем зеленый, по виду «замухрай деповский». Опасности этот мальчишка не представлял никакой. «Ткнуть его в лоб шпалером раза два-три как следует и показать дорогу на пустыри — будет рвать подметки, не оглядываясь до самого города». И он разжал кулак.

— Дергай бегом... Крой, откуда пришел, а пикнешь — пуля в глотку.

И большеголовый ткнул Корчагина в лоб стволом.

— Дергай,— с хрипом выдавил он и опустил парабеллум, чтобы не пугать пулей в спину.

Корчагин бросился назад, первые два шага боком, не выпуская из виду большеголового.

Бандит понял, что юноша все еще боится получить пулю, и повернулся к дому.

Рука Корчагина устремилась в карман. «Лишь бы успеть, лишь бы успеть!» Круто обернулся и, вскинув вперед вытянутую левую руку, на миг уловил концом дула большеголового — выстрелил.

Бандит поздно понял ошибку, пуля впилась ему в бок раньше, чем он поднял руку.

От удара его шатнуло к стене туннеля, и, глухо взвыв, цепляясь рукой за бетон стены, он медленно оседал на землю. Из провала дома вниз, в яр, скользнула тень. Вслед ей разорвался второй выстрел. Вторая тень, изогнутая, скачками уходила в черноту туннеля. Выстрел. Осыпанная пылью раскрошенного пулей бетона, тень метнулась в сторону и нырнула в темноту. Вслед ей трижды взбудоражил ночь браунинг. У стены, извиваясь червяком, агонировал большеголовый.

Потрясенная ужасом происшедшего, Анна, поднятая Корча-

гиным с земли, смотрела на корчащегося бандита, слабо понимая свое спасение.

Корчагин силой увлек ее в темноту, назад, к городу, уводя из освещенного круга. Они бежали к вокзалу. А у туннеля, на насыпи, уже мелькали огоньки и тяжело охнул на путях тревожный винтовочный выстрел.

☆

Когда наконец добрались до квартиры Анны, где-то на Батыевой горе запели петухи. Анна прилегла на кровать. Корчагин сел у стола. Он курил, сосредоточенно наблюдая, как уплывает вверх серый виток дыма... Только что он убил четвертого в своей жизни человека.

Есть ли вообще мужество, проявляющееся всегда в своей совершенной форме? Вспоминая все свои ощущения и переживания, он признался себе, что в первые секунды черный глаз дула заледенил его сердце. А разве в том, что две тени безнаказанно ушли, виновата лишь одна слепота глаза и необходимость бить с левой руки? Нет. На расстоянии нескольких шагов можно было стрелять удачнее, но все та же напряженность и поспешность, несомненный признак растерянности, были этому помехой.

Свет настольной лампы освещал его голову, и Анна наблюдала за ним, не упуская ни одного движения мышц на его лице. Впрочем, глаза его были спокойны, и о напряженности мысли говорила лишь складка на лбу.

— О чем ты думаешь, Павел?

Его мысли, вспугнутые вопросом, уплыли, как дым, за освещенный полукруг, и он сказал первое, что пришло сейчас в голову:

— Мне необходимо сходить в комендатуру. Надо обо всем этом поставить в известность.

И нехотя, преодолевая усталость, поднялся.

Она не сразу отпустила его руку — не хотелось оставаться одной. Проводила до двери и закрыла ее, лишь когда Корчагин, ставший ей теперь таким дорогим и близким, ушел в ночь.

Приход Корчагина в комендатуру объяснил непонятное для железнодорожной охраны убийство. Труп сразу опознали: это был хорошо известный уголовному розыску Фимка Череп, налетчик и убийца-рецидивист.

Случай у туннеля на другой день стал известен всем. Это обстоятельство вызвало неожиданное столкновение между Павлом и Цветаевым.

В разгар работы в цех вошел Цветаев и позвал к себе

Корчагина. Цветаев вывел его в коридор и, остановившись в глухом закоулке, волнуясь и не зная, с чего начать, наконец выговорил:

— Расскажи, что вчера было.

— Ты же знаешь.

Цветаев беспокойно шевельнул плечами. Монтер не знал, что Цветаева случай у туннеля коснулся острее других. Монтер не знал, что этот кузнец, вопреки своей внешней безразличности, был неравнодушен к Борхарт. Анна не у него одного вызывала чувство симпатии, но у Цветаева это происходило сложнее. Случай у туннеля, о котором он только что узнал от Лагутиной, оставил в его сознании мучительный, неразрешимый вопрос. Вопрос этот он не мог поставить монтеру прямо, но знать ответ хотел. Краем сознания он понимал эгоистическую мелочность своей тревоги, но в разноречивой борьбе чувств в нем на этот раз победило примитивное, звериное.

— Слушай, Корчагин,— заговорил он приглушенно.— Разговор останется между нами. Я понимаю, что ты не рассказываешь об этом, чтобы не терзать Анну, но мне ты можешь довериться. Скажи, когда тебя бандит держал, те изнасиловали Анну? — В конце фразы Цветаев не выдержал и отвел глаза в сторону.

Корчагин начал смутно понимать его. «Если бы Анна ему была безразлична, Цветаев так бы не волновался. А если Анна ему дорога, то...» Павел оскорбился за Анну:

— Для чего ты спросил?

Цветаев заговорил что-то несвязное и, чувствуя, что его поняли, обозлился.

— Чего ты увиливаешь? Я тебя прошу ответить, а ты меня допрашивать начинаешь.

— Ты Анну любишь?

Молчание. Затем трудно произнесенное Цветаевым:

— Да.

Корчагин, едва сдержав гнев, повернулся и пошел по коридору не оглядываясь.

☆

Однажды вечером Окунев, смущенно потоптавшись у кровати друга, присел на край и положил руку на книгу, которую читал Павел:

— Знаешь, Павлуша, приходится тебе рассказывать об одной истории. С одной стороны, вроде ерунда, а с другой — совсем наоборот. У меня с Талей Лагутиной получилось недоразумение. Сначала, видишь ли, она мне понравилась.— Окунев виновато поскреб у виска, но, видя, что друг не смеется,

осмелел: — А потом у Тали... что-то в этом роде. Одним словом, я всего этого тебе рассказывать не буду, все видно и без фонаря. Вчера мы решили попытать счастье построить жизнь нашу на пару. Мне двадцать два года, мы оба имеем право голосовать. Я хочу создать жизнь с Талей на началах равенства. Как ты на это?

Корчагин задумался:

— Что я могу ответить, Коля? Вы оба мои приятели, по роду из одного племени. Остальное тоже общее, а Таля особенно дивчина хорошая... Все здесь понятно.

На другой день Корчагин перенес свои вещи к ребятам в общежитие при депо, а через несколько дней у Анны был товарищеский вечер без еды и питья — коммунистическая вечеринка в честь содружества Тали и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтения отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором. Далеко были слышны боевые песни, а позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян, и рокот густых басов и серебряный перезвон ладов заполнили комнату. В этот вечер Павка играл на редкость хорошо, а когда на диво всем пустился в пляс верзила Панкратов, Павка забылся, и гармонь, теряя новый стиль, рванула огнем:

Эх, улица, улица!
Гад Деникин жмурится,
Что сибирская Чека
Разменяла Колчака...

Играла гармонь о прошлом, об огневых годах и о сегодняшней дружбе, борьбе и радости. Но когда гармонь была передана Волынцеву и слесарь рявкнул жаркое «яблочко», в стремительный пляс ударился не кто иной, как электрик. В сумасшедшей чечетке плясал Корчагин третий и последний раз в своей жизни.

Глава четвертая

Рубеж — это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб, недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив, изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через шесть шагов напротив — другой столб. Глубоко в землю врыт круглый, тесаный дубовый столбище. На столбе литой железный щит, на нем

молот и серп. Меж двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти шесть шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью.

Здесь граница.

От Черного моря на тысячи километров до Крайнего Севера, к Ледовитому океану, выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи Советской Украины и панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В десяти километрах от него, напротив польского местечка Корец,— граница. От местечка Славута до местечка Анаполя район Н-ского погранбата.

Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края.

Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме; тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья доха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена суконным шлемом. На руках бараньи варежки. Доха длинная, до самых пят, в ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дохи на плече — винтовка. Красноармеец, загребая дохой снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе, в открытом поле, часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне — на километр-два.

Навстречу красноармейцу, по своей сторожевой тропинке, движется польский жолнер. Он одет в грубые солдатские ботинки, в серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель, с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка. На фуражке белый орел, на суконных погонах орлы, в петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться: мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу.

Разговаривать на границе нельзя, но, когда кругом пустынно и лишь за километр впереди человеческие фигуры — кто узнает,

идут ли эти двое молча или нарушают международные законы.

Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад: бывает, конный разъезд с вахмистром, а то и с паном поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе — ни одной снежинки.

— Товарищу, дай пшепалиць,— первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком-саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет.

Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников, да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ноги в теплых и мягких валенках на скрипучий снег.

— Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек,— на этот раз уже по-русски говорит поляк.

Красноармеец всматривается в своего соседа. «Видать, мороз «пана» пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизня у его дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке, вот и прыгает, как заяц, а без курева так совсем никуды». И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон:

— Оставь у себя, у меня есть.

Но из-за границы доносится:

— Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме два года отсидеть пришлось бы.

Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано: «Ультиматум».

«Да, действительно, для них неподходяще».

Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле.

☆

Ритмично скрипят седла, рысь коней успокаивающе равномерна. На морде вороного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней, лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Пегая кобыла под комбатом красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые,

К стр. 422

перетянутые портупеями шинели, на рукавах по три красных квадрата, но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника — красные. Гаврилов — пограничник. Это его батальон протянул свои посты на семьдесят километров, он здесь «хозяин». Его спутник — гость из Березdова, военный комиссар батальона ВВО[1] Корчагин.

Ночью падал снег. Сейчас он лежит, пушистый и мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в сорока в стороне опять два столба.

— Тпру-у!

Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает вороного, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след, но не звериный след заставил комбата остановиться. В двух шагах от цепочки запорошенные снегом другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу, и след показывал отчетливо — человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На десяток шагов на польской стороне виден отпечаток ног.

— Ночью кто-то перешел границу,— пробурчал комбат.— Опять в третьем взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Черти! — Усы у Гаврилова с сединкой, а иней от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой.

Навстречу всадникам движутся две фигуры: одна — маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая — огромная, в желтой бараньей дохе. Пегая кобыла, чувствуя шенкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку.

— Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь, на участке? — И комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым.

Поляк издали наблюдает. Два красных офицера (а три квадрата у большевиков — это чин майора) здороваются с солдатом, как приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закржевскому, и от этой нелепой мысли невольно оглядывается.

---

[1] ВВО — всеобщее военное обучение.

— Только что принял пост, товарищ комбат,— отрапортовал красноармеец.

— След вон там видели?

— Нет, не видел еще.

— Кто стоял ночью от двух до шести?

— Суротенко, товарищ комбат.

— Ну ладно, глядите же в оба.

И, уже собираясь отъезжать, сурово предупредил:

— Поменьше с этими прохаживаться.

Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулась между границей и местечком Берездовом, комбат рассказывал:

— На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днем границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке четыре села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь ни расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти — двадцать шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды. Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской сорокаградусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли магазины: что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян.

Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку.

— Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается?

Комбат ответил угрюмо:

— Вот то-то и оно-то!..

☆

Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол, бывшая еврейская черта оседлости. Две-три сотни домишек, бестолково расставленных где попало. Огромная базарная площадь, посреди площади два десятка лавчонок. Площадь грязная, навозная. Опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может, но это уже не то, что было раньше, и жизнь у раввина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в девятьсот семнадцатом году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь

смотрит на раввина без должного уважения. Правда, старики еще не едят «трефного», но сколько мальчишек едят проклятую богом колбасу свиную! Тьфу, паскудно даже подумать! Реббе Борух в сердцах пинает ногой хозяйственную свинью, старательно роющую навозную кучу в поисках съедобного. Да, он — раввин — не совсем доволен тем, что Берездов стал районным центром. Понаехало черт знает откуда этих коммунистов, и всё крутят и крутят, и с каждым днем все новая неприятность. Вчера он, реббе, увидел на воротах поповской усадьбы новую вывеску:

БЕРЕЗДОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ

Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, раввин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги:

> Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступает пред исполнительного комитета Лисицын и врид секретаря райкомола товарищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся девятилетки.

Раввин бешено сорвал листок с двери.

«Вот оно, начинается!»

С двух сторон охватывает местечковую церквушку большой сад поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхлая, скучная пустота комнат, в которых жили поп с попадьей, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале, где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Берездова. На двери маленькой комнатки, направо от парадного хода, мелом написано: «Райкомсомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместительству с работой военкомбата второго батальона всеобщего военного обучения и обязанности секретаря только что созданного райкома комсомола.

Восемь месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны. А кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался...

Тихо в доме. Поздняя ночь, партком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райкомпартии, и сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами

мороза. Керосиновая лампа на столе; жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее. В августе послал его коллектив мастерских как молодежного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав. И до глубокой осени полтораста человек двигались от станции к станции, разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полог. Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляй-Поле неделю восстанавливали каменное здание водокачки, нашивали железные заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но не одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом.

Глубокой осенью подошел поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса сто пятьдесят пар рук... Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех.

Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы. О попытках мятежной, рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище. О бунтах Стеньки Разина и Пугачева.

Одним вечером, когда у Анны собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и бесповоротно:

— Я больше не курю.

Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример привел куренье.

Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. Он сказал то, что думал:

— Человек управляет привычкой, а не наоборот. Иначе до чего же мы договоримся?

Цветаев из угла крикнул:

— Слово со звоном. Это Корчагин любит. А вот если этот форс по шапке, то что же получается? Сам-то он курит? Курит. Знает, что куренье ни к чему? Знает. А вот бросить — гайка слаба. Недавно он в кружках «культуру насаждал».— И, меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой: — Пусть-ка он ответит нам, как у него с матом? Кто Павку знает, тот скажет: матершит редко, да метко. Проповедь читать легче, чем быть святым.

Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал:

— Я больше не курю... Это я для себя и немного для Димки.

Грош цена тому, кто не сможет сломить дурной привычки. За мной остается ругань. Я, братва, не совсем поборол этот позор, но даже Димка признается, что редко слышит мою брань. Слову легче сорваться, чем закурить папиросу, вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все-таки и ругань угроблю.

☆

Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы, разбивало их осенним разливом, и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Соломенка опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства.

Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и, когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студеная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови,— и Корчагин запылал в жару. Две недели жег острый ревматизм его тело, а когда вернулся из больницы, у тисков мог работать, лишь сидя «верхом». Мастер только головой качал. А через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался.

С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигался медленно и с мучительной болью. Писала не раз мать, просила навестить, и сейчас он вспомнил о своей старушке, о ее словах на прощанье: «Вижу вас, лишь когда покалечитесь».

В губкоме получил свернутые в трубочку два личных дела: комсомольское и партийное, и, почти ни с кем не прощаясь, чтобы не разжигать горя, уехал к матери. Две недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги, и через месяц он уже ходил без палки, а в груди билась радость, и сумерки опять перешли в рассвет. Поезд доставил его в губернский центр. Через три дня в орготделе ему вручили документ, по которому он направлялся в губвоенкомат для использования политработником в формировании военобуча.

А еще через неделю он приехал сюда, в занесенное снегом местечко, как военкомбат-2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь.

☆

На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предисполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золоченый крест

на готической колокольне костела, что стоит через дорогу напротив исполкома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зеленые, как окружающая их трава, крошечные гусята исполкомовской сторожихи.

Предисполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную, вьющуюся шевелюру и застряла там.

Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Березовского исполкома, всего лишь двадцать четыре года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он, большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит тридцатипятилетним. Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый, «видавший виды» френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени.

До Октября Лисицын «командовал» токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед, отец и он почти с детских лет резали и точили железо.

А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросала его революция и партия из одного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник.

Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течет мирно. До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот эта депеша на миг воскрешает недавнее. Скупым телеграфным языком предупреждает депеша:

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.
БЕРЕЗДОВСКОМУ ПРЕДИСПОЛКОМА ЛИСИЦЫНУ.

На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризировать погранрайоны. Примите меры осторожности. Предлагается ценности финотдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм.

Из окна кабинета Лисицыну виден каждый, кто входит в РИК[1]. На крыльце Корчагин. Через минуту стук в дверь.

— Садись, потолкуем.— И Лисицын пожимает руку Корчагину.

Целый час предисполкома не принимал никого.

---

[1] РИК — районный исполнительный комитет.

Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестренка Лисицына — Нюра. Павел звал ее Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась, и сейчас она неловко, по-детски, поздоровалась, откидывая со лба прядку стриженых волос.

— У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду,— сказала Нюра.

— Иди, Анютка, он один.

На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из финотдела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы, и через несколько минут по шоссе загрохотали колеса. Подводы окружал отряд под командой Корчагина. Сорок километров до окружного центра (из них двадцать пять лесом) пройдены благополучно: ценности перешли в сейфы окрфинотдела.

А через несколько дней со стороны границы в Березлов прискакал кавалерист. Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев.

У ворот исполкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник вскочил в седло и, сразу же забирая в карьер, поскакал обратно.

Никто не знал содержания пакета, кроме предисполкома, только что прочитавшего его. Но у местечковых обывателей какой-то собачий нюх. Из трех мелких торговцев здесь два обязательно мелкие контрабандисты, и этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность.

По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека. Один из них Корчагин. Этого обыватели знают: он всегда вооружен. Но то, что секретарь парткома Трофимов в портупее с наганом,— это уже плохо.

Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стояла на перекрестке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружались в парткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предисполкома. Ясно — творилось что-то неладное, и большая площадь и глухие переулки словно вымерли — ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких лавчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только

бесстрашные куры да разморенные жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч.

На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля и далеко видна прямая линия дороги.

Сводка, полученная Лисицыным, была немногословна.

Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию конная банда, приблизительно сто сабель при двух ручных пулеметах. Примите меры. След банды теряется в Славутских лесах. Предупреждаю, днем через Березцов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте.

Комбат отдельного пограничного
Гаврилов.

Уже через час по дороге к местечку показался конный, а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из Седьмого полка красного казачества. Разведка была ему в новинку, и, когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки КИМ, смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотне. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах.

Прошло несколько тревожных дней. Лисицын получил сводку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия: преследуемая красной кавалерией, банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон.

Крошечная группа большевиков — девятнадцать человек — во всем районе напряженно работала над советским строительством. Молодой, только что организованный район требовал создания всего заново. Близость границы держала всех в неусыпной бдительности.

Перевыборы Советов, борьба с бандитами, культработа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа — вот круг, по которому мчалась от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива.

С лошади — к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка, клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой, кто идет?», стук колес убегающей подводы с закордонным товаром — из этого складывались дни и многие ночи военкомбата-2.

Райкомол Березцова — это Корчагин, Лида Полевых, узко-

глазая волжанка, завженотделом, и Развалихин Женька, высокий, смазливый, недавний гимназист, «молодой, да ранний», любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Буссенара. Работал Развалихин управделами райкомпартии, месяца четыре назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев «старым большевиком». Некого было послать в Березлов, и после долгих раздумий окружком послал Развалихина «политпросветом».

☆

Солнце подобралось к зениту. Зной проникал в самые сокровенные уголки, все живое укрылось под крыши, и даже псы заползли под амбары и лежали там, разморенные жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло все живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья.

Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца.

— До новой встречи, товарищ военком.— Улыбнулась.

Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводья.

— До свиданья, товарищ Ракитина. Итак, решено: завтра вы проводите первый урок.

Конь, чувствуя отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе. Жестокая узда круто повернула коня, и военком увидел, что от околицы, задыхаясь, бежит молодая крестьянка. Выйдя на середину улицы, Ракитина остановила ее. На порогах соседних хат появились люди, больше старики и старухи. Крепкий люд весь в поле.

— Ой, люди добрые, что там делается! Ой, не можу, не можу!

Когда Корчагин подскакал к ним, со всех сторон уже сбегались люди. Женщину осаждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами, но из бессвязных ее слов ничего нельзя было понять. «Убили! Режутся насмерть!» — только вскрикивала она. Какой-то дед с всклокоченной бородой, придерживая рукой полотняные штаны, нелепо подскакивая, наседал на молодуху:

— Не кричи, як самашечая! И где бьют? За што бьют? Да перестань верещать! Тьфу, черт!

— Наше село с поддубцами бьется... за межи! Поддубецкие наших насмерть бьют!

Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, яростно зарычали старики. И по селу побежало, закружило по дворам призывно, как набат: «Поддубецкие за межи наших косами засекают!» На улицу из хат выскакивали все, кто мог ходить, и, вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу к полям, где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села.

Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешел в галоп. Подхлестываемый криком седока, обгоняя бегущих, вороной рванулся вперед стремительными бросками. Плотно притянув к голове уши и высоко вскидывая ноги, он все убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны свои руки-крылья. От ветряка вправо, в низине, у реки,— луга. Влево, насколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил ее рукой. Ярко рдели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали, снизу, оттуда, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики.

Вниз, к лугам, конь шел страшным аллюром. «Зацепится ногой — и ему и мне могила»,— мелькнуло в голове Павла. Но нельзя уже было остановить коня, и, пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер.

На луг вынесся, как шальной. С тупой, звериной яростью бились здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью.

Конь грудью сбил наземь какого-то бородача, бежавшего с обломком держака косы за молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый, крепкий крестьянин месил поверженного на земле противника тяжелыми сапожищами, старательно норовя поддать «под душу».

Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дерущихся. Не давая опомниться, бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал бешено:

— Разойдись, гадье! Перестреляю, бандитские души!

И, вырывая из кобуры маузер, полыхнул поверх чьего-то искаженного злобой лица. Бросок коня — выстрел. Кое-кто, кидая косы, повернул назад. Так, остервенело скача на коне по лугу, не давая замолчать маузеру, военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от этого невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с «холерской машинкой», которая стреляет без конца.

Вскоре наехал в Поддубцы районный суд. Долго бился нарсудья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненые выжили. Упорно, с большевистским терпением старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость учиненного ими побоища.

— Межи виноваты, товарищ судья, спутались наши межи! Через то и бьемся каждый год.

Кой-кому ответить все же пришлось.

А через неделю по сенокосу ходила комиссия, вбивала столбики на раздорных местах.

Старик землемер, обливаясь по́том, измученный жарой и долгой ходьбой, сматывая рулетку, говорил Корчагину:

— Тридцатый год землемерничаю, и везде и всюду межа — причина раздора. Посмотрите на линию раздела лугов, это же что-то невероятное! Пьяный — и тот ровнее ходит. А на полях-то что? Полоска шириной в три шага, одна на другую залезает, их разделить — с ума можно сойти. И все это с каждым годом дробится и дробится. Отделился сын от отца — полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через двадцать лет поля будут сплошными межами и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами десять процентов земли гуляет.

Корчагин улыбнулся:

— Через двадцать лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер.

Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника:

— Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это еще где-то в далеком будущем.

— А про Будановский колхоз вы знаете?

— А, вы вот о чем!

— Да.

— В Будановке я был... Но все же это исключение, товарищ Корчагин.

Комиссия мерила. Два парня вбивали колышки. А по обеим сторонам сенокоса стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежней межи, едва заметной по торчащим кое-где из травы полусгнившим палкам.

☆

Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, возница повернулся к седокам и, охотливый на слова, рассказывал:

— Кто его знает, як эти комсомолы у нас развелись. Допрежь этого не было. А почалось все, надо полагать, от учительши, фамилия ей Ракитина, может, знаете. Молодая еще

бабенка, а можно сказать — вредная. Она баб в селе всех бунтует, насобирает их да и крутит карусели, от этого одно беспокойство выходит. Хрястнешь под горячую руку бабу по морде, без этого нельзя — раньше, бывало, утрется да смолчит, а нынче их хоть не трогай, а то крику не оберешься. Тут и про народный суд услыхать можешь, а которая помоложе — та и про развод скажет и про все законы тебе вычитает. А моя Ганка, до чего уж баба сроду тихая, так теперь делегаткой посунулась. Это вроде за старшую, что ли, над бабами. И ходят к ней со всего села. Я сперва хотел было Ганку вожжами погладить, а потом плюнул. Ну их к черту! Пускай колгочут. Баба она у меня справная и что до хозяйства и так вообще.

Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестнул коренника под брюхо.

На повозке ехали Развалихин и Лида. В Поддубцах каждый из них имел дело. Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал налаживать работу в ячейке.

— А разве вам комсомольцы не нравятся? — шутливо спросила Лида у возницы.

Тот пощипал бородку и не спеша ответил:

— Нет, чего же... По молодости побаловать можно. Спектакль развести али что иное, я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стóящее. Мы спервоначала думали, озорничать станут ребята, ан оно наоборот вышло. От людей слыхали, что насчет пьянки, хулиганства и прочего у них строго. Они больше до обученья. Только вот до бога цепляются и всё подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря, старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так — что ж? Непорядок у них вот в чем: к себе принимают самую что ни на есть голытьбу, которые в бараках иль с хозяйством завалюшные. Хозяйских сынов не пускают.

Подвода спустилась с пригорка и подкатила к школе.

☆

Сторожиха постелила приезжим у себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Ее разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина.

— Ты чего?

— Тише, Лидка, что ты орешь? Мне одному, понимаешь, скучно так вот лежать, ну его к черту! Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть?

— Убери руки и пошел сейчас же с моей кровати к черту! — Лида толкнула его.

Сальную улыбку Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать Развалихину что-то оскорбительное и насмешливое, но ее одолевает сон, и она закрывает глаза.

— Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение. Вы, случайно, не из института благородных девиц? Что же ты думаешь, я так тебе и поверил? Не валяй дурочки. Если ты человек сознательный, то сначала удовлетвори мою потребность, а потом спи, сколько тебе вздумается.

Считая излишним тратить слова, он опять пересел с лавки на кровать и хозяйски-требовательно положил свою руку на плечо Лиды.

— Пошел к черту! — сразу проснувшись, говорит она.— Честное слово, я завтра расскажу Корчагину.

Развалихин схватил ее за руку и зашептал раздраженно:

— Плевать я хотел на твоего Корчагина, а ты не брыкайся, а то все равно возьму.

Между ним и Лидой произошла короткая борьба, и звонко в тишине избы звучит пощечина — одна, другая... Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает на двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования.

— Иди в дом, дура! — злобно крикнул Развалихин.

Он выносит свою постель под навес и остается ночевать на дворе.

А Лида, закрывши на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати.

Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком возницей и курил папироску за папироской.

«А ведь эта недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла квашеная! Хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может буза получиться. Корчагин и так косится на меня».

Развалихин пересел к Лиде. Он притворился смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается.

Развалихин добился своего: у околицы местечка Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать.

☆

Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым

росткам коммунистического движения. Целые дни проводили Корчагин и Лида Полевых в этих селах.

Развалихин в села ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их доверие и только портил дело. А у Полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя дивчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола. Корчагина в районе знала вся молодежь. Тысячу шестьсот допризывников охватывал военной учебой второй батальон ВВО. Никогда еще гармонь не играла такой большой роли в пропаганде, как здесь, на сельских вечеринках, на улице. Гармонь делала Корчагина «свойским хлопцем», не одна дорожка в комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы-гармони, то страстной и будоражащей сердце в стремительном темпе марша, то ласковой и нежной в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста — мастерового, нынче военкома и комсомольского «секретарщика». Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники и то, о чем говорил молодой комиссар. Стали слышны в селах новые песни, появились в избах, кроме псалтырей и сонников, другие книги.

Туговато стало контрабандистам, приходилось им оглядываться не только на пограничников: завелись у Советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлеченные порывом самим захватить врага, перебарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшефных. Однажды Гришутка Хороводько, синеглазый секретарь поддубецкой ячейки, горячий на руку, завзятый спорщик, антирелигиозник, получив своими, особыми путями вести о том, что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой, двумя штыками, ячейка во главе с Гришуткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал погранпост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись, и только благодаря выдержке пограничников комсу не перестреляли в происшедшей свалке. Ребят только обезоружили: отведя за четыре километра в соседнее село, посадили под замок.

Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретарь райкома поскакал выручать ребят.

Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказывал ему ночное происшествие:

— Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие, мы им дела пришивать не будем. А чтобы они на-

ших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду.

Часовой открыл двери сарая, и одиннадцать парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу.

— Вот посмотрите на них,— огорченно развел руками уполномоченный.— Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ.

Тогда взволнованно заговорил Гришутка:

— Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для Советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали, а вы нас заперли, как бандюков.— И он обиженно отвернулся.

После серьезных переговоров Корчагин и Сахаров, с трудом выдерживая тон, прекратили «нагонять холод».

— Если ты возьмешь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему,— обратился Сахаров к Корчагину.

— Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут.

В Поддубцы ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным. Но мельника все же вскоре накрыли. На этот раз по закону.

☆

Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах Майдан-Виллы. В полкилометре друг от друга стоят крепкие кулацкие дворы; дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в Майдан-Вилле свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фельдфебель из родни бандитскую семерку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтом, но не пропуская и советских работников. Оборачивался Антонюк быстро. Сегодня он прибрал двух сельских кооператоров, завтра уже километрах в двадцати разоружил почтовика и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием, один стоил другого, и оба вместе отнимали у окружной милиции и ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом Березцова. Стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать: он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя Лисицын нервно кусал губы.

— До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется,

стерва, что я сам за него примусь,— цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался предисполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов, но Антонюк уходил.

Из округа прислали в Березлов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им франтоватый Филатов. Заносчивый, как молодой петух, он не счел нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повел свой отряд в ближнюю деревню Семаки. Придя в нее ночью, расположился с отрядом в первой от околицы избе. Незнакомые вооруженные люди, так скрыто действующие, привлекли внимание комсомольца-соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду, и в район полетел конным нарочным комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицын узнал о «банде» ночью, тотчас же поднял на ноги милицию и с десятком человек поскакал в Семаки. Подлетели ко двору, соскочили с коней и через плетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой маузера в голову, мешком свалился наземь, дверь под тяжелым ударом плеча Лисицына с разлету открылась, и в комнату, слабо освещенную висящей под потолком лампой, ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая маузер в другой, Лисицын заревел так, что задребезжали стекла:

— Сдавайся, а то разнесу в клочья!

Еще секунда — и ворвавшиеся засыплют градом пуль повскакавших с пола сонных людей. Но страшный вид человека с гранатой подымает вверх десятки рук. А через минуту, когда отрядников выгоняют в одном белье на двор, орден на френче Лисицына развязывает Филатову язык.

Лисицын бешено сплевывает и с уничтожающим презрением бросает:

— Шляпа!

☆

Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты оружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряженном ожидании прочитывались газеты, с Запада дули октябрьские ветры. В райкомол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную Армию. Корчагин долго убеждал ходоков от ячеек, что политика Советской страны — это политика мира и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собира-

лись комсомольцы всех ячеек, и в большом поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, походным маршем в полном составе прибыла поддубецкая ячейка комсомола. Корчагин заметил ее в окно и вышел на крыльцо. Одиннадцать парней с Хороводько во главе — в сапогах, с объемистыми сумкамй за плечами — остановились у входа.

— В чем дело, Гриша? — удивленно спросил Корчагин.

Но Хороводько сделал ему глазами знак и вошел с Корчагиным в дом. Когда Хороводько обступили Лида, Развалихин и еще двое комсомольцев, он закрыл дверь и, серьезно морща вылинявшие брови, сообщил:

— Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил: из района пришла телеграмма, в строгом секрете, конечно,— начинается война с германскими буржуями, а скоро начнется и с панами. Так вот из Москвы приказ — всех комсомольцев на фронт, а кто боится, так пускай пишет заявление — его оставят дома. Наказал, чтоб о войне ни слова, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока аль цибули, чтоб через час под секретом за деревней собрались,— пойдем в район, а оттуда в округ, где и получим оружие. Подействовало это на ребят здорово. Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю — без разговору, и кончено! А кто отказывается — пиши бумажку. Поход по добровольности. Разошлись мои ребятки, а у меня сердце стучит: а что, если никто не придет? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному. Кой у кого морда заплаканная, а виду не подают. Все десять пришли, ни одного дезертира. Вот она, поддубецкая ячейка! — восхищенно закончил Гришутка, горделиво стукнув кулаком в грудь.

А когда его взяла в «переплет» возмущенная Полевых, он смотрел на нее непонимающими глазами.

— Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка! Тут тебе без обману каждого видать. Я их для пущей важности хотел в округ тащить, но приустали хлопцы. Пускай идут домой. Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно, а то как же так? Без речи не подходит... Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава.

☆

В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае

укатывал Развалихин. Вооруженный с ног до головы, мысленно сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам или шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал: кто, откуда и куда держит путь. Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман и в окружком комсомола входил в своем обыкновенном виде.

— Ну, что у вас в Березdове нового?

В комнате Федотова, секретаря окружкома, всегда полно народа. Все говорят наперебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него партбилет с 1919 года. Только в то мятежное время пятнадцатилетний мог стать членом партии.

На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно:

— Всех новостей не перескажешь. Кручусь с утра до поздней ночи. Все дыры затыкать надо, ведь на голом месте все делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали? — И он деловито уселся в кресло.

Крымский, завэкономотделом, на минуту отрываясь от вороха бумаг, оглядывается:

— Мы Корчагина вызывали, а не тебя.

Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма.

— Корчагин не любит ездить сюда, мне даже и в этом приходится отдуваться... Вообще хорошо некоторым секретарям: ни черта не делают, а на таких, как я, ослах выезжают. Корчагин как заберется на границу, так его недели две-три и нет, а я везу всю работу.

Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарем райкомола.

— Мне что-то не нравится этот гусь,— откровенно признался Федотов окружкомовцам по выходе Развалихина.

Открылись эти развалихинские подвохи случайно. Как-то к Федотову зашел Лисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех. Федотов имел с Лисицыным продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачен.

— Но ты Корчагина все же пришли. Ведь мы с ним здесь почти незнакомы,— прощался с предисполкома Федотов.

— Хорошо. Только уговор: не подумайте его от нас взять. Будем категорически возражать.

☆

В этом году Октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, имея во главе и духовой оркестр и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамен, двинулась за село к границе. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала свое шествие по советской земле, вдоль пограничных столбов, направляясь к селам, разделенным надвое границей. Такое зрелище поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны на конях комбат Гаврилов и Корчагин, сзади гром меди, шелест знамен и песни, песни! Празднично одета крестьянская молодежь, веселье, деревенские дивчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьезные лица взрослых и торжественные — стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течет эта человеческая река; берег ее — граница: ни на шаг от советской земли, ни одна нога не ступила за запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя людской поток.

Комсомольские:

...от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней! —

сменялись девичьим хором:

Ой, на гори та й женци жнуть...

Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые и растерянно-смущенно встречали польские. Шествие по границе, хотя о нем заранее было предупреждено польское командование, все же вызвало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии, впятеро усилился состав часовых, а в балках на всякий случай были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен.

На бугре польский часовой. Мерный шаг колонны. Взлетают первые звуки марша. Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает «на караул». Корчагин услыхал отчетливо:

— Нех жие коммуна!

Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел не отрываясь смотрит на него.

Друг! Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердце, и Корчагин отвечает тихо по-польски:

— Привет, товарищ!

Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз оборачивался и смотрел на эту черную маленькую фигурку. Вот и другой поляк. Седеющие усы. Из-под никелированного ободка козырька конфедератки неподвижные, вылинявшие глаза. Корчагин, еще под впечатлением только что слышанного, первый сказал, как бы про себя, по-польски:

— Здравствуй, товарищ!

И не получил ответа.

Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, все слыхал.

— Ты многого захотел,— говорит он.— Кроме солдат простой пехоты, здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм.

Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделенному границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка, на берегу маленькой речки, собралось все советское село. Дивчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши изб и сараев облепили люди, пристально всматриваясь на происходящее за рекой. На порогах хат и у плетней — толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр играл «Интернационал». На самодельной, убранной зеленью трибуне говорили волнующие речи и зеленая молодежь и седые старики. Говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетали границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, нагайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы.

Опустели улицы. Исчезла с крыш согнанная пулей молодежь, а с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну подсаженный парнями старик чабан и, обуреваемый порывом возмущения, взволнованно заговорил:

— Хорошо смотрите, диты! Отак и нас били когда-то, а теперь на селе такого никем не видано, чтобы крестьянина власть нагайкой била. Кончили панов — кончилась и плетка по нашей спине. Держите, сынки, эту власть крепко. Я старый, говорить не умею. А сказать хотел много. За всю нашу жизнь, что под царем проволочили, як вол телегу тянет, да такая обида за тех!..— И махнул костлявой рукой за речку и заплакал, как плачут только малые дети и старики.

Дедушку сменил Гришутка Хороводько. И, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, всматриваясь — не записывает ли ее кто на том берегу. Но берег был пуст, даже часовой у моста снят.

— Видно, обойдется без ноты Наркоминделу,— пошутил он.

☆

Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и те семеро, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хролинские коммунары.

Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего двенадцать, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Берездов сломя голову мчался нарочный. В Семаках наскочил нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было напролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел: выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз, коммунары уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил четырех жизней. Из них три отдала молодая хролинская ячейка комсомола.

☆

Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальных частей. Сорок километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. Восемьсот допризывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона; утром уже начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев, боевой командир, и Корчагин — оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров, с красивым, но обрюзглым лицом, резко спросил Корчагина:

— Почему вы на лошади? У нас командиры и военкомы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими.

Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участия в маневрах не сможет, он не пройдет и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней?

— Я без лошади в маневрах не могу участвовать.

— Почему?

Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил:

— У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ?

— Я начальник штаба вашего полка — это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то не я виноват, что вы находитесь на военной службе.

Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства: обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть не задумываясь. Корчагин был военком батальона, этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением! Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил ноги из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошел к правому флангу.

☆

Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Березовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Климентовичи.

Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы. Батальон, разделенный надвое глубоким обходом, не замеченный «противником», зашел в тыл и с криком «ура» ворвался в вокзал. По решению посредников эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за березовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв пятьдесят процентов состава, отошел в лес.

Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказание по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты.

— Товарищ комиссар,— подбежал к ним красноармеец,—

комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды. Сейчас приедет комиссия,— запыхавшись, сообщил он Корчагину.

Павел с командирами пошел к переезду.

У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться.

— Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас.

Начштаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо:

— Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прикатили для форса? — Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся.

Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева:

— Ты не знаешь его фамилии?

Гусев хлопнул его по плечу:

— Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик.

Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил.

☆

Кончились маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Березdов, а Корчагин на два дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артема. Два дня Павел спал по двадцати часов, на третий пришел к Артему в депо. Своим, родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Властно влекло к себе это — с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть в себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем у подвижного горна. У него второй ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно.

Час-другой поработали вместе. Расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал, потом хлестнул вороного, погнал его по лесной дороге во весь опор.

Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, поприжгли огнем их гнезда, и по селам района стало покойнее жить.

В Березднов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила Полевых.

— Наконец-то приехал! Мы уж без тебя соскучились.— И, обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом.

— Где Развалихин? — спросил ее Корчагин, снимая шинель.

Лида как-то неохотно ответила:

— Не знаю, где он. А, вспомнила! Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. «Это, говорит, моя прямая функция, а не Корчагина».

Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» — подумал с неудовольствием Корчагин.

— Ну ладно. Рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела?

Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги.

— Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубецкую ячейку. Ракитина славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом, некоторые из них переходят целиком на нашу сторону.

Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое: сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райкомпартии Лычиков.

Дверь в спальню закрыта, Анютка и жена предисполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой — «Русская история» Покровского. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед.

Из Поддубец прилетела весть: ночью неизвестными убит Гришутка Хороводько. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости оседлал коня и, нахлестывая с обоих боков ременной плетью, помчался к границе.

В просторной избе сельсовета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем Совета лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали, у порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя.

Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову набок. Разбитый чем-то острым затылок был закрыт веткой ели.

Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хороводько, потерявшей в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбедчика?

Весть о смерти сына свалила с ног старуху мать, и ее, полумертвую, отхаживали соседки, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели.

Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батрацкого защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов.

Потрясенная этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате и, когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы.

— Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил? — глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул.

— Кто же иначе, как не эта мельникова компания! Ведь этим контрабандистам Гришутка стал поперек горла.

☆

Хоронить Гришутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин, вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. Двести пятьдесят штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленатый в красное гроб и поставили на площади, где была вырыта могила рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами.

Кровь Гришутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодежь и беднота обещали ячейке поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади, у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага.

Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря — Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц.

Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд Советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад:

— Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе Советскую власть, с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты, вдесятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой

которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыта, убийцы — мельник и его зять — арестованы и на днях будут судимы выездной сессией губсуда. От целого ряда делегаций сёл президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применение высшей меры наказания бандитам-террористам...

Зал задрожал от криков:

— Поддерживаем! Смерть врагам Советской власти!

В боковых дверях показалась Полевых. Она поманила пальцем Павла.

В коридоре Лида передала ему пакет с надписью: «Срочное». Распечатал.

РАЙКОМОЛ БЕРЕЗДОВА. КОПИЯ РАЙКОМПАРТ.

Решением бюро губкома товарищ Корчагин отзывается из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу.

☆

Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса: первый — перевести в члены Коммунистической партии товарища Корчагина; второй — утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола.

Крепко, до боли, сжимали Павлу руки Лисицын и Лида, по-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал ему.

Глава пятая

Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. У оперного театра остановился. Из него высадилась группа молодежи, и вагон снова пополз вверх.

Панкратов поторапливал отстающих:

— Пошли, ребята. Факт, мы опоздали.

Окунев догнал его уже у самого входа в театр:

— Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с «рабочей оппозицией» к нам возвращался. Хороший был вечер. А сегодня опять с Дубавой драться будем.

Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты стоявшей у входа контрольной группе:

— Да, с Митяем история повторилась опять на этом самом месте.

На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места — вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне женская фигура.

— В самый раз. Сиди и слушай, что женушка скажет,— шепнул Панкратов, толкая Окунева локтем в бок.

— ...Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот: свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны.

Таля волновалась, прядь волос спадала на лицо и мешала говорить. Она рывком откинула голову назад:

— Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской партконференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и в ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера.

Из правого угла партера Талю прервал чей-то резкий голос:

— Мы еще скажем.

Лагутина повернулась.

— Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем,— предложила она.

Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы.

— Придет время — скажем! — крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали.

По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал:

— Что, еще раз думаете партию трясти?

Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову.

Таля продолжала:

— Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник, многие знают его, арсенальцы в особенности. Дубава — студент Харьковского коммунистического университета, но мы все знаем, что он уже три недели находится здесь вместе с Школенко. Что привело их сюда в разгар занятий

в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они не выступали. Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет. Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок.

Таля пыталась толкнуть их на путь признания и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе:

— Помните, три года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой «рабочей оппозиции». Помните его слова: «Никогда партийного знамени из рук своих не уроним», и не прошло трех лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю — уронил. Ведь его слова «мы еще скажем» говорят о том, что он и его товарищи пойдут дальше.

С задних кресел донеслось:

— Пусть Туфта о барометре скажет, он у них за метеоролога.

Поднялись возбужденные голоса:

— Хватит шуточек!

— Пусть ответят: прекращают они борьбу с партией или нет?

— Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию!

Возбуждение нарастало, председательствующий долго звонил.

В шуме голосов слова Тали терялись, но вскоре буря улеглась, и Лагутину снова стало слышно:

— Мы получаем с периферии письма от наших товарищей — они с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юреневой, ее здесь многие знают, она сейчас заворготделом окружкома комсомола.

Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла:

— «Практическая работа заброшена, уже четвертый день все бюро в районах, троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенными силами в ячейке окрвоенкомата, в которую входят коммунисты окрплана и рабпроса. В ячейке сорок два человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами. Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали.

Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина, но, когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену, и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим...»

Таля оставила трибуну.

☆

Сегал уже два месяца работал завагитпропом губкомпарта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов горпартконференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле. «Как они выросли за эти годы!» — думал Сегал.

— Оппозиционерам уже жарко,— сказал он Токареву,— а тяжелая артиллерия еще не введена в действие: троцкистов громит молодежь!

На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо.

— Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами! — выпалил он в один мах.

Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал.

— Как ни смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал.

В зале моментально стихло.

— Что писал? — долетело из зала.

Туфта оживился:

— Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь, вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках.— И Туфта полез в портфель.

— Мы это знаем!

— А что писал Ленин о единстве?

— А о партийной дисциплине?

— Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?

Туфта потерял нить и перешел к другой теме:

— Тут Лагутина читала письмо Юреневой. Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии.

Цветаев, сидевший рядом с Школенко, прошептал с бешенством:

— Пошли дурака богу молиться, он и лоб расшибет!

Школенко так же тихо ответил:

— Да! Этот болван провалит нас окончательно.

Тонкий, визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши:

— Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства!

В зале поднялась буря.

Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний:

— Что такое? Опять большевики и меньшевики!

— РКП не парламент!

— Они для всех стараются — от Мясникова и до Мартова!

Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачастил словами:

— Да, нужна свобода группировок. Иначе как мы — инакомыслящие — сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?

В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул:

— Дайте ему высказаться, это полезно знать! Туфта выболтывает то, о чем другие молчат.

Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов:

— Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губкомола. Ничего, скоро увидим, кто был прав.— И он выкатился со сцены в зал.

Дубава получил от Цветаева записку:

«Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дела, наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить Туфту. Это ведь дурак и болтун».

Дубава попросил слова; оно ему было сейчас же дано.

Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом, и дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще

более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо:

— Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно: вас — большинство.

Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке, стегнули Дмитрия гневные восклицания:

— Позор!

— Долой раскольников!

— Хватит! Довольно поливать грязью!

Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней.

— Слово имеет Школенко,— сказал председательствующий.

Михайло поднялся:

— Я отказываюсь от выступления.

С задних рядов прогудел бас Панкратова:

— Прошу слова!

По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую, слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломенке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним были Цветаев и Школенко. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признавать ошибочность своих взглядов. Школенко остался. Теперь он отказался выступить. «Мягкотелый интеллигент! Они его распропагандировали, конечно»,— зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления «сорока шести». В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире — у Анны. Анна Борхарт уже год, как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющей его взглядов, ухудшаются с каждым днем еще и оттого, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким,

с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом.

Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь.

— Товарищи! — твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой рампы.— Товарищи! Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо: они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе,— их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические! Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшивизмом и Троцким, тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб — и это все в то время, когда отряд окружен врагами! Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще могу считаться «порядочным», но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже «бюрократ» и «аппаратчик»?! Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно снятый с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей «демократией», или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе? Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О «большевизме» Троцкого пусть скажут старые большевики! Сейчас, когда имя это противопоставили партии, необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялась большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену тому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например Токарева, товарища

К стр. 568

Сегала, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями, под знаменем Ленина мы придем к победе!

Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали.

☆

На другой день у Туфты собралось человек десять. Дубава говорил:

— Мы с Школенко сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться. Нам остается только выжидать, как обернутся события. Ясно, что Всероссийская конференция нас осудит, но, мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции,— значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем.— И Дубава приподнялся, собираясь уходить.

Худой, с тонкими губами, Староверов тоже встал.

— Я тебя не понимаю, Митяй,— заговорил он, слегка картавя и заикаясь.— Что же, решение конференции для нас будет не обязательным?

Его резко оборвал Цветаев:

— Формально — обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует, а сейчас разойдемся.

Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Школенко, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию.

— Я против таких комбинаций,— сказал он глухо, внезапно раздражаясь.— Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться.

Староверов посмотрел на него с одобрением.

— Я это сам хотел сказать,— прошепелявил он.

Дубава уставился на Школенко в упор и с нарочитой издевкой процедил:

— Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность «покаяться» на губернской конференции.

Школенко вскочил на ноги:

— Что это за тон, Дмитрий! Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции.

Дубава отмахнулся от него:

— Тебе только это остается. Иди кайся, пока не поздно.

И Дубава, прощаясь, протянул руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Школенко и Староверов.

☆

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией.

В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работало только три: индоевропейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции Шепетовка 1-я три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Всем, всем, всем!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей.

Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова.

Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...»

Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать.

«...Вчера в Горках скончался...»

Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушивал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Всем, всем, всем!» Аппарат стучал. «В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч» — переводил стуки молоточка в буквы старик телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое, он — посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк — это была «Л». За ней он написал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове:

«ЛЕНИН».

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово — «ЛЕНИН». Что? Ленин? Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик:

— Ленин умер!

☆

Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот.

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Политовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Бруzжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема.

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки.

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени поглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но, когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его.

— Товарищи! Ленин умер!

Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол.

— Ты что сказал? — Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть.

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорванно:

— Да, товарищи, Ленин умер...

И оттого, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь партколлектива.

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир.

А у ворот, заставив вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий... В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели.

Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С» — паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда.

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетовка — Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что

ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов.

Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и, когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова.

Говорил секретарь Шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин:

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю, умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию. Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды...

Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули.

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива.

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушила голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море. Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале.

☆

Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Сиротенко сказал:

— Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами.— И он прочел заявление:

В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка, Юго-западной железной дороги.

Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина.

Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена:

— Политовский Станислав Зигмундович — паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.

По залу пробежал гул одобрения.

— Корчагин Артем Андреевич — слесарь, семнадцать лет производственного стажа.

— Брузжак Захар Васильевич — паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.

Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.

Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый поставивший свою подпись.

Старик Политовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни:

— ...Что же мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известно какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.

Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения.

Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово.

От стола Политовский уходил коммунистом.

Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру

слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе, в ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ.

— Расскажи свою биографию, Артем! — услыхал слесарь голос Сиротенко.

Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.

— Было нас у матери четверо,— начал Артем.

В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей.

— Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалования, на три года — за одни харчи... Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он намертвую... Гонял и за углем и за железом... Заделала меня хозяйка своим холуем: таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины — так уж, по привычке: не потрафлю хозяйке чем — она из-за пьянки мужа на всех зла была,— хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет... В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, говорит, мне вон ту шайбу»,— и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал — из горна вынули. На земле она лежит черная, а хватишь — сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а

он ржет, заливается. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесаря. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы всё знаете.

Артем повел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:

— Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам еще в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети... Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть Советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?

Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и, будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.

— Может, кто желает спросить о чем-нибудь? — нарушил тишину Сиротенко.

Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:

— О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!

Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:

— Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!

В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, не видный в полутьме, и спросил:

— Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии.

В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал:

— Говори по-простому! Нашел, где звонарить...

Но Артем уже отвечал:

— Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.

Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услыхал голос Сиротенко:

— Единогласно.

Третьим у стола президиума остановился Захар Брузжак. Неразговорчивый старый помощник Политовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно:

— Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашивайте, настоящая наша жизнь начинается заново.

Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но, когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметком рук принимали в партию, глаза его прояснились и седеющая голова больше не опускалась.

До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью.

Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.

Глава шестая

У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве высокого в пенсне — красная повязка с надписью: «Комендант».

— Здесь заседание украинской делегации? — спросила Рита.

Высокий ответил официально:

— Да! А в чем дело?

— Разрешите пройти.

Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес:

— Ваш мандат? Пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками.

Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел: «Член Центрального Комитета». Официальность с него как рукой сняло, сразу стал вежливым и «свойским»:

— Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места.

Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым.

— Итак, товарищи, представители от делегаций в сеньорен-конвент[1] Всероссийского съезда избраны также и в совет делегаций. До начала остается два часа. Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд.

Рита узнала Акима: это он читал торопливо перечень фамилий. В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами.

Рита слушала с напряженным вниманием.

Вот одна знакомая фамилия:

— Панкратов.

Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомые — «Окунев», и сейчас же вслед за ним другое — «Жаркий».

Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко вполуоборот к ней. Вот и его забытый профиль. Да, это Ваня. Несколько лет не видела его.

Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть:

— Корчагин.

Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и странно — Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был одно-

---

[1] Сеньорен-конвент — собрание представителей делегаций (групп делегатов отдельных областей и т. д.) на съезде.

фамильцем ее погибшего друга. Она не отрываясь всматривалась туда, откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул:

— Не опаздывайте!.. Большой театр... семь часов!..

У выходной двери образовался затор.

Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов.

«Что же, Корчагин, поедем и мы, старина!» — услыхала она сзади, и голос, такой знакомый, такой памятный, ответил:

«Пошли».

Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем, и в синих рейтузах.

Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита, и, когда ее тепло обняли руки и дрогнувший голос сказал тихо: «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин.

— Ты жив?

Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой.

Зал опустел, в раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили шесть раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на полголовы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее.

— Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь.

— Я секретарь окружкома молодежи, или, как говорит Дубава, «аппаратчик».— И Павел улыбнулся.

— Ты его видел?

— Да, видел, и эта встреча оставила неприятное воспоминание.

Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Оно устремлялось на каменную громаду театра, пыталось прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы. Но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты.

Море вокруг театра — комсомольское. Все это братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые комсомольцы затирались в середину группы делегатов и, также показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь. Но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в партер. И тогда их, к величайшему удовольствию остальных «безбилетников», выпроваживали за двери.

Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал в нем присутствовать.

Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты всё прибывали: их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам — тоже комсомольцам — становилось трудно, их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик:

— Нажимай, бауманцы, нажимай!

— Нажимай, братишка, наша берет!

— Да-е-ш-ш-шь!..

В дверь вместе с Корчагиным и Ритой вьюном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг — и он исчез в потоке делегатов.

— Сядем здесь,— указала Рита на «места за креслами», когда они вошли в партер.

Сели в углу.

— Я хочу получить ответ на один вопрос,— сказала Рита.— Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь: зачем ты прервал тогда, давно, наши занятия и нашу дружбу?

Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял: она знает.

— Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было три года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь.

Рита улыбнулась:

— Это хорошее предисловие. Но я жду ответа.

Павел заговорил тихо:

— В этом виноват не только я, но и «Овод», его революционная романтика. Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот

я чувство к тебе встретил по «Оводу». Сейчас мне это смешно, но больше досадно.

— Значит, «Овод» переоценен?

— Нет, Рита, в основном нет! Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в «Оводе» — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим.

— Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти,— сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумье.

— Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем?

— Нет, Павел, мог стать и больше.

— Это можно исправить.

— Немного поздно, товарищ Овод.— Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее: — У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно.

Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти три года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно — об этом говорили его глаза,— но он сказал без жеста, правдиво:

— Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял.

Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам». Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над тяжелым занавесом: «Будущее принадлежит нам».

А прибой продолжается; еще несколько минут — и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется, секретарь ЦК начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты:

— Шестой съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым.

Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той не объяснимой словами гор-

дости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма.

☆

Съезд забирал у его участников все время — от раннего утра до глубокой ночи, и Павел вновь встретил Риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев.

— Завтра после закрытия съезда я сейчас же уезжаю,— сказала она.— Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощанье. Поэтому я сегодня приготовила тебе две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала.

Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты.

Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа, и Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти.

Через день поезда уносили их в разные стороны.

Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо.

Павлуша, милый!

Я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного: чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключение, правда очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь, но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства.

Об остальной твоей жизни, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки.

Рита.

Павел в раздумье разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев.

К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за Талей, оставшейся у Анны. Панкратов, избранный в ЦК комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати побывать у Жаркого и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рите тетради, и, когда вышел к поезду, никого из друзей не было...

☆

Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево — к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверно, спит»,— подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и из нее на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее — ее жирную голую ногу и плечи.

Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь.

— Ты что, к товарищу Борхарт? — спросил он хрипло, смотря куда-то в угол.— Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь?

Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе.

— Я этого не знал. Куда она переехала? — спросил он.

Дубава внезапно озлился:

— Это меня не интересует.— И, отрыгнув, добавил с придушенной злобой: — А ты утешать ее пришел? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. Тем более, отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился, или как там у баб еще называется. Лови момент, тут вам и единство души и тела.

Павел почувствовал жар на щеках. Сдерживая себя, тихо сказал:

— До чего ты дошел, Митяй? Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?

Дубава прислонился к стене. Ему, видно, было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежился. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная, пухлощекая женщина:

— Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь?..

Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом.

— Хорошее начало...— сказал Павел.— Кого ты к себе пускасшь и до чего это доведет?

Дубаве, видно, надоели переговоры, и он крикнул:

— Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен! Довольно мне акафисты читать! Можешь улепетывать, откуда пришел! Пойди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой.

Павел подошел к нему и сказал, волнуясь:

— Митяй, выпроводи эту тетку, я хочу еще раз, в последний, поговорить с тобой...

Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату.

— Эх, гад! — прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы.

☆

Прошло два года. Беспристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь, стремительная, многокрасочная, заполняла эти дни (с виду однообразные) всегда чем-то новым, не похожим на вчерашнее. Сто шестьдесят миллионов, составляющие великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливалась силой, и уже не видно было бездымных труб еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов.

Эти два года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, размеренно-ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял.

На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты, и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За два года был проработан третий том «Капитала». Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации.

В округ, где работал Корчагин, заявился Развалихин. Его посылал губком с предложением использовать секретарем райкомола. Корчагин был в отъезде, и в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин, узнал об этом — ничего не сказал.

Прошел месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашел он немного фактов, но среди них уже были: пьянка,

сколачивание вокруг себя подхалимов и затирание хороших ребят. Корчагин все это поставил на бюро, и, когда все высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, Корчагин неожиданно сказал:

— Исключить без права вступления.

Это удивило всех, показалось слишком резким, но Корчагин повторил:

— Исключить негодяя. Этому гимназистишке давалась возможность стать человеком, но он просто примазался.— Павел рассказал о Березdове.

— Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты, мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался,— значит, его исключить надо? Нет, пусть он даст документ! — кричал Развалихин.

— Подожди, напишем и документ,— ответил ему Корчагин.

Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился резолюции: «Исключить как чуждый элемент из рядов комсомола».

☆

Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин отпускал свою братву на отдых, добывал им санаторные путевки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит телегу на подъем. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но все лето кого-то не было, а жизнь не останавливала своего шага, и немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате.

Так проходило лето.

Осень и зиму Павел не любил: они приносили ему много физического страдания.

Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода: или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе.

Как-то на партбюро окружкома к нему подсел старик подпольщик доктор Бартелик, завокрздравом.

— Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру.

Павел в комиссию не пришел — был занят, но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра (Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог) было записано:

Лечкомиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы.

Этому предшествовал длинный пере́чень болезней полатыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы.

Бартелик провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска заворготделом комсомольского окружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал.

Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию.

Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум окркомола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным.

И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни не виданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал.

Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания агитпропа. Когда он вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, завокрнархозом, высокий, с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой.

Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам — по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказывала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК[1] Файло отвертелся, доказательств дивчина не имела, но Павел верил ей. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии.

— Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?

Это спрашивал Грибов, один из приятелей Файло, человек

[1] К К — партийная контрольная комиссия.

под стать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал.

— Можешь меня поздравить: я вчера обработал Коротаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет. Нет, братец, я уж как за какой уцеплюсь, так будьте уверены,— и Файло прибавил похабную фразу.

Корчагин почувствовал нервный озноб — признак острого раздражения. Коротаева была завокрженотделом. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Коротаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло, несомненно, говорил о ней.

— А ты не врешь, Файло? Что-то на нее не похоже...

— Я вру? За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло. А за другой приходится месяц бегать. Главное — надо узнать психологию. Везде особый подход. Это, братец, целая наука, но я в этом деле профессор. Хо-хо-хо-хо!..

Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности.

Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце.

— Коротаеву взять так себе, «на бога», нечего было и думать, а упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым на дюжину портвейна поспорил. Ну, я и начал диверсию. Зашел раз, другой. Смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет — может, и к ней дошло... Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ха-ха!.. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу понабил кучу, мотался по свету, горя, дескать, хлебнул немало, а бабы вот путящей себе не нашел, живу, как одинокая собака,— ни ласки, ни привета... И давай и давай накручивать, все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе, из-за принципа я от нее не отставал... Наконец добился до ручки. За мое терпение — я вместо бабы на девку наскочил. Ха-ха!.. Эх, умора!

И Файло продолжал гнусный рассказ. Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло.

— Скотина! — заревел Павел.

— Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?

Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь:

— Так ты меня оскорблять!

И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем.

Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло.

Но нелепое все же случилось: в день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом.

В городском театре — вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет народный суд и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался:

— Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно, а то, что на меня тут бабье рассвирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания. А дело выеденного яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему. А сейчас здесь и без меня обойдется.— И ушел.

Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя:

— Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария — и, прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина по существу правильна. Файло — отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о быте, это единственно положительное во всем деле.

Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание.

Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан.

☆

Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков.

Окружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение ЦК комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК комсомола был Аким. К нему зашел Павел и рассказал обо всем.

В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел: «Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому — тяжелое поражение нервной системы».

— Все-таки записали тебе, Павлуша, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся: бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся силенок. Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать.

И Аким крепко пожал ему руку.

☆

Санаторий ЦК — «Коммунар». Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной, Корчагин устремился к морю.

Насколько мог окинуть глаз — величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор, морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы; расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы.

Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега.

Глава седьмая

Рядом с санаторием ЦК — большой сад центральной поликлиники. Через него коммунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой чинары, у высокой, из серого известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживленное движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку, будучи вдали от раздражающей сутолоки большого курорта. И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилег на плетеную качалку и, разморенный морской ванной и солнцем, задремал. Мохнатое полотенце и недочитанный «Мятеж» Фурманова лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряженной нервозности, не прекращались головные боли. Профессора все еще изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту.

— Честное слово, я устал от всего этого,— говорил Павел.— Пять раз в день рассказывай одно и то же. Не была ли сумасшедшей ваша бабушка, не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел, я его и в глаза не видел! Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или еще чем-нибудь похуже, а мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть! А то, если меня будут изучать все полтора месяца, я стану социально опасным.

Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу.

Сегодня осмотра не предвиделось. До обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаз не открыл: «Подумает, что сплю, и уйдет». Напрасная надежда: скрипнула качалка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказал, что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел,— ослепительно белое платье и загорелые ноги в сафьяновых чувяках, затем стриженную по-мальчишечьи головку, два огромных глаза, ряд острых, как у мышонка, зубов. Она улыбнулась смущенно:

— Извините, я кажется, вам помешала?

Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него еще была надежда, что соседка уйдет.

— Это ваша книга?

Она перелистывала «Мятеж».

— Да, моя.

Минута молчания.

— Скажите, товарищ, вы из санатория ЦК?

Корчагин нетерпеливо шевельнулся. «Откуда ее принесло? Отдохнул, называется. Сейчас, наверно, спросит, чем я болен. Придется уходить». Он сказал неласково:

— Нет.

— А я как будто видела вас там.

Павел уже подымался, когда сзади грудной женский голос спросил:

— Ты чего сюда забралась, Дора?

На край качалки присела загорелая полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина:

— Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?

— Да, в Харькове.

Корчагин решил закончить эти длительные переговоры.

— На какой работе?

— В ассенизационном обозе! — и невольно вздрогнул от их хохота.

— Нельзя сказать, чтобы вы были очень вежливы, товарищ.

Так началась их дружба, и Дора Родкина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства.

☆

Неожиданно в саду санатория «Таласса», куда Корчагин пришел на один из послеобеденных концертов, он встретился с Жарким. И, как ни странно, свел их фокстрот.

После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затрусилась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду, у самой эстрады, кто-то поднялся и яростно крикнул:

— Довольно проституировать! К черту!

Павел узнал Жаркого.

Тапер оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла.

Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто кричал, злобно зашикали за стульями:

— Какое хамство — прерывать номер!

— Вся Европа танцует!

— Возмутительно!

Но из группы коммунаровцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь Череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что труппа уезжает.

— Катись колбаской по Малой Спасской! Скажи деду — в Москву еду! — под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате.

Корчагин разыскал в первых рядах Жаркого. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпропом в одном из окружкомов партии.

— А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь, или сын,— сказал Жаркий.

— Ого, кто же твоя жена? — удивился Корчагин.

Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу:

— Узнаешь?

На снимке был он и Анна Борхарт.

— А Дубава где? — еще более удивляясь, спросил Павел.

— Дубава в Москве. Он ушел из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ. По слухам, его восстановили, а зря! Отравленный он человек... Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода. Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны, а все же как приятно встретиться и вспомнить старое,— говорил Жаркий.

В комнату вошла Дора и с ней несколько человек. Высокий тамбовец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркого и спросила у Павла:

— Твой товарищ — член партии? Где он работает?

Не понимая, в чем дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарком.

— Тогда пусть останется. Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости. Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание,— объяснила Дора.

Почти все собравшиеся были старые большевики, за исключением Павла и Жаркого. Член МКК[1] Барташев рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым.

— Наше присутствие на местах в такой напряженный момент необходимо,— закончил Барташев.— Я выезжаю завтра.

Через три дня после собрания в комнате Павла санаторий досрочно опустел. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока.

В ЦК комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружкомола в одном из промышленных округов, и уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь.

Глубокой осенью автомобиль окружкома партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от города районов, свалился в придорожную канаву и перевернулся.

Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харькове. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию.

Корчагин согласился.

— Тогда завтра утром,— сказал в заключение тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся.

Вслед за ним вышли и остальные.

Маленькая светлая палата на одного. Безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета. Корчагин огляделся. Тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет — и все.

Санитарка принесла ужин.

Павел от него отказался. Полусидя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, есть не хотелось.

Когда четвертое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке.

В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся черными. В одной руке она держала портфель, в другой — лист бумаги и карандаш.

— Я ваш ординатор,— сказала она,— сегодня дежурю. Сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придется рассказать о себе все.

---

[1] М К К — Московская контрольная комиссия.

Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала «допрос» менее неприятным.

Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках.

☆

В операционной несколько человек с завязанными марлей носами.

Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор кончал мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы. Его ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге.

— Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах,— тихо проговорила она.

— Вы о чьих нервах говорите, доктор? — И Корчагин насмешливо улыбнулся.

Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо, профессор сказал:

— Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко, через нос, и считайте.

Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил:

— Хорошо. Заранее прошу извинения за возможные непечатные выражения.

Профессор не удержался от улыбки.

Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный запах.

Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчетливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей трагедии.

☆

Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то волнуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бежал по ним не отрываясь:

Артем! Мы очень редко пишем друг другу. Раз, иногда два раза в год! Разве дело в количестве! Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни — отсталая, мелкособственническая психология Стеши, ее родни и прочее. Переделывать людей типа Стеши трудно, боюсь, что тебе даже не удастся. Говоришь, «трудно учиться под старость», но у тебя это идет неплохо. Ты неправ, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело.

Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях, меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил, а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец.

Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию — «больного», выношу кучу страданий, и в результате всего этого — потеря движений в колене правой ноги, несколько швов на теле и, наконец, последнее врачебное открытие: семь лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвратиться в строй.

Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я, как только стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий «Майнак» в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка! Береги здоровье, не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба — знание, и все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму твою руку.

Павел Корчагин.

В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила:

— В Крым уезжаете завтра? Где же вы проведете сегодняшний день?

Корчагин ответил:

— Сейчас придет товарищ Родкина. Сегодняшний день и ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вокзал.

Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу.

— Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом? Я ему подробно рассказывала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером.

Корчагин немедленно согласился.

В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в просторный кабинет своего отца.

Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесенной по-латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь

прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем.

Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним; он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое заключение.

В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать, что сказать; ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. «Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить».

Как врач и друг она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды.

— Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторийские грязи создадут перелом и вы сможете осенью вернуться к работе.

Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают два острых глаза.

— Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не надо скрывать, я не упаду в обморок и не зарежусь. Но я очень хочу знать, что меня ожидает впереди,— произнес Павел.

Бажанова отделалась шуткой.

В этот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтрашнем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала:

— Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам понадобится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю все, что будет в моих силах.

Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей пролетке.

☆

Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в десять минут доставляет пассажиров к двухэтажному, из серого известняка зданию санатория «Майнак».

Дежурный врач разводит приехавших по комнатам.

— Вы по какой путевке, товарищ? — спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под № 11.

— ЦК КП(б)У.

— Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером. Он немец и просил дать ему соседа русского,— объяснил врач и постучал.

Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке:

— Войдите.

В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой.

— Гут морген, геноссен. Я хотел сказать, ждравствуй,— поправился он и протянул Павлу бледную, с длинными пальцами руку.

Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и между ними происходил оживленный разговор на том «международном» языке, где слова играют подсобную роль, а неразобранную фразу дополняет догадка, жестикуляция, мимика — вообще все средства неписаного эсперанто[1]. Павел знал уже, что Эбнер — немецкий рабочий.

В гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро и этим сразу снискал уважение Павла.

Лучшего соседа Корчагин и не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть.

Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды.

«Жаль только, что я по-немецки ни в зуб ногой»,— подумал он.

☆

В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными «Исполкомом Коминтерна».

В коляске полулежал Эбнер, в другой — Корчагин, которому запретили ходить, остальные трое были: тяжеловесный эстонец Вайман — работник Наркомторга Крымской республики, Марта Лауринь — латышка, кареглазая молодая женщина, похожая на восемнадцатилетнюю девушку, и Леденев — высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей: немец, эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила

---

[1] Эсперанто — искусственный международный язык, созданный в 70-х годах XIX века.

общая комната. Марту и Ваймана сблизило с Эбнером знание языка, а Леденева с Корчагиным — шахматы.

До приезда Иннокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным «чемпионом» в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои пятьдесят лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевый гамбит, на который Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как «чемпион» Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник: напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно.

После трехчасового сражения, несмотря на все усилия, на все напряжение, Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих.

Посмотрев на своего партнера. Леденев улыбнулся отечески добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец, с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагина, еще ничего не замечал.

— Я всегда держусь до последней пешки,— сказал Павел.

И Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу.

Корчагин сыграл с Иннокентием Павловичем десять партий в течение пяти дней, из них проиграл семь, выиграл две и одну вничью.

Вайман торжествовал:

— Ай, спасибо, товарищ Леденев! Как вы ему нахлопали! Так ему и надо! Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался. Ха-ха-ха!..

— Что, неприятно проигрывать? — допекал он своего побежденного победителя.

Корчагин потерял звание «чемпиона», но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры, шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры.

У Корчагина и Леденева была одна общая дата: Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков.

У одного — большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом — большой государственной работы; у другого — пламенная юность и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они — старый и молодой — имели горячие сердца и разбитое здоровье.

Вечером в комнате Эбнера и Корчагина — клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате № 11 было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел — Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонкой и язвительной насмешкой; когда же это не помогало, вмешивался Корчагин.

— Вайман, ты бы спросил,— может быть, нам совсем не по вкусу твое «остроумие»...

— Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается...— неспокойным тоном начинал Корчагин.

Вайман оттопыривал мясистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам.

— Придется ввести инспектуру морали при Главлитпросвете и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я еще понимаю Марту — у нее профессиональная женская оппозиция, но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде комсомольского младенчика... И притом вообще не люблю, когда яйца кур учат.

После такого возбужденного спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения.

— Эротише анекдот — это не очень карашо, я солидаризирован с Павлюша,— высказался Адам.

Вайману пришлось отступить. Он как мог отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал.

Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей девятнадцать лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, что она член партии с семнадцатого года, что ей тридцать один и что она была одним из активных работников латышской компартии. В восемнадцатом году белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена Советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз. Как началось их сближение, Корчагин не уловил, но маленькая латышка, часто бывавшая у Эбнера, стала неразлучной с «пятеркой».

Подпольщик Эглит, тоже латыш, лукаво подшучивал над ней:

— Марточка, а как же бедный Озол в Москве? Нельзя же так!

По утрам, за минуту до звонка, в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестно как забравшегося в санаторий петуха ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие.

В конце месяца Корчагин почувствовал себя худо. Врачи уложили его в постель. Эбнера это очень огорчило. Он полюбил этого молодого большевика, никогда не унывающего, жизнерадостного, с такой кипучей энергией и так рано потерявшего здоровье.

Когда же Марта рассказала Эбнеру, что врачи предсказывают Корчагину трагическую будущность, Адам взволновался.

До самого отъезда из санатория Корчагину не разрешали ходить.

Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих, одна Марта догадывалась о них по необычайной бледности его лица. За неделю до отъезда Павел получил из украинского ЦК письмо, где сообщалось, что отпуск ему продлен на два месяца и что, согласно санаторному заключению, возвращение его на работу при теперешнем здоровье невозможно.

Вместе с письмом были присланы деньги.

Павел принял этот первый удар, как когда-то принимал удары Жухрая, учившего его боксу: тогда тоже падал, но сейчас же подымался.

Неожиданно пришло письмо от матери. Старушка писала, что недалеко от Евпатории, в портовом городе, живет ее давнишняя подруга, Альбина Кюцам, с которой мать не виделась уже пятнадцать лет, и что она очень просит сына заехать к ней. Это случайное письмо сыграло большую роль в жизни Павла.

Через неделю санаторное землячество тепло проводило Корчагина на пристань. На прощанье Эбнер горячо обнял и поцеловал Павла, как брата. Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившись с ней.

А на следующее утро фаэтон, привезший Корчагина с пристани, подкатил к маленькому домику в небольшом саду, и Корчагин послал своего провожатого спросить, здесь ли живут Кюцам.

Семья Кюцам состояла из пяти человек: Альбина Кюцам — мать, пожилая полная женщина с тяжелым, придавливающим взором черных глаз и со следами былой красоты на старом лице, ее две дочери — Леля и Тая, маленький сынишка Лели и старик Кюцам, неприятный толстяк, похожий на борова.

Старик служил в кооперативе, младшая дочь, Тая, ходила на черную работу, старшая, Леля, в прошлом машинистка, недавно разошлась со своим мужем, пьяницей и хулиганом,

и сидела без работы. Дни она проводила дома, возилась с сынишкой, помогала по хозяйству матери. Кроме дочерей, был еще сын Жорж, но сейчас он находился в Ленинграде.

Семья Кюцам радушно приняла Корчагина. Только старик окинул гостя недобрым, настороженным взглядом.

Корчагин терпеливо рассказывал Альбине все, что он знал из семейной хроники Корчагиных, попутно сам расспрашивал о житье-бытье.

Леле было двадцать два года. Стриженая простецкая шатенка с широким открытым лицом, она сразу же стала с Павлом на приятельскую ногу и охотно посвящала его во все семейные секреты. От нее Корчагин узнал, что старик деспотически-грубо зажал всю семью, убивая всякую инициативу и малейшее проявление воли. Ограниченный, узколобый, придирчивый до мелочности, он держал семью в вечном страхе и этим снискал себе глубокую неприязнь детей и глубокую ненависть жены, все двадцать пять лет боровшейся против его деспотизма. Дочери постоянно становились на сторону матери, и эти беспрерывные семейные ссоры отравляли им жизнь.

Так проходили дни, заполненные бесконечными мелкими и большими обидами.

Вторым уродом в семье был Жорж. Судя по рассказам Лели, это был типичный хлыщ, задавака и бахвал, любитель хорошо поесть и с шиком одеться, не дурак выпить. Кончив девятилетку, Жорж — любимец матери — потребовал от нее денег для поездки в столичный город.

— Я поеду в университет. Пусть продаст Леля свое кольцо, а ты свои вещи. Мне нужны деньги, а где вы их достанете — мне все равно.

Жорж знал хорошо, что мать ему ни в чем не откажет, и пользовался этим самым бессовестным образом. К сестрам относился пренебрежительно, свысока, считая их ниже себя. Все средства, какие удавалось урвать от старика, и заработанные Таей деньги мать посылала сыну. А тот, с треском провалившись на экзамене, нескучно жил у своего дядьки, терроризируя мать телеграммами о присылке денег.

Младшую, Таю, Корчагин увидел лишь поздно вечером. Мать в сенях шепотом рассказывала ей о приезде гостя. Здороваясь с Павлом, она смущенно подала ему руку и до кончиков маленьких ушей покраснела перед незнакомым молодым человеком. Павел не сразу отпустил ее крепкую, с ощутимыми бугорками мозолей руку.

Тае шел девятнадцатый год. Она не была красавицей, но большие карие глаза, тонкие, монгольского рисунка брови, красивая линия носа и свежие упрямые губы делали ее при-

влекательной; молодой упругой груди тесно под полосатой рабочей блузкой.

Сестры жили в двух крошечных комнатках. В комнате Таи — узкая железная кровать, комод, уставленный разными безделушками, на нем небольшое зеркало, а на стене десятка три фотографий и открыток. На окне две цветочные банки с пунцовой геранью и бледно-розовыми астрами. Кисейная занавеска подобрана голубой тесемкой.

— Тая не любит пускать в свою комнату представителей мужского пола, а для вас, видите, делается исключение,— шутила над сестрой Леля.

На другой день вечером семья пила чай на половине стариков. Тая была у себя в комнате и оттуда прислушивалась к общему разговору. Кюцам сосредоточенно размешивал сахар в стакане и зло поглядывал поверх очков на сидящего перед ним гостя.

— Семейные законы теперешние осуждаю,— говорил он.— Захотел — женился, а захотел — разженился. Полная свобода.

Старик поперхнулся и закашлялся. Отдышавшись, показал на Лелю.

— Вот со своим хахалем сошлась не спросясь и разошлась не спрашивая. А теперь, извольте радоваться, корми ее и чьего-то ребенка. Безобразие!

Леля мучительно покраснела и прятала от Павла глаза, полные слез.

— А что же, по-вашему, она должна была с этим паразитом жить? — спросил Павел, не спуская со старика своего вспыхивающего дикими огоньками взгляда.

— Надо было смотреть, за кого выходишь.

В разговор вмешалась Альбина. С трудом сдерживая свое негодование, она прерывисто заговорила:

— Послушай, старик, зачем ты заводишь эти разговоры при чужом человеке? Можно о чем-нибудь другом, а не об этом.

Старик дернулся в ее сторону:

— Я знаю, что говорю! С каких это пор мне замечания стали делать?

Ночью Павел долго думал о семье Кюцам. Случайно занесенный сюда, он невольно становился участником семейной драмы. Он думал над тем, как помочь матери и дочерям выбраться из этой кабалы. Его личная жизнь затормаживала ход, перед ним самим вставали неразрешенные вопросы, и сейчас труднее чем когда бы то ни было предпринимать решительные действия.

Выход был один: расколоть семью — матери и дочерям уйти навсегда от старика. Но это было не так просто. Заниматься

этой семейной революцией он был не в состоянии, через несколько дней он должен уехать и, может быть, больше никогда не встретится с этими людьми. Не предоставить ли все своему нормальному течению и не ворошить пыли в этом низеньком и тесном доме? Но отвратительный образ старика не давал ему покоя. Павел создал несколько планов, но все они казались невыполнимыми.

На другой день было воскресенье, и, когда Корчагин возвратился из города, дома застал одну Таю. Остальные ушли к родственникам в гости. Павел зашел к ней в комнату и, усталый, присел на стул.

— Ты почему никуда не идешь погулять, развлечься? — спросил он у нее.

— А мне не хочется никуда идти,— тихо ответила она.

Он вспомнил свои ночные планы и решил проверить их. Торопясь, чтобы никто не помешал, начал напрямик:

— Послушай, Тая, будем говорить друг другу «ты»,— к чему нам эти китайские церемонии? Я скоро уеду. Встретился я с вами как раз в плохую пору, когда сам попал в переплет, а то бы мы дело иначе повернули. Будь это год назад, мы бы отсюда уезжали все вместе. Для таких рук, как у тебя и у Лели, работа бы нашлась! Со стариком надо кончать, этого не сагитируешь. Но сейчас этого сделать нельзя. Я сам еще не знаю, что со мной будет, вот почему я, так сказать, обезоружен. Что же теперь делать? Я буду добиваться возвращения на работу. Врачи там написали обо мне черт его знает что, и товарищи заставляют меня лечиться до бесконечности. Ну, это мы там повернем... Я спишусь со своей матушкой, и мы увидим, как эту заваруху кончить. Я вас все-таки так не оставлю. Только вот что, Таюша: жизнь-то вашу, и твою в частности, придется переворачивать наизнанку. Есть ли у тебя для этого силы и желание?

Тая подняла опущенную голову и тихо ответила:

— Желание у меня есть, а силы — не знаю.

Эта нетвердость в ответе была понятна Корчагину.

— Ничего, Таюша! С этим мы сладим, было бы желание. А скажи ты мне, семья тебя очень привязывает?

Тая ответила не сразу, застигнутая врасплох.

— Мне матери очень жалко,— сказала она наконец.— Отец ее всю жизнь терзал, теперь Жорка из нее все выматывает, а мне очень жалко... хотя она меня и не любит так, как Жорку...

Много говорили они в этот день, и незадолго до прихода остальных Павел шутя сказал:

— Удивительно, как тебя старик замуж не согнал за кого-нибудь.

Тая испуганно отмахнулась рукой:

— Я замуж не пойду. Я на Лелю насмотрелась. Ни за что замуж не пойду!

Павел усмехнулся:

— Значит, зарок на всю жизнь? А если налетит какой-нибудь парень-гвоздь, одним словом, хороший парнишка,— тогда как?

— Не пойду! Все они хорошие, пока под окнами ходят.

Павел примиряюще положил руку на ее плечо:

— Ладно. Неплохо можно прожить и без мужа. Только ты уж очень на ребят неласкова. Хорошо, что ты меня хоть в жениховстве не подозреваешь. А то попало бы на орехи.— И он по-приятельски провел по руке смущенной девушки своей холодной ладонью.

— Такие, как ты, себе других жен ищут. На что мы им сдались? — тихо сказала она.

☆

Через несколько дней поезд увозил Корчагина в Харьков. На вокзале его провожали Тая, Леля и Альбина со своей сестрой Розой. На прощанье Альбина взяла с него слово не забывать молодежь, помочь ей выбраться из ямы. Простились с ним, как с родным, а в глазах Таи стояли слезы. Долго видел из окна белый платочек в руках Лели и полосатую блузку Таи.

В Харькове остановился у своего приятеля Пети Новикова, не желая беспокоить Дору. Отдохнул и поехал в ЦК. Дождался Акима и, когда остались одни, попросил сейчас же отправить на работу. Аким отрицательно мотнул головой.

— Этого нельзя сделать, Павел! У нас есть постановление лечебной комиссии ЦК партии, где записано: «Ввиду тяжелого состояния здоровья направить в Невропатологический институт для лечения, не допуская возвращения к работе».

— Мало ли чего они напишут, Аким. Я у тебя прошу — дай мне возможность работать! Это шатание по клиникам бесполезно.

Аким отказывался:

— Мы не можем ломать решения. Пойми же, Павлушка, что это для тебя же лучше.

Но Корчагин так горячо настаивал, что Аким не мог устоять и под конец согласился.

На другой день Корчагин уже работал в секретной части секретариата ЦК. Ему казалось, что достаточно начать работать, как вернутся утраченные силы. Но с первого же дня он увидел,

что ошибался. Он просиживал в своем отделе без перерыва восемь часов не евши, так как спускаться на завтрак и обед с третьего этажа в соседнюю столовую оказалось не под силу: часто немела то рука, то нога. Иногда все тело лишалось способности двигаться, и его температурило. Когда надо было ехать на работу, он вдруг не находил в себе силы подняться с постели. Пока это проходило, он с отчаянием убеждался, что опаздывает на целый час. В конце концов опоздания ему поставили на вид, и он понял, что это начало самого страшного в его жизни — выхода из строя.

Аким еще дважды помогал ему — передвигал на другую работу, но случилось неизбежное: на второй месяц Павел свалился в постель. Тогда он вспомнил прощальные слова Бажановой и написал ей письмо. Она приехала в тот же день, и от нее он узнал самое основное — что в клинику ему ложиться не обязательно.

— Значит, у меня дела так хороши, что и лечиться не стоит,— пытался он пошутить, но шутка не удалась.

Как только силы частично вернулись к нему, Павел опять появился в ЦК. На этот раз Аким был неумолим. На его категорическое предложение ложиться в клинику Корчагин глухо ответил:

— Не пойду никуда. Это бесполезно. Узнал из авторитетных источников. Мне остается одно — получить пенсию и подать в отставку. Но этот номер не пройдет. Вы не можете оторвать меня от работы. Мне всего двадцать четыре года, и я не могу доживать свой век с книжечкой инвалида труда, скитаться по лечебницам, зная, что это ни к чему. Вы должны мне дать работу, подходящую для моих условий. Я могу работать на дому или жить где-нибудь в учреждении... только не писарем, который ставит номера на исходящем. Работа должна давать для моего сердца что-то, чтобы я не чувствовал себя на отшибе.

Голос Павла звучал все взволнованнее и звонче.

Аким понимал, какие чувства движут еще недавно огневым парнем. Он понимал трагедию Павла, знал, что для Корчагина, отдавшего свою короткую жизнь партии, отрыв от борьбы и переход в глубокий тыл был ужасен, и он решил сделать все, что в его силах.

— Хорошо, Павел, не волнуйся. Завтра у нас секретариат. Я поставлю о тебе вопрос. Даю слово, что сделаю все.

Корчагин тяжело поднялся и подал ему руку:

— Неужели ты можешь подумать, Аким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку? Пока у меня здесь стучит сердце,— и он с силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчетливо почувствовал глухие быстрые удары,—

пока стучит, меня от партии не оторвать. Из строя меня выведет только смерть. Запомни это, братишка.

Аким молчал. Он знал, что это была не блестящая фраза, а крик тяжело раненного бойца. Он понимал, что говорить и чувствовать иначе такие люди не могут.

Через два дня Аким сообщил Павлу, что ему предоставлена возможность получить ответственную работу в редакции центрального органа, но для этого необходимо проверить возможность его использования на литературном фронте. В редакционной коллегии Павла встретили предупредительно. Заместитель редактора, старая подпольщица, член Президиума ЦКК Украины, задала ему несколько вопросов:

— Ваше образование, товарищ?

— Три года начальной школы.

— В партийно-политических школах не были?

— Нет.

— Ну что же, бывает, что и без этого вырабатывается хороший журналист. О вас нам говорил товарищ Аким. Мы можем дать вам работу не обязательно здесь, а на дому, и вообще создать вам подходящие условия. Но для этой работы необходимы все же обширные знания. Особенно в области литературы и языка.

Все это предвещало Павлу поражение. В получасовой беседе выяснилась недостаточность знаний, а в написанной им статье женщина подчеркнула красным карандашом больше трех десятков стилистических неправильностей и немало орфографических ошибок.

— Товарищ Корчагин! У вас есть большие данные. При углубленной работе над собой вы можете стать в будущем литературным работником, но сейчас вы пишете малограмотно. Из статьи видно, что вы не знаете русского языка. Это неудивительно, вы не имели времени учиться. Но использовать вас мы, к сожалению, не можем. Но еще раз повторяю: у вас большие данные. Если вашу статью обработать, не меняя содержания, то она будет прекрасна. А нам нужны люди, умеющие обрабатывать чужие статьи.

Корчагин встал, опираясь на палку. Правая бровь судорожно вздрагивала.

— Что же, я с вами согласен. Какой из меня литератор? Я был хороший кочегар, неплохой монтер. Умел хорошо ездить на коне, будоражить комсу, но на вашем фронте я неподходящий рубака.

Попрощавшись, вышел.

На повороте в коридоре чуть не упал. Его схватила какая-то женщина с портфелем:

— Что с вами, товарищ? На вас лица нет!

Корчагин несколько секунд приходил в себя. Потом тихонько отстранил женщину и пошел, налегая на палку.

С этого дня жизнь Корчагина шла под уклон. О работе не могло быть и речи. Все чаще он проводил дни в кровати. ЦК освободил его от работы и просил Главсоцстрах назначить ему пенсию. Пенсия была ему дана вместе с книжкой инвалида труда. ЦК дал ему денег и выдал личные дела с правом выезда, куда он захочет. От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву с смутной надеждой найти счастье во Всесоюзном ЦК, то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался.

Незаметно пробежали девятнадцать дней, прожитых им на квартире Марты и ее подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером.

Павел запоем читал — у Марты было много книг, а вечерами приходили подруги и кое-кто из друзей.

Из портового города приходили письма. Семья Кюцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи.

В одно утро Корчагина не стало в тихой квартире в Гусятниковом переулке. Поезд мчал его на юг, к морю, увозя от сырой, дождливой осени к теплым берегам Южного Крыма. Он следил, как пробегали у окна столбы. Плотно были сдвинуты брови, и в темных глазах затаилось упорство.

Глава восьмая

Внизу, у нагроможденных беспорядочной кучей камней, плещется море. Обвевает лицо сухой «моряк», долетающий сюда из далекой Турции. Ломаной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал. И далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин.

В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно не чищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист.

Корчагина привез сюда из города старик извозчик, перс, и, высаживая странного седока, не утерпел — высказался:

— Зачем ехал? Барышна здэс нэту, театр нэту. Адын шакал

ходыт... Что дэлат будышь, нэ понымаю! Поедэм обратно, господын товарыш!

Корчагин расплатился с ним, и старик уехал.

Безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе у моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца.

Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение.

С его вторым приездом сюда противоречие в семье Кюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг другу. Ход в половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек сдана Корчагину как квартиранту. Деньги за квартиру старику были даны вперед, и он вскоре даже как будто успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь.

Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел как паровоз, показывая, что он здесь хозяин.

Старик до службы в кооперативе знал две профессии — сапожника и плотника — и в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, старик наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать.

«Подожди, я тебя выкурю отсюда...» — шипел он себе под нос.

Далеко, почти на горизонте, темной тучкой стлался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море.

Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь, как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови.

Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас,

подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца. И боец упал на землю, под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше — догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулеметчиков на тачанках — это были страшные для врага люди, пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков. Но такие были редкостью.

Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающей, черной дырой встал перед ним этот неразрешенный вопрос.

Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце — и никаких гвоздей! Умел неплохо жить — умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать?

Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга, пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер.

— Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня?

Дуло презрительно глянуло ему в глаза. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался:

— Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной.

Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей арбе до города. И там на одном из перекрестков он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании городского партколлектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании.

☆

Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жесткое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье.

Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон.

— А я уже за тебя беспокоилась,— радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени.

— Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша. Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю,— также шепотом ответил он.

Тая заколебалась. Как же так, она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя об этом сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе.

— Дело вот в чем, Тая,— начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание.— Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание «политбюро» и вынес огромной важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю.

Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и многое из продуманного в загородном парке.

— Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух, подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя и у меня личная жизнь сейчас безрадостная. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой?

Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности.

— Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны, я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты

на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил: союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего, нашего человека, а я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны. А вырастешь — свободна от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни.

Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково:

— Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь.

Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием.

— А ты меня не оставишь?

— Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно: поверить, что такие, как я, не предают своих друзей... только бы они не предали меня,— горько закончил он.

— Я тебе сегодня ничего не скажу, все это так неожиданно,— ответила она.

Корчагин поднялся:

— Ложись, Тая, скоро рассвет.

И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег и, едва голова коснулась подушки, уснул.

В комнате Корчагина, на столе у окна, груды принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет; несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками. В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета, кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Леля с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате — втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным.

Далеко за полночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску меж ставен комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову.

«Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. Ходит по дому, словно хозяин. Девчонки огрызаться стали»,— недобро раздумывал старик и уходил.

Впервые за восемь лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной

жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по восемнадцати часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных однажды Таей слов:

— Я перенесла в другое место комод, дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к Леле.

Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась — союз был заключен.

☆

Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой пролегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами — сказывались бессонные ночи. Звон гитары и Таины песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире.

Проснувшаяся в ней женщина страдала оттого, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе:

— Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно. В нашу жизнь чужим вход заказан.

Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон; глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его.

Первой узнала причину незатухающего огня в глазах Таи сестра, и с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать. Вернее — догадалась. Насторожилась. Не того ждала она от Корчагина.

— Таюша ему не пара,— сказала она как-то Леле.— Что из всего этого выйдет?

Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась.

Стала появляться у Корчагина молодежь. Тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно...—

и любимую Павла:

Слезами залит мир безбрежный...

Это собирался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла.

Корчагин опять ухватился за руль обеими руками и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу.

Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его приближение к цели.

Неожиданно привалил из Москвы с женой неудачливый студент Жорж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги.

Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю.

Через две недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок.

☆

Редко получал Артем от брата письма, но в дни, когда заставал на своем столе в горсовете серый конверт со знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью:

«Эх, Павлуша, Павлуша! Жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне, парнишка, твои советы».

Артем, хочу рассказать о пережитом. Кроме тебя, я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье.

Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, немилосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги, и я, без того еле двигавшийся (в пределах комнаты), сейчас с трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверное, еще не все. Что принесет мне завтра — неизвестно.

Из дома я больше не выхожу и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма?

Я еще верю, что вернусь в строй, что в штурмующих колоннах появится и мой штык: Мне нельзя не верить, я не имею права. Десять лет партия и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления, и слова вождя относятся и ко мне: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Моя жизнь теперь — это учеба. Книги, книги, еще раз книги. Сделано много, Артем. Проработал основные произведения художественной классической литературы. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами — кружок с партийной молодежью. Связь с практической работой организации идет через этих товарищей. Затем Таюша, ее рост и продвижение, ну, и любовь, ласки нежные подружки моей. Живем мы с ней дружно. Экономика у нас простая и не сложная — тридцать два рубля моей пенсии и Таин заработок. В партию Тая идет моей дорогой: служила домработницей, сейчас посудницей в столовой (в этом городке нет промышленности).

На днях Тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку женотдела. Для нее это не простой кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю, сколько могу, этим родам. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершит ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути.

Дважды приезжала мать Таи. Мать, незаметно для себя, тянет Таю назад, в жизнь, созданную из мелочей, погруженную в узкое, личное, в свое собственное, обособленное. Я старался убедить Альбину в том, что чернота ее дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери. Но все это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой и что борьбы с ней не избежать. Жму руку.

Твой Павел.

☆

Санаторий № 5 в Старой Мацесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес, зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты, ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько чело-

век. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряженно заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя: «Леденев Иннокентий Павлович. Это он, и не кто иной». И, уверенный в этом, Павел позвал. Через минуту Леденев уже сидел у него и радостно тряс ему руку:

— А, жив, курилка? Ну, чем же ты меня порадуешь? Да ты что же, всерьез хворать вздумал? Не одобряю. Ты вот с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я назло им продолжаю держаться.— И Леденев добродушно засмеялся.

Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения.

Два часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях — о коллективизации сельского хозяйства, перестройке деревни, и он жадно впитывал каждое слово.

— А я уж было думал, что ты шевелишь где-нибудь у себя на Украине. А тут такая досада. Ну ничего, у меня были дела похуже, я было совсем в лежанку перешел, а теперь, видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить. Не выходит это! Я иногда подумываю, есть такой грех: надо бы отдохнуть, что ли, немножко, перевести дух. Ведь годы не те, уж и десять — двенадцать часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь, и даже дела просматривать начнешь, чтобы разгрузиться немного, и каждый раз одно и то же выходит. Начнешь «разгружаться» — и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше двенадцати не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колесиков, а у нас — что ни день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится, как в молодости.

Леденев провел рукой по высокому лбу и сказал по-отечески тепло:

— Ну, расскажи теперь о своих делах.

Слушал Леденев повесть Корчагина о прожитом, и Павел ловил на себе его одобрительный живой взгляд.

☆

Под тенью размашистых деревьев, в уголке террасы — группа санаторцев. За небольшим столом читал «Правду», тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка, старенькая кепчонка, загорелое, худое, давно не бритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами — все выдает в нем коренного шахтера. Двенадцать лет назад, призванный к руко-

водству краем, этот человек положил свой молоток, а казалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе.

Чернокозов — член бюро крайкома партии и член правительства. Мучительный недуг сжигал его силы — гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели.

Напротив него, задумчиво дымя папиросой, сидела Жигирева. Александре Алексеевне Жигиревой тридцать семь лет, девятнадцать лет она в партии. «Шурочка-металлистка», как звали ее в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой.

Третий у стола — Паньков. Наклонив свою красивую, с античным профилем, голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот тридцатилетний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник Наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением.

— Это и есть твой товарищ по комнате? — тихо спросила Жигирева Чернокозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин.

Чернокозов оторвался от газеты; лицо его как-то сразу просветлело.

— Да, это Корчагин. Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились. Ему болезнь понавтыкала палок в колеса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из комсы первого поколения. Одним словом, если мы парня поддержим,— а я это решил,— то он еще будет работать.

Паньков прислушивался к его рассказу.

— Чем он болен? — так же тихо спросила Шура Жигирева.

— Остатки двадцатого. В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот поди ж ты!

— Я сейчас привезу его сюда,— сказала Шура.

Так началось их знакомство. И не знал Павел, что двое из них — Жигирева и Чернокозов — станут для него людьми дорогими и что в годы тяжелой болезни, ожидавшей его, они будут первой его опорой.

☆

Жизнь шла по-прежнему. Тая работала. Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий понял, что двигаться он уже не способен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил, виновато улыбаясь:

— Нам, Таюша, надо развестись с тобой. Ведь уговора не было так засыпаться. Это, девочка, я сегодня обдумаю как следует.

Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдания. Плакала навзрыд, прижимая к груди голову Павла.

Артем узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка с Таей жили дружно.

Корчагин продолжал учебу.

Одним вечером, в ненастную зиму, принесла Тая весть о первой своей победе — билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женотдел, в Совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением. Но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся и левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота,— темной кисеей затянулось все кругом него.

Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил:

«Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно,— нужно кончать».

Корчагин написал друзьям. От друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы.

В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила:

— Павлуша, я кандидат партии.

И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги.

— Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию,— сказал он, сжимая ей руку.

На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку.

— Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем.— И он засмеялся.

Секретарь райкома провел у Корчагина два часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и наконец сказал:

— Брось ты о кружке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, а? Ты подумай...

Корчагин перебил его:

— Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди! Я в одиночку не проживу. Сейчас больше чем когда-нибудь нужны. Давай сюда молодежь, позеленее которая. Они у тебя на селах влево гнут, в коммуну,— им в колхозе тесно. Ведь комса, если за нею не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи. Я сам такой был, знаю.

Вольмер остановился:

— Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость.

Корчагин улыбнулся:

— Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли. Она рассказала.

— А, Корчагина, посудница? Так это твоя жинка? Ха, а я и не знал! — И, подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу: — Вот кого мы тебе пришлем — Берсенева Льва. Лучшего товарища не надо. Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтером был когда-то, отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Да Лев тебе и радио сварганит, он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до двух часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась: где ты, мол, старый черт, по ночам шататься стал?

Корчагин, улыбаясь, спросил его:

— Кто такой Берсенев?

Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал:

— Берсенев у нас нотариус, но он такой нотариус, как я балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В рево-

люционном движении с двенадцатого года, в партии с Октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе, ревтрибуналил во Второй Конной; по Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока — сюда. Тут, на Кавказе, был председателем губсуда, зампредкрайсуда. Легкие расхлестались вконец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, ну и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем КК; он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной. Брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд...

Павел перебил его резким вопросом:

— Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше.

Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза.

— Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь, и Лев при случае скажет: «Что вы его вьючите?» А сам говорит: «Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении». Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим.

— Это верно. Я тоже голосую за год жизни против пяти лет прозябания, но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом, я теперь понял, не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны — вот одна из основных опасностей для моего положения.

«Вот говорит же, а поставь его на ноги — забудет все на свете»,— подумал Вольмер, но смолчал.

Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь.

Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад.

Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видал, но по рассказам Таи знал, что Лев — блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый

в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себе Павел с первых же минут знакомства.

В сумерки зажглись в комнате три «микро». Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые «морзянки», где-то (видно, близко на море) полосовал пароходный «искровик». В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос:

— Слушайте, слушайте, говорит Москва....

Маленький аппарат ловил на свою антенну шестьдесят станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание.

Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся.

☆

Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева:

«Если у большевика жена — товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса: не надоедят друг другу, и ссориться некогда!»

Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой, теперь же она воспитанница и товарищ по партии.

Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему, и принял это как должное.

Павел получил кружок.

В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости.

В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его.

Радио давало ему то, что отняла слепота,— возможность учиться, и в этом не знающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела, забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь.

Когда луч антенны принес из Магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив.

Представлялась метель — свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный

пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди.

А на Днепре вода прорвала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.

Глава девятая

Несколько дней в Москве они жили в кладовой архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику.

Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем,— дело чести.

☆

Прошло полтора года с вечера, проведенного Корчагиным в кладовой архива. Восемнадцать месяцев непередаваемых страданий.

В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирургия попытается оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка.

Спросили его согласия, и Павел разрешил делать с собой все, что врачи найдут нужным.

В часы, проведенные на операционных столах, когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевала его своим черным крылом смерть. Но жизнь в Корчагине держалась цепко. Тая находила своего друга после страшных часов ожидания мертвенно-бледным, но живым и, как всегда, спокойно-ласковым.

— Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить, я еще буду жить и бузотерить хотя бы назло арифметическим расчетам ученых эскулапов. Они во всем правы насчет

моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим.

Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни.

☆

Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в лазарете он не может. Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обреченных людей было несравненно труднее, чем переносить свои личные страдания.

На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко:

— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого.

В тот же день Павел написал в ЦК письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату. И Павел покинул лазарет с единственным желанием больше в него не возвращаться.

Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался там, где-то позади.

Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием: она была выбрана членом фабкома. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла.

☆

Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Говорили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов.

Бажанова приметила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала:

— Вижу, пережито немало. Но вы не утеряли все-таки незатухающего энтузиазма. Чего же больше? Это хорошо, что вы решили начать работу, к которой готовились пять лет. Но как же вы будете работать?

Павел успокаивающе улыбнулся:

— Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашел — вырезанные из картона полоски не дадут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательно вывожу каждую букву, и получается довольно хорошо.

Павел начал работать.

Он задумал написать повесть, посвященную героической дивизии Котовского. Название пришло само собой:

«Рожденные бурей».

С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой, рождались страницы. Он забывал обо всем, находясь во власти образов и впервые переживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, так отчетливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу и строки выходили бледные, лишенные огня и страсти.

Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятие сына.

В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко:

— Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же это видано, писать без конца...

Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще не совсем «сошел с катушек».

☆

Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденеву о своей потере.

— Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь уж нечего браниться. Начинай сначала.

— Но, Иннокентий Павлович! Украден шестимесячный труд. Это каждый день восемь часов напряжения! Вот где паразиты, будь они трижды прокляты!

Леденев старался его успокоить.

Пришлось все начинать сначала. Леденев добывал бумагу. Помогал печатать написанное. Через полтора месяца возродилась первая глава.

В одной с ним квартире жила семья Алексеевых.

Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, кончившая фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве секретаря. Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, что Павел пишет повесть, сказала:

— Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры о поддержании в квартирах чистоты.

С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге — и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла, остальным казалось, что ничего не получится и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие.

Вернулся в Москву уезжавший в командировку Леденев и, прочитав первые главы, сказал:

— Продолжай, друг! Победа за нами. У тебя еще будут большие радости, товарищ Павел. Я верю твердо, что твоя мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Не теряй надежды, сынишка.

Старик уходил удовлетворенный: он встречал Павла полным энергии.

Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилось, что он не видит: ведь в чистых, без пятнышка, зрачках была жизнь.

По окончании работы она читала написанное за день и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь.

— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо!

— Нет, Галя, плохо.

После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный узкой полоской транспаранта, иногда не выдерживал — бросал.

И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови.

К концу работы чаще обычного стали вырываться из тисков недремлющей воли запрещенные чувства. Запрещены были грусть и вереница простых человеческих чувств, горячих и нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого, но не для него. Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело кончилось бы трагедией.

Поздно вечерами приходила с фабрики Тая и, перебросившись с Марией Яковлевной вполголоса несколькими словами, ложилась спать.

☆

Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть.

Завтра рукопись будет отослана в Ленинград, в культпроп обкома. Если там дадут книге «путевку в жизнь», ее передадут в издательство — и тогда...

Тревожно стучало сердце. Тогда... начало новой жизни, добытой годами напряженного и упорного труда.

Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же неудача будет частичной, такой, которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнет новое наступление.

Мать отнесла тяжелый сверток на почту. Наступили дни напряженного ожидания. Никогда еще в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал.

Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем.

В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и еще и еще раз вставал вопрос:

«Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?»

И отвечал:

«Да, кажется, все!»

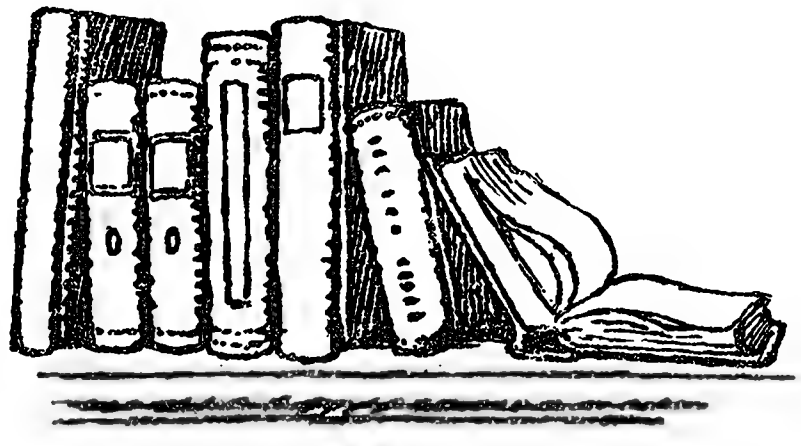
Много дней спустя, когда ожидание становилось уже невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату:

— Почта из Ленинграда!!!

Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке: «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой».

Сердце учащенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять — уже с новым оружием — возвращался в строй и к жизни.

1930—1934 гг.



Комментарии

Д. А. Фурманов

«ЧАПАЕВ»

В дневнике Фурманова начала августа 1922 года есть такая запись: «Ехали из деревни. Дорога лесом. Дай пойду вперед: оставил своих и пошагал. Эк, хорошо как думать! Думал, думал о разном, и вдруг стала проясняться у меня повесть, о которой думал неоднократно и прежде,— мой «Чапаев».

К работе над «Чапаевым» Д. Фурманов приступил в 1922 году, но замысел книги и образы ее героев складывались в воображении писателя задолго до этого времени. Еще в 1919 году, когда Фурманов — военный комиссар Чапаевской дивизии — принимал самое непосредственное и активное участие в событиях, он присматривался зорким взглядом художника к своим будущим героям, особенно к легендарному начдиву В. И. Чапаеву.

«Его личность поглотила мое внимание,— признавался Фурманов в те дни.— Я все время к нему присматриваюсь, слушаю внимательно, что и как он говорит, что и как делает. Мне хочется понять его до дна и окончательно».

Увлеченный яркостью и самобытностью Чапаева, Фурманов в то же время сознает, что полководец — не исключительная романтическая личность, не сверхчеловек, что в его характере нашли отражение основные черты народа — мужественного, стойкого, героического.

Богатейшим материалом для создания «Чапаева» явились дневники Фурманова марта — августа 1919 года.

Воспоминания о Чапаеве, встречах и разговорах с ним, о бойцах и командирах Чапаевской дивизии, зарисовки отдельных эпизодов, военных сцен и картин — весь этот автобиографический материал, творчески переосмысленный, помог писателю впоследствии создать его любимую книгу «Чапаев».

Творческими заготовками к роману явились и очерки, публиковавшиеся Фурмановым с 1919 по 1922 год в иваново-вознесенской газете «Рабочий край»: «Пилюгинский бой», «Уральский бой», «Освобожденный Уральск», «Как погибли тт. Чапаев и Батурин», «Лбищенская драма» и другие.

Готовясь к написанию романа, Фурманов завязывает оживленную переписку со многими участниками событий, читает газеты тех лет, черпая в них живой исторический материал, знакомится в архиве Красной Армии с докладами и донесениями участников похода Чапаевской дивизии. «...материала горы,— записывал он в эти дни.— Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить?»

Подготовительные работы продолжались до осени. 18 ноября Фурманов отмечает в дневнике: «Написано... четыре пятых». Рукопись романа датирована 1 декабря 1922 года, но еще почти два месяца Фурманов продолжает вписывать новые сцены, менее удачные — вычеркивать, некоторые слова и выражения заменять более точными и образными.

18 марта 1923 года вышло первое издание «Чапаева».

Появление романа явилось событием в литературной жизни 20-х годов. Старейший большевик, литератор П. Н. Лепешинский, одним из первых прочитавший роман еще в рукописи, предсказал ему большой успех. А. В. Луначарский в предисловии к третьему изданию «Чапаева» (1925) писал: «В сущности говоря, я знаю в нашей богатой послереволюционной советской, по своим настроениям, литературе лишь два произведения, которые дают такие неизгладимые, яркие и, я бы сказал, воспитательные впечатления. Это «Железный поток» Серафимовича и «Чапаев» Фурманова».

А. С. Серафимович, восхищаясь талантливостью молодого писателя, давшего литературе нового героя современности, писал о Фурманове: «Все его вещи с огромной силой освещены революционным содержанием... Огромное художественное чутье позволило ему отобрать основное и реалистически художественно построить свой материал». М. Горький назвал книги Фурманова «интереснейшими и глубоко поучительными».

Несмотря на большой успех «Чапаева», Фурманов был неудовлетворен его первой редакцией и продолжал напряженно работать над книгой.

Существенным изменениям подвергся роман при подготовке к третьему изданию (1925), но особенно тщательной была правка при подготовке «Чапаева» к 4-му изданию (1926). Дорисовываются портреты некоторых действующих лиц, углубляются психологические характеристики, дописываются диалоги, более впечатляющими становятся многие сцены романа.

Преждевременная смерть писателя прервала начатую им работу. Фурманов успел переделать пять глав (73 страницы) издания 1925 года. Этот экземпляр с авторской правкой хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ).

Текст этой последней авторской редакции целиком вошел в четвертое издание 1926 года, для которого автор и начал свою работу. По этому изданию делались все дальнейшие публикации книги.

В настоящем томе текст «Чапаева» печатается по изданию: «Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, Гослитиздат, том I. М., 1960», с исправлением некоторых погрешностей, допущенных в этом собрании сочинений.

М. Сотскова

Н. А. Островский

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

8 мая 1932 года Николай Островский, тогда еще начинающий писатель, получил авторские экземпляры журнала «Молодая гвардия» с напечатанными на его страницах главами 1-й части романа «Как закалялась сталь».

Трудно и мучительно шел Николай Островский к своей первой литературной работе, сразу поставившей его в ряды выдающихся советских писателей.

С 11 лет Коля Островский познал тяжесть подневольного труда, был кубовщиком в железнодорожном буфете станции Шепетовка. Много лет спустя Николай Алексеевич вспоминал об этом времени: «Я работал... по 13—15 часов в сутки. Но меня били. Били не за плохую работу, я работал честно, а за то, что не даю столько, сколько хозяину хотелось взять с меня». После победы Октябрьской революции Коля Островский становится активным помощником Ревкома города Шепетовки, а в июле 1919 года вступает в Коммунистический Союз Молодежи Республики Советов. «В 1919 году,— рассказывал впоследствии писатель,— в Шепетовке нас было пятеро комсомольцев... Героически

боролись первые комсомольцы Шепетовки против польских панов, петлюровщины и бандитизма».

Жизнь Островского со дня вступления в комсомол была подчинена одной цели: борьбе за счастье Родины. 9 августа 1919 года с частями Красной Армии он уходит на фронт, где скоро становится бойцом Первой Конной армии, командующим которой был Семен Михайлович Буденный. Просторы Украины, бои с беляками, с украинскими националистами и бандитами всех мастей, рейды Первой Конной... Беззаветно сражался за Советскую власть шестнадцатилетний Николай Островский; храбрости ему было не занимать... Но вот в одном из боев убит начдив Литунов. В ярости и боли за любимого командира бросился молодой кавалерист в атаку на врага. Вот как об этом потом напишет писатель Н. Островский: «...Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок. Как соломинку вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю. И сразу наступила ночь».

Падение с лошади на всем скаку, ранение в голову, в живот скоро жесточайшим образом скажется на здоровье Николая Островского, и в 1922 году недавиего конника отправят на пенсию — это в восемнадцать-то лет! Но юноша не сдается. Не в характере Островского покориться болезни. Вплоть до конца 1926 года, когда недуг, одолев, прикует его к постели, Николай в гуще комсомольской жизни. Как в былые дни на фронте, он на передней линии восстановления народного хозяйства Республики, руководитель и организатор первых комсомольских ячеек в Западной Украине, пропагандист и агитатор, друг молодежи.

В 1929 году Островского ожидал еще один удар: наступала слепота. Но коммунист Ленинского призыва, Николай Островский принимает решение: бороться до последнего удара сердца за право работать для страны, для народа, для будущего. Но что он мог делать в его теперешнем положении — неподвижный, ослепший? Островский решает писать книгу о своей вихревой юности, о звонкоголосом отряде первых украинских комсомольцев, о том, как сначала с винтовкой в руках, а потом с киркой и лопатой боролись комсомольцы 20-х годов за светлое будущее.

«Я бросился на прорыв железного кольца, которым жизнь меня охватила. Я пытаюсь из глубокого тыла перейти на передовые позиции борьбы и труда своего класса. Не прав тот, кто думает: большевик не может быть полезен своей партии даже в таком, казалось, безнадежном положении. Если меня разгромят... я еще раз возьмусь за работу. Это будет последний и решительный. Я должен, я страстно хочу получить «путевку в жизнь». И как бы ни темны были сумерки моей личной жизни, тем ярче мое устремление... Ждите вести... хочу... о победе»,— писал Островский друзьям в Харьков в начале 1932 года, и в этом письме — он весь, с его неукротимой волей, мужеством, горячим желанием быть полезным Родине.

В начале апреля 1932 года, когда роман уже был в наборе, Островского посещает ответственный редактор журнала «Молодая гвардия» писательница Анна Караваева, ставшая на все четыре года жизни, отпущенные писателю судьбой, верным другом, наставником и литшефом молодого писателя. С этих пор все написанное и прошедшее авторскую правку Островский направлял Анне Караваевой, и она, откладывая свои текущие творческие и редакционные дела, читала, советовала, навещала друга!..

«Дверь жизни широко раскрылась передо мною. Моя страстная мечта — стать активным участником в борьбе — осуществилась...» — писал Островский друзьям. Вместе с ощущением своей полезности автор испытывал огромный порыв к творческому труду. Уже в июне 1933 года он отсылает в редакцию «Молодой гвардии» вторую часть романа, который печатается в журнале с первого по седьмой номер за 1934 год.

Вскоре издательство «Молодая гвардия» по просьбе читателей выпускает обе части романа в одной книге. Роман быстро распространялся по стране, становился одной из популярных, любимых книг.

Но пока еще роман издан в несколько сокращенном, журнальном варианте. Несмотря на занятость вторым романом, «Рожденные бурей», автор находит время править и дополнять свое любимое детище «Как закалялась сталь». Тем более, что молодежные издательства Украины, Белоруссии, большинства национальных республик, оценив по достоинству роман Николая Островского, проявляют к нему большой интерес. В июле 1934 года харьковское издательство «Молодой большевик» выпускает обе части романа в одной книге. Читатели Украины сразу полюбили ее: за два года в республике было выпущено три издания романа. В украинских изданиях впервые появились знаменитые слова Павла Корчагина о том, как должен жить настоящий большевик. Для третьего, русского, издания 1935 года Н. А. Островский восстановил многие места романа, сокращенные им для журнала. Именно в этом издании появился, уже в окончательном виде, монолог Павки, произнесенный им на могиле товарищей, казненных петлюровцами. Монолог этот, начинающийся словами «Самое дорогое у человека — это жизнь...», давно уже стал клятвой демократической молодежи всех континентов в борьбе за мир, свободу, социальный прогресс.

С этого времени писатель просил все издательства, готовящие к выпуску роман, ориентироваться на это выправленное его рукой московское издание «Как закалялась сталь». Но и после этой генеральной правки автор, готовя издание романа тридцать шестого года (последнее прижизненное), внес в текст еще ряд небольших правок. С тех пор это издание считается полным авторским вариантом романа, который читает весь мир.

В 1936 году, в год смерти писателя, роман был выпущен Детиздатом для детей среднего и старшего возраста. Иллюстрировал книгу народный художник СССР А. Ф. Пахомов. За сорок лет, прошедших с тех пор, издательство «Детская литература» выпустило тридцать изданий романа[1]. Предисловия, вступительные статьи к книге в разное время писали литературовед Н. Венгров, писательница Анна Караваева, поэт Александр Жаров. Рисунки к роману выполняли известные художники-иллюстраторы: Б. А. Дехтерев, А. И. Резниченко. Издание 1974 года, приуроченное к 70-летию со дня рождения писателя, иллюстрировал народный художник СССР Е. А. Кибрик.

Еще в 1934 году, выпущенный национальным сектором издательства «Молодая гвардия» на польском языке, роман «Как закалялась сталь» впервые перешагнул границы родной страны. С тех пор уже более сорока лет книга путешествует по земному шару, став насущно необходимой там, где народ борется за свободу и счастье. «Как закалялась сталь» переведена на 59 языков мира, общий тираж ее приближается к 20 миллионам экземпляров!

В 1935 году с книгой Николая Островского познакомились читатели Чехословакии, в 1936 году она была переведена в Японии. В 1937 году книгу советского писателя перевел на французский язык коммунист-филолог Валентин Фельдман. В. Фельдман, активный участник движения Сопротивления, был схвачен гитлеровцами и после полугода пыток казнен 29 июня 1942 года; но имя его не забыто, и дело его не пропало. Книга, переведенная им, не однажды переизданная, живет среди читателей Франции.

18 марта того же 1942 года в югославском городе Шабац был расстрелян фашистами коммунист, поэт, адвокат Драгутин Костич Гута, первый переводчик романа «Как закалялась сталь» на сербский язык. Герой партизан был казнен нацистами, но Павку они казнить не смогли: он «ушел» в горы, к партизанам и «воевал» вместе с ними до полного разгрома гитлеровских полчищ осенью

---

[1] Текст романа печатается по изданию: «Н. Островский. Собрание сочинений. В трех томах. Москва, ГИХЛ, 1955».

1945 года. И по сей день «Как закалялась сталь» — одна из любимых книг югославской молодежи.

В годы Великой Отечественной войны роман Островского был боевым спутником и товарищем советских воинов, оружием, помогавшим разить ненавистного врага. Залитые кровью, пробитые снарядами, книги Островского предстают перед нами как своеобразные «участники» беспримерных битв советского народа против гитлеровских захватчиков.

Народные герои-партизаны Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Юрий Смирнов, Валя Котик, Саша Чекалин, герои-молодогвардейцы воспитывались и закалялись на примере жизненного и творческого подвига Николая Островского и его бессмертных героев.

...Идут годы, а Павка Корчагин продолжает завоевывать сердца молодых читателей. В сороковые годы с ним познакомилась и подружилась молодежь Болгарии, Румынии, Венгрии, ГДР. В 50-х годах Павел Корчагин появился в странах Азии — Индии, Иране, Пакистане... В дни кубинской революции 1959 года Павел Корчагин и его боевые товарищи — верные помощники и братья по оружию солдат кубинской революционной армии Фиделя Кастро.

Знают и читают «Как закалялась сталь», подчас с опасностью для свободы и жизни, молодые патриоты Чили, Мексики, Колумбии, Уругвая, ведущие самоотверженную борьбу за освобождение своих стран от гнета империализма. Вот что написал в Советский Союз молодой читатель из чилийского города Арика: «Хочу сообщить вам мое мнение о прочитанной мною книге Николая Островского «Как закалялась сталь». Читая книгу, нельзя остановиться. Я должен вам искренне признаться, что жизнь героя книги товарища Павки Корчагина произвела на меня глубокое впечатление. Прочитав книгу, я почувствовал гордость от того, что я тоже коммунист...

С братским приветом, ваш чилийский товарищ Эрнесто Сеговия Авилес, 1973 год».

Шестидесятые — семидесятые годы. Павел Корчагин — под жарким солнцем Африки. Роман «Как закалялась сталь» появляется в библиотеках, в частных домах, на книжных выставках-продажах городов Египта, Алжира, Анголы, Кении, Танзании...

Первый неполный перевод романа Н. Островского на вьетнамский язык был осуществлен военным издательством страны в 1954 году. Тираж книги был невелик, и во влажном климате Вьетнама книга быстро истрепалась и почти исчезла. Тогда бойцы Народной армии Южного Вьетнама взялись за рукописное «издание» романа советского писателя. Павка необходим был солдатам в их справедливой войне как пример мужества, как товарищ в бою. Целые главы полюбившегося романа переписывались от руки, ходили по окопам и траншеям. Роман перепечатывался и в тайных типографиях, под землей и таким образом его могли прочесть многие желающие.

Десять лет путешествовала по фронтам так называемая «Красная тетрадь» безымянного бойца Народного фронта с написанными от руки страницами книги «Как закалялась сталь», которую читали на привалах, в минуты отдыха между боями... И вот во Вьетнаме завоеван мир. В Социалистической Республике Вьетнам Павка Корчагин — любимый герой. Через два месяца после воссоединения страны в 1975 году в городе Хошимине вышел в свет роман «Как закалялась сталь», и тираж его был раскуплен в три дня!

Когда Н. А. Островский приступил к работе над романом «Как закалялась сталь», он не намеревался писать собственную биографию. Он писал биографию своего времени, своего поколения, рожденного Революцией, и лишь некоторые черты характера Павки делают его похожим на автора романа. Делом чести было для Павки и для Островского устоять в сверхтрудных обстоятельствах жизни. И они устояли, выдержали, и потому им обоим суждено бессмертие и вечная слава поколений читателей всего мира.

Т. Доступова-Караваева

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(том 18)

СОДЕРЖАНИЕ

Виталий Озеров. Рождение нового человека . . . 3
Дмитрий Фурманов. ЧАПАЕВ 13
Николай Островский. КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ . . 253
Комментарии 570

Дмитрий Андреевич Фурманов
ЧАПАЕВ

Николай Алексеевич Островский
КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

ИБ № 2628

Ответственный редактор Н. С. Абрамова. Художественный редактор Т. М. Токарева. Технический редактор Л. В. Гришина. Корректоры Л. И. Дмитрюк и Н. А. Сафронова. Сдано в набор 13/II 1978 г. Подписано к печати 27/XI 1978 г. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 37,13. Уч.-изд. л. 35,94+8 вкл.= 36,52. Тираж 404 000 (1—200 000) экз. Заказ № 2021. Цена 1 р. 70 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Фурманов Д. А.

Ф95 Чапаев: Роман/ Н. А. Островский. Как закалялась сталь: Роман/ Вступит. ст. В. Озерова; Оформл. тома и ил. И. М. Година. М.: Дет. лит., 1979.— 576 стр. с ил.+вкл. (Б-ка мировой литературы для детей; Том 18).

В пер.: 1 р. 70 к.

В этот том «Библиотеки мировой литературы для детей» входят широкоизвестные произведения Дмитрия Фурманова «Чапаев» и Николая Островского «Как закалялась сталь».

Вступительная статья Виталия Озерова.

Ф 70803—559 / М101(03)79 Подп. изд. **Р2**

Scan Kreyder - 22.05.2016
STERLITAMAK

1 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»